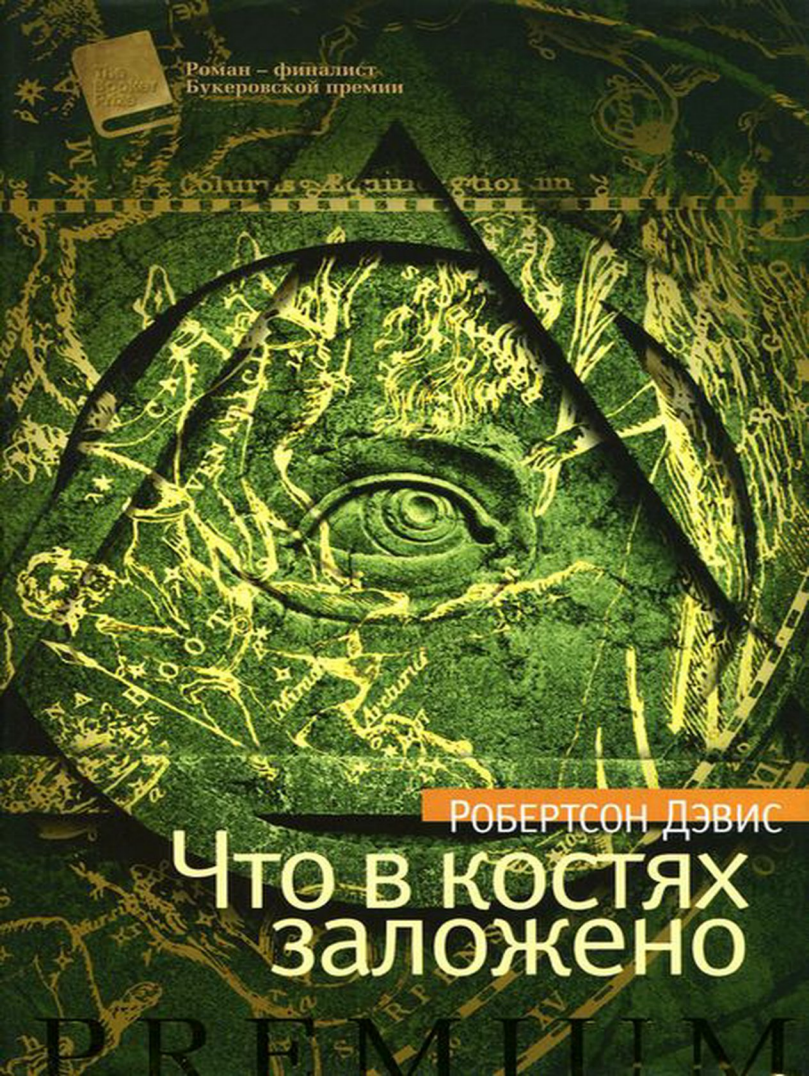
The Booker Prize
Роман – финалист Букеровской премии
Робертсон Дэвис
Что в костях заложено
PREMIUM

Что в костях заложено

Робертсон Дэвис

Аннотация
Робертсон Дэвис. Что в костях заложено
Часть первая
  Кто задал вопрос?
  Что же было заложено в костях?
Часть вторая
Часть третья
Часть четвертая
  Чего же не выбить из мяса?
Часть пятая
Часть шестая

Аннотация

Робертсон Дэвис — крупнейший канадский писатель, мастер сюжетных хитросплетений и загадок, один из лучших рассказчиков англоязычной литературы. Он попадал в шорт-лист Букера, под конец жизни чуть было не получил Нобелевскую премию, но, даже навеки оставшись в числе кандидатов, завоевал статус мирового классика. Его ставшая началом «канадского прорыва» в мировой литературе «Дептфордская трилогия» («Пятый персонаж», «Мантикора», «Мир чудес») уже хорошо известна российскому читателю, а теперь настал черед и «Корнишской трилогии». Открыли ее «Мятежные ангелы», продолжает — «Что в костях заложено» (именно этот роман Дэвиса дошел до букеровского короткого списка).

Вашему вниманию предлагается тайная биография Фрэнсиса Корниша, богатого мецената и коллекционера, причем излагают ее ангел-регистратор Радвериил («он не простой писарь: он — ангел поэзии и повелитель муз») и ангел биографий Цадкиил Малый

(«именно он вмешался, когда Авраам собрался принести в жертву Исаака; так что он еще и ангел милосердия»), А в биографии этой чего только не было: освоение основ рисования по самоучителю и в мертвецкой, учеба в Оксфорде и трагикомически скоропалительный брак, служба в разведке и подделка полотен старых мастеров из самых благородных соображений, а также семейные тайны во всем их многообразии. Секретная подоплека многих событий была известна лишь наставнику Фрэнсиса, знаменитому реставратору синьору Сарацини. и конечно, ангелам. Но, как гласит старая пословица, что в костях заложено, того из мяса не выбить…

Впервые на русском.

Робертсон Дэвис
Что в костях заложено

Что в костях заложено, того из мяса не выбить.

Английская пословица (с латыни), 1290

Часть первая

Кто задал вопрос?

Ты должен прекратить работу над книгой.

— Артур, нет!

— Может быть, не насовсем. Но сейчас ты должен остановиться. Мне нужно время подумать.

Трое членов совета сидели в большой гостиной пентхауса. Они уже почти кричали, нарушая деловую атмосферу встречи, — впрочем, атмосфера и с самого начала была не очень деловой. Однако это была деловая встреча, а трое участников представляли собой недавно основанный Фонд Корниша по содействию искусствам и гуманитарным наукам, в полном составе. Артур Корниш, который сейчас бегал взад-вперед по комнате, был, без сомнения, деловым человеком; бизнес-партнеры знали его как председателя совета директоров, но сильно удивились бы разнообразию его интересов, не разделяй он свою жизнь на отдельные аккуратные отсеки. Преподобный Симон Даркур, розовый, пухлый и слегка нетрезвый, выглядел именно тем, кем был, — священником-ученым в неловком положении. Третья фигура меньше всего походила на члена совета чего бы то ни было: жена Артура, Мария,

по-цыгански босая, в домашнем платье, которое можно было бы назвать крикливым, не будь оно сшито дорогими кутюрье из дорогих тканей.

Существует ничем не оправданное мнение, что женщины по природе своей миротворцы. Мария попыталась взять на себя эту роль.

— Но Симон уже так давно над ней работает!

— Мы поторопились. В смысле — заказать ему книгу. Надо было сперва посмотреть, что он раскопает.

— То, что он раскопал, не обязательно так ужасно, как ты думаешь. Верно, Симон?

— Понятия не имею. Решать будут специалисты, и это может занять много лет. У меня пока ничего нет, кроме подозрений. Я уже жалею, что о них упомянул.

— Но ты подозреваешь, что дядя Фрэнк подделал рисунки старых мастеров — часть тех, которые он оставил Национальной галерее. Это уже само по себе ужасно.

— Да, это может оказаться неуместно.

— Неуместно! Мне бы твое хладнокровие. Наша семья занимает высокое положение в канадских финансовых кругах, и вдруг одного из нас подозревают в подделке картин!

— Артур, у тебя какая-то паранойя с этим биз-

несом.

— Да, Мария, у меня паранойя, и вполне обоснованная. Нет отрасли более мнительной, капризной, пугливой и просто безумной, чем финансы. Если окажется, что один Корниш был жуликом, финансовый мир решит, что никому из Корнишей доверять нельзя. В газетах появятся карикатуры на меня: «Купите ли вы у этого человека старинную гравюру?» — и все такое.

— Но дядя Фрэнк никогда не был связан с семейным бизнесом.

— Не важно. Он — Корниш.

— Лучший из Корнишей.

— Может быть. Но если он окажется жуликом, пострадает вся его родня, работающая в банковской сфере. Простите меня, но книги не будет.

— Артур, ты ведешь себя как тиран.

— Хорошо, я веду себя как тиран.

— Потому что ты трусишь.

— У меня на это есть все основания. Ты что, не слушала? Не слышала, что говорил Симон?

— Боюсь, я не очень ловко преподнес всю эту историю, — сказал Симон Даркур. У него был очень несчастный вид; лицо побелело, почти сравнявшись цветом с пасторским воротничком. — Напрасно я начал со своих подозрений

— потому что это именно подозрения, больше ничего. Пожалуйста, послушайте, что меня беспокоит на самом деле. Беда не в том, что ваш дядя Фрэнк чересчур ловко обращался с карандашом. Беда со всей книгой. Я дисциплинированный работник. Я не тяну время, ожидая прилива вдохновения и всякой такой чепухи. Я сажусь за стол, включаюсь в работу и преобразую свои многочисленные записи в прозу. Но эта книга изворачивалась и вырывалась у меня из рук, как прутик лозоходца. Может быть, дух Фрэнсиса Корниша не хочет, чтобы писали его биографию? Корниш был скрытен, как никто. Он почти ничего о себе не рассказывал — никому, за исключением двух-трех человек, последним из которых был Эйлвин Росс. Вы, конечно, знаете, что Фрэнсиса и Росса считали любовниками?

— Боже мой! — воскликнул Артур Корниш. — Сначала ты подозреваешь, что он подделывал картины, а теперь выясняется, что он голубой. Чем еще порадуешь?

— Артур, не говори глупостей и не груби, — заметила Мария. — Ты же знаешь, что теперь в этом не видят ничего такого.

— Только не в банковских кругах!

— Милые мои, — сказал Даркур, — не ссорьтесь,

и, если мне позволено будет так выразиться, не ссорьтесь по-глупому из-за пустяков. Я работаю над этой биографией уже полтора года, но никуда не продвинулся. Артур, ты меня не напугаешь обещаниями придушить эту книгу. Я уже сам подумывал ее придушить. Говорю вам, я застрял. Мне элементарно не хватает фактов.

Артуру Корнишу не было чуждо ничто человеческое, в том числе инстинктивное стремление заставлять людей делать то, чего они делать не хотят. Поэтому он сказал:

— Симон, это на тебя совсем не похоже. Ты не из тех, кто легко сдается.

— Да-да, Симон, пожалуйста, не думай об этом, — подхватила Мария. — Выбросить на свалку полтора года работы? Ты просто расстроен. Выпей, а мы тебя развеселим.

Артур уже сходил за напитками для всех троих. Он поставил перед Даркуром стакан шотландского виски, с капелькой содовой для порядка, а сам сел на диван рядом с женой.

— Валяй, — сказал он.

Даркур сделал большой, ободряющий глоток.

— Вы поженились примерно через полгода после смерти Фрэнсиса Корниша. Когда наследственные дела наконец были улажены, оказалось,

что сумма наследства гораздо больше, чем все ожидали…

— Ну да, — сказал Артур. — Мы думали, у него только доля от наследства деда и то, что оставил отец, — это могли быть солидные деньги. Он никогда не интересовался семейным бизнесом; родня считала его чудаком — человеком, который возню с пыльными картинками предпочитает банковскому делу. Я единственный из всей семьи хотя бы примерно понимал, что им движет. Банковское дело не сахар, если у тебя нет к нему склонности. К счастью, у меня она есть, поэтому я теперь председатель совета директоров. Состояния дяди Фрэнсиса хватало на безбедную жизнь: у него было несколько миллионов долларов. Но стоило ему умереть, как солидные деньги начали обнаруживаться в самых неожиданных местах. Например, три очень большие суммы на анонимных счетах в швейцарских банках. Откуда они? Мы знаем, что антикварные салоны и частные коллекции хорошо платили ему за установление подлинности работ старых мастеров. Но даже большие гонорары, сложенные вместе, не потянут на несколько лишних миллионов. Чем же он занимался?

— Артур, замолчи наконец, — сказала Мария. —

Ты обещал не мешать Симону.

— Прошу прощения. Симон, продолжай. Ты знаешь, откуда взялись эти лишние деньги?

— Нет, но это далеко не самое важное из всего, чего я не знаю. Я просто не знаю, кем он был.

— Но как ты можешь не знать? То есть я хочу сказать, есть же факты, которые можно проверить.

— Да, есть, но они не укладываются в портрет человека, которого мы знали.

— Я его совсем не знала. Даже не видела никогда, — вставила Мария.

— Я его тоже не знал по-настоящему, — сказал Артур. — Видел его несколько раз еще в детстве, на больших семейных сборищах. Он редко на них появлялся и, кажется, не ладил с родней. Он каждый раз давал мне деньги. Не десять долларов, как обычно дядюшки племянникам на карманные расходы: он тайком совал мне конверт, в котором могла оказаться сотня. Целое состояние для школьника, которого воспитывали в духе уважения к деньгам и бережливости. И еще одно мне запомнилось: он никогда не здоровался за руку.

— Я знал его намного лучше, чем вы двое, и он даже со мной никогда не здоровался за руку, —

сказал Даркур. — Мы подружились на почве общих интересов — к музыке, рукописям, каллиграфии и все такое. И конечно, я был одним из исполнителей по завещанию. Но никаких рукопожатий! Фрэнк однажды сказал мне, что терпеть не может здороваться за руку. Что стоит ему коснуться чужой руки, и к его руке прилипает запах смерти. Если собеседник совершенно не понимал сигналов и Фрэнку не удавалось отвертеться от рукопожатия, он сразу бежал в ванную и мыл руки. Невроз навязчивых движений.

— Странно, — сказал Артур. — С виду он не выглядел особенно чистоплотным.

— Он редко мылся. У него было три квартиры, с шестью ванными комнатами в общей сложности. Когда мы начали разбирать его вещи, оказалось, что все ванны заполнены горами картин, набросков, книг, рукописей и тому подобным. Я даже не поручусь, что краны в них все еще работали после стольких лет полного бездействия. Но Фрэнк оставил себе один санузел в прихожей размером со стенной шкаф и там бесконечно мыл руки. Ладони у него всегда были белоснежные, хотя в остальном от него попахивало.

— Ты собираешься вставить это в книгу?

— Конечно. Он не вонял. От него пахло, как от

старинной книги в кожаном переплете.

— Звучит очень мило, — заметила Мария. — Жулик с ароматом старинной книги. Человек эпохи Возрождения, но без пьянства и дуэлей на мечах.

— Определенно без пьянства, — подтвердил Даркур. — Он вообще не пил — во всяком случае, дома. Но никогда не отказывался пропустить стаканчик или даже несколько, если платил кто-нибудь другой. Он был ужасным скрягой.

— Все лучше и лучше, — сказала Мария. — Жуликоватый скупердяй, пропахший книгами. Симон, я уверена, что у тебя получится отличная биография.

— Помолчи, Мария; я знаю, что ты романтик и тебе симпатичны жулики, но надо себя контролировать. Это все ее цыганская кровь, — объяснил Артур Даркуру.

— Пожалуйста, помолчите оба и дайте мне наконец рассказать! — воскликнул Даркур. — Я не намерен писать авантюрный роман; я собираюсь выполнить твою просьбу почти двухлетней давности, а именно создать солидный труд на научной основе, желательно не смертельно скучный: биографию покойного Фрэнсиса Корниша. Это должно стать первым проектом только что

созданного Фонда Корниша по содействию искусствам и гуманитарным наукам, у которого на данный момент ровно два директора: ты и я. И пожалуйста, Артур, не говори, что ты мне заказал эту книгу. Ты не заплатил мне ни единого цента, и у тебя нет ни клочка бумаги, который сошел бы за контракт. Это был вопрос дружбы, а не денег. Ты решил, что хорошая книга про дядю Фрэнка станет неплохим началом деятельности замечательного фонда, созданного для развития всяческих прекрасных вещей, которые, по твоему мнению, любил дядя Фрэнк. Типично канадская история — всё в высшей степени хорошо и мило. Но я не могу найти для этой книги нужных фактов, а те, что я нахожу, сделают книгу скандальной. Опасения Артура совершенно справедливы.

— Эти факты замарают наш фонд и имя Корнишей, — вставил Артур.

— Не знаю насчет имени Корнишей, но если фонд готов раздавать деньги, то, скорее всего, ученые и художники не будут сильно привередничать, — заметил Даркур. — Ученые и художники обычно не испытывают угрызений совести по поводу денег. Они не побрезгуют даже доходами от детской проституции. Вам, двум невинным

голубкам, еще предстоит это выяснить.

— Симон, похоже, ты не разбавил виски, — сказала Мария. — Ты начинаешь нас запугивать. Это хорошо.

— Да, почти не разбавлял, и я хочу еще стакан такого же, и еще я хочу, чтобы вы меня больше не перебивали и дали наконец рассказать, что я знаю и чего не знаю!

— Один крепкий виски для профессора-преподобного! — возгласил Артур и пошел наливать. — Симон, давай дальше. Что у тебя на самом деле есть?

— Ну, можно начать с некролога, опубликованного в лондонской «Таймс» в понедельник, следующий за кончиной Фрэнсиса. Там неплохо изложено мнение всего света о вашем покойном родственнике, и источник чрезвычайно авторитетный.

— В самом деле? — спросила Мария.

— Если «Таймс» гарантирует, что некий канадец скончался, значит он действительно что-то собой представлял. Фигура мирового значения.

— Можно подумать, некрологи лондонской «Таймс» — циркуляры из Царствия Небесного и составляет их ангел-регистратор.

— Что ж, это не так далеко от истины. В «Нью-

Йорк таймс» был напечатан другой некролог, гораздо длиннее, но это совсем не то. У британцев есть кое-какие необычные таланты, в том числе составлять некрологи. Коротко, стильно, и бьют в полную силу, если есть чем бить. Но они либо не знали кое-каких общеизвестных вещей о Фрэнсисе, либо предпочли о них умолчать. А теперь слушайте. Я буду читать голосом «Таймс».

ФРЭНСИС ЧИГУИДДЕН КОРНИШ

12 сентября, в воскресенье, в свой семьдесят второй день рождения, Фрэнсис Чигуидден Корниш, всемирно известный эксперт по искусству и коллекционер, скончался в своем доме в г. Торонто (Канада). В момент смерти он был один.

Фрэнсис Корниш свыше сорока лет подвизался на поприще искусствоведения, специализируясь на живописи шестнадцатого века и маньеризма. В послужном списке Корниша — многочисленные открытия, опровержение ранее господствовавших мнений, конфликты. Он был известен своими независимыми мнениями и часто эпатировал носителей хорошего вкуса. Его авторитет базировался на

выдающихся познаниях в области техники живописи и виртуозном владении приемами иконологии — относительно нового критического подхода. По-видимому, Корниш также многим был обязан замечательно развитой интуиции: он не стеснялся ее демонстрировать, к огорчению многих прославленных экспертов, с которыми неустанно спорил.

Фрэнсис Корниш родился в Блэрлогги, отдаленном поселке, расположенном в провинции Онтарио. Всю жизнь Фрэнсис пользовался свободой, какую предоставляет значительное состояние. Отец Фрэнсиса происходил из старинного знатного корнуолльского рода; мать (урожденная Макрори) — из канадской семьи, составившей капитал сначала торговлей лесом, а затем в финансовой сфере. Корниш никогда не участвовал в семейном бизнесе, но унаследовал его обильные плоды и имел возможность поддерживать все свои начинания с помощью тугого кошелька. Пока не известно, как он распорядился своими выдающимися коллекциями.

Фрэнсис окончил школу в Канаде и получил образование в колледже Тела Христова (Оксфорд), после чего много путешествовал. Много лет он был коллегой и учеником Танкреда Сарацини, уроженца Рима. Существует мнение, что Корниш перенял у Сарацини ряд чудачеств и сделал их частью собственного мизантропического характера. Но, несмотря на эксцентричность Корниша, о нем всегда можно было сказать, что для него искусство обладает всей мудростью поэзии.[1]

Во время и после войны 1939–1945 годов Корниш был членом объединенной группы искусствоведов при антигитлеровской коалиции. Группа, в работу которой Корниш внес чрезвычайно ценный вклад, занималась поиском и возвращением произведений искусства, перемещенных во время военных дей-

[1] Примечания: 1

…для него искусство обладает всей мудростью поэзии. — Аллюзия на фразу Бена Джонсона «Кто не любит картин, тот ненавистник правды и всей мудрости поэзии» («Whosoever loves not picture is injurious to truth, and all the wisdom of poetry») из сборника эссе «Timber; or, Discoveries made upon men and matter» («Леса, или Открытия о людях и разных предметах»), Бен Джонсон (1572–1637) — английский поэт и один из трех крупнейших, наряду с Шекспиром и Марло, драматургов Елизаветинской эпохи.

ствий.

В более поздние годы Корниш сделал несколько щедрых пожертвований картин Национальной галерее Канады.

Он никогда не был женат, и у него не осталось прямых наследников. Из надежных источников известно, что в обстоятельствах смерти нет ничего подозрительного.

— Мне не нравится, — сказала Мария. — Это как-то через губу написано.

— Вы просто не знаете, сколько снобизма может быть в некрологах «Таймс». Я подозреваю, что большую часть этого текста написал Эйлвин Росс, который думал, что переживет Фрэнсиса и хорошенько похихикает над последней фразой. В сущности, этот некролог — снисходительный отзыв Росса о человеке, который неизмеримо превосходил его. В некрологе звучит вопрос — это практически фирменное клеймо Росса. На самом деле текст неплохой, если принять во внимание все обстоятельства.

— Какие обстоятельства? — насторожился Артур. — И что значит «нет ничего подозрительного»? Кто-то утверждал обратное?

— Не в этом некрологе, — объяснил Даркур. — Но кое-кто из европейских знакомых Корниша мог заподозрить неладное. Не будьте слишком строги: очевидно, что Росс наложил вето на публикацию кое-каких данных, которых не могло не быть в досье «Таймс».

— Например?

— Ну, например, здесь нет ни слова об ужасном скандале, который убил Жан-Пауля Летцтпфеннига и сделал Фрэнсису имя среди искусствоведов. Репутации валились направо и налево. Даже Беренсон[2] самую чуточку поблек.

— Похоже, ты хорошо осведомлен, — сказал Артур. — Но если дядя Фрэнк в результате оказался на коне, то это все к лучшему. Кто такой Танкред Сарацини?

---

[2] Примечания: 2

Беренсон, Бернард (1865–1959) — американский историк искусств и художественный критик, родился в селе Бутрыманцы Трокского уезда Виленской губернии. При жизни считался крупнейшим в США авторитетом в области живописи итальянского Ренессанса. Благодаря своему непререкаемому авторитету Беренсон, зачастую негласно, выступал художественным советником при покупке картин старых мастеров американцами. По его рекомендациям сотни, если не тысячи первоклассных полотен покинули собрания Европы и осели за океаном. Благодаря пятипроцентной комиссии, взимавшейся с коллекционера за благоприятную для него атрибуцию холста, Беренсон стал состоятельным человеком и приобрел старинную виллу «И Татти» во Фьезоле, близ Флоренции. Там он проживал постоянно даже во время Второй мировой войны. По завещанию Беренсона, вилла со всеми находившимися на ней художественными ценностями отошла Гарвардскому университету.

— Странный тип. Коллекционер, но прославился главным образом как блестящий реставратор картин старых мастеров. Все большие галереи пользовались его услугами или консультировались с ним. Но через его руки прошли и ушли в другие коллекции кое-какие подозрительные вещи. О нем, так же как и о твоем дяде Фрэнке, ходили слухи, что он слишком хорошо рисует. Росс его ненавидел.

— И что, «Таймс» не нашла сказать о Фрэнсисе ничего лучшего? — спросила Мария.

— А вы заметили: он окончил школу в Канаде, но образование получил в Оксфорде? — сказал Артур. — Ох уж эти англичане!

— В редакции «Таймс» поступили великодушно, по их меркам, — сказал Даркур. — Они напечатали письмо, которое я послал им сразу после прочтения некролога. Слушайте: это из газеты от двадцать шестого сентября.

ФРЭНСИС КОРНИШ

Профессор преподобный Симон Даркур пишет:

«Опубликованный вами некролог моего друга Фрэнсиса Корниша (в выпуске от 13 сентября) не искажает фактов, но рису-

ет чрезмерно мрачный портрет человека, который порой бывал резок и труден в общении, но, кроме того, отличался щедростью и добротой к многочисленным окружающим его людям. Насколько я знаю, никто ни на секунду не подозревал, что его смерть могла последовать от каких бы то ни было неестественных причин.

Многие выдающиеся искусствоведы знали Корниша как прекрасного специалиста, охотно помогающего коллегам. Возможно, он вызвал — из-за своей работы с Сарацини — недоверие некоторых людей, ставших мишенью неприязни этого амбициозного деятеля от искусства. Однако авторитет Корниша, основанный на глубочайших познаниях, был полностью заслуженным. Известно, что даже покойный лорд Кларк несколько раз обращался к Корнишу за консультацией. Корниш редко наносил первый удар в ссоре, хотя следует признать, что он не торопился загладить конфликт или забыть обиду.

Его слава как специалиста по живопи-

си затмевала его значительные достижения в области изучения и научной экспертизы книжных иллюстраций и каллиграфии — области, которую не слишком жалуют критики живописи и скульптуры. Корниш, однако, был уверен в важности этой дисциплины как источника полезных сведений. Помимо этого, Корниш был знатоком и собирателем музыкальных рукописей.

В поздний период своей жизни в Канаде, начиная с 1957 года, Корниш всячески поощрял развитие канадской живописи, хотя его презрение к тому, что он считал псевдопсихологической мишурой, характерной для некоторых современных движений, породило немало конфликтов. Его собственный эстетический подход был тщательно продуман и опирался на философские принципы.

Без сомнения, Корниш был эксцентричен. Но, помимо этого, он был замечательно талантливым человеком и избегал шумихи. Когда его коллекции будут изучены, может оказаться, что он был более значительной фигурой в искусстве своего

времени, нежели считается сейчас».

— Совсем другое дело, — сказала Мария. — Но все равно не очень-то восторженный отзыв.

— Мое дело не писать восторженные отзывы, а говорить правду — как друг, как ученый и как человек, видящий то, что перед ним.

— Ну так ты и в книге можешь это делать.

— Не может, если это значит обличить дядю Фрэнка в подделке картин.

— Артур, не увлекайся. Самое страшное, что ты можешь сделать, — заявить, что моя книга не получит корнишевских денег, если Фрэнсис не будет представлен в виде ангела. Ты забываешь, что я всегда могу найти стороннего издателя. Я неплохо пишу, а книга, способная вызвать скандал, привлекает издателей, потому что сулит прибыль.

— Симон! Ты не посмеешь!

— Посмею, если будешь на меня давить.

— Я не собирался на тебя давить.

— Именно это ты и делаешь. Вы, богачи, думаете, что все в вашей власти. Если я решу писать эту книгу самостоятельно, ты не сможешь мне помешать.

— Мы можем отказать тебе в информации.

— Могли бы, если бы она у вас была, но у вас ее нет, и вы это прекрасно знаете.

— Мы можем подать на тебя в суд за диффамацию.

— Я буду очень осторожно отзываться о ныне живущих Корнишах, а что до покойников, то ты, конечно, знаешь, что на них законы о диффамации не распространяются.

— Ну-ка хватит говорить глупости и угрожать друг другу! — воскликнула Мария. — Если я правильно поняла Симона, ему мешают именно недостаток информации и невнятные подозрения. Но, Симон, что-то же у тебя должно быть. Жизнь любого человека можно раскопать до определенной степени.

— Да, так поступают дешевые писаки — подпускают многозначительных намеков, и получаются дрянные книжонки. Но я не из таких. У меня есть собственная гордость, даже определенная репутация, хоть и маленькая. Если я не могу написать хорошую книгу о Фрэнке, я вообще ничего писать не буду.

— Но вся эта история с Сарацини и то, что в «Таймс» умолчали про того, другого, который умер, или был убит, или что там, — уж наверное, это можно раскопать и нарастить мяса на

костяк. Хотя если в результате дядя Фрэнсис в книге выйдет жуликом, я надеюсь, ты сделаешь что можешь. — Артур, кажется, понемногу успокаивался.

— А, это. Это-то я могу. Но мне нужна подоплека. Как Фрэнсис попал в ту компанию? Какие черты характера привели его в соприкосновение именно с этими людьми, не дали остаться чистеньким, подобно Беренсону и Кларку? Как богатый дилетант — а Фрэнк именно богатый дилетант — затесался среди таких подозрительных типов?

— Наверно, просто повезло, — сказал Артур. — То, что происходит с людьми, очень часто — обычное везение или невезение, как в игре.

— Неправда, — заявил Даркур. — То, что мы называем удачей, — внешнее выражение внутреннего «я». Мы сами причина того, что с нами происходит. Я знаю, это звучит ужасно и жестоко, потому что с людьми случаются всякие ужасы, и это не может объяснять все. Но объясняет многое.

— Как ты можешь такое говорить?! — возмутился Артур. — При рождении судьба сдает человеку карты; если кому-то на раздаче пришли одни двойки и тройки, самое большее пятерка, — что он может сделать против человека с полным

флешем? И не говори мне, что все зависит от игрока. Ты не играешь ни в бридж, ни в покер — ты просто не знаешь.

— Да, я не играю в карты, но я богослов, и неплохой. А значит, я лучше представляю себе ставки этой игры, чем ты, банкир ты несчастный. Конечно, каждому приходит своя раздача, но время от времени человеку дается возможность вытянуть новую карту, верно ведь? И вытянутая карта при случае может все изменить. А от чего зависит, какая карта попадется человеку? От рождения Фрэнсису пришли хорошие, надежные карты, но раза два или три ему выпадал шанс вытянуть еще одну, и, похоже, каждый раз ему приходили джокеры. Знаете почему?

— Нет. И ты не знаешь.

— А мне кажется, знаю. В бумагах твоего дяди я нашел пачку гороскопов, которые он заказывал для себя в разные годы. Он был суеверен, знаешь ли, — если астрологию можно считать суеверием.

— А разве нет?

— Я воздерживаюсь от суждения. Важно то, что он в нее верил, до определенной степени. И вот что: судя по его дню рождения, в его гороскопе господствовал Меркурий, причем в этот момент

он находился в зените.

— И что?

— Что «что»? Вот Мария меня понимает. Ведь ее мать — прекрасная гадалка. Меркурий! Покровитель жуликов, джокер, высший из козырей, проказник, расстраивающий все расчеты.

— Это не все, — вставила Мария. — Он еще и Гермес, примиритель противоположностей, находящийся за пределами обычных представлений о морали.

— Именно. Если когда на свете и жил истинный сын Гермеса, это был Фрэнсис Корниш.

— Ну раз вы так заговорили, я вас оставлю, — сказал Артур. — Не из отвращения, а по причине своего невежества. Я нахватался кое-каких знаний от Марии, так что примерно понимаю, о чем вы говорите, но сейчас мне пора. У меня самолет в семь утра, а значит, мне надо встать в пять и быть в аэропорту не позже шести — таковы прелесть и удобство современных способов передвижения. Так что, Симон, я налью тебе еще и пожелаю спокойной ночи.

Так он и сделал, а затем нежно поцеловал жену и сказал ей, чтобы даже не смела просыпаться утром и провожать его.

— Да, Артур наливает не скупясь, — заметил

Даркур.

— Потому что он видел, что тебе надо выпить, и чего покрепче. Он ужасно добрый и внимательный, хоть и расшумелся, как банкир, из-за этой книги. Ты же понимаешь почему. Его выбивает из колеи любая тень сомнения в респектабельности Корнишей — потому что он сам в глубине души сомневается. Конечно, для менял у Корнишей безупречная репутация, но банковское дело очень похоже на религию: кое-какие сомнительные постулаты приходится принимать на веру, и тогда все остальное потрясающе логично следует из них. Допустим, Фрэнсис был жуликоват — он тень этой семьи банкиров, а им не положено отбрасывать тени. Но был ли он действительно жуликом? Ну, Симон, расскажи, что тебя на самом деле тревожит.

— Ранние годы. Блэрлогги.

— Где это — Блэрлогги?

— Ты заговорила совсем как «Таймс». Я могу примерно рассказать тебе, как это выглядит сегодня. Я совершил паломничество, как подобает хорошему биографу. Это городок, он расположен в долине реки Оттавы, милях в шестидесяти к северо-западу от города Оттавы. Глубинка. Сейчас туда можно отлично доехать на машине, но,

когда Фрэнсис только родился, многие считали Блэрлогги дальним полустанком, потому что туда можно было добраться только на очень примитивном поезде. Тогда в городке жило тысяч пять народу, в основном шотландцы… Я встал на главной улице города и осмотрелся в поисках улик, надеясь на озарение. Но я прекрасно понимал: то, что я вижу, не имеет ничего общего с тем, что видел маленький Фрэнсис в начале века. «Сент-Килду», дом его деда,[3] поделили на квартиры. В доме его родителей, «Чигуидден-лодж», теперь располагается «Дивное похоронное бюро Девинни», именно дивное, и это никому не кажется смешным. Лесопильное дело, на котором Корниши сколотили себе состояние, полностью преобразилось. Оперный театр Макрори снесен, и от самих Макрори ничего не осталось, кроме нудных краеведческих заметок, написанных бездарными дилетантами. В нынешнем Блэрлогги уже никто не помнит Фрэнсиса, и жители

[3] Примечания: 3

«Сент-Килду», дом его деда… — Дом назван в честь шотландского архипелага Сент-Килда, составленного самыми западными из Внешних Гебридских островов. Архипелаг полностью находится в собственности Национального общества охраны памятников Шотландии. О происхождении названия Сент-Килда идут споры; святого с таким именем не существует, и принято считать, что известное с XVII в. название возникло как искажение норвежских и гэльских слов, означающих «источник», «колодец».

никак не отреагировали на сообщение, что он знаменит. От Фрэнсисова деда остались кое-какие картины; они попали в местную библиотеку, но хранились в сыром погребе и почти полностью погибли. Викторианский мусор самого низкого пошиба. В общем, моя поездка была почти безрезультатной.

— Неужели детские годы так важны?

— Мария, ты меня удивляешь! Разве твои детские годы не были важны? Они — матрица, на которую нарастает вся остальная жизнь.

— И все это потеряно?

— Да, безвозвратно.

— Разве что тебе удастся поболтать с главным ангелом-регистратором.

— Я думаю, что таких не бывает. Каждый человек сам себе ангел-регистратор.

— Значит, я догматичней тебя. Я верю, что ангел-регистратор существует. Я даже знаю, как его зовут.

— Да ну, у вас, медиевистов, для всего есть имена. Кто-то когда-то их выдумал, вот и все.

— А может, они кому-то когда-то открылись в озарении свыше? Симон, не упрямься. Ангела-регистратора зовут Радвериил, и он не простой писарь: он — ангел поэзии и повелитель муз. И

еще у него есть свита.

— Свиток? Покрытый таинственными письменами?

— Да нет же, свита; ему подчиняются другие ангелы. Один из самых важных — ангел биографий, по имени Цадкиил Малый. Именно он вмешался, когда Авраам собрался принести в жертву Исаака. Так что он еще и ангел милосердия — в отличие от большинства биографов. Цадкиил Малый рассказал бы тебе всю подноготную Фрэнсиса Корниша.

Даркур уже очевидно опьянел и впал в лирическое настроение:

— Мария… милая… Прости, я сказал глупость про ангела-регистратора. Конечно, он существует — как метафора безграничной истории человечества, и нечеловечества, и всего неодушевленного, и всего, что когда-либо существовало. Такая история должна где-то быть, иначе вся жизнь сводится к дурацкой конторской папке без начала и без какого-либо внятного конца. Милая! Говорить с тобой — просто наслаждение, потому что ты мыслишь, как средневековый человек. У тебя для всего найдется олицетворение или символ. Ты не разводишь бодягу про этику: ты говоришь о святых, о покрове, который они простирают над

людьми, об их влиянии. Ты не опускаешься до водянистых словечек типа «сверхъестественный», а прямо говоришь о небесах и преисподней. Не твердишь как попугай «неврозы», а просто говоришь «демоны».

— Да, я в самом деле выражаюсь не очень научно, — согласилась Мария.

— Ну, наука — это богословие нашего времени, и она — точно такая же каша противоречащих друг другу утверждений. Но что меня больше всего удручает, так это убогий словарь и жалкий набор образов, который наука предлагает нам, скромным мирянам, для просвещения и для выражения веры. Раньше священник в черной рясе открывал нам мир, который, по-видимому, существовал независимо от нас; мы молились Божьей Матери, и кто-то заботливо подсовывал нам Ее образ, который выглядел именно так, как надо. Жрец нового времени — в белом лабораторном халате — не открывает нам ничего, кроме изменчивого набора слов, которые не может толком произнести, поскольку не знает греческого. А от нас ожидают слепого доверия к этому жрецу: подразумевается, что мы слишком тупы, чтобы понять, о чем он говорит. За всю свою письменную историю род человеческий не знал более

самонадеянного, надутого священства. Его нищета в том, что касается символов и метафор, его стремление абстрагировать все и вся загоняют голодающее воображение человечества в бесплодную пустыню. Но ты, Мария, изъясняешься древним языком, и твои слова попадают в самое сердце. Ты говоришь об ангеле-регистраторе и о его подчиненных — и мы оба в точности знаем, что ты имеешь в виду. Ты даешь понятные и удобные имена психологическим фактам, и Господь — еще один эффективно поименованный психологический факт — да благословит тебя за это.

— Симон, ты несешь чепуху, и тебе уже пора домой.

— Да-да-да. Конечно. Сию минуту. Сейчас попробую встать… Ой!

— Нет-нет, погоди, я тебя провожу. Но пока ты не ушел, скажи мне, что именно про Фрэнсиса ты пытался искать и не нашел?

— Детские годы! Это ключ ко всему. Не единственный, но первый ключ к загадке человеческого характера. Кто были его воспитатели, что они собой представляли, во что верили? Какую неизгладимую печать оставили, какие усвоенные с детства поверья человек носит в себе, даже когда думает, что уже давно от них избавился?

Школы… Школы, Мария! Погляди, что сделал Колборн-колледж с Артуром! Ничего плохого… во всяком случае, не только плохое… но все это до сих пор сидит в нем, от узла, которым он завязывает галстук, до способов чистки обуви и манеры писать юмористические благодарственные записочки людям, у которых он ужинал. И еще тысяча мелочей, скрытых от посторонних глаз, — вот как его мещанская реакция на предположение, что Фрэнсис, возможно, был не совсем добропорядочен. Ну вот… а что собой представляли школы в Блэрлогги? Фрэнсис не выезжал из города до пятнадцати лет. Именно эти школы оставили на нем свои клейма. Конечно, я могу все выдумать. О, будь я бессовестным, как большинство биографов, я бы все выдумал! Не грубо, конечно, — это был бы художественный вымысел, возведенный до уровня искусства! И он был бы правдой… в своем роде. Помнишь, как у Браунинга:

> *…Таким, как я, один остался способ*
>
> *Поведать правду. Звать его — Искусство…*[4]

---

[4] Примечания: 4

…Таким, как я, один остался способ… — Роберт Браунинг. Кольцо и книга.

Здесь и далее, если не оговорено иное, перевод стихов выполнен Д. Никоновой.

Насколько лучше я мог бы послужить Фрэнсису, если бы обладал свободой вымысла.

— О Симон, я и так знаю, что в душе ты художник…

— Да, я художник, но я прикован к биографии, а она должна сохранять хоть какое-то подобие фактов.

— Это зависит от твоих моральных норм.

— И от того, как я вижу свою ответственность перед обществом. Но как же совесть художника? Про нее обычно забывают. Я хочу написать по-настоящему хорошую книгу. Не только правдивую, но и такую, которую будет приятно читать. У каждого человека доминирует определенный тип совести, и вот во мне совесть художника отпихивает в сторону все остальные нормы. Ты знаешь, что я думаю, по-честному?

— Нет, но ты явно хочешь мне признаться.

— Я думаю, что у Фрэнсиса наверняка был даймон. Очень уж сильно на него влиял Меркурий-Гермес. Ты знаешь, что такое даймон?

— Да, но ты все равно расскажи.

— Конечно. Я все время забываю, сколько ты всего знаешь. Правда, ты вышла замуж за богача, и теперь как-то не верится, что ты можешь знать что-нибудь по-настоящему интересное. Но ты

же дочь своей матери, восхитительной старой жуликоватой сивиллы! Ты, конечно, знаешь, кого Гесиод называл даймонами: духов золотого века, наставников для простых смертных. Даймоны — не скучное проявление моральных норм, как ангелы-хранители, которым подавай добродетель в духе воскресной школы. Нет, даймоны — олицетворение совести художника, они подпитывают его энергией, когда надо, и шепчут на ухо подсказки, если работа застопорилась. Даймоны идут рука об руку не с добродетелью в ее христианском понимании, но с судьбой. Это — джокер в колоде. Высший козырь, кроющий все остальные!

— Это можно назвать интуицией.

— В жопу интуицию! Она — серый и унылый психологический термин. Концепция даймона мне нравится гораздо больше. Ты не знаешь имен каких-нибудь подходящих даймонов?

— Я только одно знаю. Оно попалось мне на античной гемме. Маймас. Кажется, я тоже слегка опьянела. Вот если бы тебе удалось поговорить с Цадкиилом Малым и с… ладно, будем звать его Маймасом… ты бы узнал про Фрэнсиса абсолютно все.

— Еще бы, клянусь Богом! Тогда у меня было бы

все, что нужно. Я бы знал, что заложено в костях старика Фрэнсиса. Ибо что в костях заложено, то из мяса не выбьешь, и мы должны всегда об этом помнить. Ох, мне и правда пора идти.

Даркур опрокинул в рот все, что оставалось на дне стакана, очень символически обозначил поцелуй на лице Марии — где-то возле носа — и, шатаясь, побрел к двери.

Мария встала — тоже не очень твердо держась на ногах — и взяла его под руку. Не предложить ли отвезти его домой на машине? Нет, гораздо лучше, если он доберется сам — заодно и протрезвеет слегка от прохладного воздуха. Но Мария все же вывела его в коридор пентхауса, где они жили с Артуром, и подтолкнула в направлении лифта.

Двери закрылись, лифт поехал вниз, но Мария еще долго слышала крики Даркура:

— Что заложено в костях! О, что же заложено в костях?

Цадкиил Малый и даймон Маймас, привлеченные звуками собственных имен, слетелись послушать и нашли этот разговор забавным.

— Бедный Даркур, — сказал ангел биографии. — Конечно, ему никогда не вызнать всей правды про Фрэнсиса Корниша.

— Даже мы не знаем всей правды, брат, — от-

ветил даймон Маймас. — Воистину, я уж и забыл многое из того, что знал, когда судьба Фрэнсиса меня полностью занимала.

— Быть может, тебя развлечет, если мы повспоминаем эту историю — насколько мы с тобой ее знаем? — спросил ангел.

— Поистине развлечет. Ты весьма заботлив, брат. Запись, или пленка, или как это называется — у тебя. Поставь ее, пожалуйста.

— Нет ничего проще! — воскликнул ангел.

Что же было заложено в костях?

Начнем с того, что когда Фрэнсис родился в Блэрлогги, этот город вовсе не был дальним полустанком, и его жители весьма оскорбились бы, услышав нечто подобное. Они считали Блэрлогги процветающим городком и пупом вселенной. Блэрлогги уверенно шагал в двадцатый век, который великий канадский премьер-министр сэр Уилфрид Лорье объявил веком Канады. То, что со стороны могло показаться недостатками, жители города считали достоинствами. Конечно, в город вели не очень хорошие дороги, но они были такие спокон веку — с тех самых пор, как их проложили, и люди ездили по этим дорогам, принимая их как есть. Если внешнему миру так уж хотелось насладиться обществом Блэрлогги, он вполне мог это сделать, проехав шестьдесят миль по железной дороге, которая местами вгрызалась в твердейший гранит Канадского щита — геологического образования незапамятной древности. Город Блэрлогги не считал нужным облегчать дорогу чужакам.

Как положено, деньги и деловые предприятия города были в основном сосредоточены в руках

шотландцев. Ниже шотландцев в иерархии, определяемой деньгами, стояли более многочисленные канадцы французского происхождения, в том числе несколько довольно богатых коммерсантов. В самом низу финансовой и социальной пирамиды находились поляки — рабочие и мелкие фермеры. Из их рядов высшие классы вербовали себе прислугу. Всего в городе жило около пяти тысяч человек, и каждый точно знал, где его место.

Шотландцы исповедовали пресвитерианство, а мы ведем речь о Канаде на рубеже веков, где религиозная принадлежность и политические взгляды человека были важными факторами, определяющими его жизнь. Возможно, эти пресвитерианцы затруднились бы сформулировать доктрину предопределения, лежащую в основе их веры, но они совершенно точно знали, кто входит в число избранных, а чье положение в будущей жизни не столь надежно.

Французы и поляки принадлежали к Римско-католической церкви, тоже совершенно точно знали, где стоят в отношении к Богу, и были вполне довольны своим положением. Еще в городке было несколько ирландцев, тоже католиков, и горстка людей других национальностей,

в основном разного рода помесей. Эти ходили в жалкие церквушки, подходящие к их причудливым верованиям, — как правило, временные молельни, устроенные в пустующих лавках. Там царили голосистые бродячие проповедники, которые постоянно менялись, а в витринах вывешивались плакаты, изображающие Апокалиптического Зверя в самых чудовищных подробностях. Евреев, черных и прочих подозрительных элементов в городе не было.

Город можно было бы представить в виде свадебного торта: поляки — нижний слой, самый обширный, несущий на себе самую большую тяжесть; французы — средний слой, поменьше числом, но больше на виду; шотландцы — самый маленький и самый верхний слой, богаче всего украшенный.

Ни один город не бывает абсолютно простым. Любителей совершенства и размеренности во всем немало удивляла игра судьбы, чьей волей сенатор, самый богатый и влиятельный человек в Блэрлогги, не укладывался в предписанные рамки: он был шотландец, но католик, богач, но либерал, и притом женат на француженке.

Это правильно, что мы начали с сенатора, так как он приходился дедом Фрэнсису Чигуидде-

ну Корнишу и с него же началось то богатство, благодаря которому Фрэнсис вел обеспеченную жизнь, пока не обзавелся собственным неизвестно откуда взявшимся капиталом.

Сенатор, достопочтенный Джеймс Игнациус Макрори, родился в 1855 году на острове Барра, на Гебридах. В 1857 году родители привезли его в Канаду. В прекрасной Шотландии они, как и многие другие, голодали. На новой родине они зажили несколько лучше, чем на старой, но так и не выгнали из нутра боль голода и горькой нужды. Однако их сын Джеймс, которого родители называли Хэмиш — по-гэльски, ибо на этом языке они говорили дома, — ненавидел голод и еще ребенком поклялся, что навсегда отгонит от себя бедность. Клятву эту он сдержал. Из нужды он рано начал работать в лесах, составляющих часть богатства Канады. Благодаря честолюбию и смелости в сочетании с врожденной дальновидностью (а также умением драться на кулаках — и ногами, если кулаков оказывалось недостаточно) он довольно рано стал десятником, потом начал брать подряды для компаний, торгующих лесом, и, когда ему не было еще и тридцати, сделался владельцем собственной компании — к этому времени он уже был богатым человеком.

История вполне заурядная, но — как все, что связано с Хэмишем, — не без интересных подробностей. Он не женился по расчету на какой-нибудь дочке лесного магната, а выбрал невесту по любви. Марии-Луизе Тибодо было двадцать лет, а ему — двадцать семь, и после свадьбы он ни разу не взглянул ни на какую другую женщину. Жизнь в лагерях лесорубов не ожесточила его: став работодателем, он по-человечески обращался с рабочими, а разбогатев, щедро жертвовал на благотворительность и на либеральную партию.

И действительно, либеральная партия, наряду с Марией-Луизой и еще одним человеком, стала большой любовью всей его жизни. Он никогда не выдвигал свою кандидатуру в парламент, но поддерживал и финансировал другие кандидатуры. Когда ему уже больше не нужно было жить рядом с лесами, он устроился в Блэрлогги; в той мере, в какой в Блэрлогги существовал партийный механизм, мозгами этого механизма был Хэмиш Макрори. Поэтому никто не удивился, когда Уилфрид Лорье назначил Макрори в сенат. Макрори не было еще и сорока пяти, — таким образом, он стал самым молодым из членов верхней палаты и, несомненно, оказался самым способным из них.

Тогда в канадский сенат назначали пожизненно. Часто сенатор, ступив на красный ковер верхней палаты, полностью терял интерес к политике. Но партийный пыл Хэмиша не угас после нового назначения, и сенатор Хэмиш стал еще более надежной опорой для Лорье в важной географической области — долине Оттавы.

— Скоро мы до моего доберемся? — спросил даймон Маймас, которому не терпелось внести свой вклад в повествование.

— Всему свое время, — ответил Цадкиил Малый. — Фрэнсиса нужно рассматривать на подобающем фоне; мы не можем начать с самого начала, но пренебрегать сенатором не следует. Таков биографический подход.

— Понятно. Ты хочешь рассматривать Фрэнсиса в свете принципа «наследственность против воспитания», а сенатор относится сразу и к тому и к другому.

— Наследственность и воспитание вообще невозможно разделить; иного мнения придерживаются только ученые и психологи, а уж про них-то мы все знаем.

— Еще бы! Мы за ними следим с тех самых пор, когда они были шаманами древних племен и скакали, ухая, вокруг костра. Продолжай. Но я

жду своего часа.

— Терпение. Время — это для тех, кто придавлен к земле его игом. А мы с тобой им не связаны.

— Я знаю. Я просто люблю поговорить.

Кроме Марии-Луизы, сенатор пламенно любил, хоть и по-другому, свою дочь, Марию-Джейкобину. Почему ее так назвали? Потому что Мария-Луиза надеялась, что у нее будет сын, и Джейкобина стала производным от Джейкоба, он же Иаков, он же Джеймс, он же Хэмиш. Кроме того, в этом имени слышалась приверженность дому Стюартов — оно вызывало в памяти злосчастного Иакова III и его еще более злосчастного сына, Красавчика принца Чарли.[5] Имя это с безупречной скромностью предложила сестра сенатора, мисс Мария-Бенедетта Макрори, которая жила вместе с братом и его женой. Мисс Макрори,

---

[5] Примечания: 5

…злосчастного Иакова III и его еще более злосчастного сына, Красавчика принца Чарли. — Джеймс Фрэнсис Эдуард Стюарт (1688–1766), известный как Старый Претендент, — претендент на английский престол (как Иаков III) и на шотландский (как Иаков VIII), сын низложенного в результате «Славной революции» (1688) Иакова II — последнего короля Англии из династии Стюартов. *Красавчик принц Чарли*, а также Молодой Претендент — прозвища Карла Эдуарда Стюарта (1720–1788), сына Иакова III; в 1766–1788 гг. он претендовал на английский и шотландский престолы как Карл III, став позднее героем шотландского фольклора.

которую домашние называли исключительно Мэри-Бен, была устрашающим существом, спрятанным в теле маленькой, сморщенной старой девы. Она придерживалась романтической уверенности в том, что ее предки, шотландцы-горцы, непременно были сторонниками Стюартов. Авторы прочитанных ею книг забыли упомянуть, что Иаков III и его сын были не только красавцами с романтичной внешностью, но и идиотами-неудачниками. Так что девочку назвали Марией-Джейкобиной, а домашние ласково и сокращенно звали ее Мэри-Джим.

У сенатора была и вторая дочь, Мария-Тереза, которую, конечно, перекрестили в Мэри-Тесс. Но Мэри-Джим была первой по рождению и занимала первое место в сердце отца. В городке же она играла роль наследной принцессы, но это ничуть не испортило ее характера. Сперва ее воспитывали дома — гувернантка, безупречная католичка с безупречными манерами, и мисс Макрори; когда девочка подросла, ее отправили в первоклассную школу при монастыре в Монреале, где настоятельницей была еще одна Макрори, мать Мария-Базиль. В семье Макрори придавали большое значение образованию; тетушка Мэри-Бен когда-то окончила ту же монастырскую школу,

которой сейчас правила мать Мария-Базиль. Макрори считали, что рука об руку с деньгами должны идти образованность и утонченность, и даже сенатор, которому почти не довелось ходить в школу, всю жизнь читал хорошие книги в большом количестве.

Семейство Макрори принесло достойную дань и Церкви, ибо, кроме матери Марии-Базиль, был еще дядя, Майкл Макрори, верный кандидат на епископскую кафедру где-нибудь на западе страны, как только там освободится подходящее место. Другие родственники не столь преуспели: Альфонс последний раз мелькнул в Сан-Франциско, и с тех пор о нем никто не слышал; Льюис спивался где-то на северных территориях, а Пол погиб на Англо-бурской войне, ничем особенным не отличившись. Судьба рода была в руках дочерей сенатора, и Мэри-Джим не могла этого не знать.

Возможно, она вообще об этом не думала, а если думала, то ее это не беспокоило: она хорошо училась, была не лишена обаяния и, как одна из самых хорошеньких девочек в школе, считала себя — и все родные ее считали — писаной красавицей. Как приятно быть красавицей!

У сенатора были великие планы на будущее

Мэри-Джим. Конечно, прозябание в Блэрлогги не для нее. Она должна удачно выйти замуж, и притом непременно за католика, поэтому ей следует вращаться в более широком кругу подходящих молодых людей, чем при всем желании может выставить Блэрлогги.

Деньги — вода, которая вертит мельницу. При таком богатстве отца Мэри-Джим, несомненно, должна была сделать не просто хорошую, а блестящую партию.

22 января 1901 года, когда Мэри-Джим было шестнадцать лет, умерла королева Виктория и на трон взошел Эдуард VII. Этот принц, любитель удовольствий, не скрывал, что собирается изменить социальный состав королевского двора. Он издал указ, гласящий, что отныне молодые девушки из хороших семей должны представляться своему королю не на унылых послеобеденных приемах, как было заведено при его матери, а на вечерних ассамблеях, по существу — балах. Кроме этого, король приказал открыть доступ ко двору семьям, которые не принадлежали к старой аристократии, но были, как выразился его величество, «на подъеме». Даже дочери магнатов из доминионов могли надеяться на такую честь, если их семья в достаточной степени обладала

этим качеством.

Сенатор сколотил состояние тем, что хватался за возможности, упущенные менее способными людьми. Мэри-Джим следовало представить ко двору. Сенатор взялся за дело — не спеша, методично и неостановимо.

Сначала ему повезло. Коронация короля-императора была отложена на год в знак траура по старой королеве. Потом его величество был нездоров, и в результате двор не собирался, пока королевская семья весной 1903 года не переехала в Букингемский дворец. Переезд ознаменовал начало сезона роскошных дворцовых балов. Именно тогда Мэри-Джим и представили ко двору; но все могло сорваться даже в последнюю минуту, и сенатору пришлось употребить все свободное время на достижение цели.

Он начал — вполне разумно — с того, что написал секретарю генерал-губернатора Канады,[6] лорда Минто, с просьбой о совете и, если можно, о помощи. В ответе говорилось, что дело очень тон-

---

[6] Примечания: 6

Генерал-губернатор Канады — должностное лицо, представляющее в Канаде британского короля или королеву. Канада входит в состав Содружества наций (добровольное межгосударственное объединение суверенных государств, объединяющее Великобританию и почти все ее бывшие доминионы, колонии и протектораты) и признает британского монарха в качестве главы государства.

кое и секретарь представит его на рассмотрение его превосходительства, улучив благоприятный момент. Но момент, похоже, оказался трудноуловимым, и через несколько недель сенатор написал снова. Оказалось, что представить вопрос пред очи его превосходительства не было возможности, так как его превосходительство, разумеется, был сильно занят в связи с церемониями, как предшествовавшими коронации, так и последовавшими за ней. Шел уже август. Секретарь намекнул, что дело не очень срочное, так как возраст юной дамы позволяет подождать. Сенатор задумался: а вдруг в резиденции генерал-губернатора все еще чураются семьи Макрори, памятуя тот несчастный случай двадцатилетней давности? К этому времени сенатор уже научился до определенной степени понимать, как мыслят придворные. Он решил пойти другим путем. И попросил у премьер-министра аудиенции на несколько минут по личному вопросу.

Сэр Уилфрид Лорье всегда готов был уделить несколько минут Хэмишу Макрори. Когда он услышал, что личный вопрос — просьба вежливо поторопить дела в канцелярии генерал-губернатора, он расплылся в улыбке. Лорье и Макрори беседовали между собой по-французски, по-

скольку дома сенатор постоянно говорил на этом языке, втором языке Канады, с женой. И Лорье, и Макрори были истовыми католиками и ощущали, не слишком подчеркивая, свою отдельность от очень английской группы, окопавшейся в канцелярии генерал-губернатора. Они не намерены были сносить пренебрежение. Сэр Уилфрид, как многие бездетные мужчины, очень любил все семейное, и у него потеплело на сердце при виде отца, желающего устлать ковром дорогу своей дочери в большую жизнь.

— Дорогой мой друг, будьте уверены, я сделаю все, что в моих силах, — сказал Лорье и чрезвычайно сердечно распрощался с Хэмишем.

Не прошло и недели, как Хэмишу сообщили, что он должен снова явиться к сэру Уилфриду. Великий муж был краток:

— Похоже, от его превосходительства мы ничего не добьемся. Напишите нашему представителю в Лондоне и объясните ему, что вам нужно. Я тоже напишу прямо сегодня. Если вообще возможно представить вашу дочь ко двору, мы это устроим.

Они это устроили, но это оказалось не быстро и не просто.

Верховный комиссар Канады в Лондоне носил

звучный титул барона Страткона и Маунт-Ройял, но письмо сенатора начиналось словами «Дорогой Дональд», ибо они были знакомы через Монреальский банк, в котором барон, тогда еще просто Дональд Смит, был президентом совета директоров. Он хорошо знал Хэмиша Макрори благодаря своего рода масонскому братству, объединяющему всех богатых людей, независимо от их политической платформы. Ответное письмо от барона пришло с первым же почтовым пароходом: да, это можно сделать, и супруга барона будет счастлива представить Мэри-Джим ко двору. Однако барон предупредил, что понадобится много времени, дипломатических усилий и, может быть, даже отчасти выкручивания рук, ибо семья Макрори далеко не одинока в своем желании.

Несколько месяцев сенатор получал отчеты. Дела идут хорошо: барон шепнул словечко государственному секретарю. Дела застопорились: барон надеется встретить Государственного секретаря в клубе и освежить его память. Дела так себе: Государственный секретарь сказал, что к нему обращались и другие люди, с более вескими притязаниями, а список дебютанток не может быть слишком длинным. Внезапная

удача: новозеландский магнат подавился рыбной костью и умер, и его дочь (не слишком охотно) погрузилась в траур. Дело практически верное, но не предпринимайте ничего, пока не получите официального приглашения. Все это время леди Страткона занималась подковерными интригами, к которым она, как дочь бывшего чиновника Торговой компании Гудзонова залива, имела природную склонность.

Наконец в декабре 1902 года пришли роскошные пригласительные билеты, и сенатор, который до тех пор носил тайну в себе, мог поделиться торжеством с Марией-Луизой и Мэри-Джим. Но то, как они встретили новость, его несколько разочаровало. Мария-Луиза немедленно засуетилась, говоря, что им нечего надеть, а Мэри-Джим сказала, что это очень мило, но, кажется, не особенно впечатлилась. Ни жена, ни дочь не осознали всего масштаба одержанной сенатором победы.

Но когда стали приходить письма от леди Страткона, до женщин, кажется, дошла вся важность будущего события. Леди Страткона подробно разъяснила все, что касается нарядов: им понадобятся туалеты не только для дворцового бала, но и для всего открываемого им лондонского

сезона балов. Матери и дочери следует, не теряя времени, прибыть в Лондон и отдаться в руки тамошних портных. Им нужно найти подходящее жилье, а пристойные дома на съем в фешенебельных кварталах Лондона уже расхватывают. Какие драгоценности есть у Марии-Луизы? Мэри-Джим должна пройти курс придворного этикета, и леди Страткона уже записала ее в школу светских манер, где престарелая герцогиня за солидную сумму преподаст ей все тонкости нужных ритуалов. Реверанс чрезвычайно важен. Дебютантка ни в коем случае не должна вдруг потерять равновесие.

Лорд Страткона изъяснялся еще прямее. «Захватите с собой чековую книжку потолще и будьте в Лондоне заранее, чтобы вам успели сшить панталоны» — таков был его совет сенатору.

Макрори послушались и в начале января выехали в Лондон с огромным багажом, в числе которого были два огромных сундука с округлыми крышками, прозванные «Ноевыми ковчегами».

Так как снять правильный дом в Лондоне оказалось невозможно, а жить за пределами Вест-Энда было немыслимо, лорд Страткона поселил Макрори в лучшем номере отеля «Сесиль» на Стрэнде. Макрори подумали: если королевский

дворец еще величественнее отеля «Сесиль», то, пожалуй, они недостойны туда явиться. В ту пору мужскую прислугу отеля экипировали тремя переменами одежды: на утро — рубашка, жилет и белый «охотничий» галстук, после обеда — синие ливреи с медными пуговицами и белыми галстуками, а вечером — полное великолепие: плюшевые панталоны, сюртуки цвета сливы со стальными пуговицами и пудреные парики. В Блэрлогги такое и не снилось: самые богатые семьи держали у себя горничную, и это считалось верхом роскоши. Но Макрори, гибкие от природы, умели приспособиться; они твердо решили по возможности не выставлять себя неотесанными провинциалами и держаться незаметно, пока не освоятся.

Уроки этикета у престарелой герцогини поначалу представляли некоторую трудность: герцогиня всячески демонстрировала, какую боль причиняет ей неэлегантный канадский выговор Мэри-Джим. «Ах ты стерва», — подумала та. Но она как воспитанница монастырской школы умела поставить на место неприятную учительницу.

— Если вы желаете, ваша светлость, я могу говорить по-французски, — предложила она и

разразилась долгой и стремительной тирадой на этом языке, который герцогиня знала не очень хорошо и говорила на нем запинаясь.

Престарелая герцогиня поняла, что дитя Макрори — крепкий орешек, и исправилась. Чуть позже, немного собравшись с мыслями, она заявила, что плохо понимает патуа,[7] но ей никого не удалось обмануть.

Наконец — в мае 1903 года — судьбоносный вечер настал. Мария-Луиза, еще красивая, была великолепна в бледно-голубом шифоне и серебряной ткани, расшитой полосами бриллиантов. Драпировку на корсаже, надетом поверх немилосердно затянутого нового корсета, удерживали заколки с бриллиантами (взятые напрокат у ювелира, который прекрасно зарабатывал на такого рода услугах и держал язык за зубами). Мэри-Джим была одета гораздо скромнее, в платье из тюля и шелкового муслина. Сенатор же облачился выше пояса в привычные белый жилет и фрак, а ниже пояса — в непривычные панталоны рубчатого шелка и плотные черные шелковые

[7] Примечания: 7

Патуа (*фр.* patois) — лингвистический термин, название местных наречий французского языка. В расширительном понимании может обозначать любой нестандартизированный вариант французского языка.

чулки. Во всем этом великолепии семья в четыре часа дня сфотографировалась в гостиной своего номера; дам привел в порядок парикмахер, у которого они пробыли с часу до половины третьего. Затем дамы приняли ванну — с великими предосторожностями, чтобы не замочить и не растрепать тщательно уложенные куафюры. Умелая горничная из штата отеля ловко облачила их в роскошные наряды. Когда фотограф ушел, Макрори слегка перекусили у себя в номере. После этого никаких дел у них уже не осталось, и они просидели как на иголках до половины десятого — до прибытия кареты, которая должна была отвезти их во дворец. Пешком они дошли бы за четверть часа, но во дворец направлялось столько народу, что карета ехала сорок пять минут. При каждой остановке их разглядывали толпы зевак, которые собрались поглазеть на расфуфыренных аристократишек.

Макрори нервничали, предвидя, что при дворе не встретят ни одного знакомого лица, — откуда бы? Они будут уныло подпирать стену, делая вид, что таков их собственный выбор. В особо панические минуты они не сомневались, что будут натыкаться на все углы, разобьют какую-нибудь вазу, испачкаются едой. Лорд-камергер ударит

посохом об пол и провозгласит: «Выкиньте вон этих колониальных деревенщин!» Но король-император вовсе не так принимал гостей.

Как только они добрались до места и сдали плащи, на них спикировал улыбающийся помощник-распорядитель. Он восклицал:

— А, вот и вы, сенатор! Мадам! Мадемуазель! Господин верховный комиссар и леди Страткона наверху — позвольте, я вас сейчас же провожу туда. Ужасная давка, правда?

Он сыпал этой успокаивающей, бессмысленной болтовней, пока не сдал их на руки лорду и леди Страткона. Мэри-Джим впихнули в не слишком четко обозначенную стайку девиц — сегодняшних дебютанток.

На помосте в конце зала стояли троны, но… как, а где же фанфары?., нет, никаких фанфар… в зал тихо — насколько тихим может быть явление короля и королевы — вошли очень плотный, невысокого роста мужчина в военной форме с кучей орденов и очень красивая дама в платье, осыпанном драгоценными камнями (сенатор подумал, что их хватило бы на постройку целой железной дороги). Дамы нырнули в реверансе, джентльмены поклонились. Король и королева воссели на своих местах.

Без всякой преамбулы дамы из особой группы начали выталкивать вперед своих подопечных. Секретарь, со списком в руке, бормотал имена, обращаясь к голубоглазому мужчине и улыбающейся красивой глухой женщине. Момент настал: леди Страткона взяла Мэри-Джим за руку, подвела ее к ступеням помоста, и обе сделали реверанс; секретарь пробормотал: «Мисс Мэри-Джейкобина Макрори». Все кончилось. Кампания длиной в двадцать два месяца наконец завершилась.

Сенатор пристально смотрел из толпы. Не просветлел ли королевский взгляд самую чуточку при виде Мэри-Джим? Этот король умел ценить красоту — произвела ли Мэри-Джим на него впечатление? Трудно сказать, но, по крайней мере, выпуклые голубые глаза ни разу не закрылись. Мэри-Джим — темноволосая и румяная, в шотландских предков, — была, несомненно, красавицей.

Представления быстро окончились, и королевская чета встала с тронов. Помощник снова налетел на Макрори:

— Хочу вас познакомить кое с кем. Позвольте представить вам майора Фрэнсиса Корниша! Он вместе со мной позаботится о том, чтобы вы ни в

чем не нуждались.

Майор Фрэнсис Корниш был не молод и не стар. Не то чтобы красавец, но и не урод. Его внешность можно было назвать изысканной, но лишь из-за монокля, который он носил на правом глазу, и прекрасных усов, которые опровергали все законы природы, ибо росли не вниз, а горизонтально, по концам закручиваясь кверху. Майор был в парадной форме очень хорошего, хоть и не гвардейского, полка. Он поклонился дамам, протянул указательный палец правой руки сенатору и едва слышно произнес: «Здрастикакпоживаете». Но не покинул Макрори, а остался при них; помощник же улетучился, бормоча что-то про других гостей, о которых тоже надо позаботиться.

Послышалась музыка: гвардейский духовой оркестр, дополненный струнными, играл просто прекрасно. Начались танцы, и майор Корниш следил, чтобы у Мэри-Джейкобины не было недостатка в подходящих партнерах. Он и сам вальсировал и с ней, и с Марией-Луизой. Время летело, но Макрори ни разу не почувствовали себя заброшенными. И вдруг — поразительно быстро, как показалось Мэри-Джейкобине, — настало время ужина.

Королевская чета ужинала в отдельной зале с

несколькими близкими друзьями, но царственная магия витала в воздухе огромной столовой, где Мария-Луиза восторженно восклицала над снетками а-ля дьябль, пулярками по-норвежски, хамоном по-баскски, жареными ортоланами на канапе и ела все подряд, закончив огромным количеством разнообразных пирожных и двумя сортами мороженого. Роскошь этой трапезы полностью растопила всю холодность, которую Мария-Луиза как французская канадка могла испытывать к британскому королевскому дому. Да, они знают толк в еде! Во время трапезы, размякнув от хереса урожая 1837 года, шампанского 1892 года, шато-лангоа 1874 года и — «О майор, не следовало бы, но это моя слабость…» — бренди 1800 года, она неоднократно признавалась майору, что его король по-настоящему умеет принимать гостей. Она поглощала еду, пока новый корсет не начал жестоко впиваться в тело, ибо не обладала умением модных дам лишь слегка ковырять роскошные яства.

Мэри-Джейкобина ела очень мало: она вдруг осознала, что значит быть представленной ко двору. Раньше она понимала только то, что это очередной шаг в ее жизни, очень важный для ее отца и включающий в себя уроки, которые она

должна усвоить. Но здесь она вдруг пробудилась — в настоящем дворце, среди людей, подобных которым она не видала, танцуя под оркестр, подобного которому не слыхала. Дама в роскошных бриллиантах, которая пробиралась в малую столовую, оказалась маркизой Лэнсдаунской. А кто эта дама в черном атласе? Графиня Дандональд. В голубом атласном платье, расшитом бриллиантами? Графиня Поуисс; одна из красавиц-сестер Фокс. Известна своим пристрастием к азартным играм. Майор Корниш охотно поставлял информацию, и, когда Мэри-Джим привыкла к его бормотанию, у них почти получился разговор, хоть и состоящий в основном из ее вопросов и кратких, почти телеграфных ответов майора. Но майор был, несомненно, внимателен, без устали подкладывал еду на тарелку матери и выказывал весьма почтительное, но не раболепное восхищение дочерью.

По залу пробежал шумок. Король и королева собираются удалиться. Снова поклоны и реверансы. «Позвольте проводить вас к экипажу». Видимо, так при дворе намекают, что гостям пора. Мария-Луиза, явно перебравшая еды и выпивки, довольно хлопает себя по животу, и дочери хочется провалиться сквозь землю. Мож-

но ли надеяться, что ни одна герцогиня этого не заметила? Наконец, после некоторого ожидания, которое помощники скрашивают как могут, карета подана, и швейцар очень громко выкрикивает имя сенатора. Майор подсаживает семейство в карету. Надежно усадив Марию-Луизу в экипаж, он склоняется к ней и бормочет что-то вроде «позвольтенанестивизит». «Конечно, майор, как вам угодно». Макрори возвращаются в отель «Сесиль».

Мария-Луиза скидывает тесные туфли. Приходит горничная и высвобождает ее из жестоких тисков корсета. Сенатор погружен в меланхолию и в то же время вне себя от радости. Его малышка сделала первые шаги в мире, к которому принадлежит по праву. Отныне сенатор всю жизнь будет подстригать бороду по тому же фасону, что и король-император. Правда, у сенатора борода черная, а из его мощной фигуры — наследия тех лет, когда он орудовал в лесах топором и пилой, — можно выкроить двух таких, как король, как бы ни был последний толст. Сенатор нежно целует дочь и желает ей спокойной ночи.

Мэри-Джим удалилась к себе в комнату. Как и отец, она была погружена в меланхолию и в то же время парила в небесах от радости. Дворцовый

бал, представление королю, графини, молодые люди в роскошных военных мундирах — а теперь все это кончено, и навсегда! Явилась горничная:

— Помочь вам раздеться, мисс?

— Да. А потом скажите кому-нибудь, чтобы мне принесли бутылку шампанского.

— Конечно, вся беда вышла из-за того, что матушка нажралась до отвала, — заметил даймон Маймас.

— Боюсь, что так, — отозвался Цадкиил Малый. — В остальном Макрори держались очень хорошо. Они вовсе не так дичились, как многие другие люди, впервые попавшие на дворцовый бал. Их выручал некий врожденный апломб, и все было бы хорошо, если бы не еда и выпивка. Что скажешь, — может, пора нам взглянуть на майора Корниша?

Майор Корниш был светским человеком своего времени и жил, как полагалось офицеру хорошего полка. В результате он оказался для Макрори чем-то невиданным — его тихий, протяжный голос, незаметность, монокль и такая манера держаться, словно он не совсем живой, были не похожи на все, с чем Макрори сталкивались раньше. Ему, младшему сыну из хорошей семьи,

приходилось думать о карьере и фортуне: он не имел никаких доходов, кроме армейского жалованья, которое также должно было вскоре прекратиться. Майор хорошо служил на Бурской войне, но ничем особенным не отличился и был ранен достаточно серьезно, чтобы его комиссовали обратно в Англию. Он знал, что армия не сулит ему особо радужных перспектив, а потому решил выйти в отставку и сделать что-нибудь, найти свое место в мире на следующий отрезок жизни. Он очень скоро понял, что ему нужно жениться, — в женитьбе была его цель и его надежда.

Брак мог сделать карьеру такого человека, как майор. Безденежные англичане уже давно нашли способ продвижения в свете — они женились на богатых американских наследницах, и несколько таких браков получили всеобщую известность. Бывало, состояния в два миллиона фунтов и более пересекали Атлантику, если дочь американского железнодорожного или стального магната выходила замуж за английского дворянина. В глазах света это был вполне равноценный обмен: дворянский титул, с одной стороны, большое богатство — с другой. Воистину союз, заключенный на небесах. Есть ведь разные небеса для самых разных людей, в том числе таких, которые

мыслят в основном чинами и богатством. Майор Корниш решил, что в мире богачей найдется скромное местечко и для него.

Майор был неглуп. Он прекрасно знал, что может предложить: безупречную родословную, но без титула; хороший армейский послужной список; умение держаться — как в свете, так и под огнем буров, понятия не имеющих о том, как положено воевать джентльменам; достаточно ума, чтобы быть достойным человеком и хорошим солдатом, хоть и без особого блеска интеллекта или остроумия. Следовательно, он не мог надеяться на одно из огромных американских состояний. Однако у девушек из колоний можно найти и состояние поменьше, но вполне солидное. У майора при дворе были знакомства, братья-офицеры, которые помогали ему, так сказать, держать нос по ветру. За барышней Макрори стояло отцовское богатство — неизвестных размеров, но точно немалое, — а сама она была хорошенькая, хоть и не герцогиня, так что подходила майору. Вот и вся премудрость.

При дворе, конечно, были помощники — джентльмены-прислужники, особые люди, которым поручали заботу о приглашенных на балы; это называлось «ухаживать за гостями».

Но всегда находилось место еще для одного презентабельного кавалера, который знал, что к чему, и мог развлечь какую-нибудь скучающую или растерянную барышню — а такие всегда обнаруживались на больших приемах. Майор поговорил с другом, который служил помощником на дворцовых балах; тот — с камергером; так майор получил разрешение присутствовать на нужных приемах и возможность познакомиться с Макрори. Сенатор был не единственным, кто умел строить планы и добиваться своего.

За дворцовым приемом, на котором барышню Макрори представили ко двору, последовал сезон лондонских балов — самый роскошный за многие десятилетия. Макрори не вращались в гуще событий, но все же умудрялись попадать на самые важные приемы. Им помогала леди Страткона: ее наставлял муж, знающий, кто из английских магнатов не прочь поговорить с канадским магнатом, который может дать хороший совет по вложению капитала в богатой колонии. Макрори приглашали то туда, то сюда, то на уик-энд в загородной резиденции. Они попали даже на регату в Хенли и на скачки в Аскот. Мария-Луиза хорошо играла в бридж, и это стало ее пропуском в мир фанатиков бриджа. Ее франкоканадский акцент,

которого так стыдилась ее дочь, казался хозяйкам салонов провинциальным, но не отвратительным. Сенатор умел беседовать о деньгах, во всех их многообразных проявлениях, с кем угодно и при этом не быть слишком похожим на банкира. Он был хорош собой и галантен, как положено шотландскому горцу, и тем располагал к себе дам. Макрори вращались не в самых высших кругах общества, но вполне преуспевали.

Что же до Мэри-Джейкобины, она расцвела под солнцем незнакомого мира и стала почти красавицей. Она обрела какое-то новое очарование. Восприимчивая, как все молодые, Мэри-Джим научилась говорить по-другому, чтобы англичане считали ее своей. Теперь она, как и девушки, которых она встречала в свете, называла приятные вещи «дусями», а неприятные — «бяками». Что-то беспокоило ее желудок, воспитанный на монастырской кухне, — видимо, слишком роскошная еда и вино, к которому она не привыкла: иногда ее тошнило по утрам, но, несмотря на это, она выучилась быть приятной собеседницей (это не дается от природы) и очень хорошо танцевала. У нее появились поклонники.

Майор Фрэнсис Корниш был среди них наиболее настойчивым, хоть и пользовался не самой

большой благосклонностью. Иногда Мэри-Джим высмеивала его в разговорах с более оживленными партнерами по танцам, и они с бездушием молодых сердцеедов стали называть его прозвищем, придуманным для него Мэри-Джим: Деревянный Солдатик. Корнишу удавалось проникать не всюду, где бывали Макрори, но он к этому и не стремился: чрезмерная навязчивость не подходила к его стратегии. У него было все, что нужно светскому человеку, чтобы жить скромно, но со вкусом: квартирка на Джермин-стрит и членство в трех хороших клубах, куда он смог порекомендовать и сенатора. И как-то после обеда в одном из клубов майор попросил у сенатора разрешения задать его дочери важнейший вопрос.

Удивленный сенатор помялся и сказал, что должен подумать. Это означало поговорить с Марией-Луизой, которая заявила, что ее дочь может рассчитывать на гораздо, гораздо лучшую партию. Сенатор спросил и Мэри-Джим; она засмеялась и сказала, что выйдет замуж только по любви, — а неужели папа думает, что кто-нибудь может полюбить Деревянного Солдатика? Папа решил, что это маловероятно, и сказал майору Корнишу, что его дочери еще рано думать о замужестве. Пожалуй, стоит на время отложить этот

вопрос. К тому же здоровье Мэри-Джим, несмотря на ее цветущую внешность, оставляет желать лучшего. Может быть, они поговорят об этом как-нибудь в другой раз?

Наступил август, и, конечно, весь свет уехал из Лондона. Все, кто хоть что-нибудь собой представлял, переместились на север, в сторону Шотландии. Макрори получили приглашения в два-три северных поместья. Но к концу сентября они снова водворились в отеле «Сесиль» и майор Корниш тоже оказался в городе. Он был внимателен, насколько позволяли рамки хорошего тона.

Желудок все чаще беспокоил Мэри-Джим. Мария-Луиза решила, что это уже не просто «желчные приступы», как в Блэрлогги называли несварение желудка, и пригласила врача. Модного врача, конечно. Он вынес вердикт мгновенно и решительно, и диагноз оказался таким, что хуже не придумаешь.

Мария-Луиза открыла мужу новости в постели — их обычном месте для «совещаний на высшем уровне». Она говорила по-французски, дополнительно подчеркивая, что дело серьезное.

— Хэмиш, я должна тебе сказать нечто ужасное. Только не кричи и не делай глупостей. Выслушай меня.

«Наверно, потеряла какие-нибудь прокатные бриллианты, — подумал сенатор. — Страховка все покроет. Мария-Луиза просто никогда не понимала, что такое страховка».

— Мэри-Джим беременна.

Сенатор похолодел, приподнялся на локте и в ужасе воззрился на жену:

— Не может быть!

— Может. Доктор подтвердил.

— Кто отец?

— Она клянется, что не знает.

— Что за чушь! Она не может не знать.

— Ну тогда говори с ней сам. Я не могу добиться от нее толку.

— Да уж поговорю, и прямо сейчас!

— Хэмиш, не смей. Она в ужасном состоянии. Она — милая, невинная девушка. Она ничего не знает о таких вещах. Ты ее застыдишь.

— А она нас опозорила — это ничего?

— Успокойся. Предоставь все мне. А теперь спи.

Сенатор, однако, всю ночь проворочался без сна, словно лежал на раскаленной бороне. Он так сотрясал кровать, что Марии-Луизе казалось, будто она в море, но не сказал больше ни слова.

На следующее утро после завтрака жена оста-

вила сенатора наедине с дочерью. Он начал так, что хуже не придумаешь:

— Что это мне сказала твоя мать?

Слезы. Чем больше сенатор требовал, чтобы дочь перестала реветь и открылась ему, тем сильнее она плакала. Отцу пришлось ее успокаивать, гладить, похлопывать и одолжить ей свой носовой платок (ибо Мэри-Джим столь недавно покинула монастырскую школу, что не привыкла иметь при себе собственный платок). Наконец сенатору удалось добиться чего-то членораздельного.

После дворцового бала Мэри-Джим была одновременно счастлива и подавлена. Это сенатор мог понять, поскольку и сам чувствовал ровно то же. На балу Мэри-Джим впервые попробовала шампанское и просто влюбилась в этот напиток. Легкомыслие, подумал сенатор, но вполне объяснимое. Мэри-Джим ужасно не хотелось ложиться в кровать после веселья на балу, после великолепия двора, внимания помощников, блеска высокородных красавиц. И вот Мэри-Джим попросила горничную принести ей шампанского. Его принесли, но не горничная, а один из лакеев отеля «Сесиль», облаченный в роскошную ливрею. Он показался Мэри-Джим добрым чело-

веком, а ей было так одиноко… она предложила ему выпить с ней бокал шампанского. Одно за другое и… Опять слезы.

Сенатор не то чтобы утешился, но немного приободрился. Его дочь — не шлюха, но дитя, попавшее в затруднительное положение. Он не сомневался, что Мария-Джейкобина — пострадавшая сторона и что он может хоть что-то сделать. Он пошел к управляющему отелем, заявил, что в ночь бала работник отеля нанес его дочери тяжкое оскорбление, и потребовал, чтобы ему предъявили виновного. Разве может приличный отель посылать лакея поздно ночью в комнату к молодой девушке? И так далее, все на повышенных тонах. Управляющий обещал немедленно разобрать дело.

Он вернулся с докладом только ближе к вечеру. Весьма прискорбно, сказал он, но того человека найти не удалось. В отеле заведено нанимать дополнительных работников, если ожидается наплыв гостей, — а в вечер придворного бала отель неминуемо должен был заполниться до отказа, причем не только гостями, приглашенными на бал, но и гораздо более многочисленными постояльцами, которые не были приглашены, но все равно хотели особо отметить этот день. На

роль временных лакеев обычно нанимали солдат — через полкового сержант-майора, который получал от этого небольшой побочный доход. Они должны были, облачась в ливреи, украшать собою коридоры и залы для публики, но никак не обслуживать постояльцев. Произошла какая-то необъяснимая путаница — вы не поверите, насколько трудно поддерживать повсюду идеальную дисциплину в такую суматошную ночь, — и одного из этих солдат-лакеев послали отнести шампанское Мэри-Джейкобине. Но так как с солдатом рассчитались в три часа ночи и он покинул отель, теперь его найти невозможно. Что именно он сказал или сделал, чтобы нанести такое сильное оскорбление? Если бы управляющий знал раньше, он, может быть, нашел бы виновного, но теперь, три месяца спустя… к его глубокому сожалению, это невозможно. Он не знает, как загладить происшедшее, но готов принести юной даме извинения от лица отеля. Он, по правде сказать, уже осмелился послать ей в комнату цветы.

Сенатор не пожелал объяснить, какое именно оскорбление было нанесено. Он потерпел поражение и, как часто делают потерпевшие поражение мужчины, описал жене эту историю

в героическом свете.

Мария-Луиза не была склонна к слезам, но обладала здравым смыслом чистейшей пробы, насколько позволяли ее убеждения и опыт.

— Не следует терять головы, — сказала она. — Может, еще ничего и не будет.

Она взялась за дело и стала прикидывать, как добиться желаемого исхода. Мысль об аборте ни разу не пришла ей в голову, ибо сама идея ей, как верующему человеку, была глубоко противна. Однако в квебекской глубинке случалось, что беременности заканчивались выкидышем. В любом случае беременная девушка должна обладать цветущим здоровьем… Мария-Луиза выстроила свои мысли в нужном направлении. Ее дочь страдает от несварения желудка, и, несомненно, виной тому — слишком обильный и жирный стол. Хорошая доза касторки — и все наладится. Она влила в Мэри-Джим дозу касторки, которая свалила бы с ног и лесоруба. Дочь протестовала, но знала, что у нее нет морального права слишком сильно сопротивляться. Она оправилась только через неделю, но лечение не возымело никакого результата, а только придало ей сходство с модной в те годы картиной «Пробуждение души», на которой бледная дева возводила к небесам

пылающие очи.

Так. Случай явно тяжелый. Мария-Луиза, исключительно для блага дочери, потребовала, чтобы та несколько раз спрыгнула со стола на пол. Единственным результатом были крайняя усталость и отчаяние жертвы. Но Мария-Луиза еще не отказалась от своей задумки подтолкнуть природу в правильную сторону. На этот раз в ход пошло не шампанское, но огромный стакан джина — столько, сколько, по мнению матери, дочь могла выпить без вреда для себя, — и очень горячая ванна.

После ванны Мэри-Джим стало еще хуже, чем после касторки, но наглый оккупант не стронулся с места. Арсенал народных средств у Марии-Луизы иссяк, она созналась мужу в своем бессилии и сказала, что надо что-то делать.

На протяжении совершенно ужасной недели родители обсуждали, что делать. Можно увезти дочь на континент, дождаться родов и подкинуть ребенка в воспитательный дом. Эта идея им не понравилась, а после беседы с дочерью стала нравиться еще меньше. Все, что было глубоко заложено в их природу, — монастырское воспитание, священный сан брата и сестры, простая человеческая порядочность — говорило против.

Оставался, конечно, брак.

И сенатор, и его жена были самого высокого мнения об институте брака. Сейчас это было единственное средство спасения нравственности, как они ее понимали. Но возможен ли брак?

Сенатор был сторонником прямых действий и кое-что понимал в этой жизни. Теперь он пригласил на ланч майора — в ресторан при отеле «Савой».

Ланч в модном ресторане — даже в сезон, когда в городе нет ни души, — не лучшее место для переговоров на такую деликатную тему. Но сенатор выложил все и спросил майора Корниша, не переменил ли тот своих намерений. Майор, хладнокровно поедая мороженое, сказал, что хочет подумать, и предложил снова встретиться за ланчем через неделю.

Неделю спустя сенатору показалось, что майор подрос на несколько дюймов. Тот сказал, что да, он не отказывается от своего предложения, но сенатор должен понимать, что ситуация существенно изменилась. Конечно, разговор о семье сейчас неуместен, но сенатору следует знать, что Корниши — древний род (естественно, из Корнуолла). Родовое поместье, Чигуидден (майор произнес это как «Чигген» и объяснил, что это

название означает «Белый дом»), располагается рядом с Тинтагелем, местом рождения короля Артура, и Корниши живут в тех местах так давно, что числили Артура в соседях (во всяком случае, история не сохранила свидетельств обратного). Когда Корнуолл стал королевским герцогством, разные Корниши в разные времена служили герцогам Корнуолльским как помощники смотрителя оловоплавильных заводов.

Корниши — род с древней и славной историей, и родство с такой семьей — большая честь. Однако майор — младший сын, и семья небогата. Поэтому, скорее всего, ему никогда не быть владельцем Чигуиддена. Но все равно он — Корниш из Чигуиддена. Он честно служил своей стране как солдат, но теперь, когда вот-вот выйдет в отставку, его материальное положение весьма шатко.

Сенатор был к этому отчасти готов и поспешил заверить, что брак майора с его дочерью, естественно, будет включать в себя некоторые дополнительные условия, так что ее супруг сможет впредь не беспокоиться о своем будущем.

Майор сказал, что это весьма щедро, но он хотел бы подчеркнуть, что стремится к этому браку отнюдь не из материальных мотивов. Сенатор,

конечно, понимает, что та небольшая подробность, которую он открыл в прошлом разговоре, не может быть полностью безразлична майору. Тем не менее он горячо любит Мэри-Джим, а за прошедшую неделю полюбил еще сильнее, так как она испытала самое большое несчастье, какое может постичь невинную девушку. Майор тактично, вскользь упомянул о встрече Христа с женщиной, застигнутой в прелюбодеянии, и сенатор, не сдержавшись, уронил одну-две слезы при виде такого похвального религиозного чувства. Правда, он никогда не представлял себе Христа в виде англичанина с моноклем и противоестественными усами. Деревянный Солдатик оказался рыцарем! О, хвала Господу!

Будет лучше, сказал майор, если они достигнут полного взаимопонимания. Это несколько удивило сенатора: он считал, что они уже поняли друг друга. Но тут майор вытащил из внутреннего кармана два листа бумаги и протянул их сенатору через стол со словами:

— Вот несколько важных пунктов, по которым мы должны достичь понимания. Будьте так добры, подпишите оба экземпляра, и я завтра в одиннадцать утра сделаю предложение Мэри-Джим. Не торопитесь, прочитайте внимательно.

Там нет ничего сложного, но я тщательно продумал все, что нужно будет для счастливого брака, и не готов уступить ни по одному из пунктов.

«Он совершенно хладнокровен», — подумал сенатор, но сам не сумел сохранить хладнокровие, прочитав переписанный красивым почерком документ, — иначе нельзя было назвать эту бумагу.

(1) Желаю заявить, что я не считаю возможным вступать в брак, будучи обремененным долгами. В то же время на мне лежат некоторые обязательства, возникшие как следствие той жизни, которую я вел в соответствии со своим положением в армии и в свете. Таким образом, немедленно после того, как Мария-Джейкобина примет мое предложение, я должен получить вексель на 10 000 (десять тысяч) фунтов.

(2) По моим оценкам, расходы на свадьбу, свадебное путешествие и последующий переезд в Канаду составят не менее 25 000 (двадцати пяти тысяч) фунтов, вексель на каковую сумму я с благодарностью приму перед церемонией венчания.

(3) Мой опыт командования людьми, а также управления финансами (в роли полкового адъютанта), несомненно, подготовил меня к занятию должности в промышленности Нового Света, куда я предполагаю переехать вместе с женой после свадебного путешествия и рождения первого ребенка. Поскольку мы должны жить в соответствии с Вашим и моим положением, а также в достатке, к которому привыкла Мария-Джейкобина, я предлагаю закрепить за мной в результате нашего брака сумму в 125 000 (сто двадцать пять тысяч) фунтов, каковую я вложу в дела или распоряжусь ею иным способом исключительно по собственному усмотрению. Кроме того, нам понадобится жилье, достойное Вашей дочери и зятя, а также нашего возможного потомства. Думаю, лучше всего будет, если мы построим себе новый дом. Я охотно возьму на себя руководство планированием и строительством. Все счета за строительство и обстановку дома будут переданы Вам для оплаты. Я готов в удобное для Вас время обсудить подобающую

мне должность в семейном бизнесе и прилагаемое к ней жалованье.

(4) Я обязуюсь растить всех детей, родившихся в этом союзе, и надлежащим образом заботиться о них, но с условием, что они будут воспитаны в протестантской вере в лоне англиканской церкви.

(5)

Подписано: Фрэнсис Чигуидден Корниш

Согласен:_____

Сенатор некоторое время глубоко и шумно дышал через нос. Может, изорвать соглашение и треснуть Деревянного Солдатика по голове бутылкой? Сенатор и сам собирался проявить щедрость, но то, что эту щедрость ему предписывали, да еще в таких суммах, сильно ранило его шотландскую гордость. Его принуждают к сделке! Деревянный Солдатик, сохраняя полную невозмутимость, пил кларет из стакана; свет падал на монокль, придавая его владельцу сходство с миниатюрным циклопом, который собирается проглотить овцу.

— Разумеется, тут два экземпляра, — пробормотал он. — Один вам, один мне.

Сенатор продолжал сверлить его взглядом. Названная сумма была сенатору по силам, хоть он и не ожидал, что придется оплачивать долги зятя, сделанные до свадьбы. Поперек горла ему встал четвертый пункт. Протестанты! Чтобы его внуки выросли протестантами! Сенатор не то чтобы не любил протестантов. Главное, чтобы они не устраивали религиозных распрей. Пусть себе заблуждаются, пусть обрекают себя на вечные муки, если таково их извращенное желание. Но его внуки… и тут он вспомнил о маленьком упрямом внуке, из-за которого вышло все это несчастное дело. Если Деревянный Солдатик не женится на Марии-Джейкобине, то кто же на ней женится? Где найти католика, согласного ее взять, — католика столь же подходящего по всем статьям, как майор Корниш, пусть и не очень привлекательного?

— Вас что-то беспокоит? — спросил майор. — Я очень тщательно продумал все финансовые условия и боюсь, что не могу сделать скидки.

Скидки! До чего же наглы бывают англичане! К черту скидки! Но четвертый пункт…

— Четвертый пункт, — произнес сенатор слегка дрожащим голосом. — Мне нелегко будет убедить жену и дочь в его желательности или

необходимости.

— К сожалению, ничего не могу сделать. Все Корниши до единого были англиканами, с самой Реформации.

Сенатор, как и его дочь, был подвержен резким переменам настроения. Ярость отхлынула, и он почувствовал себя голым, жалким и слабым. Что толку бороться? Он проиграл.

Он вытащил ручку и подписал каллиграфический документ — оба экземпляра — крупным, плохо выработанным почерком.

— Благодарю вас, — сказал майор. — Я рад, что мы поняли друг друга. Попросите Марию-Джейкобину быть дома завтра в одиннадцать часов. Я буду иметь честь нанести дамам визит.

— Сенатор мог бы и поторговаться немного, — заметил даймон Маймас. — Он как-то быстро сдался, ты не находишь?

— Нет, не нахожу, — ответил Цадкиил Малый. — Видишь ли, с ним, как и с его дочерью, все дело в темпераменте. Сохраняя хладнокровие, они остаются на коне, но сильное чувство вышибает их из седла. Нельзя сказать, что они не могут испытывать чувства. Очень даже могут. Беда в том, что они чувствуют слишком сильно, — эмоции полностью выбивают их из колеи

и приводят в состояние, близкое к панике. Это кельтский темперамент: непростое наследство. Часто такие люди делают ужасные ошибки, если им нужно подойти к чувству с логической точки зрения. Ты же знаешь, что было дальше? Сенатор под конец жизни стал философом, а это замечательный способ убежать от необходимости чувствовать. А Мэри-Джим овладела особым приемом — научилась выбрасывать из головы или обращать в тривиальность все, что ее беспокоит.

— А что за сцена разыгралась в отеле «Сесиль»? — спросил даймон.

— О, это был настоящий кельтский тарарам! Мария-Джейкобина рыдала и клялась, что лучше умрет, чем выйдет за Деревянного Солдатика. А через полчаса развалилась на куски и сказала, что согласна. Родители на нее не давили: просто ситуация оказалась ей не по силам. Ею овладели паника и отчаяние.

— Да, действительно, — согласился Маймас. — Я имел дело с точно таким же характером у Фрэнсиса, и порой мне бывало нелегко. Философом он так и не стал, и превращать свои беды в нечто тривиальное тоже не научился. Он всегда бросался на них с открытым забралом. Повезло

ему, что у него под рукой был я… не раз повезло.

— Да, так это называют люди: везение. Правда, интересно смотреть на родителей Мэри-Джим? Было бы совершенно несправедливо сказать, что они продали дочь ради сохранения респектабельности. На такое от бы никогда не пошли. Но нужно понимать, что для них респектабельность. Это гораздо больше, чем простое «Что подумают соседи?!». Это «Как моя бедная девочка будет смотреть в лицо миру, если в самом начале жизни ее постигло такое несчастье?». Это «Как мне избавить мою малышку от страданий?». Сенатором правили как раз эмоции, замаскированные под здравый смысл. У Марии-Луизы на плечах была отличная голова с норманнской рассудительностью, но Церковь избавила ее от необходимости думать этой самой головой. Мария-Луиза испробовала лучшие известные ей способы и потерпела неудачу. Семья боролась с будущей трагедией как могла. Дело было не в Лондоне — даже если бы Лондон все узнал, ему было бы наплевать. Дело было в Блэрлогги. О, как злорадствовал бы городок, узнав о падении невинной Макрори! Это злорадство всю жизнь хлестало бы ее, словно бич!

Тем временем в Блэрлогги тетушка Мэри-Бен

Макрори, по ее выражению, «удерживала крепость», пока брат с женой и милой Мэри-Джим порхали в высшем свете. Тетушка не роптала. Она знала, что рождена служить, служила с готовностью, и, если хоть намек на зависть или тоску по несбыточному заползал ей в мысли, она немедленно изгоняла его молитвой. В спальне у тетушки под прекрасной олеографией с Мадонны работы Мурильо стояла молитвенная скамеечка с мягкой (но не слишком толстой) обивкой в том месте, где тетушка опиралась коленями. Обивка была сильно потерта от постоянного использования.

Когда тетушка была немногим старше, чем Мэри-Джим сейчас, Господь послал ей недвусмысленное знамение, показав, что ее удел — служить. Доктор Дж.-А. и многие другие люди называли это «удивительным и ужасным случаем», но тетушка знала, что таким образом Господь указал ей жизненный путь.

Это случилось на приеме в саду генерал-губернаторской резиденции — или, по-простому, Ридо-холла, в Оттаве. Лорду Дафферину оставалось несколько месяцев на посту генерал-губернатора, и Хэмиша, как способного молодого человека, уже проявившего себя на политическом поприще,

позвали на прием, который должен был состояться в конце июля. Хэмиш еще не был женат и потому взял с собой сестру, а она по такому случаю купила шикарную шляпу, украшенную черными и белыми перьями. Ах, как все это было романтично! Восторгаясь романтикой, тетушка убрела в кусты — мысли ее были заняты романтической фигурой Виржиля Тиссерана, который оказывал ей все более заметные знаки внимания, — и вдруг…

Этот случай вошел в анналы орнитологии и даже заслужил сноски в анналах медицины: в те времена виргинские филины — канадский натуралист Эрнест Сетон-Томпсон называл их «крылатые тигры даже среди самых свирепых и хищных птиц» — иногда забирались в плотно населенные части страны и порой кидались на людей, особенно на дам в модных тогда черно-белых шляпах, ибо принимали их за скунсов. И вот, когда Мэри-Бен прогуливалась, исполненная мечтаний, в кустарнике вице-короля, на нее спикировал филин, схватил шляпу и стремительно унес прочь… а заодно и значительный кусок скальпа, принадлежащего хозяйке шляпы.

Мэри-Бен много недель пролежала в больнице с забинтованной головой и разбитым сердцем.

Как девушки в мифах выживали после грозных объятий Юпитера в обличье птицы? Конечно, этот бог избрал их, у них была особая судьба. Быть может, Мэри-Бен точно так же избрана Богом, в которого верит? А если так, то к чему именно ее избрали? Это тетушка узнала, когда повязки сняли и открылась изувеченная голова, на которой лишь кое-где сохранились клочки волос. Парик совершенно исключался — оскальпированный череп был слишком чувствителен. Тетушка обходилась маленькими чепчиками, похожими на тюрбаны, из самых мягких материй. Она никогда не пыталась приукрасить эти чепчики, ибо знала, что они такое. Это был головной убор служанки, и тетушка была избрана, чтобы служить. И она служила в доме своего брата, прикрывая крохотный череп крохотными чепчиками. Даже у доктора Дж.-А. не хватило жестокосердия сказать тетушке, что слетевший с небес бог принял ее за скунса.

Ко времени женитьбы Хэмиша на Марии-Луизе Тибодо сестра вела хозяйство брата уже три года, и никому не пришло в голову, что она должна уступить место молодой жене; отнюдь, Мэри-Бен стала служить и ей, охраняя от докучного домашнего труда. Когда родился первый ребенок,

Мэри-Бен оказалась незаменима; она даже придумала для девочки то самое романтическое имя. Мария-Луиза с удовольствием выполняла светские обязанности жены человека «на подъеме» — восходящей звезды деловой и политической жизни, — и ее более чем устраивало, что ведение хозяйства взяла на себя Мэри-Бен, или тетя, как ее все чаще стали называть, когда Мэри-Джим заговорила.

Кроме того, у тети был Хороший Вкус — а его обладатели имеют своего рода власть над другими.

Хороший вкус тетушки и ее умение выбирать разгулялись в полную силу, когда Хэмиш решил построить себе новый богатый дом — на холме, который возвышался на южном горизонте Блэрлогги. У Марии-Луизы не было никаких соображений по поводу домов, зато у тетушки соображений хватило бы на троих. Именно она объясняла архитектору, что именно от него требуется, рисовала ему эскизы и деликатно правила строительными рабочими. Дом, разумеется, был кирпичный — и не из какого-нибудь там обыкновенного кирпича, но из розового, с особой отделкой поверхности, непроницаемой, словно кафель. Поскольку Хэмиш занимался лесом, на внутреннюю отделку пошли самые изыскан-

ные вещи из мира дерева. Детали, точенные на токарном станке; панели с идеально подобранным рисунком дерева; деревянное кружево, вырезанное ленточной пилой… А в комнате, которую предназначили под библиотеку, были деревянные панели на стенах, но не обычные, а восьмиугольниками: похоже на деревянный паркет, но поставленный под углом. Выглядит омерзительно, но, конечно, требует большого мастерства, сказал доктор Дж.-А., у которого на все было свое мнение (обычно — уничижительного свойства).

Тетушка обставляла дом. Тетушка выбирала обои, отдавая предпочтение флокированным — словно узор вырезали из бархатной бумаги и наклеили на гладкий фон. Тетушка выбирала картины, тратя деньги в монреальских картинных лавках со скоростью, поражавшей ее брата. Она же выбрала сюжет для витражного окна, которое не особенно освещало лестничную площадку: «Король долины» Ландсира, очень изысканная вещь. Все эти действия тетушка называла «ненавязчиво оказывать посильную помощь».

Тетушкино желание не быть навязчивой повлияло на план дома: к северной стороне, куда редко заглядывало солнце, пристроили про-

сторный солярий. Над солярием располагались апартаменты, целиком принадлежащие тетушке. Она говорила: стоит ей уйти в свою маленькую комнатку и закрыть дверь, и она уже ни у кого не путается под ногами. На самом деле тетина гостиная была вполне просторна, а к ней примыкала еще спальня с маленькой молельной нишей и ванная, где тетушка могла делать «все, что нужно», то есть различные процедуры для изуродованной головы. Хэмиш и Мария-Луиза даже не заметят присутствия тетушки в доме, когда будут принимать гостей или захотят остаться наедине, как подобает супружеской паре.

Тетушка, мило улыбаясь и кивая, уступая всем и во всем, деловито, как пчелка-хлопотунья, построила дом и даже окрестила его: разумеется, семья не могла жить в «доме номер 26 по Скотт-стрит», и тетушка предложила назвать дом «Сент-Килда» — красиво и к тому же напоминает об острове Барра. Ни у Марии-Луизы, ни у Хэмиша не нашлось других вариантов, и именно это название появилось на витраже фрамуги над парадной дверью.

Тетушкин ум работал без устали, но никогда не уклонялся в сторону самоанализа и не усматривал связей между различными вещами. Иначе

тетушка могла бы задуматься, почему ей особенно дорога одна из вечерних молитв. Молитва эта звучала следующим образом:

> *Боже, предначертавший служение людей и ангелов в чудеснейшем миропорядке, ниспошли нам охранителей нашей земной жизни, всегда готовых служить Тебе и в раю… Боже, Ты, что Своим неистощимым Провидением и Божественною любовью посылаешь Своих святых ангелов охранять нас, услышь смиренные моления наши и подай нам покровительство сих святых ангелов, сохранив нас под сенью их крыл, да возрадуемся мы вместе с ними на небесах во веки веков.*

Уж не видела ли тетушка себя таким назначенным свыше хранителем и слугой? Да не попустит Господь, чтобы она впала в подобную гордыню! Но под истинами, в которых мы себе открыто признаемся, лежат убеждения, которые формируют нашу жизнь.

Никому и в голову не пришло позвать тетушку вместе со всей семьей в великую экспедицию, целью которой был выход Мэри-Джим в большой свет. Но тетушка не роптала. Она знала о

своем безобразии. Да-да, она даже настаивала, что безобразна, и, если Мария-Луиза, сенатор или Мэри-Джим протестовали, тетушка мило улыбалась и говорила: «Ничего-ничего, не надо меня утешать. Я знаю, как выгляжу, и приношу это как дар Богу».

«Принесение Богу» часто фигурировало в религиозной жизни тетушки. После того ужасного случая в Ридо-холле тетушка «принесла Богу» свое увлечение Виржилем Тиссераном — в надежде, что эта жертва будет угодна Небесному престолу. До Виржиля был Джозеф Кроун, который решил, что лучше стать иезуитом, чем тетушкиным мужем. Это тетушка тоже «принесла Богу». Она и свое внешнее безобразие принесла как дар, символ смирения и приятия судьбы. О, у тетушки было много даров для Бога, и, может быть, Он принимал их с благодарностью, поскольку наделил тетушку немалым могуществом в пределах ее маленького царства.

О том, что происходит в Англии, тетушка узнавала из писем Марии-Луизы и, реже, Марии-Джейкобины. Ни у той ни у другой не было особых эпистолярных талантов, но они старались — мать по-французски, дочь по-английски — держать тетушку в курсе дел, пока могли. Од-

нако они не в силах были описать новую жизнь, новых людей, столь непохожих на все, что знала тетушка, и письма становились реже и короче.

Тетушка все принимала безропотно. У нее было множество дел — она вела хозяйство в «Сент-Килде» и не давала прислуге распускаться. К прислуге относились горничная-полька Анна Леменчик, очень малорослая — почти карлица, — но зато гораздо шире обычного человека, и кухарка Виктория Камерон. Кухарка вечно была на волосок от увольнения, поскольку обладала огненным темпераментом шотландских горцев и склонностью, как говорила тетушка, «фордыбачить», если ей сказать хоть слово поперек. Против Виктории было все: во-первых, она была протестантка, а в городе хватало кухарок-католичек. Во-вторых, кроме вспыльчивости, она была еще и груба и нахально отвечала хозяевам; в-третьих, она была ужасно кривонога и топала в кухне, как лошадь, на весь дом. При таких недостатках неудивительно, что никто не замечал красоты ее смуглого лица, напоминающего испанских мадонн, столь пламенно обожаемых тетушкой. Да и то сказать, слыханное ли это дело — красивая кухарка? Козырной картой Виктории был ее кулинарный талант: остальные повара в Блэрлогги ей в под-

метки не годились, у нее был природный дар, и сенатор даже слышать не хотел о том, чтобы ее уволить. Эти двое и миссис Август, полька, приходившая два раза в неделю для генеральной уборки, составляли весь штат домовой прислуги.

Роль дворовой прислуги исполняла пьющая человеческая развалина по имени Старый Билли. Он ходил за лошадьми, исполнял обязанности кучера, сгребал снег, косил траву, уничтожал цветы. Предполагалось, что он также при необходимости поднимает разные тяжести и выполняет другие работы по хозяйству. Старый Билли был истовым католиком и шумно раскаивался в своих грехах (в число которых входила склонность часто и во всеуслышание пускать газы). Поэтому уволить его было невозможно, хоть он и был тяжким испытанием для всех окружающих.

Тетушка же присматривала за юной Мэри-Тесс, когда та приезжала на каникулы из монастырской школы. Это не составляло труда, так как Мэри-Тесс была жизнерадостной девочкой и любила кататься на коньках и санках. И у тети были свои маленькие радости. Во-первых, музыка: тетя играла и пела. Во-вторых, еженедельные визиты тещи сенатора, старой мадам Тибодо, величественной, заплывшей жиром дамы. Мадам

Тибодо не говорила по-английски, но любила посплетничать на французском языке, которым тетушка владела свободно, как и ее брат. Каждый четверг в четыре часа Старого Билли посылали с ландо (а зимой — с элегантными алыми санями), чтобы доставить мадам вверх по склону, ведущему в «Сент-Килду», а потом, в половине шестого, стащить ее обратно, сильно отяжелевшую от чая и всего, что к нему прилагалось. Раз в месяц тетушку посещали отец Девлин и отец Бодри из прихода Святого Бонавентуры: для ограждения от плотских соблазнов они приходили к старой деве только вдвоем. Святые Отцы поглощали огромное количество еды в мрачном молчании, прерывая его лишь пересказом наиболее назидательных приходских новостей. И еще к тетушке приходил, всегда непредвиденно и без какого-либо расписания, доктор Дж.-А. — Джозеф-Амброзиус Джером, главный в Блэрлогги врач-католик: он приглядывал за тетушкой по причине предполагаемой хрупкости ее здоровья.

Он был, без сомнения, самым веселым из ее гостей. Маленький, сухой, очень смуглый, ухмыляющийся, он держался загадочно, а его воззрения приводили тетушку в ужас. Местные жители считали его целителем и едва ли не

чудотворцем. Он вытаскивал с того света дровосеков, если им случалось разрубить себе ногу огромным ужасным топором и вот-вот должно было начаться заражение крови. Он зашивал поляков, порезавших друг друга ножами из-за никому не понятного вопроса чести. Он выхаживал больных воспалением легких — компрессами, ингаляциями и просто волей целителя. Он говорил женщинам, что им нельзя больше рожать, и грозил их мужьям ужасной карой за ослушание. Он прочищал страдающих запором и умащал воспаленные геморроидальные шишки опийной мазью. Он одним взглядом определял, что у больного глисты, и изгонял цепней ужасными зельями.

Считалось, что доктор исповедует какие-то темные верования, о которых чем меньше знаешь, тем лучше, — а может, он и вовсе атеист. Ходили слухи, что он знает богословие лучше отца Девлина и отца Бодри, вместе взятых. Он читал книги из Индекса,[8] в том числе на немецком языке.

[8] Примечания: 8

Индекс — т. е. Индекс запрещенных книг (*лат.* Index Librorum Prohibitorum) — список публикаций, которые были запрещены Римско-католической церковью. Некоторые издания списка содержали также указания Церкви по поводу чтения, продажи и цензуры книг. Официальной целью составления Индекса было ограждение веры и нравственности от посягательств и богословских ошибок.

Но ему доверяли, и сильнее всех ему доверяла тетушка.

Дело было в том, что он ее понимал. Он знал ее нервы, как никто. Он мрачно намекал, что быть девственницей в ее возрасте небезопасно, и, к ее смертельному стыду, иногда требовал разрешения помять ее бледные тощие груди и заглянуть в ее самый тайный проход с помощью металлической трубки, называемой зеркалом, и фонарика. Человек, которому такое позволено, занимает особое место в жизни старой девы. Кроме того, он дразнил ее. Дразнил ее, издевался над ней и напрочь отказывался воспринимать ее всерьез. Если бы тетушка знала о себе хоть что-нибудь, она бы поняла, что любит доктора. А так она видела в нем близкого и грозного друга, которому доверяла как никому. Он был для нее едва ли не больше чем священник — священник, от которого отчетливо припахивало серой.

Именно доктору тетушка первому открыла новость, которая содержалась в письме Марии-Луизы. Мэри-Джим выходит замуж! Да-да, за англичанина, некоего майора Фрэнсиса Корниша. Судя по всему, он светский щеголь. Ну что ж, ясно было, что Мэри-Джим не засидится в девушках. Она такая красавица! И похоже, они

приедут жить в Блэрлогги. Нам придется подтянуть манеры ради английского щеголя. Что же он подумает о ней, старой тетушке, — безусловно, комической фигуре!

— Надо думать, он скоро захочет узнать, что под этим чепчиком, — ответил доктор. — Что ты ему тогда скажешь, а, Мэри-Бен? Если он солдат, как ты говоришь, то, должно быть, видал и похуже.

С этим доктор, смеясь, удалился. По дороге он прихватил с подноса остатки пирога — они предназначались для детей в бедных польских кварталах, но доктор притворялся сладкоежкой.

Когда доктор пришел в следующий раз, тетю распирало от новостей. Они поженились! Где-то в Швейцарии. Место называется Монтрё. И побудут там во время медового месяца, а потом приедут домой. Мадам Тибодо была в восторге: медовый месяц в стране, где говорят по-французски, как-то смягчал ужасную английскость майора.

Сенатор и Мария-Луиза вернулись в Блэрлогги поздней осенью и были менее разговорчивы, чем ожидала тетушка. Очень скоро, конечно, им пришлось рассказать ей все — ну или часть. Марию-Джейкобину и майора венчал английский священник в англиканской церкви. Ну же, Мэри-Бен, хватит, перестань: что сделано, того не

воротишь. Конечно, мы можем молиться, чтобы он узрел свет, но я думаю, что такого человека уже не перевоспитать. А теперь давай-ка перестань реветь и сделай хорошую мину, потому что мне придется рассказать отцу Девлину, а он передаст отцу Бодри, и одному Богу известно, что скажут в городе. Да, я сделала все, что могла, но без всякого толку. Мне еще предстоит рассказать Мэри-Тесс, что отмочила ее сестра, и, уж поверь мне, я ей вдолблю в голову, что в этой семье больше ничего подобного не повторится. Ох, Матерь Божия, мне же еще мать Марию-Базиль придется известить, и уж это будет трудное письмо… ты должна будешь мне помочь. Хэмишу хорошо, он все переносит, как мул: из него ни слова не вытянешь.

Прискорбный отпрыск не возник ни в том разговоре, ни позже; наконец пришла телеграмма: «Моя жена вчера ночью родила мальчика. Корниш». До ее прихода прошло достаточно времени, чтобы избавить жителей Блэрлогги — и тетушку в первую очередь — от необходимости подсчитывать на пальцах; таким подсчетом в Блэрлогги встречали всех первенцев.

Разумеется, в городе всё знали и, сверх того, предполагали многое, чего никто не говорил. Местная газета «Почтовый рожок» кратко со-

общила о свадьбе, не упоминая о том, что она прошла по протестантскому обряду, но в этом и не было необходимости, так как в заметке говорилось, что молодых сочетал браком достопочтенный каноник Уайт. Паршивая газетенка! До чего же гнусные люди эти консерваторы! Негодяи из редакции знали, что все сразу всё поймут. Слава Богу, что хотя бы про четвертое условие еще никто не знает, но надолго ли это! Чуть позже «Почтовый рожок» опубликовал благую весть о рождении Фрэнсиса Чигуиддена Корниша, сына майора и миссис Фрэнсис Чигуидден Корниш; внука нашего всеми любимого сенатора, достопочтенного Джеймса Игнациуса Макрори, и миссис Макрори; правнука мадам Жан Телесфор Тибодо. Но это был лишь костяк; обильные слухи обрастили его плотью. Шотландцы-консерваторы работали языком.

«Вообще-то, ихняя девица могла бы и канадца себе найти, нет?» — «Да что вы, она слишком хороша для такого. По-моему, сенатор сделал из нее дуру». — «А муж-то сам кто?» — «Католик как пить дать. Зря, что ли, у них дома все крутятся попы да монашки, а у старухи Мэри-Бен идольские картинки по всему дому (даже в гостиной — вот где ужас-то!). Так что мужу некем быть,

как католиком. Я, правда, сроду не слыхала, чтоб англичанин был католиком». — «Да нет, они все по большей части англикане, если вообще хоть во что-то верят. Но мне рассказывали, что она встретила его при дворе». — «Я вам больше скажу: сам король хотел, чтобы они поженились. Только намекнул, но это все равно что приказ…» — «Ну как бы там ни было, а мы и сами скоро узнаем. Конечно, мне они докладываться не будут — как я есть честный тори сверху донизу. Верите ли, я живу в Блэрлогги шестьдесят семь лет, и до меня тут мои предки жили, и ни один Макрори со мной сроду не поздоровался». — «Они чуют в тебе протестантскую кровь, вот чего». — «Да, называют это „ложкой дегтя“».

Наконец, больше года спустя, майор и миссис Корниш с младенцем-сыном прибыли в Блэрлогги вечерним оттавским поездом. Если городу и было к лицу какое время года, то это, несомненно, осень, когда пылали клены. Свидетели, стоявшие близко, говорили, что Мэри-Джим пролила несколько слез, садясь в ландо, в котором Старый Билли должен был отвезти их в «Сент-Килду». Мэри-Джим держала на руках дитя, закутанное в большую шаль. Майор не колеблясь занял два сиденья лицом по ходу движения для себя и жены,

оставив сенатору и Марии-Луизе сиденья, повернутые спиной к кучеру. Свидетели не преминули обратить на это внимание. На перроне осталась огромная куча багажа, за которым Старый Билли должен был вернуться позже: военные сундуки, железные ящики, странной формы кожаные футляры — возможно, с ружьями.

Ко времени, когда настала пора ложиться в постель, у майора накопились вопросы.

— Так кто эта забавная старушонка в чепчике?

— Я же тебе уже сто раз говорила. Это моя тетя, сестра моего отца, она тут живет. Это ее дом.

— Старушка с причудами, а? Хочет звать меня Фрэнком. Ну, в этом большой беды нет. Как, ты сказала, ее зовут?

— Мария-Бенедетта. Но ты можешь говорить «Мэри-Бен», ее все так зовут.

— Вы все Марии-как-нибудь, а? Забавно!

— Семейный обычай, католический. И кстати, уж кто бы говорил про чепчики, но не ты.

Майор в это время нанес на волосы особую смесь с запахом грецкого ореха, а потом надел шерстяную шапочку, которая предположительно должна была прижимать слой мази к голове, оттягивая появление лысины, которой майор страшился.

— Она такая маленькая и так много ест!

— Я не замечала. У нее ужасное несварение, газы. Она просто мученица.

— Меня это почему-то не удивляет. Будем надеяться, что ее не постигнет судьба Джесса Уэлча.

— Кто это?

— Я знаю только его эпитафию:

Джесс Уэлч в последний отбыл путь:
Бедняга не посмел рыгнуть,
И газ, расширившись в кишках,
Его унес за облака.

— О, но Мэри-Бен никогда не позволяет себе отрыжки; она — настоящая леди.

— Ну так это все должно как-то выходить, иначе — БАБАХ!

— Фрэнк, не будь бякой. Иди в постельку.

Майор уже перешел к последней процедуре, которую выполнял каждый раз перед отходом ко сну. Он снял монокль — впервые за день, — тщательно протер его и уложил в бархатную коробочку. Затем привязал на лицо розовую сеточку-наусник, которая всю ночь удерживала его усы в определенном положении, позволяя победить природу. Засим майор вскарабкался на высокое ложе и обнял жену.

— Чем раньше мы построим свой дом, тем лучше… верно, дорогая?

— Именно, — сказала Мэри-Джим и поцеловала мужа. Наусник ей не помешал. Это был не романтический, а супружеский поцелуй.

Против всякой вероятности, за прошедший год супруги привязались друг к другу. Но ни один из них не привязался к ребенку, который сейчас молча лежал в колыбельке у изножья кровати.

Оттягивать было бессмысленно, и назавтра же доктора Дж.-А. Джерома попросили осмотреть ребенка. Доктор Джером, обследующий больного, был совсем не похож на балагура, каким он бывал в светских гостиных. Доктор молча проделал несколько манипуляций: похлопал в ладоши возле уха ребенка, провел горящей спичкой у него перед глазами, потыкал там и сям, даже ущипнул, а потом ущипнул еще раз, чтобы убедиться, что он действительно слышал этот странный крик. Доктор измерил череп ребенка и длинным пальцем прощупал родничок.

— Швейцарец был прав, — сказал он наконец. — Посмотрим, что можно сделать.

С сенатором, к которому доктор зашел вечером выпить рюмочку, он был разговорчивее.

— Этот ребенок никогда не вырастет, — сказал

доктор. — Хэмиш, я не вижу смысла от тебя скрывать: этот ребенок — адиёт, и он не проживет долго, если Господь над ним смилуется.

Корниши, не теряя времени, построили собственный дом на куске земли, хорошо видном из «Сент-Килды», — за садом большого дома, через дорогу. Новый дом был меньше особняка сенатора, но все равно немалых размеров, и в Блэрлогги шутили, что майор собирается брать постояльцев. Зачем молодым супругам с одним ребенком такой огромный дом? Он был еще и современный — для той эпохи, и поговаривали, что в некоторых комнатах вообще не предусмотрены обои, а вместо них — шершавая штукатурка, которую, должно быть, потом будут красить. И такая куча окон… можно подумать, в этом климате дома легко отапливать, даже если в них не понатыкано окон. В доме было паровое отопление — дорогая причуда — и столько ванных комнат, что даже неприлично: ванные при спальнях, и туалет с раковиной на первом этаже, так что, если идешь по нужде, даже не выйдет притвориться, что идешь куда-нибудь по делу! Визиты любопытных не поощрялись, хотя в обычае Блэрлогги было посещение всех строящихся домов — просто чтобы посмотреть, как там и что.

Однако дом вызвал гораздо меньше пересудов, чем вид майора с женой, воскресным утром направляющихся под ручку в англиканскую церковь. Вот это оплеуха Макрори, а? Смешанный брак! Вы погодите, пока мальчик вырастет. Он-то точно будет католиком. Паписты его просто так не отпустят.

Но мальчика никто не видел. Его не вывозили гулять в колясочке, а когда Мэри-Джим спросили про ребенка, она сказала, что у него хрупкое здоровье и ему нужен особый уход. Должно быть, родился со стеклянным глазом, в отца, говорили остряки. А может, он калека, говорили другие, не добавляя, что в Блэрлогги и без него полно калек. Со временем все выяснится.

Но ничего не выяснилось, даже когда дом был закончен и обставлен. («Видал вагоны с мебелью на станции? Из Оттавы и даже из самого Монреаля!») Мэри-Джим знала, что ей положено делать, и через некоторое время в «Почтовом рожке» появилось небольшое объявление. В нем сообщалось, что в определенный день в июне миссис Фрэнсис Корниш будет «у себя» в «Чигуидден-лодж».

Согласно местным обычаям, это означало, что все, кроме явных поляков, имеют право прий-

ти, выпить чашку чая и осмотреть дом. Люди приходили сотнями, шатались по всему дому, терли между пальцами материю драпировок, украдкой заглядывали в шкафы и комоды, поджимали губы и что-то завистливо бормотали друг другу. Вот это да! Сколько деньжищ, должно быть, ухнули! Ну что ж, хорошо тем, у кого они есть. «Чигуидден-лодж»! Не знаешь, что и думать. Жена почтмейстера сказала, что ее муж собирался потребовать, чтобы обитатели дома писали на письмах по-человечески: дом 17, Уолтер-стрит (таков был официальный адрес участка до строительства). Все согласились (но так, чтобы почтмейстерша не слышала), что ее муж, как всегда, все собирается, собирается, но так никуда и не соберется. Почтмейстерша же отрапортовала, что на конвертах писем, которые шлют обитатели дома, уже заранее напечатано «Чигуидден-лодж»! Собственные наборы для письма! И еще Мэри-Джим всех поправляет и говорит, что это надо произносить «Чигген», как будто мы не умеем читать по-английски. Если, конечно, это по-английски, а то кто их разберет.

Первый раз, когда Мэри-Джим приняла у себя весь город, стал и последним: она согласилась на один-единственный прием, и то лишь из-за вы-

сокого положения отца. Ребенка так никто и не увидел. В обычаях города было демонстрировать младенцев, дабы маленькие ангелочки получили свою порцию восторженных восклицаний.

У ребенка была нянька — накрахмаленная мрачная женщина из Оттавы, которая ни с кем не сдружилась. По городу пошел слух, что ребенок кричит ужасно странно, — такого странного крика сроду никто не слыхал. Виктория Камерон сочла нужным проследить источник слуха. Как она и предполагала, это оказалась Доминика Тремблэ, горничная в «Чигуидден-лодж». Виктория спикировала на Доминику и сообщила, что если та еще будет трепать о семейных делах, то она, Виктория, из нее все потроха выдерет. Доминика пришла в ужас и больше ничего не рассказывала. Но когда ее допрашивали, она театрально закатывала глаза и прижимала палец к губам; поэтому слухи только усилились.

Слухи сообщали, что ребенок чахнет из-за какого-то изъяна отца (ну знаете, эти старые английские семьи…) или — тсс! — из-за дурной болезни, какие солдаты часто цепляют от заморских шлюх. Может, потому у Мэри-Джим больше нет детей? Она не хочет или не может? Сплетники упоминали женщин, у которых все нутро

насквозь прогнило от болезней, которыми их заразили мужья. Жители города провели немало приятных минут за подобными дискуссиями.

Слухи приумолкли после февраля 1909 года, когда доктор Джером сказал Мэри-Джим, что она опять беременна. Для Корнишей эта новость была одновременно хорошей и плохой. Майор был счастлив, что на свет появится дитя его чресел, — он был уверен, что это будет сын, — и Мэри-Джим тоже. Они не сошли бы за влюбленных, но уживались мирно и были неизменно вежливы друг с другом («как и не женаты вовсе», говорили в городе). Но мрачная женщина из Оттавы избрала именно этот момент, чтобы уволиться, — с вероломством, свойственным домашней прислуге. Хозяева, увольняющие работников, обязаны назвать причину; работники же не обязаны объяснять, почему уходят. Но мрачная накрахмаленная женщина добровольно сообщила, что еще год в Блэрлогги ее прикончит, и мстительно добавила: раньше она слыхала, что Блэрлогги — безумная глушь, а теперь сама в этом убедилась. Так что беременная Мэри-Джим была вынуждена ухаживать за больным ребенком одна, если не считать помощи Виктории Камерон. Виктория, похоже, переходила в разряд старых семейных

слуг и хранителей, хотя ей было лишь немногим за тридцать. Доминике Тремблэ доверять было нельзя, и в детскую ее не пускали.

Это было неудобно, так как сенатор желал, чтобы его кухарка несла вахту у него на кухне. Майор трясся над женой, как новобрачный, и, когда она уставала или унывала, роптал на судьбу. Что-то надо делать, сказал доктор Джером. Сначала он сказал это Корнишам, Марии-Луизе и тетушке Мэри-Бен, а потом, с особым нажимом, повторил сенатору, когда они в очередной раз сидели за стопочками виски в библиотеке с уникальными панелями.

— Не буду ходить вокруг да около. Гораздо лучше было бы для всех, если бы этот ребенок умер. Он — тяжкая ноша и всегда будет тяжкой ношей, и для нового ребенка тоже, потому что старший брат-кретин — это тяжелое бремя.

— Когда его сюда привезли, ты сказал, что он не выживет.

— Да, я знаю, что я это сказал, и я был прав. Это ребенок не прав. Он не имел права жить так долго — в таком виде. Пять лет! Это совершенно антинаучно.

— И конечно, этому никак нельзя помочь.

Доктор выдержал паузу:

— Как сказать.

— Джо… неужели ты предлагаешь…

— Нет. Я католик, как и ты, и столп Церкви — пускай и стою не в центре, а с краю. Жизнь, какова бы она ни была, священна. Но если бы у этого швейцарца была хоть капелька мозгов, он не стал бы вмешиваться, когда ребенок родился. Первые пять минут… можно не то чтобы пригласить смерть, но предоставить природе решать. Я сам это проделывал десятки раз, и совесть меня никогда не мучила. Но иные доктора желают похвалиться своим искусством и потому забывают о всякой ответственности, о человечности. Но я тебе скажу начистоту: я был бы рад, если бы вы освободились от этого ребенка. Он плохо действует и на Мэри-Джим, и на всех вас.

— Да, но что ты имел в виду, когда говорил «как сказать»?

— Ребенок сильно сдал за последние несколько месяцев. Может, мы от него еще отделаемся — и чем скорей, тем лучше.

Очевидно, подозрения доктора Джерома были небеспочвенны. Через несколько дней, после громогласной ссоры с супругом, Мэри-Джим срочно вызвала отца Девлина, и ребенка покрестили во второй раз — уже в католичество. И всего через

день-два лучший рабочий с деревообрабатывающей фабрики сенатора изготовил маленький гробик — чудо мастерства. Ночью маленькая процессия из двух карет направилась на католическое кладбище — мрачное, голое, открытое всем ветрам. Шел март, и на кладбище было ужасно холодно. Похороны прошли в узком кругу, насколько это вообще возможно. Могилку выкопал Старый Билли, киркой и лопатой разбивая мерзлую землю. Он стоял в стороне, пока сенатор, Мария-Луиза, тетя Мэри-Бен и майор Корниш слушали, как отец Девлин читает погребальную службу. Сенатор и майор светили керосиновыми лампами. Никто не пролил ни одной слезы, когда первого внука сенатора погребли на доселе пустом семейном участке Макрори.

Когда пришла весна, тетя Мэри-Бен распорядилась, чтобы на могилке поставили камень. Небольшой, белого мрамора, всего фут шириной, а высотой от силы три дюйма. Рельефные буквы на камне гласили: «ФРЭНСИС».

После этого беременность Мэри-Джим проходила просто прекрасно. 12 сентября предмет биографического труда Симона Даркура наконец родился и был крещен в англиканской церкви как Фрэнсис Чигуидден Корниш.

— Вот и твой подопечный, — сказал Цадкиил Малый. — Ты, конечно, присутствовал при рождении?

— А где я еще мог быть? — ответил даймон Маймас. — Я заступил на пост, если можно так выразиться, в момент зачатия — десятого декабря тысяча девятьсот восьмого года в двадцать три часа тридцать семь минут.

— А что ты должен был делать? — спросил ангел биографии.

— Выполнять приказы, конечно. Как только Фрэнсиса зачали — как только майор удачно оргазмировал, — меня вызвали наверх и сказали: «Это твой; старайся, но не выпендривайся».

— А что, были прецеденты?

— Я всегда считал, что несколько цветистых росчерков не повредят ничьей биографии. Возможно, перестарался пару раз. Но Они совсем по-другому смотрят на вещи. Вручая мне Фрэнсиса, Они велели не выпендриваться, и я всячески старался не выпендриваться. Этой семье просто необходим был кто-нибудь вроде меня.

— Они показались тебе скучными?

— Дорогой Цадкиил, мы еще даже не начали говорить о Блэрлогги. Это — воплощение скуки! Но по опыту нескольких эонов я знаю, что

хорошее скучное начало не мешает интересной жизни. Подопечный так старается убежать от этой скуки, что с ним можно проделывать очень интересные вещи. Точнее, вложить ему в голову, чтобы проделывал сам. Без меня Фрэнсис стал бы достопочтенным горожанином, таким же, как и все остальные. Конечно, я знал все, что следует, о похоронах первого Фрэнсиса. Это было забавно, как сказал тогда майор.

— Ты совершенно безжалостен.

— Ты тоже, и даже не притворяйся, что это не так. Давным-давно — давай будем говорить так, как будто время для нас реально, — я узнал: когда духу-наставнику вроде меня вручают подопечного, жалость только все портит. Гораздо лучше протащить его через гонку с препятствиями, сквозь колючие изгороди, закалить его. Трястись над неженками — не моя работа.

— Ну так что — раз мы добрались до Фрэнсиса, давай двинемся дальше? Мы должны были пристально разглядеть его ближайших предков, потому что они — то, что заложено у него в костях. А именно это и пытается раскопать бедный Даркур.

— Да, но теперь за дело взялся я — даймон Майнас, неусыпный дух-хранитель. Фрэнсис был и

Макрори, и Корниш, и все прочее, что прилагается при такой смеси. Все это было заложено у него в костях, но, кроме этого, в них был заложен я — прямо с момента зачатия. И это все изменило.

Часть вторая

Впервые в жизни Фрэнсис Корниш осознал себя — как существо, наблюдающее отдельный от него мир, — в саду. Фрэнсису было почти три года. Он заглядывал в глубины роскошного красного пиона. Фрэнсис остро ощущал, что он живой (хоть и не научился еще думать о себе как о Фрэнсисе), и пион тоже в своем роде ощущал, что живет на свете, и они взирали друг на друга с высоты эгоизма (каждый — своего) и серьезной уверенности в себе. Мальчик кивнул пиону, и пион, кажется, кивнул в ответ. Мальчик был аккуратненький, чистенький и хорошенький. Пион был распущенный, растрепанный, как положено пиону на пике красоты. Это был важный момент — первая сознательная встреча Фрэнсиса с красотой, которой предстояло стать радостью, мукой и горечью его жизни. Но, кроме самого Фрэнсиса и, может быть, пиона, никто не узнал об этой встрече, а если бы и узнал, то не обратил бы внимания. Каждый час полон моментов, которые для кого-то судьбоносны.

Сад принадлежал матери Фрэнсиса. Впрочем,

ошибкой было бы счесть, что Мэри-Джим увлекалась садоводством. Сады ее мало интересовали. Сад у нее был только потому, что молодой состоятельной замужней женщине полагалось его иметь. Если бы Мэри-Джим решила, что сад ей не нужен, майор запротестовал бы: у него были незыблемые убеждения по поводу того, что нравится женщинам. Женщинам нравятся цветы; в определенных случаях женщинам дарят цветы; в определенных случаях женщин положено сравнивать с цветами. Хотя, пожалуй, не с пионами: пион — красивый, но развратный цветок. Сад был плодом труда мистера Мейдмента и отражал его скучную, геометрически правильную душу.

Фрэнсиса не часто оставляли в саду одного. Мистер Мейдмент не любил мальчиков — они топчут траву и срывают цветы. Но в этот волшебный миг Белла-Мэй оставила Фрэнсиса, поскольку ей понадобилось на минуту зайти в дом. Фрэнсис хорошо знал, что она пошла писать, как делала часто, ибо у нее, как и у всех Эльфинстонов — ее родни, — был слабый мочевой пузырь. Белла-Мэй не знала, что Фрэнсис знает, поскольку в ее обязанности входило защищать его от травмирующих фактов окружающей действительности. В ее примитивном мозгу царило

убеждение, что маленькие мальчики не должны знать о животных потребностях взрослых. Но Фрэнсис, даже если и не осознавал полностью, кто такой Фрэнсис, все же знал, куда ходит Белла-Мэй, и чувствовал себя слегка виноватым из-за того, что знает. Он пока не очень хорошо умел рассуждать и не мог еще сделать вывод, что, раз Белла-Мэй обременена такими низкими телесными нуждами, то же относится и к его родителям. Родители пока были для Фрэнсиса далекими богоподобными существами. Конечно, они никогда не раздевались (хоть и появлялись несколько раз на дню в новых нарядах), но Фрэнсис видел, как раздевается Белла-Мэй или, во всяком случае, стаскивает с себя одежду под покровом ночной рубашки, потому что Белла-Мэй спала у него в детской. Кроме того, она каждый вечер перед сном сто раз проводила щеткой по грубым волосам цвета ржавчины — Фрэнсис слышал, как она считает, и обычно крепко засыпал задолго до ста.

По настоянию майора Беллу-Мэй звали «няня». Но Белла-Мэй, верная дочь Блэрлогги, считала, что очень глупо звать человека не его именем. Майора и миссис Корниш она считала зазнайками и не думала, что работа няньки — предмет для

гордости. Это была работа, и Белла-Мэй старалась как могла, но у нее были свои соображения, и порой она шлепала Фрэнсиса — не потому, что он как-то особенно шалил, но в качестве личного протеста против семьи Корниш и всего их уклада, идущего вразрез с убеждениями Блэрлогги.

После встречи с пионом, но до того, как Фрэнсису исполнилось четыре года, он узнал, что Белла-Мэй — Ужасная. Она была некрасива, если не откровенно уродлива, а взрослые женщины обязаны быть красивыми, как мама, и пахнуть дорогими духами, а не крахмалом. Белла-Мэй регулярно чистила зубы коричневым мылом, и Фрэнсиса тоже заставляла, хотя в детской всегда был зубной порошок. Это было Ужасно. Еще Ужаснее было ее неуважение к святым образам, которые висели на стене детской. Тут были ярко раскрашенные портреты короля Эдуарда VII и королевы Александры, и раз в месяц Белла-Мэй скоблила их стекла порошком «Бон ами», бормоча себе под нос: «Ну-ка, пожалуйте умываться». Если бы майор это знал, он бы задал Белле-Мэй. Но он, конечно, не знал, потому что Фрэнсис не был ябедой, — Белла-Мэй терпеть не могла ябед. Но Фрэнсис был наблюдателен и вел мысленное досье на Беллу-Мэй. Если бы родители Фрэнсиса

могли заглянуть в это досье, они бы, несомненно, ее уволили.

Взять хотя бы ее дерзость по отношению еще к одной картине, висевшей в детской: изображению Некой Особы. Белла-Мэй терпеть не могла идолов; она принадлежала к немногочисленной в Блэрлогги пастве Армии спасения и точно знала, что правильно, а что нет. Изображение Некой Особы, тем более в детской, не имело права существовать.

Разумеется, она не могла ни убрать картину, ни даже перевесить ее в другое место: картину повесила у кроватки Фрэнсиса тетя, мисс Мария-Бенедетта Макрори, которую точнее было бы называть двоюродной бабушкой. Белла-Мэй не единственная косилась на изображения Некой Особы: майор тоже был недоволен, но решил не затевать ссору с тетушкой и терпеть, так как у детей и женщин всегда бывают разные причуды, связанные с религией. А когда мальчик подрастет, отец, разумеется, покончит со всей этой ерундой. Так что картина висела себе — ярко раскрашенное изображение Иисуса. Он печально улыбался, словно зрелище, представшее большим карим глазам, причиняло Ему боль. Он был в синем хитоне и простирал к зрителю белые

руки в традиционном жесте, как бы говоря: «Приидите ко мне». Он словно плавал в небе на фоне множества звезд.

Время от времени тетя Мэри-Бен приходила «пошептаться по секрету» с Фрэнсисом.

— Когда молишься, посмотри сначала на Иисуса, потом закрой глазки, но представляй себе картинку, как будто она перед тобой. Потому что ты молишься именно Ему, понимаешь? Он знает все про всех маленьких мальчиков и любит их крепко-крепко.

Белла-Мэй точно знала, что Иисус не любит видеть маленьких мальчиков голыми, и всегда переодевала Фрэнсиса очень быстро, с определенными стыдливыми предосторожностями.

— Ты же не хочешь, чтобы Иисус видел твою голую «мадам Сижу»? Видишь, какие у Него большие глаза? — говорила она, умудряясь выразить в этих словах упрек и Фрэнсису, и Иисусу. Ибо запасы ее неодобрения были безграничны.

Религиозная доктрина Армии спасения изливалась из уст Беллы-Мэй в виде неодобрения того и сего; Белла-Мэй жила этой доктриной и часто произносила боевой клич Армии «Кровь и пламя!» с жаром, с каким люди обычно ругаются.

Белла-Мэй старалась, чтобы Армия спасения

играла как можно большую роль в жизни Фрэнсиса, хотя, конечно, не рисковала водить его в храм: майор этого не потерпел бы. Но не реже двух раз в неделю Фрэнсис лицезрел Беллу-Мэй во всем великолепии униформы, и он же был первым, кто увидел Беллу-Мэй во всем блеске, увенчанную Шляпой.

Униформа Армии спасения стоила недешево, и Белла-Мэй покупала обмундирование по частям, скопив нужную сумму. Так, она постепенно приобрела ботинки на низком каблуке, черные чулки, юбку, мундир с чудесными пуговицами. Настало время великого решения. Купить ли ей чепец, всем знакомый головной убор Девушек Армии спасения, или выбрать Шляпу? Шляпа была широкополая, с плоской тульей, из синего фетра, с роскошной красно-золотой лентой, очень похожая (хотя Белла-Мэй этого не знала) на головной убор католических священников в соседнем Квебеке. Белла-Мэй долго вглядывалась в собственную душу, молилась о вразумлении и в конце концов выбрала Шляпу.

Став владелицей полного облачения, Белла-Мэй явилась Фрэнсису во всем блеске. Она маршировала по детской и пела в своеобразном стиле — дополняя песню звуками, которые долж-

ны были изображать оркестр.

У Креста, у Креста
Воссиял мне Божий свет,
Будем славить мы Христа: ни следа от скорби нет
(пум! пум!)

Откровенье снизошло,
Как мне праведником стать:
На душе моей светло, счастлив я — не передать!
(Плям! — сердито сказали цимбалы).

У Креста-а-а-а-а, у-у-у-у-у Креста-а-а
Воссиял мне Божий свет
(пум-ти-пум!)
Вот такая благодать!
Будем славить мы Христа,
Счастлив я — не передать!
(Бум! БУМ!!)

Удержаться было невозможно. Фрэнсис соскочил с кровати и принялся вышагивать за Беллой-Мэй, экстатически выкрикивая в нужный момент под ее руководством: «Тебе слава!» и

«Мой Спаситель!» Душа его воспаряла ввысь. Он перестал бояться гнева Некой Особы и решительно избегал взгляда печальных глаз. Он не знал, о чем поет, но пел от сердечной радости.

Дверь детской отворилась. Появилась крохотная фигурка тети Мэри-Бен; тетя приятно улыбалась и кивала головкой в маленьком мягком чепчике. Она вовсе не была против. Ни в коем случае! Она жестом велела Фрэнсису вернуться в постель и отвела Беллу-Мэй к окну, где несколько минут что-то очень тихо говорила ей, после чего Белла-Мэй с плачем выбежала из комнаты.

Засим тетушка сказала:

— Фрэнки, давай помолимся перед сном. Или вот что: давай я помолюсь, а ты послушаешь.

Тетя с мальчиком встали на колени у кровати, и тетя вытащила из кармана что-то вроде бус, каких Фрэнсис никогда не видел: черные шарики разного размера были нанизаны на серебряную цепочку, и тетя принялась, пропуская шарики меж пальцев, бормотать что-то похожее на стихи. Закончив, она почтительно поцеловала крестик, подвешенный к бусам, и с милой улыбкой протянула их Фрэнсису, чтобы он тоже поцеловал. Фрэнсису понравилось целовать крестик, понравилась благоговейная тишина и воздействие

стихов. Это было не хуже, чем марш Беллы-Мэй, но совсем другое. Он подержал крестик в руке, не желая его отдавать.

— Хочешь такие, Фрэнки? — спросила тетушка. — Боюсь, что эти, прямо сейчас, я не могу тебе отдать, но, может быть, скоро подарю тебе такие же. Это называется четки, милый, а по-другому — розарий, потому что это сад молитвы, где растут дивные розы. Этот сад принадлежит милой Матери Иисуса, и, когда мы молимся с четками, мы подходим к Ней очень близко и можем даже увидеть Ее прекрасное лицо. Но это будет наш с тобой секрет. Не говори папе, хорошо?

Тетя могла не опасаться. Разговоры Фрэнсиса с отцом носили совершенно другой характер.

— Фрэнк, поди сюда, я тебе покажу свое ружье. Загляни в дуло. Видишь? Чисто, как в аптеке. Всегда держи ружье чистым и смазанным. Оно того заслуживает. За хорошим ружьем и уход должен быть хороший. Когда подрастешь, я тебе куплю ружье и научу с ним обращаться. Чтобы ты стрелял как спортсмен, а не как убийца.

Или:

— Фрэнк, пойдем, я тебе покажу, как завязывать мушку для форели.

Или:

— Фрэнк, погляди на мои сапоги. Видишь, как блестят? Я никогда не позволяю горничным до них дотрагиваться. Этим сапогам одиннадцать лет, а по виду ни за что не скажешь. Вот что значит правильный уход! Человека видно по обуви. Всегда заказывай ботинки у лучшего сапожника. Только мужланы ходят в нечищеной обуви.

Или, на ходу:

— Фрэнк, стой прямо. Никогда не горбись, даже если устал. И выгни спину немножко: на параде это выглядит очень красиво. Приходи завтра после завтрака, я тебе покажу свою саблю.

Хороший отец, твердо намеренный вырастить сына хорошим человеком. Пожалуй, никто не ожидал такого от Деревянного Солдатика. В майоре оказались неизведанные глубины любви. И гордости. Но не поэзии.

Мама была совсем другая. Она очень любила сына, но как будто умела по желанию включать и выключать эту любовь. Она почти не видела Фрэнсиса — разве что случайно, потому что у нее было ужасно много дел. Ей надо было развлекать отца и предотвращать нежелательные встречи, когда Корниши выходили воскресным утром в церковь Святого Альбана, а карета Макрори в это же время выезжала в сторону храма Святого

Бонавентуры; надо было читать один за другим романы с хорошенькими картинками на обложке; надо было заводить фонограф с «Лучшими ариями из „Волшебника Нила“»,[9] среди которых Фрэнсис больше всего любил такую:

Что это творится тут?
Все топочут — просто жуть!
Что тут делает народ?
Что? Танцует тэрки-трот![10]
Посмотри, как ритм сменился,
Наш танцор со счета сбился —
И танцует он прескверно!
Это точно гризли-беар!
Можно со стыда сгореть:
Он танцует как медведь!

Это было чудесно — лучше всего на свете. Не хуже папиной сабли, таинственных тетушки-

---

[9] Примечания: 9

«Волшебник Нила» (The Wizard of the Nile) — оперетта-бурлеск американского композитора Виктора Герберта (1859–1924), впервые поставленная в 1895 г.

[10] Примечания: 10

Танцует тэрки-трот! <…> Это точно гризли-беар! — Тэрки-трот («шаг индейки», ср. фокстрот — «шаг лисы») и гризли-беар («медведь гризли») — названия популярных танцев, проникших из репертуара чернокожих американских исполнителей в массовую культуру.

ных бус и мундира Беллы-Мэй, который, правда, Фрэнк с тех пор не видал. Мама брала его за руки, и они танцевали терки-трот — все кругом и кругом, по хорошенькой маминой гостиной. Как чудесно!

В своем роде это было так же чудесно, как счастье первой встречи с пионом, но, может быть, все-таки не совсем, потому что та встреча принадлежала только Фрэнку, — он мог повторить ее летом и вспоминать о ней зимой, ни с кем не делясь.

Все было чудесно, пока в одно сентябрьское утро 1914 года мир не разлетелся на куски. Белла-Мэй отвела Фрэнка в школу.

Обитатели «Чигуидден-лодж» могли бы уделить этому событию больше внимания, но домашняя жизнь пришла в неустройство из-за частых отлучек майора и его жены — сначала по нескольку дней, потом недель, потом месяцев. Майор с женой ездили в Оттаву, где их все сильнее привечали в резиденции генерал-губернатора. Кроме того, происходили таинственные встречи с военными властями: майор выступал как представитель генерал-губернатора, герцога Коннахтского, который был фельдмаршалом и знал о военных делах больше, чем большинство

канадских кадровых военных. Герцог, будучи представителем короны, не мог быть слишком на виду и не хотел создавать положения, при которых канадцы могли потерять лицо. Поэтому нужен был человек, который доставлял бы информацию в Ридо-холл и советы из Ридо-холла, не задевая ничьего самолюбия. Этим человеком стал майор Корниш — воплощение такта. И когда наконец война против Германии и так называемых Центральных держав была объявлена, майор занял должность, которой не сразу подобрали официальное название, но по сути стал главой военной разведки, насколько таковая была в Канаде, и вместе с Мэри-Джим переехал в Оттаву. Он сказал сенатору, что они вернутся, когда кончится война, — тогда все думали, что это ненадолго.

Никто особо не задумывался над образованием Фрэнсиса. Для Марии-Джейкобины все заслонила Оттава, удовольствия и интриги при дворе вице-короля, а она была из тех матерей, которые уверены, что если они счастливы, то и с их ребенком все в порядке. Фрэнсис был слишком мал, чтобы отправить его в пансион, и к тому же страдал от постоянных тяжелых простуд и бронхитов.

— Пусть пока походит в местную школу, — сказал майор, но не Фрэнсису.

Надо заметить, что Фрэнсису вообще ничего не сказали, пока вечером перед началом учебного года Белла-Мэй не заявила:

— Ну-ка ложись, завтра тебе рано вставать: ты идешь в школу.

Фрэнсис прекрасно разбирался в ее интонациях и уловил в этих словах нотки злорадства.

На следующий день Фрэнсис вытошнил весь завтрак, а Белла-Мэй заявила ему, что не потерпит такого, потому что у них совсем нет времени. Крепко — пожалуй, крепче обычного — сжимая его руку в своей, она отконвоировала его в Центральную школу Блэрлогги и сдала в подготовительный класс при школе.

Школа была неплохая, но ее обитатели не привыкли ни к детям, которых приводит за руку няня, ни к детям, одетым в матроску и фуражку с надписью «Славный». Подготовительные классы располагались в здании старой школы, к которому было пристроено большое, новое школьное здание. Внутри воняло — вполне объяснимо — маслом для натирки полов, меловой пылью и многими поколениями детей, не дотерпевших до туалета. Учительница мисс Уэйд улыбалась и бы-

ла вполне дружелюбна, но незнакома Фрэнсису, и среди трех десятков детей в классе не нашлось ни одного знакомого лица.

— Его зовут Фрэнсис Корниш, — объявила Белла-Мэй и удалилась.

Кое-кто из детей плакал, и Фрэнсис уже было собрался последовать их примеру. Но он знал, что отец не одобрил бы такого, а потому закусил губу и сдержался. По приказу мисс Уэйд и учительницы-практикантки, которая ей помогала, дети расселись на стульчиках по кругу, нарисованному на полу красной краской.

Чтобы сразу установить дружелюбную атмосферу, мисс Уэйд велела детям вставать по очереди, называть свое имя и говорить, где они живут, чтобы она могла приготовить что-то под таинственным названием «классный журнал». Дети повиновались. Одни смело выкрикивали все, что надо, другие справлялись с именем, но не могли объяснить, где живут. Третьей по порядку была маленькая девочка, которая потеряла самообладание и обмочилась. Многие дети засмеялись, зажимая нос и явно получая удовольствие от происходящего, а практикантка кинулась к девочке с мокрой тряпкой для пола и носовым платком для глаз. Когда пришла очередь Фрэнси-

са, он тихо сказал: «Фрэнсис Чигуидден Корниш, „Чигуидден-лодж“».

— Как твое второе имя, Фрэнсис? — переспросила мисс Уэйд.

— Чигген, — повторил Фрэнк — так его учили произносить это название.

Мисс Уэйд растерялась и из лучших побуждений переспросила:

— «Чикен»?[11] Ты сказал «Чикен»?

— Чигген, — еще тише поправил Фрэнсис, но его заглушили голоса тридцати других детей, которые принялись восторженно выкрикивать: «Чикен! Чикен!»

Это было что-то понятное, удобная зацепка. Мальчишку в дурацком костюме зовут Чикен! Вот это да! Гораздо лучше той девчонки, которая описалась!

Мисс Уэйд восстановила порядок, но на перемене дети кричали: «Чикен! Чикен!» — целых пятнадцать минут и были совершенно счастливы. В приготовительном классе учились только до обеда, и, как только детей распустили, Фрэнсис со всех ног побежал домой, а в спину ему летел презрительный смех.

---

[11] Примечания: 11

Чигген созвучно с «чикен» (*англ.* chicken — курица; в переносном смысле — трус).

На следующее утро Фрэнсис заявил, что не пойдет в школу.

— Еще как пойдешь, — сказала Белла-Мэй.

— Не пойду, — сказал Фрэнсис.

— Хочешь, чтобы я отвела тебя к мисс Макрори? — припугнула его Белла-Мэй, ибо в отсутствие родителей тетушке Мэри-Бен дали полную власть решить и вязать во всех вопросах, лежащих вне компетенции няньки.

Так что Фрэнсис отправился в школу под конвоем Беллы-Мэй, и второй день оказался еще хуже первого.

Школьники постарше услыхали, что у малышей завелось что-то необычайное, и на перемене Фрэнсиса окружили большие мальчишки, желающие расследовать дело.

— Не Чикен, а Чигген, — сказал Фрэнсис, изо всех сил стараясь не плакать.

— Видите, он сам говорит, что его зовут Чикен! — завопил один мальчик с явными задатками лидера, ставший впоследствии политиком.

— Да ну, — сказал другой мальчик, философ, желающий смотреть вглубь вещей. — Не могут человека так звать. Ну-ка скажи еще раз.

— Чигген, — сказал Фрэнсис.

— М-да, и впрямь Чикен, — признал мальчик-

философ. — Правда, у тебя каша во рту, но все равно Чикен. Ух ты!

Мальчики были полны презрения, но девочки оказались еще хуже. У них была своя площадка для игр, куда мальчикам вход был воспрещен, но во многих местах граница напоминала экватор, то есть была воображаемой линией. Мальчики решили, что будет очень забавно выпихнуть Фрэнсиса на девчачью территорию, — все равно если человека зовут Чикен, то он, скорее всего, девчонка. Когда это случилось, девочки окружили Фрэнсиса и стали говорить не с ним, но через его голову.

— Его зовут Чикен! — вопили одни, визжа от радости.

Эти девочки принадлежали к женскому типу, который психологи позже назовут Гетерой, или Блудницей.

— Да ну, не лезьте к нему. Наверно, у него мамка с папкой дурные. Смотри, он щас заплачет. Он не виноват, что у него родители психи. Мальчик, тебя правда зовут Чикен?

Этих девочек психолог отнес бы к типу Матерей: они стремились питать и защищать. Их жалость была едва ли не хуже открытой издевки.

Учителя патрулировали обе площадки; у

каждого в руках был колокольчик. Учитель придерживал его за язычок и чаще всего пристально глядел на небо. Играя роль стражей порядка, они, как настоящие полицейские, не обращали внимания ни на что, кроме разве убийства или поджога. Если бы их спросили, они, наверное, сказали бы, что Корниш пользуется популярностью у соучеников: вокруг него всегда кипит какая-то игра.

Но нужно жить, а иногда это значит просто терпеть. Фрэнсис терпел, и мучители постепенно успокоились, хотя каждые две-три недели игра возобновлялась. Фрэнсис начал ходить в школу сам, без Беллы-Мэй. Уроки были омерзительны. Дурацкое вырезание из бумаги, какое годится только для младенцев, — Фрэнсис справлялся с ним шутя, и это занятие было ниже его достоинства. Еще дети сшивали карточки с грубо пробитыми в них дырками, чтобы получилась картинка (обычно — силуэт какого-нибудь животного). Еще они учились определять время по часам, что Фрэнсис и так давно уже умел. Учили наизусть 23-й псалом и скучный гимн, который начинался словами:

Могу ли я, еще дитя,

Достойно восхвалить Отца? —

и переходил к монотонному (так как мисс Уэйд была не бог весть каким регентом) припеву:

Отец наш, хвала, Отец наш, хвала,
Отец наш Небесный, хвала!

Фрэнсис, развитой не по возрасту в области богословия, задавался вопросом: почему он должен хвалить некоего Отца, кто бы тот ни был, за всю эту скуку и мучения?

Именно в детском саду была заложена незыблемая основа пожизненной мизантропии Фрэнсиса. Представители человечества, к которым забросила его судьба, мучили и дразнили его, не допускали до своих секретов и не принимали в игры, кроме случаев, когда играли все до одного. Они смеялись над его одеждой, и однажды кто-то написал слово «х...» чернильным карандашом на воротнике его матроски, за что Белла-Мэй его жестоко отругала.

Дома он ни о чем не мог рассказать. Когда (очень редко) родители приезжали в Блэрлогги на выходные, мама говорила ему, что он должен быть очень-очень хорошим мальчиком, потому что папа делает очень важную работу в Оттаве и его нельзя беспокоить. Ну как дела в школе?

— Ничего…

— «Ничего» — это значит «совсем ничего нет», Фрэнк. «Ничего» вместо «хорошо» говорят только глупые люди.

Люби Бога и трудись,
Сердцем всем Ему молись:
Отец наш Небесный, хвала!

— Итак, Фрэнсис перешел из райского сада детства в детский сад, — заметил Цадкиил Малый.

— Вот так он испытал второе изгнание из рая, — отозвался даймон Маймас. — Первое изгнание — это, конечно, рождение, когда человека выпихивают из рая материнской утробы. Второе — когда он покидает дом, где был счастлив, если ему посчастливилось иметь такой дом, и оказывается среди своих сверстников.

— Но конечно, глупо было посылать его в детский садик в белом костюмчике и в сопровождении няньки?

— Об этом никто не подумал. Майор и его жена думали только об оттавской работе майора, суть которой Фрэнсису, конечно, никто никогда не разъяснял. Но майор был не дурак и почуял приближение войны гораздо раньше, чем многие люди поважней его чином.

— Ты как будто доволен тем, что случилось с твоим подопечным.

— Я примерно представлял себе, в каком направлении собираюсь его толкать, а я люблю начинать закалку стали заранее. Не одна многообещающая жизнь была испорчена счастливым детством. Кроме того, детство Фрэнсиса нельзя назвать полностью несчастным. Продолжай рассказ, и увидишь.

Приближалось Рождество, и стало ясно, что война затягивается; майор решил закрыть «Чигуидден-лодж» и переехать в Оттаву. Фрэнсиса, конечно, глупо было бы брать с собой, так как ни отец ни мать не могли им заниматься. Мэри-Джим с головой ушла в работу дамских комитетов. Она была очаровательна в суровой одежде, которая, по ее мнению, подходила к этой роли. Решили, что Фрэнсис переедет в «Сент-Килду» под крыло бабушки с дедушкой и тети Мэри-Бен.

Переезд сильно облегчил его участь. Тетушка немедленно купила ему одежду, похожую на то, в чем ходили остальные дети Блэрлогги. Фрэнсис блаженствовал в вельветовых бриджах и клетчатой спортивной куртке. Дурацкую бархатную кепку с ушами сменила вязаная шапочка. К тому же теперь Фрэнсис жил в комнате с нормаль-

ной, взрослой мебелью, а не в детской. Лучше всего было то, что Белла-Мэй осталась в «Чигуидден-лодж» смотреть за домом, а тетя деликатно объяснила Белле-Мэй, что она может больше не утруждать себя заботой о Фрэнсисе. Это устраивало Беллу-Мэй, по ее собственным словам, сверху донизу, потому что оставляло ей больше свободного времени для продвижения в ее любимой Армии.

Жизнь Фрэнсиса сильно переменилась. Теперь он ел за столом со взрослыми, и оказалось, что застольные манеры, которых он набрался от Беллы-Мэй, нужно срочно улучшать. Во-первых, ему запретили чавкать. Белла-Мэй любила поесть и при этом громко и смачно чавкала, а так как Фрэнсис никогда не ел с родителями, его чавканье доселе проходило незамеченным. Он также научился бормотать молитву перед едой и осенять себя крестным знамением до и после еды. Научился аккуратно управляться с ножом и вилкой, и ему запретили гонять куски еды по тарелке. А самое главное — научился говорить по-французски.

Взрослые не сразу решились его учить. *Grand-*

père[12] и *Grand-mère*[13] хотели иметь возможность говорить за столом так, чтобы внук их не понимал. Но тетя сказала, что он все равно нахватается языка, — не лучше ли сразу учить его как следует. Поэтому Фрэнсис сидел рядом с тетушкой и учился вежливо просить все нужное, а потом — говорить другие вещи, и все это на чистом, приятном французском, которому тетушка научилась в монастыре. Кроме этого, Фрэнсис выучил патуа (который тетушка называла лесным французским) — на этот диалект переходили бабушка и дедушка, обсуждая какой-нибудь секрет.

Французский язык открыл Фрэнсису целый новый мир. Конечно, Фрэнсис и раньше замечал, что многие жители Блэрлогги говорят на этом языке, с разной степенью элегантности, но теперь обнаружилось, что владельца скобяной лавки, некоего Дежоде, на самом деле зовут Эмиль Дежарден, а семейство Ле Гарри носит фамилию Легарэ. Однако тут нужен был такт, поскольку среди англоговорящих жителей городка считалось делом чести как можно сильнее уродовать французские фамилии, чтобы отомстить людям,

---

[12] Примечания: 12
Дедушка *(фр.)*.

[13] Примечания: 13
Бабушка *(фр.)*.

которые имеют глупость (или коварство) говорить на никому не понятном жаргоне. Скорее всего, они еще и предатели. Но Фрэнсис был смышленым мальчиком («на ходу ловит», как выражался сенатор) и выучил не только два французских языка, но и два английских. На школьном дворе большое количество чего-либо следовало называть «агроменная куча», а любое расстояние, которое невозможно было покрыть пешком, — «далёко». Если один взрослый приветствовал другого словами: «Хороший денек, э?» — другой должен был ответить: «Лучше не бывает». Фрэнк осваивал все эти нюансы с той же легкостью, с какой ел и рос, и к девяти годам был уже не дву-, а многоязычен: он мог поговорить с любым встречным на его языке, будь то французский, патуа, английский язык канадских шотландцев или диалект долины верхней Оттавы. Кроме того, Фрэнк усвоил хорошие манеры и никогда не стал бы, например, «тыкать» мадам Тибодо, чье положение в свете росло сообразно с ее весом.

Насколько до сих пор Фрэнсиса творила и ваяла Белла-Мэй, настолько теперь его формировала и духовно окутывала тетушка. Это стоило доброй даме немало беспокойных часов, потому что, ко-

гда Фрэнсиса передавали в «Сент-Килду», майор торопливо и с явным смущением сказал, что его сын — протестант и, более того, принадлежит к англиканской церкви, поэтому он, майор, попросил каноника Тремейна, чтобы тот время от времени заходил проведать мальчика. Но каноник Тремейн был ленив и не желал обращать против себя такую важную особу, как сенатор. Поэтому он зашел в «Сент-Килду» только раз, к полному удивлению Марии-Луизы, которая сказала, что, конечно, мальчик здоров и счастлив, и, конечно, ходит в протестантскую школу, и, конечно, молится как положено, и не желает ли каноник еще кусочек торта? Каноник с удовольствием съел предложенное и забыл, что собирался спросить, почему мальчик никогда не появляется в церкви Святого Альбана. Но теперь все заботы о душе Фрэнсиса пали на тетушку.

Тетушка все знала про души. Запущенная душа приманивает в себя врага рода человеческого, а стоит ему войти — и его уже почти невозможно изгнать. Фрэнсис умел молиться перед сном: «День прошел, иду ко сну…» — и, конечно, знал, кто такой Иисус, потому что портрет Некой Особы висел в детской, сколько Фрэнк себя помнил. Но чем именно был так важен Иисус, Фрэнк не

знал. Не знал он и того, что Иисус всегда рядом, наблюдает за тобой и, несмотря на то что давно умер, все же невидимо присутствует. Что же до Божьей Матери, друга и хранителя всех детей, Фрэнсис о Ней даже не слыхал. При виде такого запущенного ребенка тетушкино сердце преисполнилось жалости. Она не могла понять, как Мэри-Джим могла настолько раствориться в муже-протестанте, чтобы допустить подобное. Что же делать?

Искать совета у Марии-Луизы было бесполезно: ее ловкий, практичный ум если вообще работал теперь, то был занят исключительно бриджем. Она организовала в приходе вечера бриджа и юкера для сбора денег на фронт, и эта работа поглощала ее целиком. Работа, впрочем, была непростая, так как большинство католиков в Блэрлогги были франкоканадцами и их патриотический пыл в войне Англии с ее врагами оставлял желать лучшего. Но Мария-Луиза, отведав роскошных яств при дворе английского короля, стала пламенной роялисткой. Мадам Тибодо оказалась еще менее полезной в борьбе за душу Фрэнсиса: дитя крестили в протестантизм, оно осуждено на вечные муки, и чего теперь шуметь? Сенатор и хотел бы помочь, но он подпи-

сал бумажонку Деревянного Солдатика и не мог взять назад свое обещание. Впрочем, он также пообещал не вмешиваться, если Мэри-Бен будет действовать самостоятельно. Он посоветовал поговорить с доктором Дж.-А. — у того светлая голова. Не ходи к попам, Мэри-Бен, пока не поговоришь с доктором.

Отличный совет! Доктор Дж.-А. Джером точно знал, что делать.

— Фрэнк — умный парень. Он много читает для своего возраста. Его нужно вести очень деликатно. Например, ты когда-нибудь говорила с ним о его святом покровителе?

Фрэнк родился 12 сентября, поэтому единственным святым, на которого он мог рассчитывать, был Гвидо Андерлехтский — бельгиец, который неудачно вложил все свои деньги, потерял их и после банкротства обратился к Богу. Такая история вряд ли могла возбудить религиозный пыл у девятилетнего мальчика. Но на этот день приходился также праздник Святого Имени Марии — почти забытый, сильно уступающий популярностью Дню Святого Имени Иисусова. Но для начала сойдет. И вот в один прекрасный день Фрэнсис обнаружил на стене своей комнаты большую олеографию с изображением Марии:

это была репродукция картины Мурильо, и, вопреки ожиданиям, Фрэнсису она очень понравилась. Мягкая красота Марии напомнила ему мать, которую он так редко видел. Он с интересом выслушал объяснения тети: как добра и нежна Матерь Божия и как Она следит за судьбой маленьких мальчиков. Доктор Дж.-А. оказался прав, как всегда.

— Я вовсе не одобряю то, что ты делаешь, — сказал он тетушке. — Но мне часто приходится давать советы, которым я бы никогда не последовал сам. Богоматерь — это гораздо лучше, чем Ее сынок. Я еще ни разу не видел мальчика, который искренне полюбил бы этого придирчивого проныру.

— Ах, Джо, ты это нарочно говоришь, чтобы меня шокировать.

— Может, и так, а может, и нет. Я иногда сам не знаю, что говорю. Но ты, кажется, идешь верным путем.

У Святого Альбана, куда Фрэнсиса брали с собой родители, и речи не было о чьей бы то ни было матери. Но Фрэнсис готов был слушать про кого угодно, если этот кто-то жалел несчастных, ибо сам Фрэнсис был глубоко несчастен.

Все потому, что его в одночасье перевели из

Центральной школы, расположенной недалеко от «Сент-Килды», в Карлайлскую сельскую школу: до нее было почти две мили, но «Сент-Килда» была приписана именно к ней, так как лежала на самом краю участка, относящегося к этой школе. Фрэнсиса перевели из-за того, что попечительский совет школ округа хотел насолить его деду: секретарь совета проверял списки и обнаружил, что Фрэнсис, переехав на сотню ярдов из дома отца в дом деда, оказался в зоне Карлайлской школы. Поэтому как-то в сентябре, когда Фрэнсис был в третьем классе, в десять часов утра ему и еще двоим детям велели собрать книги и явиться в новую школу к мисс Хелен Макглэддери. Не прошло и часа, как Фрэнсис оказался — во всех аспектах, актуальных для его возраста и развития, — в аду. Время, проведенное там, показалось ему вечностью.

Карлайлская сельская школа в то время не была исключительно сельской, так как находилась на окраине Блэрлогги, в районе, где жили в основном рабочие с разнообразных фабрик и заводов, принадлежащих сенатору. В обществе детей этих рабочих, а также фермеров, возделывающих каменистую, скудную землю сразу за околицей городка, Фрэнсис теперь получал образование

— по всем школьным предметам, а также, что гораздо важнее, по социальным, этическим и экономическим вопросам.

Он уже научился хитрить и потому сказал мисс Макглэддери, что его зовут Фрэнсис Корниш. Но ее заранее известили о новых учениках, и она велела ему объяснить, что означает буква «Ч.» в телефонном сообщении секретаря. И вся история началась заново, только с новыми и более искусными мучителями.

На первой же перемене к Фрэнсису подошел старший мальчик, ударил кулаком в лицо и сказал:

— Ну-ка, Чикен, покажи, как ты умеешь драться.

Они подрались, и Фрэнсис бесславно проиграл.

Отныне Фрэнсису приходилось драться дважды в день в течение трех недель, и каждый раз его побивали. Маленькие мальчики обычно не очень искусные бойцы: Фрэнсиса трясли, ему делали больно, но ни разу не нанесли серьезных травм. Но когда начинался урок, Фрэнсис сидел за партой несчастный, у него все болело, и мисс Макглэддери сердилась на него за невнимательность. Мисс Макглэддери было пятьдесят девять лет, и она упорно пробивалась сквозь ухабы и

тернии учительской карьеры: ей нужно было дотерпеть только до шестидесяти пяти, а там она сможет выйти на пенсию и, Бог даст, никогда больше не увидит никого из своих учеников.

Благодаря шотландским корням и тридцати годам преподавания в Карлайлской сельской школе мисс Макглэддери умела выстроить класс по струнке. В Карлайлской школе было только две классные комнаты, и мисс Макглэддери забирала себе все старшие классы, так что у нее под началом было три группы детей. Коротенькая, толстая, невозмутимая, она правила не железной дубиной, но кожаным ремешком, который учителям выдавали для наведения высшей справедливости. Мисс Макглэддери нечасто пользовалась ремешком: ей достаточно было вытащить его из ящика и положить на стол, чтобы погасить любое обычное неповиновение. Ее ремешка боялись даже самые рослые и отпетые хулиганы: она не только исхлестывала руки виновного, превращая их в распухшие, больные, красные лапы, но и виртуозно отчитывала его, к безмолвному экстатическому восторгу остального класса.

— Гордон Макнэб, ты истинное яблочко с макнэбовского дерева. (Хрясь!) Я порола твоего отца

(хрясь!), обоих твоих дядюшек (хрясь!) и однажды выпорола твою мать (хрясь!), и я всему миру готова подтвердить, что ты самый тупой, самый невежественный и самый никчемный лоботряс из всего вашего стада. (Хрясь!) А такое нечасто встретишь. (Хрясь!) А теперь иди на место, и, если ты хоть пикнешь без спросу, получишь еще раз то же самое, да похуже, потому что ремешок — вот он, лежит у меня в столе и ждет тебя. Понял?

— Уы.

— Что? Громче! Не слышу!

— Да, мисс Макглэддери.

И Макнэб тащился на место; мальчики в это время прикрывали рот руками, а девочки, осмелев, презрительно тыкали в него пальцами. И напрасно потом Макнэб кричал на школьном дворе, что мисс Макглэддери — старая сука и панталоны у нее воняют. Он потерял лицо. Авторитет мисс Макглэддери был незыблем, как у капитана пиратского судна.

Она знала, что происходит на школьном дворе, но не вмешивалась. Дедушка юного Корниша был большой шишкой в партии «кремней», то есть ненавистных либералов. А мисс Макглэддери была непоколебимой сторонницей консерваторов, или тори. Если мальчик действительно такой

кремень, пусть себя покажет. Учительница не собиралась ничего делать, пока он не пожалуется: в этом случае она предпримет кое-какие шаги, но будет презирать его как ябеду.

Он не жаловался, но однажды ему поставили фонарь под глазом. Фрэнсис отправился домой, зная, что поднимется шум.

Шум поднялся, но только не такой, какого он ожидал.

Тетя Мэри-Бен пришла в ужас и немедленно потащила его к доктору Джерому. Синяк — это ничего, сказал доктор. Беда невелика. Но…

— Фрэнк, они к тебе лезут? Можешь не отвечать. Я знаю. Я знаю все, что происходит в этом городе. Ты не знал? В Карлайлской школе народ грубый. Ты знаешь, что такое правила Куинсберри?

Фрэнсис что-то слыхал о них от отца. Нельзя бить ниже пояса.

— Нельзя, говоришь? Ну так вот, правила Куинсберри — это все очень хорошо на ринге, но в Карлайлской школе о них не слыхивали. Да и нигде в Блэрлогги не слыхали, насколько я знаю. Ты когда-нибудь видел, как дерутся лесорубы в субботу вечером? Наверняка нет. Эти французишки умеют жестоко драться. Вот гляди: кулаками ты даже вмятину в куске масла не сделаешь. Но у

тебя две ноги в хороших, крепких ботинках. Штука в том, чтобы подпустить противника поближе, а потом откинуться назад и въехать ему правой ногой прямо под дых. Не пинай его в пах: это ты и потом успеешь. Но выбей из него дух. Если это правильно сделать, он, скорее всего, упадет. Тогда ты должен броситься на него и выколотить из него всю начинку. Бей изо всех сил. Он ничего не сможет сделать, пока не переведет дух. Убивать его не надо, но можешь к этому приблизиться — насколько осмелишься. Можешь схватить его за уши и колотить головой об землю — ихние головы все равно не пробьешь.

— Ох, Джо, ты мне сделаешь из мальчика хулигана, — сказала расстроенная тетушка.

— Именно, милая. К этому я и веду. Если у человека есть хоть какие-то мозги и он ходит в Карлайлскую школу, он должен себя поставить как следует, иначе эти мозги из него выбьют. Кстати говоря, Фрэнк, это хороший жизненный принцип — показать, что ты груб и жесток. Тогда тебя оставят в покое, а в одиночестве можешь быть сколь угодно нежным — главное, чтобы тебя не раскусили. Ну хорошо, вот вам арника — мажьте синяк два раза в день. И еще, Мэри-Бен, подержи его дома до конца недели — пускай мисс

Макглэддери испугается, что на этот раз хватила через край.

И действительно, вышло так, как предсказывал доктор. Когда Фрэнк не пришел в школу, мисс Макглэддери забеспокоилась, а когда она беспокоилась, ее начинал мучить геморрой. Конечно, ей бы и в голову не пришло пойти к врачу-католику, но в субботу утром доктор Дж.-А. поймал ее за пуговицу на ступенях перед входом на почту, и деваться ей было некуда.

— Я слыхал, хулиганы в Карлайлской школе и не думают исправляться. Вы не боитесь, что в один прекрасный день они зайдут слишком далеко? Будет очень печально, если кто-нибудь получит серьезную травму.

Мисс Макглэддери умела понимать намеки. В понедельник утром она объявила, что в последнее время на школьном дворе стало слишком много драк и что отныне драчуны будут получать ремня.

Конечно, за это винили Фрэнка; он наябедничал. Но стало ясно, что у него есть кое-какая власть, и больше к нему не лезли. Его все равно не полюбили, и, когда началась великая весенняя игра, ему приходилось смотреть со стороны.

Многие мальчики были только наблюдате-

лями, но они, в отличие от Фрэнка, получали удовольствие. Это зрелище подпитывало в них какую-то очень глубинную потребность.

В поле, через дорогу от Карлайлской школы, был пруд, в котором по весне кишели лягушки. Игра состояла в том, чтобы поймать лягушку, воткнуть ей соломинку в клоаку и надуть до огромных размеров. Пока лягушка раздувалась, зрители глядели в восторге, затаив дыхание: не лопнет ли она? Кроме того, была еще более захватывающая возможность — если сказать надувающему мальчику что-нибудь очень смешное, вдруг он на миг перестанет дуть и вместо этого вдохнет, и тогда… тогда он может даже умереть, и это будет настоящая потеха.

Фрэнк не сводил глаз с лягушки: ее корчи и судорожные подергивания лапок пронзали его сердце мукой. Он живо представлял мучения Иисуса, которые тетя как раз начала ему описывать. Когда мальчишки поминали Его имя всуе, Он страдал, а когда шалили, Его раны снова вскрывались и кровоточили. Как, должно быть, страдал Иисус из-за страданий лягушек! И — о ужас! — что Он должен был пережить, когда мальчишки поймали кота, отрезали ему яйца и отпустили и кот умчался прочь, воя и истекая

кровью! Фрэнсис к этому времени начал смутно сознавать, что у него тоже есть яйца и они как-то связаны с чем-то Ужасным, о чем, однако, Фрэнк никак не мог ничего выведать.

Этим занимались животные, и приходилось бежать мимо них, отворачиваясь, краснея и умирая со стыда. Но мальчишки говорили, что люди этим тоже занимаются, — такого ведь не может быть? И собственные родители Фрэнка… но об этом невыносимо было думать. Это было ужасно, чудовищно и невероятно. Ум Фрэнка превратился в царство тошнотворных фантазий. И хотя он был еще мальчиком, его тело словно вступило в заговор против него самого.

Тетушка была не единственным источником информации о тайнах жизни. Фрэнсис находил великое утешение в обществе дедушкиной кухарки, Виктории Камерон. Тете не нравилось, что он якшается с Викторией — не просто протестанткой, а пресвитерианкой из самых отпетых. Виктория знала, что творится в доме сенатора, и не одобряла этого. Мисс Макрори пытается перетянуть бедного мальчика в католичество. Виктория как великая художница от кулинарии получала огромные деньги — тридцать семь долларов в месяц, да на хозяйских харчах! — и

ценила это, но душу свою не продавала ни за какие деньги и противодействовала папистскому влиянию насколько могла, не идя на открытый конфликт. Она говорила себе, что знает про Макрори достаточно, чтобы их повесить, но держит язык за зубами. Не судите, да не судимы будете. Конечно, нельзя быть кальвинистом и при этом никого не судить, но кальвинисты знают, каково Божье предначертание, так что это не значит «судить». Это просто значит отличать добро от зла.

Как часто бывает с людьми, которые держат язык за зубами, Виктория накопила в душе огромные запасы неодобрения: это чувствовалось по ее мрачному взгляду и по манере несколько раз подряд громко втягивать воздух через нос, так что слышно было издалека.

Все, что Виктория могла сделать как верная слуга, которая ест хлеб сенатора, — подружиться с мальчиком. Она так и сделала — правда, в своеобычной суровой манере.

Фрэнсис напрямоту спросил Викторию о великой тайне: правда ли, что люди занимаются тем же самым, что и животные? Виктория ответила, что в мире ужасно много Плохого, и чем меньше об этом знаешь, тем счастливее живешь, и чтоб он не смел больше такое спрашивать.

Тетя Мэри-Бен смутно подозревала об оппозиции в кухне, но доподлинно ничего не знала. Она поведала Фрэнку множество чудесных историй о милосердии Божьей Матери и о его свидетельствах, которые она видела собственными глазами. О Фрэнки, будь уверен: если у тебя беда, ты всегда можешь прибегнуть к Ней. Тетя сдержала обещание и во время истории с подбитым глазом подарила Фрэнку хорошенькие четки, благословленные епископом в Оттаве; она велела держать их под подушкой и обещала вскоре научить Фрэнка стихам, которые читают, когда молятся по четкам.

Фрэнк очень страдал, но знал, что нельзя задавать тетушке тот вопрос. Она либо ничего не знает о таких вещах, либо знает — и тогда расстроится, что он тоже знает. И, кроме того, мало ли — вдруг от этого раны Иисуса опять раскроются.

Вопрос мучил и не отпускал Фрэнка. В это время в театр, принадлежащий его деду, — Оперный театр Макрори, главный очаг культуры в Блэрлогги, — приехала бродячая труппа и начала представлять спектакль с мучительно интригующим названием «Нежеланное дитя». В дополнение к спектаклю устраивались утренние представления «только для женщин», на

которых с лекциями по теме пьесы, важной для всех, выступал «известный специалист». Фрэнсис знал, что Виктория ходила на такой утренник, и неотвязно приставал к ней, пытаясь выведать, о чем же эта пьеса.

Наконец Виктория сломалась.

— Фрэнки, — сказала она с великой серьезностью, — это история девушки, которая Перешла Границы.

Больше он не вытянул из нее ни слова.

Границы? О, что же это за границы?

— Вот бедняга, — сказал Цадкиил Малый, прерывая повесть. — Неужели тебе его не жалко?

— Нет, нет! — ответил даймон Маймас. — Жалость — это человеческое чувство, я не имею к нему никакого отношения. Ты, брат, так тесно соприкасаешься по работе с человеческими существами, что заразился их слабостями. Взять, например, этих детей из Карлайлской школы: они всего лишь то, что они есть. Но ты рассказываешь историю Фрэнсиса так, словно осуждаешь их. Я никого не осуждаю. Моя работа заключалась в том, чтобы сделать из Фрэнсиса нечто при помощи подручных материалов. Если они оказались грубыми — тем лучше: тем удобней было обточить Фрэнсиса, чтобы на его поверхности

проступили золотые жилы. Тонкую полировку я оставил на потом.

— Но мальчик худел, бледнел и чах.

— Ну-ну, опять твои жалостливые суждения. Оставь жалость. Но я и забыл: ты же не можешь. Это не в твоих силах. Но я могу и должен, поскольку призван обтачивать, придавать форму, отсекать пустую породу. Мы с тобой — как греческие скульпторы. Сначала я высекаю нечто из неподатливого камня и полирую, чтобы вышла ровная, гладкая поверхность. Потом ты раскрашиваешь ее, используя богатую палитру, в которой не последнее место занимают такие краски, как Жалость и Любовь к ближнему. Они как будто вдыхают в мое творение жизнь, понятную и близкую людям, но краски смываются со временем, и открывается реальность. Я-то знаю, что эта реальность была там с самого начала.

— Но как ужасна «борьба за душу мальчика»! Пекарь — свое, черт — свое.

— Надеюсь, ты использовал эту фразу метафорически. Тетю Мэри-Бен несправедливо было бы звать чертом: она примерно так же честна и исполнена благих намерений, как любой другой человек. Она хотела добиться своего только потому, что считала это наилучшим исходом.

А вот Викторию Камерон вполне можно назвать пекарем, если очень хочется. В этом есть определенная доля истины.

Доля истины в этом действительно была, так как несколько поколений семьи Камерон были пекарями; отец Виктории и два ее брата, Хью и Дугал, держали лучшую в Блэрлогги пекарню. Как-то в пятницу вечером Виктория выпросила у тетушки разрешение поднять Фрэнка в два часа ночи и отвести его в пекарню посмотреть, как Камероны месят тесто.

Тесто оказалось необъятной массой в большой круглой деревянной квашне. Посредине в квашню был вделан огромный шест, а к нему привязаны три длинные полосы льняной ткани. Трое Камеронов сидели с подвернутыми до колен штанами и мыли ноги в низкой раковине. Они скребли и скребли, — казалось, сейчас кожа слезет. Потом они вытерли ноги чистыми полотенцами, припудрили ступни мукой, перескочили из раковины в квашню с тестом, схватились каждый за свою полосу ткани и завели что-то похожее на безумный танец. Они танцевали прямо в квашне, кругом и кругом, пока полосы не намотались на шест; затем Камероны повернулись и заплясали в другую сторону,

разматывая полосы, с криками «Хэй! Хэй! Хэй!».

— Молодой хозяин, хочешь вымыть ноги да поплясать с нами? — закричал старый Камерон.

И не успел Фрэнсис и глазом моргнуть, как Виктория стащила с него башмаки и чулки, вымыла ему ноги, припудрила ступни мукой и плюхнула его в квашню рядом с мужчинами. И он заплясал как мог, потому что тесто оказалось упругим, будто наступаешь на живое тело; но от этого было только веселее. Фрэнсис на всю жизнь запомнил ту ночь, жар печей, куда бросали одну за другой охапки папоротника и где они превращались в тонкую белую золу. Когда танец окончился, тесто порезали веселками на куски, которым предстояло превратиться в фунтовые буханки, и оставили снова расстаиваться перед загрузкой в яростно жаркие, сладко пахнущие кирпичные печи.

Наутро за завтраком Виктория заверила Фрэнка, что он ест хлеб, который вчера сам помогал печь.

Жизнь мальчика не была беспросветно мрачной. Он не очень хорошо успевал в школе, но привлек внимание мисс Макглэддери серьезностью, с которой подходил к получасу в неделю, отведенному на изобразительное искусство. Этот предмет, как и все остальные, преподавала мисс

Макглэддери, посвящая сразу три класса в тайны рисования пирамиды. Одну сторону следовало затенить, чтобы пирамида казалась трехмерной, или, как выражалась мисс Макглэддери, чтобы заштрихованная сторона «уходила назад», а незаштрихованная «выступала вперед». Засим последовали пирамида с кругом, который нужно было штриховкой превратить в шар, и наконец апофеоз изобразительного искусства — яблоко. Штриховку следовало выполнять, возя по рисунку плоской стороной карандашного грифеля. Но Фрэнк решил, что это не годится: дома его учили штриховать тонкими параллельными линиями, а иногда — перекрестной штриховкой. Это требовало великого терпения.

— Если будешь рисовать всякие крестики-нолики, то не управишься к четырем и тебе придется остаться после урока, — сказала мисс Макглэддери.

Так что Фрэнк остался в обществе еще пяти или шести неуспевающих, которые не могли уйти домой, не закончив ту или иную работу. Когда Фрэнк показал мисс Макглэддери свое яблоко, она неохотно признала, что вышло «неплохо», не желая поощрять в мальчике «выпендреж», то есть выход за рамки школьной программы и того, что

знала сама учительница. Фрэнк умел рисовать, что вовсе не требовалось от школьников на уроке изобразительного искусства. Однажды мисс Макглэддери обнаружила карикатурный портрет самой себя — на последней странице Фрэнсисова учебника по арифметике. Мисс Макглэддери была вполне справедлива во всем, что не касалось религии и политики, и не страдала тщеславием. Поэтому она призналась самой себе, что портрет хорош, и ничего не сказала Фрэнсису. Он был со странностью, а мисс Макглэддери, как истинная шотландка, одобряла «деток с причудами», если они не заходили слишком далеко.

Почти каждую субботу Фрэнсису удавалось сбежать в мир фантазий — он ходил на утренние представления в Оперном театре Макрори, когда там показывали кино. Он попадал на сеансы бесплатно: молодая кассирша узнавала его и, когда он клал в окошко кассы десятицентовик, подмигивала и незаметно совала монету обратно.

Теперь скорее на любимое место — в последнем ряду. Фрэнк не шел к другим детям, которые сбивались в кучу на передних рядах. И перед ним разворачивались сокровища. Очередной эпизод (в городке говорили «эзипод») сериала, в котором благородный ковбой каждую неделю

был на волосок от ужасной смерти, обманутый коварными врагами, желающими разлучить его со столь же благородной возлюбленной. Конечно, в двенадцатом «эзиподе» все кончалось хорошо, и следовал анонс другого фильма, который должен был идти несколько недель. После ковбоя показывали ужасно смешную комедию. Иногда «Кистоунскую полицию»,[14] про тупых полицейских, таких же беспомощных в борьбе против преступников, как девушка в сериале. Время от времени — Чарли Чаплина, но Фрэнсис его не любил. Чарли Чаплин был неудачником, а Фрэнсис слишком хорошо знал, каково быть неудачником, и не собирался никого из них допускать к себе в любимчики. Потом шел полнометражный художественный фильм на нескольких бобинах. Самые любимые картины Фрэнсиса обычно не нравились другим детям. Английский фильм «Лорна Дун»[15] наглядно доказывал, что гадкая тайна — имеющая отношение к тому, чем занимаются животные и почти наверняка

[14] Примечания: 14

«Кистоунская полиция» (Keystone Cops) — серия эксцентрических кинокомедий (1912–1917) американского режиссера Мака Сеннета.

[15] Примечания: 15

«Лорна Дун» (Lorna Doone, 1912) — фильм английского режиссера Уилфреда Ноя по одноименному роману Р. Д. Блэкмора.

не занимаются хорошие люди, — была ложью. Фильм повествовал о прекрасной Лорне, как две капли воды похожей на Богоматерь, но благосклонной к подлинно добродетельному герою, который мог поцеловать ее невинным поцелуем, а затем поклоняться ей до скончания века. Этот образ больше повлиял на формирование идеи женственности у Фрэнка, чем все благочестивые наставления тетушки. Конечно, такая девушка, как Лорна, никогда бы не Перешла Границы, что бы они собой ни представляли, — да она к ним и на милю не приблизилась бы! После Лорны крутили фильм «Жилец с третьего этажа»,[16] в котором великий английский трагик Форбс-Робертсон (его величие особо подчеркивалось в афишах, и билеты на этот сеанс стоили чуть дороже) играл роль незнакомца, показавшего кучке опустившихся людей, что им совершенно не обязательно жить по-свински. Он выглядел таким благородным, таким утонченным, настолько неспособным на смех или любые другие живые чувства, что явно изображал Некую Особу. Правда, на нем был не слащавый хитон, в каком

[16] Примечания: 16

«Жилец с третьего этажа» (The Passing of the Third Floor Back, 1918) — фильм американского режиссера Герберта Бренона по одноименной пьесе Джерома К. Джерома.

обычно рисовали Некую Особу, а модный плащ и широкополая шляпа. Фрэнка еще ни разу не водили к мессе, а про церковь Святого Альбана он уже забыл, но, сидя в кино, слагал все виденное в сердце своем и возносил хвалы.[17]

Смотря фильм, Фрэнк видел не только сюжет, но гораздо больше: задний план, пейзажи (многие оказывались нарисованными, если вглядеться пристально), углы зрения, даже свет. Этим углубленным пониманием он был обязан дедушке-сенатору: тот увлекался фотографией. Фототехника сенатора была примитивной даже для времен Первой мировой: простейшая ящичная камера и треножник. С этим добром сенатор увлеченно вышагивал по Блэрлогги, фотографируя город и наиболее живописных его обитателей, если они поддавались на уговоры и соглашались посидеть смирно нужное количество секунд. Он выезжал в лагеря лесорубов, откуда подпитывалось его растущее богатство, и фотографировал людей за работой или стоящих возле огромных поваленных стволов. Он фотографировал свои заводы. Он фотографировал молодых мужчин в полном снаряжении, уходящих из Блэрлогги на войну,

---

[17] Примечания: 17

…слагал все виденное в сердце своем и возносил хвалы. — Лк. 2: 19.

и делал лишний отпечаток с негатива — для их семей. Сенатор никогда не считал себя художником, но у него был острый глаз, и он без устали гонялся за различными световыми эффектами, доступными в Канаде в разные времена года. Все это он обсуждал с Фрэнсисом как с равным. Вся его отстраненность — положенная сенатору и деду — исчезала во время этих экспедиций, охоты за тем, что сенатор называл «солнечными картинами».

— Это все свет, Фрэнк, — твердил он. — Все дело в свете.

Он же объяснил, что штриховка, которой уделяли столько времени на уроке изобразительного искусства, имеет отношение к свету, — мисс Макглэддери не пришло в голову, что это надо объяснять.

Сенатор пламенно ненавидел фотографии, сделанные при искусственном освещении. Он особенно любил снимать под навесом, который по его приказу соорудили в саду. Туда при необходимости тащили мебель, драпировки и прочий антураж — это стоило немалого труда, — и там же, вроде бы в помещении, но на самом деле при натуральном дневном свете, он без устали снимал мадам Тибодо, Марию-Луизу, детей своей

младшей дочери Марии-Терезы и зятя, Джеральда Винсента О'Гормана, который быстро делал карьеру в индустриальной империи Макрори. Тетушка наотрез отказывалась фотографироваться.

— Камера сломается, Хэмиш, — шутила она.

Но по ее настоянию он сфотографировал отца Девлина и отца Бодри. Каждый читал толстую книгу в кожаном переплете, в высоком раздумье облокотившись на стол и прижимая указательный палец ко лбу, явно набитому душеполезной ученостью. Сенатор даже доктора Джерома уговорил попозировать — доктор опирался на череп, ценный экспонат его коллекции.

Фотографировать было ужасно интересно, но потом становилось гораздо интереснее: Фрэнсис и дедушка запирались в ванной комнате, где было темно, если не считать тусклого света красной лампы. Они полоскали и промывали пленку в вонючих жидкостях, налитых в раковину и ванну, ожидая, пока не проявится каждая солнечная картина в отдельности — именно так, как надо, на придирчивый взгляд сенатора. А потом…

Потом начиналось самое интересное. Дедушка брал очень остро заточенный карандаш и принимался улучшать свою работу: ретушировать негатив, подчеркивая тени или обогащая отдель-

ные детали картины тончайшей штриховкой, иногда в виде крохотных точек, иногда — микроскопических спиралей, иногда — крест-накрест. Все для того, чтобы польстить «модели».

Впрочем, не всегда для того, чтобы польстить. Джеральд Винсент О'Горман был брюнетом, и, когда сенатор закончил возиться с его фотографией, на чисто выбритой челюсти зятя проступила темная тень, придавшая ему явно криминальный вид. А шишка отца Бодри — она торчала у него на левой стороне носа, не слишком большая, но заметная, — на фотографии так сильно бросалась в глаза, что священник был поражен: он собирался послать фотографию своей матери в Труа-Ривьер. Даже величественные сутана и биретта не скрашивали этой выдающейся шишки. Зато отретушированная Мария-Тереза потеряла уже заметный второй подбородок. Сенатор никогда не комментировал эти изменения, но мальчик видел улыбку деда, под карандашом которого они рождались, и усвоил, сам того не зная, что портрет — не только желательное для всех сходство, но и выражение мнения художника.

Фрэнсиса иногда тоже допускали к ретуши, и ему не терпелось преобразить «моделей», пририсовав им косые глаза, горбы и уродливые

морщины. Этого ему не позволяли, но однажды, когда дедушка отлучился, Фрэнсис слегка заострил один передний зуб отца Девлина: такой вид, по мнению Фрэнсиса, лучше первозданного снимка отражал внутреннюю сущность святого отца. Фрэнсис так и не узнал, заметил ли дедушка его художество. На самом деле тот заметил, но из духа озорства, которому не так часто давал ход, и из гордости за психологическую проницательность внука промолчал и отпечатал «улучшенный» снимок. Отец Девлин так ничего и не понял: он неоднократно исследовал собственные зубы в зеркале, а также ощупывал их языком, каждый раз убеждаясь, что его клык вовсе не похож на клыки вампира; но он принадлежал к той простодушной части человечества, которая считает, что фотоаппарат не может лгать; кроме того, отцу Девлину не хотелось критиковать сенатора.

Так Фрэнсис там и сям урывал кусочки счастья, вопреки нависающей над ним мрачной тени школы, где его травили почти все. Сам того не зная, он навсегда вобрал в голову и сердце уходящий мир — мир изолированных общин типа Блэрлогги, знающих о мире за околицей лишь из «Почтового рожка» или — в сотне-другой нетипичных семей — из оттавских газет. Из

культурных мероприятий в городке было кино и редкие представления бродячих театральных трупп в Оперном театре Макрори; прочие развлечения ограничивались группами при церквах, различными братствами, бесчисленными карточными вечеринками и, конечно, сплетнями, часто жестокими и причудливыми.

На самом верху классовой пирамиды в городке стояли не многие семьи, которые могли себе позволить держать горничную. Парадоксальным образом наличие горничной придавало семье высокий статус, но сама горничная была презренным существом, служанкой. Например, если горничная покупала себе пальто в магазине Томпсона и Хоуата, Арчи Томпсон непременно звонил ее нанимателям (в городке было около двухсот телефонов), спрашивал, может ли она себе это позволить, и по возможности выяснял размер ее месячного жалованья. Если горничная осмеливалась завести поклонника, хозяйка время от времени обязательно врывалась на кухню, чтобы проверить, чем они там занимаются. Иметь горничную значило быть богатыми; быть горничной означало сносить чужую спесь, особенно со стороны дам, которые сами не держали слуг. Протестантские священники увещевали

хозяев отпускать горничных на вечер воскресенья, чтобы те могли прийти на позднюю службу в церковь. Но сами читали на этих службах «подержанные» проповеди.

Лошади в этом мире играли первостепенную роль. Но среди них мало было благородных коней с огнем в глазах и гордо выгнутой шеей; преобладали клячи, годные только на собачье мясо, с запалом, с костным шпатом, часто с запущенным гельминтозом или капающими ноздрями — признаком сапа. Даже великолепные першероны, таскавшие для сенатора огромные сани, груженные бревнами, не были предметом гордости своих коногонов: их редко мыли, не расчесывали им гриву, и слова «от тебя разит, как от лошади» наносили особенную, ныне забытую обиду. Но все эти лошади бодро извергали навоз, и весной, когда с ни разу не чищенных за зиму дорог постепенно сходил снег, сладкий воздух апреля пропитывался запахом ноябрьских отложений, которые постепенно являлись на свет вместе с потерянными галошами и обильными плевками табачной жвачки, накопленными за долгие месяцы морозов.

Где лошади, там и кузнецы. Фрэнсис провел множество счастливых часов, которых не одоб-

рила бы тетя, околачиваясь в кузнице Донохью. Там огромных коней, которые тянули сани с бревнами, подковывали особыми подковами с шипами, не скользящими на ледяных дорогах. Там, в тепле конского дыхания и огня, пылающего в горниле, Фрэнсис научился у Винсента Донохью цветистому богохульству и роптанию на Небеса, узнал запах конского копыта, на которое возлагают раскаленную подкову, и еще более острый запах от фартука кузнеца, на который упала искра. Но ничего непристойного не узнал. Донохью был пуританином, и словарный запас лошадника служил ему для общения с лошадьми, как он их понимал; он не потерпел бы в своей кузнице грязных баек.

Такси еще не вошло в обиход, и те, кому нужен был экипаж для похорон или визита в больницу, ездили в тряских повозках вроде бричек. Зимой колеса бричек меняли на полозья. Внутри воняло старой кожей и плешивыми полостями из шкуры буйвола, которыми пассажиры прикрывали колени. Кучер сидел на ящике впереди, завернувшись в меховую доху незапамятной древности.

В городе было несколько лошадей получше, достойных звания коня, а самые лучшие, конечно, принадлежали сенатору: шестерка славных

гнедых и один-два пони — запрягать в легкую двуколку, в которой Мария-Луиза и зачастую мадам Тибодо ездили за покупками. Неплохие лошади были и у похоронных дел мастеров, ибо смерти подобал особый антураж, а из этих самой лучшей упряжкой — вороных — владело похоронное бюро Девинни.

За хорошими лошадьми и уход должен быть хороший. Когда Старый Билли наконец спился окончательно и умер, сенатор заключил неписаный договор, как часто делали в Блэрлогги. Кучер-конюх, работающий у Девинни, должен был взять на себя уход и за лошадьми сенатора. Очень скоро этот человек — его звали Зейдок Хойл — уже проводил в «Сент-Килде» больше времени, чем в «Мебельном магазине и похоронном бюро Девинни».

Зейдок Хойл на облучке экипажа ли, катафалка ли выглядел весьма импозантно. Он был крупный, мускулистый, осанистый, темноволосый и смуглый, с усами, которые закручивались из-под носа в два изящных черных завитка. Если подойти поближе, становилось заметно, что он косоглаз, нос у него пунцовый, а белоснежный «охотничий» галстук и воротничок белы не столько от стирки, сколько от толстого слоя мела.

Швы фрака, в котором Хойл обычно правил катафалком, были бы белыми, если бы он не мазал их чернилами. Цилиндр блестел, но исключительно благодаря вазелину. Голос у Хойла был низкий и ласковый. Хойл был старым солдатом, ветераном Бурской войны, и с лошадьми научился обращаться в армии.

Фрэнсис пламенно обожал его — выше Хойла он ставил только дедушку. Зейдок Хойл родился в Корнуолле и сохранил тамошний выговор. Фрэнсиса он обычно называл «масенький», что в его устах звучало вовсе не странно, или «бедный червячок» — по-доброму, а не оскорбительно. С лошадьми он разговаривал примерно в тех же выражениях, и лошади его любили, насколько они вообще способны любить. Лучше всего было то, что Зейдок мальчиком жил недалеко от корнуолльского Чигуидден-холла и правильно произносил это название. Когда Фрэнсис признался, что в школе его дразнят Чикеном, Зейдок сказал:

— Их надо жалеть за невежество, масенький; жалеть за невежество и презирать.

11 ноября, вскоре после того, как Фрэнсису исполнилось девять лет, Первая мировая война, которую так долго называли просто Великой

войной, кончилась. Но это не значит, что майор Корниш и Мэри-Джим вернулись в Блэрлогги. Все понимали, что теперь, когда война кончилась, нужно все подчищать, приводить в порядок, мстить побежденным, а это занимает едва ли не больше времени и мозговых усилий, чем собственно военные действия. Майор очень славно повоевал, но остался майором, так как это звание было хорошей защитной окраской. Майоров много, а тот факт, что данный майор был необычно умен, служил в канадской армии, но при этом мелькал в министерстве обороны в Лондоне, афишировать не стоило. О майоре говорили, что он «большая шишка в разведке», а это гораздо лучше, чем какой-нибудь подполковник. Таким человеком нельзя было пренебрегать, когда предстояло столько дел, и майору с женой, светской львицей, пришлось немедленно и на неопределенный срок уехать в Лондон.

Война кончилась, но болезни и не думали складывать оружие. Инфлюэнца — в Блэрлогги точно знали, что она идет от трупов, гниющих на поле битвы, — прошествовала по земле и убила еще двадцать миллионов. Но, кроме нее, в Блэрлогги свирепствовал и коклюш, а стоило эпидемии коклюша пойти на спад, как пришло то, что тогда

называли детским параличом, — ужасное воспаление спинного мозга. Оно убило одних детей, а других превратило в калек на костылях, с ногами, заключенными в ужасные пыточные клетки, или приковало к инвалидным коляскам. Но Фрэнсис, который не был ни особенно крепким, ни особенно болезненным ребенком, умудрился избежать всяческих эпидемий. Он впервые столкнулся с коклюшем четырьмя годами позже. Ему было тринадцать лет, и он кашлял, по выражению доктора Дж.-А., словно индеец улюлюкает на тропе войны.

— Так, этот молодой человек у нас пока в школу ходить не будет — по крайней мере, до Рождества, — заявил доктор тетушке (конечно же, это она в семье отвечала за выхаживание больных). — А может, еще и после. Посмотрим. Болезнь его сильно ослабила, и стоит ему слишком рано оказаться среди других детей, как он станет верным кандидатом сама-знаешь-на-что. Держи его в кровати и заливай в него как можно больше гоголь-моголя. Не беда, если его стошнит от кашля; что-нибудь в нем да останется.

Фрэнсиса ждал долгий отдых от школы, исполненный размышлений, — особенно после того, как мисс Макглэддери убедили, что не стоит

посылать ему пачки листов с задачами по арифметике. Мисс Макглэддери была непоколебимо уверена, что в больном теле нельзя терпеть праздный дух и арифметика — именно то, что нужно мальчику настолько больному, что он даже сесть в кровати не может. Фрэнсис был очень болен, и даже уколы, которые раз в три дня делал ему доктор Дж.-А., — в спину, над почками — слабо помогали. Однажды, когда Фрэнсис был совсем плох, тетя запаниковала и послала за отцом Девлином. Он пришел, что-то пробормотал и уронил на мальчика несколько капель воды. Фрэнсис лежал в горячке и ничего не понял, но тетя была весьма утешена. Когда Фрэнсису наконец вроде бы немного полегчало, доктор сказал, что он «совсем разбит болезнью» и его надо осторожно «восстанавливать».

— Надо полагать, это твоих рук дело, — сказал Цадкиил Малый.

— Естественно, — ответил даймон Маймас, — хотя за эпидемию я, конечно, не отвечаю. Но она дала мне возможность на время вывести нашего юного друга из мира действия и погрузить в мир размышлений и чувств. Его слишком много травили и третировали, а это уже не на пользу; оскорбления в адрес матери и гадкие слова про

семью начали истощать его терпение. Так что я схватился за первую же возможность вывести его из боя. Ты же знаешь, с особыми людьми мы часто так делаем: им бывает нужен особый отдых, неторопливый, а он невозможен, когда все время приходится куда-то бежать. Хорошая, долгая болезнь может оказаться благословением. Продолжай свою хронику, и мы увидим.

— Ты безжалостен, брат.

— Да, так может показаться тем, кто смотрит с чисто человеческой точки зрения.

Между приступами кашля у Фрэнсиса было время поразмыслить. Он был рад, что на время спасся от Александра Дэгга, который мучил его не физически, а душевно.

— Слышь, чё скажу! — рявкал Дэгг. — У твоей родни кровь гнилая. У тетки твоей голова вередная. Ты не знал? Моя мамка говорит. А знаешь, отчего это? Оттого что мозги гниют. И у тебя то же самое будет, верней верного.

Вередная голова? Это словечко в Блэрлогги означало «покрытый сочащимися язвами». У детей в школе часто бывали вередные пальцы, которые они с гордостью демонстрировали, — запущенная ногтоеда. Но как может быть вередная голова? Дома тетушкину голову не обсуждали, и

Фрэнсис никогда не видел тетю без шапочки. Он любил тетю и терпеть не мог подобные разговоры, но спасения не было.

— Слышь, чё скажу! Твоя мамка предшествует падению. Моя мамка говорит. Она говорит, гордость предшествует падению. Когда твоя мамка последний раз приезжала, она тут выкобенивалась и клянчила, как будто она лучше других. Так моя мамка говорит: выкобенивалась и клянчила!

Клянчила? Фрэнсису казалось, что его мать — чуть холодноватая красавица — держится с достоинством, равного которому он еще не встречал. Конечно, она лучше других! Было невыносимо, что Александр Дэгг и его мать-ведьма поганят своими грязными языками само мамино имя. Но… предшествует падению? Фрэнсис не мог извлечь из души занозы, оставленные словами Дэгга. Всю жизнь он будет беззащитен перед критикой, даже глупой и несправедливой.

— Слышь, чё скажу! У вас в доме чего-то неладно. Свет горит, где ему делать нечего. Моя мамка говорит, что у вас лунатик. Его там держат, в цепях. Может, это твою тетку сажают на цепь, когда ей с головой сильно хужает? Ты знаешь?

Да, Фрэнсис об этом знал. Обитатели лучшего

дома в небольшом канадском городке словно принадлежат к роду Атридов,[18] и остальные жители городка подозревают их в самых темных, поистине мифологических грехах. Подхалимство встречается, но редко, зато процветают зависть, ревность, клевета и насмешки. В домах победнее случаются драки, тайные аборты, детей «подправляют» раскаленным утюгом, чтобы слушались, процветает скупость во всевозможных видах, кровосмешение и обыденная жестокость, но все это, вместе взятое, — ничто по сравнению со страшными тайнами Большого дома. Он для всего города — великая театральная сцена, где разыгрываются драмы, владеющие умами горожан еще долго после смерти актеров или ухода их на новые роли. С «Сент-Килдой» был неразрывно связан соседний дом, «Чигуидден-лодж»: майор и его красавица-жена прекрасно дополнили старший актерский состав. Правда, ежедневно выслушивать мнения Блэрлогги (который вещал устами мамки Александра Дэгга) приходилось только Фрэнсису.

---

[18] Примечания: 18

Атриды — потомки Атрея. К роду Атрея принадлежали в числе прочих Тантал, Пелопс, Агамемнон, Менелай, Ифигения, Клитемнестра, Орест, Эгист и Электра. По греческим мифам, род был проклят богами: потомки Атрея убивали друг друга, собственных детей, супругов и родителей.

Но главное место в размышлениях Фрэнсиса занимал доктор Аппер. Местный школьный попечительский совет, движимый бог знает каким порывом к современности, заручился услугами некоего доктора Г. Кортни Аппера: тот как раз объезжал эту часть провинции Онтарио и читал мальчикам и девочкам лекции о тайнах пола во всех школах, куда его приглашали. Курс лекций занимал два дня. В первый день доктор Аппер в загадочных и неконкретных терминах повествовал о необходимости любить и уважать свое тело, каковое есть часть Британской империи, продемонстрировавшей свое моральное превосходство в только что оконченной войне. Любой, кто отпадал от высочайших стандартов — чистоты помыслов, чистоты речи, глубокого дыхания, ежедневного омывания подмышек, — подводил Британскую империю. Кто рассказывает грязные анекдоты, тот сам скоро станет похож на грязный анекдот. Девочки — будущие матери Британской империи, им следует быть образцами утонченности и деликатности во всех отношениях; мальчики — будущие отцы Британской империи, поэтому расхлябанная походка, неправильная речь, курение сигарет, плевки на улице вредят империи, как не смогли ей повредить и гунны.

Сам доктор оказался маленьким, кругленьким человечком в поношенном черном костюме. Лицо у доктора было круглое, пухлое; глаза слезились, и приходилось их все время вытирать. Но на улице он был великолепен — в инвернесском плаще (сшитом на более рослого мужчину), увенчанный шляпой-котелком. Не прошло и часа после прибытия доктора, как его имя облетело весь город: доктор зашел в цирюльню к Джиму Мерфи побриться и услышал, как ругается кто-то из клиентов, — видимо, тот поставил своей целью разрушение Британской империи. Доктор сорвался с кресла, обличил изумленного богохульника и выбежал на улицу с лицом, еще наполовину покрытым мыльной пеной. Выступая перед детьми, доктор словно гипнотизировал их, заражая своими сильными чувствами.

На второй день проповеди он приступал к делу всерьез. Девочек отделяли от мальчиков и уводили в другую комнату, где луноликая фельдшерица должна была посвятить их в тайны их собственного лунного цикла, а мальчики оставались беспомощными жертвами доктора Аппера.

Доктор начинал разговор с материнства. Он был лиричен, как поэт; порой казалось, что он поет, аккомпанируя себе на арфе. Нет у мальчика

ничего более важного, всеобъемлющего, святого и доброго, чем мама. Ей мальчик обязан самой жизнью, ибо мама, чтобы родить его, спустилась ко вратам ада, тело ее разрывалось от боли, чтобы ее сын мог жить. Доктор не объяснял, как именно это происходило, отчего тайна становилась вдвое ужаснее. Но именно это совершила мать в величии своей любви к еще неведомому ей сыну. Ни один мальчик, сколько он ни живи на свете, не может даже надеяться достойно отблагодарить маму за такой подвиг, ибо она выкупила его жизнь, рискуя собственной!

Конечно, это не под силу ни одному мальчику в мире, но беспрекословным повиновением и сильнейшей любовью он может хотя бы попытаться выразить свою благодарность. Доктор Аппер, пища и жеманничая, произнес монолог мальчика, обращенный к матери, которую он называл «мамочкой». В монологе смешивались поклонение и почитание. Любого человека, не подпавшего полностью под гипнотическую власть доктора, этот монолог заставил бы покраснеть, но доктор был блестящим ритором (хоть от его риторики и становилось нехорошо). Речь к мамочке, отработанная доктором в течение долгих лет, была своего рода шедевром.

Во второй половине дня доктор удвоил и утроил давление. Мальчики несут в себе задатки, необходимые для того, чтобы стать отцами великого народа. Но они не смогут ими стать, если хоть на минуту ослабят свою решимость хранить чистоту во всех отношениях. Чистоту мысли: об этом доктор уже говорил. Чистоту речи: он уже показал слушателям, насколько недостойны мужчины ругань и грязные разговоры. Но чистота тела — от нее зависит все остальное, и без нее весь народ обречен на вырождение, какое можно наблюдать у жителей других стран.

Чистота тела означала сентиментальное преклонение перед собственными яичками — лишь чуть менее слюнявое, чем то, которое следовало питать к мамочке. Яички не следовало трогать — разве что при мытье, если уж понадобится. Однако к ним можно и должно было обращаться, когда они требовали внимания, — примерно в том же стиле, что и монолог к мамочке, но в данном случае с упреком. Яички следовало поставить в известность, что они должны хранить терпение до дня, когда прекрасная девушка, которая сберегла свою чистоту, станет твоей женой ради высшей и прекраснейшей конечной цели — материнства. Неужели ты собираешься

лишить ее того, что положено ей по праву, ради низкого самоудовлетворения или еще того хуже? (Доктор не объяснил, что именно может быть хуже.) Дальше следовал рассказ о судьбе знакомого доктору мальчика: того одолело такое любопытство насчет собственных яичек, что он вскрыл их перочинным ножом, дабы узнать, что там внутри, и умер от заражения крови на руках у доктора, с последним вздохом заклиная поведать всем прочим юнцам о фатальности неуважения к собственному телу.

Если яички время от времени нуждаются в строгой отповеди, то пенис — тем более. Да, доктор настаивал на том, чтобы мальчики пользовались медицинскими терминами и никогда не называли свои драгоценные части тела грязными кличками, ибо это большой грех. Оказалось, что пенис время от времени своевольничает, и, если это случается, с ним надо беседовать — ласково, но твердо (тут доктор произнес небольшой монолог, услышав который любой разумный пенис устыдился бы и перестал плохо себя вести) и оборачивать мокрым холодным полотенцем, пока тот не образумится. Ни в коем случае не следует поощрять его мыслью или делом, ибо этим ты предаешь свою самоотверженную мать

или ту, почти равную ей по несравненности, девушку, которая доверится тебе и будет ждать от тебя абсолютно чистой и мужественной любви. Подобные дела и мысли называются мастурбацией и стремительно влекут за собой полное разрушение духа и тела. Доктору приходилось видеть чудовищные последствия этого апофеоза всяческих грехов, и он умел по виду отличать мальчиков, предающихся этому омерзительному пороку.

Да, омерзительному и притом опасному, ибо могучий дар пола небесконечен. Если им злоупотреблять, его можно лишиться, и тогда… но доктор отказался описать весь ужас этой перспективы.

Финал речи, он же кульминация представления, наступил, когда доктор, порывшись в штанах, достал собственный пенис как пример взрослого мужского полового члена в его полном великолепии. Держа его в руке, доктор возблагодарил Бога за то, что Он помог доктору донести мальчикам Блэрлогги великую весть о необходимости чистой жизни.

В те два дня, когда Фрэнсис слушал доктора Аппера, он уже заболевал коклюшем и вскоре после этого слег. Он лежал в кровати, в тепле, под

одеялами, и тетушка прилежно поила его гоголь-моголем. Неприятные ощущения от болезни еще усиливались из-за своеволия тела — тех самых органов, которым доктор Аппер придавал такую зловещую важность. Они не слушались; они требовали внимания, и, как Фрэнсис ни старался, ему не удавалось пересилить их настойчивость мыслями о матери, о Британской империи или еще о чем-нибудь. Он был болен не только телом, но и духом.

Доктор поведал нечто, хотя и не все, о великой тайне. Ясно, что мальчики обладают некой властью — могут сделать девушку матерью. Но как именно? Неужели… неужели так, как это делают животные, — то, что видел Фрэнсис украдкой, не понимая? Что это за Границы, переход которых грозит столь страшными последствиями, что о них написали и поставили целую пьесу, с утренниками «только для женщин»? Разумеется, спросить было не у кого. В «Сент-Килде» царила строго католическая атмосфера, а к детям католиков доктора Аппера не приглашали. Дома Фрэнсис не рассказывал о докторе. Он был уверен, что это знание — греховно и, может быть, даже вновь открывает раны Иисуса. Что же до Божией Матери, Она, конечно, знает о несчастном поло-

жении Фрэнсиса, и неужели оно не возбудит в Ней жалости? Он был несчастен, и от этого коклюш становился еще хуже. Когда болезнь наконец отступила — через шесть долгих недель, — Фрэнсис остался наедине со своим давним врагом, тонзиллитом. Виктория Камерон заверила Фрэнсиса, что он выглядит как привидение.

Были в его положении и светлые стороны. Лучше всего было то, что школа отодвинулась куда-то в невообразимо далекое будущее. Даже мисс Макглэддери сдалась и поняла, что пачки задач по арифметике ему не помогут. Другой приятностью было то, что на день Фрэнсиса, полуодетого и закутанного в пледы и платки, перемещали в тетушкину гостиную.

Это была самая живая комната в доме. Мария-Луиза обставила дом строго во франкоканадском духе — комнаты на первом этаже, чопорные и величественные, были заполнены мебелью в голубой парче, которая казалась слишком изысканной, чтобы на ней могли сидеть простые смертные. Но в тетушкиной комнате царила дивная неразбериха — тут стояли все тетушкины любимые вещи, и Фрэнсиса ждал диван перед камином, в котором Зейдок Хойл ежедневно разводил прекрасный огонь. Визит Зейдока

неизменно подбадривал Фрэнсиса, хотя светская беседа кучера состояла в основном из перечисления похорон, на которых он правил катафалком утром (католических) и после обеда (протестантских).

— В одиннадцать я везу мадам Делонпре, — говорил, например, он. — Очень большая женщина; ее было непросто бальзамировать, уж поверь мне. Потом надо ехать обратно в лавочку, снять крест с крыши катафалка и поставить задрапированную урну, чтобы везти старого Аарона Ронга в пресвитерианскую церковь ровно к двум. Подумать только, он девяносто четыре года проскрипел. Под конец совсем ссохся — вот его было легко бальзамировать, там почти ничего не осталось. Успею разве что сэндвич съесть, но мисс Камерон обещала вечером королевский ужин. Я загляну перед ужином, принесу еще дров. Держи выше клювик, малыш.

Пожалуй, это были не очень удачные слова в применении к Фрэнсису: конечно, Зейдок желал ему всего лишь сохранять бодрость, но Фрэнсис воспринимал эту фразу совершенно в другом смысле, так как прекрасно сознавал, что его «клювик» в течение дня слишком часто смотрит кверху и не желает сдаваться. Знает ли Зейдок?

Может, он так смеется над Фрэнсисом? Поди пойми этих взрослых.

Зейдок неизменно возвращался вечером, как и обещал, с новым запасом дров и дневными новостями.

— Мадам Делонпре ужасно расстроилась бы, — говорил он. — Церковь была заполнена едва на треть. Но мадам была злобная старая сплетница. Вот к Аарону собралась полная церковь — его отпевали у Святого Андрея. Все дело в больших деньгах, ну и еще в том, что он дожил до таких лет. Похороны затянулись. Я собирался вернуться сюда, чтобы отвезти домой мадам Тибодо после карт. Между нами говоря, Фрэнсис, она уже слишком старая и толстая, чтобы ездить в двуколке с пони. Но в карты все еще играет мастерски. Сегодня вечером выиграла больше трех долларов. Как ты думаешь, может, она плутует?

Его веселая непочтительность слегка разбавляла теплую, счастливую, но неумолимо набожную атмосферу, созданную тетушкой. Та приходила в восемь вечера, чтобы прочитать вместе с Фрэнсисом полный круг молитв по четкам. Фрэнсис уже знал их все наизусть. Но не должен был говорить об этом майору — если тот вдруг приедет, что было маловероятно. Но ведь теперь, когда отец

Девлин крестил Фрэнсиса, тот, несомненно, стал католиком, а значит, поэзия четочных молитв принадлежит ему по праву?

В какой мере сенатор с женой осознавали, что домом безраздельно правит тетушка? Она была такая скромная, так старалась угодить Марии-Луизе как хозяйке дома, жене и матери. Тетушка говорила очень тихо, все время улыбаясь, и почти никто не замечал, что вся жизнь семьи у нее под контролем. Мария-Луиза иногда называла тетушку своим правым, козырным валетом — этот термин она позаимствовала из юкера, любимой тетушкиной карточной игры. Скромность помешала тетушке освоить бридж — эта игра считалась в Блэрлогги новомодной и, конечно, по словам тетушки, была за пределами понимания бедной, скудоумной старой девы. Бридж больше подходил для таких могучих умов, как Мария-Луиза и мадам Тибодо, а также прочих заядлых картежников, с которыми они играли пять раз в неделю, с потрясающей жадностью сражаясь за скромные ставки. Разумеется, это нельзя было назвать азартной игрой: деньги лишь привносили небольшой дополнительный интерес в битву умов, последующие разборы игр и мелкое передергивание карт, которое, конечно

же, нельзя считать настоящим обманом. Марии-Луизе уже ничего не нужно было от жизни, кроме обильной еды и стола, покрытого зеленым сукном. Что же до сенатора, его занимали деловые интересы, необходимость присутствовать в верхней палате в Оттаве, политика и «солнечные картины». Пускай сестра ведет дом; он выдавал ей щедрую сумму на хозяйство, — кажется, эти деньга большей частью уходили на церковь.

Большей частью, но не целиком. У Марии-Бенедетты тоже была своя страсть. Картины маслом. Тетушка покупала дорогие репродукции в монреальских лавках — в Монреаль она ездила дважды в год навестить преподобную мать Марию-Базиль. Картины уже не влезали на стены тетушкиной гостиной, увешанной от пола до потолка шедеврами Мурильо, Ари Шеффера, Гвидо Рени и прочих мастеров сладкой набожности, которая так нравилась тетушке. Десятки других картин, не вставленных в рамы, тетушка держала в папках и, счастливая, перебирала после совершения неточной молитвы. Фрэнсис сидел рядом, закутанный в платки, погруженный в благоговение. Картины принадлежали кисти мастеров эпохи Возрождения и мастеров девятнадцатого века. Не все они были на священные сюжеты.

Дамы томно склонялись с балконов, слушая кавалеров, которые пели внизу, аккомпанируя себе на гитаре. Была тут и прекрасная картина «Сэр Галахад» Дж. Ф. Уоттса, О. З., Ч. К. А, — («Это означает „Орден Заслуг“, милый, и „Член Королевской академии“, он поистине великий человек»), на которой чистота юноши («Он не святой, милый, но он всем сердцем любил Господа нашего») и белизна его лошади были искусно связаны между собой. А вот, видишь, Фрэнсис, — это малютка Самуил, пробужденный от сна Божьим призывом; мы как будто видим у него на губах слова: «Говори, Господи, ибо слышит раб Твой».[19] Вспомни это, Фрэнсис, если когда-нибудь услышишь Глас во тьме. О милый, смотри, а это — Богоматерь Утешение: видишь, бедная женщина потеряла дитя, а Матерь Божия ее утешает; это картина французского художника, милый, Адольфа Вильяма Бугро. О, я не сомневаюсь, что у него была мятущаяся душа, потому что он рисовал ужасные, языческие картины, но вот, видишь, он создал и поистине священную картину, которая убеждает нас в милосердии Божией Матери. А это «Доктор» Люка Филдеса; доктора — невероятно замеча-

[19] Примечания: 19

…«Говори, Господи, ибо слышит раб Твой». — 1 Цар. 3: 10.

тельные люди, Фрэнсис, и в своей жалости, заботе о страдающих людях стоят сразу после священников. Видишь, как доктор смотрит на больного мальчика: совсем как наш доктор сидел с тобой, когда ты так ужасно болел коклюшем. А эта… эта картина попала сюда случайно: это «Пылающий июнь» лорда Лейтона. Видишь, девушка спит, но я совсем не понимаю, почему лорд Лейтон решил выставить ее «мадам Сижу» прямо посреди картины; сама не знаю, зачем я ее купила, но, раз уж купила, у меня рука не поднимается выбросить. Правда, красивый цвет?

Фрэнсис мог разглядывать картины часами, погружаясь в созданный ими мир фантазий; они обещали жизнь вне досягаемости Карлайлской школы, неуязвимую для чудовищной мамки Александра Дэгга. Фрэнсис пошел на поправку лишь за неделю до Рождества или около того, и на Рождество тетя приготовила ему два подарка. Своим выбором она признала во Фрэнсисе родственную душу.

Первым подарком было изображение головы Христа — ведь портрет Некой Особы остался в детской «Чигуидден-лодж». Но та картина предназначалась для ребенка; эта была, несомненно, произведением высочайшего искусства. Она

называлась «Плат святой Вероники» — «потому что ты же знаешь, милый, что Господь наш споткнулся и упал на страшном крестном пути и тогда святая Вероника вытерла своим платком Его милый Лик, и глядь! — Образ Божий навеки отпечатался на платке. Совсем как с Туринской плащаницей. Взгляни на это спокойное лицо: кажется, что веки приподнимаются и глаза смотрят прямо тебе в душу. Это работа великого бельгийского художника, милый; мы повесим ее так, чтобы тебе было видно с кровати, и ты будешь знать, что Он смотрит на тебя всю ночь».

Другая картина была на светский сюжет, и притом с обнаженной натурой, но ничего скандального: мальчик, примерно одних лет с Фрэнсисом, стоял, рыдая, у двери; художник искусно дал понять, что дверь крепко заперта и в то же время скрывает нечто в высшей степени прекрасное и желанное. Картина называлась «Изгнанная любовь». «Ее нарисовала дама, милый, — американка. Но как она прекрасно владеет кистью — совсем как мужчина, иначе ей не удалось бы придумать и нарисовать такую прекрасную картину!»

Изгнанная любовь. Уж об этом он знал все. О мама, милая мама, почему ты так далеко? Почему

ты никогда не бываешь дома? Мама приезжала так редко и ненадолго! Конечно, у нее в Англии была своя работа, в больницах, где лежали канадские солдаты, и Фрэнсису следовало тоже быть храбрым солдатом и не кукситься. Посылки на Рождество и редкие короткие письма, как будто предназначенные для совсем маленького мальчика, не могли восполнить маминого отсутствия. «Изгнанная любовь»… даже храбрый маленький солдат не сдержал слез. Эта картина придала тоске Фрэнсиса внешнюю, видимую форму. Тоска пряталась глубоко у него в душе, всплывая на поверхность каждый раз, когда ему было грустно или одиноко или когда сумерки сгущались за окнами и пламя камина отбрасывало переменчивые тени на стенах.

В ту рождественскую ночь тетя думала, что Фрэнсис уже давно спит, а он разделся догола и встал на фоне стены в своей комнате с ручным зеркальцем в руке, глядя через плечо на свое отражение в большом зеркале напротив. Он очень тщательно принял позу мальчика с картины и долго смотрел на себя. Печаль мешалась с удовлетворением от увиденного. У него получится. Он может войти в картину и стать ею. У него получится хорошо. Он снова надел пижаму и вернулся

в постель; к тоске примешалось удовольствие, непонятное, но утешительное. Он еще много раз будет это проделывать.

— Что-то у тебя мальчик становится совсем чудиком, — сказал Цадкиил Малый.

— Дорогой коллега, ты заговорил почти как Александр Дэгг, — ответил даймон Маймас. — Я деликатно подталкиваю его в направлении, которое диктует его судьба, но в моем распоряжении лишь ограниченный набор инструментов. Мне приходится работать с тем, что есть. Он должен стать знатоком искусства, покровителем искусства, человеком, понимающим искусство, — хотя, конечно, у него на пути встретятся десятки Дэггов, только чуть утонченней, которые будут ядовито утверждать, что он вообще ничего об искусстве не знает. Не жди, что я приготовлю омлет, не разбивая яиц.

— Я думал, скорее, о разбитых сердцах.

— О, сердца! У любого идущего по жизни сердце неминуемо разбивается. Важно только разбить его так, чтобы потом, сросшись обратно, оно стало сильнее прежнего. Надеюсь, милый Цадкиил, ты простишь мне эту вольность, но вы, ангелы, слишком легко склоняетесь к сентиментальности. Если бы тебе пришлось делать мою

работу, ты бы знал, насколько эта склонность губительна.

— Я иногда склонен к жалости, если ты это имеешь в виду.

— Будь Фрэнсис обычным мальчиком, возможно, ему бы повезло и он получил бы ангела-хранителя: тот держал бы его подальше от беды и подсовывал всякие хорошенькие вещи. Но, как ты прекрасно знаешь, я не ангел-хранитель; я даймон, и моя работа иногда кажется грубой. Мы не в последний раз видим Фрэнсиса перед зеркалом; в следующий раз он не спиной к нему будет стоять.

— А, ну хорошо. Давай смотреть дальше.

Поскольку тетя управляла всем домом, ее вкус проявлялся не только в ее собственной комнате, но повсюду — и особенно в выборе картин. В столовой, например, висели две большие картины Франческо Брюнери. Они обошлись сенатору в кучу денег, но, как объяснила ему тетушка, символизировали его положение в свете.

Одна из них, как гласил медальон на нижней перекладине рамы, называлась «Поворот сюжета». За обеденным столом — явно в каком-то римском дворце — сидели пять кардиналов в алых одеждах и епископ в фиолетовых. О, ка-

ким умом и проницательностью блистали их лица (три полных, два худых)! Пятеро в едином порыве подались вперед, внимательно слушая шестого, кардинала, чей поднятый палец и искорки в глазах обещали слушателям скорую развязку занятной истории. Что это могло быть? Какая-нибудь интрига в Ватикане, тончайшее изменение расклада сил в Римской курии или просто скандал с участием дамы? Скрытое наслаждение на лице мажордома, стоящего чуть поодаль, заставляло предполагать третий вариант. А посмотри на стол! Какое серебро и золото, хрустальные бокалы, рубиновое вино! (О, как ловко художник создал контраст между цветом вина и цветом кардинальских одежд, но не позволил им спорить между собою!) А этот роскошный серебряный сосуд для охлаждения вина! Он словно обещает новые потоки опьяняющей влаги, а стоит на искусно нарисованном паркетном полу. (Гляди, Хэмиш, вот тебе и дерево!) Это шедевр, настоящее произведение искусства, и в самый раз для столовой.

Напротив висела картина еще интереснее, с юмором, но, может быть, и с хитрецой. Она называлась «Усталый натурщик». Молодой монах, судя по рясе — доминиканец, стоит перед

мольбертом в студии. На мольберте — портрет старого кардинала, человека святой жизни. Он прижимает руки к груди. Посмотрите, как нарисованы хрупкие старческие пальцы на фоне алого муара! А взор устремлен к небесам, откуда исходит окутывающий кардинала свет! Но на троне сидит тот, с кого пишут портрет, — старик, он сгорбился на сиденье и глубоко уснул; художник — красивый юноша с кудрями вокруг тонзуры — в отчаянии чешет затылок.

Несомненно, эти картины были исполнены благоговения, показывали преданность их владельцев всему связанному с Церковью, и особенно церковным чинам. Но в то же время напоминали, что и хозяева дома, и кардиналы в красных мантиях — в равной степени носители человеческой природы. Именно такие картины можно было найти в столовой БКМ (большого католического мирянина, как шутливо называли подобных людей в церковных кругах). Такой человек знал свое место, но знал и цену себе — он мог позолотить шпиль церкви или пожертвовать большой колокол, не особенно задумываясь о сумме счета. Заботами тети Хэмиш обзавелся именно такими картинами, которые ему подобали. Ужиная здесь, отец Бодри и отец Девлин

улавливали тонкий намек: со всем нашим уважением, попы в этом доме править не будут. Пейте вино и не забывайтесь.

Канада официально приняла сухой закон в 1916 году, чтобы, вернувшись с войны, наши храбрые мальчики увидели страну очищенной от одного из главных корней всех зол. В богатых домах — как у сенатора — погреба были наполнены прежними запасами, поэтому на вино не скупились. Но даже обширные запасы со временем кончаются, и хозяев дома это отчасти беспокоило. Друзья Марии-Луизы могли поглотить удивительное количество белого вина после обеда, за картами, даже до того, как подадут чай.

Гостей в доме сенатора принимали, по меркам Блэрлогги, часто. Этим, как и всем остальным, незаметно управляла тетушка. Точнее, незаметно во всем, что не касалось музыки, — когда речь заходила о музыке, тетушка блистала. Она была артистичной во всех отношениях, но без нежелательного привкуса богемности, в полном соответствии со строжайшими нормами морали.

— Может быть, помузицируем немного? — спрашивала она через час после обеда, когда гости успевали слегка переварить еду и немного поболтать.

Никому и в голову не пришло бы ответить, что гораздо интереснее продолжать разговор: это было бы оскорблением для высокой эстетики, разлитой в атмосфере «Сент-Килды», которую создала тетушка к вящей славе своего брата и невестки.

Когда гости с жаром соглашались, что музыка — именно то, о чем они сейчас мечтают, тетушка подходила к пианино и, если кто-то из гостей присутствовал в доме впервые, немедленно разражалась какой-нибудь трудной для исполнения и очень громкой вещью — например, «Венгерской рапсодией» Листа. Гостя, если он был хоть сколько-нибудь чувствительнее брюквы, поражала громкость, головоломная скорость исполнения, обилие высококультурного шума, производимого тетушкой. Еще большее удивление постигало гостя, когда по завершении пьесы он как раз собирался сказать: «Мисс Макрори, я и понятия не имел…» — и тут остальные гости разражались шутовскими аплодисментами и сама тетушка разворачивалась на крутящемся стульчике, трясясь от смеха.

Ибо пианино было на самом деле «Фонолистом» («Лучшие пианисты мира к вашим услугам… ни педалей, ни рычагов…»), а все, вместе взя-

тое, — маленькой шуткой тетушки. На самом деле играла великая Тереза Каррено, знаменитая укротительница роялей, навеки запечатленная на перфоленте.

— Но если вы хотите, чтобы я спела… — говорила тетушка, и все гости живо выражали желание, чтобы она спела.

Тетя пела по-английски и по-французски, и все обычно соглашались, что ее репертуар весьма целомудрен. Однако звуки, которые она издавала, вовсе не были целомудренны. У нее был хороший голос — истинное контральто, удивительно сильное и сочное для такой маленькой женщины. Тетя пела всю жизнь, а отшлифовала свое пение за двенадцать уроков у маэстро Карбони в Монреале. Метод маэстро был прост и эффективен. «Всякий трогательный звук идет от крика ребенка, — говорил он. — Поэтому кричите, как ребенок, — не от гнева, а зовя любовь — и улучшайте этот звук, мадемуазель, и все остальное само встанет на место». Тетушка послушалась, и ее пение было не просто хорошо — оно поражало; оно трогало и волновало даже людей, полностью невежественных в музыке.

Все песни, исполняемые тетушкой, были в том или ином смысле призывами любви. По-француз-

ски — авторства Ги Д'Ардело или по-английски — Керри Джейкобс-Бонд. Песни, пронизанные сильным чувством. Песни оргазмические, хоть тетушка этого и не знала, — они медленно набухали и прорывались финалом.

Но, вне всякого сомнения, шедевром тетушки, коньком, который никогда ее не подводил, была песня «Vale» Кеннеди Рассела. Фрэнсис умел читать и видел, что песня посвящена какому-то человеку по имени Вале, но тетушка и все культурные люди знали, что это по-латыни, произносится «воллЭ» и означает «Прощай». В двух кратких строфах, сочиненных неким де Бургом д'Арси (очевидно, аристократом), песня выражала самую душу тетушки и большей части слушателей. Это была песня умирающего. Он умолял кого-то (жену? невесту? уж конечно, в предсмертный час — не любовницу) остаться у его одра и провести с ним надвигающиеся часы зловещей тишины.

Любовь твоя была моей наградой.

Ты обо мне не плачь, не плачь, не надо…

(Видимо, все-таки жена, которая верно исполнила свой долг.) Последние строки были величественны и драматичны:

Когда исчезну я в сырой земле,
Вздымая КРЕСТ, молися обо мне!

Тетя пропевала слова «вздымая КРЕСТ» удивительно громко для умирающего, а следующие за ними «молися обо мне» — почти неслышно, словно и вправду испускала дух. Такой метод маэстро Карбони называл «кручением веретена» — очень эффектный итальянский прием, непростой в исполнении.

Тетя часто пела эту песню. На нее всегда был спрос, когда в приходе Святого Бонавентуры устраивались благотворительные концерты. Отец Девлин как-то сказал (может быть, не слишком удачно подобрав слова): когда мисс Макрори поет «Vale», слушатели настолько близки к смерти, насколько это возможно до того, как и вправду придет их час.

У тетушки в репертуаре были вещи и пожизнерадостней, но она приберегала их для тихих семейных вечеров, когда ее слушали только сенатор с Марией-Луизой да доктор Дж.-А., — он часто забегал на огонек после вечерних обходов, усталый, желающий отдохнуть душой.

— Спой «Пупидона», — говорил он, вытягивая ноги к огню.

— Ах, Джо, вечно ты надо мной смеешься, — говорила тетушка и затягивала балладу из «Веселой Англии»:

У Купидона — райский сад,
В нем женщины — цветы…

Далее в песне провозглашалось, что лучший цветок, любимый Купидоном больше всех, — это прекрасная английская роза. Тетушка, чистокровная шотландка из горцев, старая дева, и доктор, чистокровный ирландец, старый холостяк, нашли выражение своего задушенного, непризнанного романа в этой очень английской песне, написанной Эдвардом Германом Джонсом, который родился там, где Англия сходится с Уэльсом. Как тетушка часто говорила Фрэнсису, музыка не знает границ.

Фрэнсис все это слышал. Иногда он сидел в гостиной — уже в пижаме, но завернутый в плед, потому что выпросил разрешения послушать, как поет тетушка, а какой певец отвергнет такую похвалу своему таланту, столь явно искреннюю? Иногда, если в доме были гости, а Фрэнсис уже должен был лежать в постели, он сидел на лестнице — в пижаме и безо всяких пледов. На картины он откликался умом и сердцем, желая понять

не только то, что они говорят, но и то, как они сделаны; а музыку он слушал только сердцем.

Он уже немало знал про картины. В его распоряжении было все тетино собрание репродукций и книг по искусству с названиями вроде «Шедевры великих галерей мира». Возможно, он был единственным мальчиком в радиусе пятисот миль, знающим, что такое Питти и кто такие путти.[20] Но лучше того: он начал постепенно понимать, как и из чего складываются картины.

Учитель у Фрэнсиса появился неожиданно. Среди тетушкиных книг была одна, которую тетушка купила уже давно, бегло просмотрела и решила, что это не для нее. Книга называлась «Рисование карандашом и пером», а автором был некий Гарри Фернисс.[21] Надо сказать, что в это время он был еще жив и прожил еще пять

---

[20] Примечания: 20

…что такое Питти и кто такие путти. — Палаццо Питти — самый большой из ныне существующих флорентийских дворцов; здание служило резиденцией сначала великим герцогам Медичи, затем династии герцогов Лотарингских и, наконец, итальянской королевской фамилии; сегодня это один из самых крупных музейных комплексов Флоренции. *Путти* — скульптурное или живописное изображение купидонов или херувимов, характерное для изобразительного искусства эпохи Ренессанса.

[21] Примечания: 21

Гарри Фернисс (1854–1925) — английский художник, карикатурист, иллюстратор. Иллюстрировал в числе прочего книги Льюиса Кэрролла («Алиса в Стране чудес», «Сильвия и Бруно»).

лет после того, как Фрэнсис впервые взял в руки его книгу. Фернисс был замечательным карикатуристом, но, как он объяснял в своей книге неподражаемо задушевным стилем, кто хочет рисовать карикатуры, должен сначала научиться рисовать людей, а кто хочет рисовать людей, тот должен уметь изобразить все и вся. Тот не сможет нарисовать мистера Гладстона похожим на старого орла, кто не умеет нарисовать серьезного мистера Гладстона и серьезного старого орла. Нужно разрабатывать глаз; нужно научиться видеть все как сочетание линий и форм. Андреа дель Сарто был отнюдь не Рафаэль, но мог поправлять рисунки Рафаэля; а читатель мог стремиться к тому, чтобы рисовать, как дель Сарто, даже если в лучшем случае был способен сравняться с Гарри Ферниссом. Впрочем, сравняться с Гарри Ферниссом тоже было не так просто.

Фрэнсис получал сколько угодно бумаги и карандашей: достаточно было попросить тетушку. Он не сказал тетушке про Фернисса, которого она отвергла как недостойного и, без сомнения, грубого в своих методах. Но человек, который в юности, оказавшись свидетелем лондонского пожара, покрыл набросками множество страниц, а потом переработал их в большую, на разворот,

гравюру для «Лондонских иллюстрированных новостей», разумеется, завладел воображением Фрэнсиса. Фрэнсис никогда не встречал людей, изображенных на карикатурах Фернисса, но в рисунках просвечивала их душа. Именно такой человек нужен был, чтобы развеять заблуждение, посеянное тетушкой: изобразительное искусство — удел исключительно гениев, в основном иностранцев, а творят его в студиях, обычно под вселяющим ужас духовным водительством Пресвятой Девы, а может, даже и Некой Особы. Книга Фернисса оказалась глотком свежего воздуха. Она дарила надежду — слабую, но все же надежду, — что и кто-нибудь вроде Фрэнсиса может стать художником.

«Всегда имей в кармане запас бумаги, — писал Гарри Фернисс. — Не делай ни шагу без альбома для рисования. Не проходи мимо живописной фигуры, где бы ты ее ни увидел — на улице, в театре или в парламенте. Схвати каждый поворот головы, каждый блик в глазу. Нельзя изобразить хорошенькую девушку, не умея рисовать подзаборных мегер. Если не можешь хранить наброски по определенной системе, то и не надо; когда приучишь руку и глаз улавливать и сохранять каждую мелочь, каждый нюанс, то старые

наброски уже не будут нужны, потому что все нужное само выстроится в систему у тебя в мозгу и в руке».

Словно свежий морской бриз прогнал запахи святости. Фрэнсис стеснялся альбома, как печати на лбу, выдающей в нем художника. Многие мальчики на его месте щеголяли бы своим занятием, всячески привлекая внимание взрослых, желающих посмотреть, чем это он занимается. Фрэнсис же научился рисовать, сидя тихо и ничем себя не выдавая.

Рождество прошло, и через несколько недель Фрэнсиса начали выпускать ненадолго подышать воздухом. Однако мальчик старался не привлекать внимания любопытствующих, которые непременно заинтересовались бы, чего это он болтается по улицам, когда все приличные мальчики либо сидят в школе, либо лежат дома с детским параличом или просто с распухшими желёзками. Постоянно быть незаметным, как и постоянно бросаться в глаза, — особое умение; Фрэнсис изучал технологию невидимости и рисовал везде и всюду.

Однажды, в феврале, он сидел на тюке соломы в конюшне и рисовал жующих лошадей. И вдруг Зейдок Хойл сказал:

— Фрэнк, погода хорошая, а мне нужно съездить на Переволок. Спроси тетю, — может, она тебя со мной отпустит?

Тетушка помялась, но все-таки разрешила, с условием, что Фрэнсиса хорошенько закутают. Его закутали — практически спеленали — и посадили рядом с Зейдоком на скамью кучера. Это был не один из дедушкиных фургонов, а какая-то странная телега с закрытой задней частью. Фрэнсис не смог понять, что это такое. Они проехали мили четыре, вдыхая режущий зимний воздух, и наконец увидели поселок на берегу реки. Он носил какое-то имя, но, по обычаю, его с незапамятных времен называли просто Переволоком. Зейдок показал кнутом куда-то далеко за реку:

— Видишь, Фрэнки? Там Квебек. Много странных делов творится на этой реке.

Они остановились на берегу, у какого-то сарая; оттуда вышел толстый небритый брюнет, кивнул Зейдоку, ушел обратно в сарай и скоро вернулся с ящиком; всего они с Зейдоком погрузили в крытый задок телеги шесть таких ящиков. Зейдок и брюнет не обменялись ни единым словом. Телега тронулась.

— Это был приятный визит, — пояснил Зейдок. — А теперь будет печальный.

Приятный? Что в нем такого приятного? Они не сказали ни слова, а у толстяка было, как показалось Фрэнсису, бельмо на глазу, и Фрэнсис жалел, что не успел его быстро зарисовать. А теперь — печальный визит?

Они проехали меньше мили и оказались у фермерского дома. Зейдок коротко переговорил с женщиной, одетой в черное; на заднем плане маячила другая женщина, постарше, тоже в черном. Из амбара вышел мужчина, и вдвоем с Зейдоком они вынесли из дома что-то тяжелое: длинный сверток в грубой бурой дерюге. Явно человеческое тело. Они запихали его в задок телеги вместе с ящиками. Зейдок произнес что-то утешительное, мужчина кивнул и сплюнул, и Зейдок развернул лошадей в направлении Блэрлогги.

— Зейдок, это мертвец? Почему мы везем мертвеца?

— Ну как «почему»? Таков уж бизнес мистера Девинни: я их забираю и привожу в порядок. Я правлю катафалком. А мистер Девинни заправляет бизнесом. Он следит за тем, чтобы в «Почтовом рожке» появилось объявление о смерти, заказывает и рассылает извещения. Он в траурном цилиндре марширует впереди катафалка. Он занимается утешением родственников — порой

это бывает нелегко, но в нем иногда проступает поэтическая жилка. И конечно, он выставляет счета, подсчитывает траурные перья на катафалке и всякое такое. Этот, который лежит у нас за спиной, — это Старый Макалистер. Злобный был старикашка, но теперь он наш клиент. И мне надо приготовить его к похоронам, снова отволочь на ферму, а в пятницу приволочь обратно, чтоб его похоронили. В нашем деле все время приходится кого-нибудь куда-нибудь таскать. Мы едем на труповозке. Ты не знал? Ну да, таким мальчуганам, как ты, многое не рассказывают.

В Блэрлогги они направились прямо на Дэлхузи-стрит, главную и единственную деловую улицу города, и остановились у боковой двери «Мебельного магазина и похоронного бюро Девинни». Зейдок живо соскочил с телеги, открыл дверь лавки, выкатил оттуда легкий столик на резиновых колесах, перетащил Старого Макалистера на столик, прикрыл его простыней и вкатил в лавку. Вся процедура заняла секунд пятнадцать.

— Нужно пошевеливаться. Незачем людям видеть, чего мы тут делаем. Похороны, малыш, — это произведение искусства, а наша грубая работа не для глаз публики.

Говоря это, он быстро катил Старого Макалистера через ту половину лавки, где продавалась мебель. Задняя часть помещения была отгорожена стенкой с двойной дверью, прикрытой занавесками. Оказавшись на той стороне, Зейдок включил свет — его скупо дарили две не слишком мощные лампочки — и открыл еще одну двойную дверь, очень тяжелую, на широких петлях. Оттуда повеяло холодом, влажным и спертым воздухом, тающим льдом. Зейдок быстро вкатил Старого Макалистера внутрь и закрыл дверь.

— Надо сразу закрывать, чтоб лед не таял, — объяснил он. — Мистер Девинни вечно жалуется на счета за лед.

— А что же ты с ним будешь делать? — спросил Фрэнсис. — Так оставишь до похорон?

— Надо думать, что нет! Он у меня станет таким красавцем, каким при жизни сроду не был. Это искусство, Фрэнки. Основам научиться может каждый, но настоящим художником надо родиться. Ты и не знал, что я художник, а?

И тут Фрэнсис раскрыл свою великую тайну:

— Знаешь, я, наверно, тоже художник.

Он порылся в многослойных одеждах и достал блокнот с набросками.

— Клянусь мощью старого Мельхиседека! —

воскликнул Зейдок (таково было его самое страшное ругательство). — Ты и правда художник, малыш! Ничего не скажешь. Мисс Макрори как живая. Ах, Фрэнки, ты очень уж зло изобразил ее шапочку. Нельзя быть жестоким, малыш. А это мисс Камерон! Она у тебя похожа на жутковатую духовную картинку, какие любит твоя тетя. Но в этом есть и правда. А вот я! Кто бы поверил, что когда-то я слыл красавцем! Ах ты, чертенок! Вот точно, мой красный нос, тютелька в тютельку! Ах ты, Фрэнки, негодяй! Заставил меня смеяться над самим собой. О, ты и правда художник. А что же ты с этим собираешься делать?

— Пожалуйста, пообещай, что никому не расскажешь. Они все сразу на меня кинутся, тетя захочет, чтобы я брал уроки, а я пока не хочу. Понимаешь, я должен сперва найти свой путь. Так говорит Гарри Фернисс: найди свой путь, а потом пускай, кто может, тебя учит; но ты иди своим путем.

— А это мадам Тибодо! Ах ты, разбойник! Погляди-ка, задница свисает по обе стороны стула. Если бы она это увидела, она бы тебя убила!

— Но это же по правде так! Мне надо научиться видеть то, что у меня под носом. Так говорит Гарри Фернисс: многие люди не видят того, что у

них под самым носом. Они видят только то, что, как им кажется, они должны видеть.

— Это верно, Фрэнки, и мое искусство меня научило тому же. Надо подталкивать людей, чтобы они видели именно то, что, как им кажется, они должны видеть. Но давай-ка пойдем — я должен тебя вернуть домой, и лошадь замерзнет.

По дороге обратно в «Сент-Килду» Фрэнсис умолял Зейдока рассказать, что он будет делать со Старым Макалистером. Если это — искусство, разве собрат-художник не имеет права знать? Наконец они ударили по рукам: сразу после ужина Зейдок снова заберет Фрэнсиса, потому что тетушка собирается уйти на приходское собрание — что-то такое про бедных и нуждающихся, — и тогда Фрэнсис увидит Зейдока за работой, и Зейдок доставит его домой вовремя, чтобы никто, даже мисс Виктория Камерон, не заподозрил, что Фрэнк успел отлучиться.

В сарае сенатора Зейдок первым делом выгрузил из труповозки шесть ящиков, которые так там до сих пор и лежали, и запер их в одном из пустых стойл конюшни.

— Зейдок, что это?

— Да просто так, кое-что, это твой дедушка получает из Квебека, от одного надежного чело-

вечка. И мистеру Девинни чуток достается, за прогон телеги. Это у него такой побочный бизнес, но мы об этом никогда не говорим. Понимаешь, малыш, у каждого свой секрет. У тебя свой, а у мистера Девинни свой.

Фрэнсису показалось, что, перетаскивая последний ящик в стойло, Зейдок добавил вполголоса: «А у меня свой».

— Не уверен, что это была удачная идея — привести мальчика тринадцати лет в похоронное бюро, где заправляет бутлегер.

— А я уверен, — ответил даймон Маймас. — Тетино воспитание уже почти сделало из него старуху. Он нуждался в мужском примере, а где же был Деревянный Солдатик? Спасал Британскую империю где-то за морем. А мать порхала ангелом милосердия над ранеными солдатами, но на собственного сына у нее времени не было. А дед был слишком сломлен — он годился разве что на второстепенную роль доброго человека в жизни мальчика. Хотя, конечно, он был очень добр — когда вспоминал, что надо быть добрым.

— Дед — сломлен?

— Он так и не оправился после низвержения своего кумира. Когда Мария-Джейкобина попала в беду и ее пришлось выдать замуж за первого

встречного — да еще протестанта, — сенатор разуверился в жизни. В бизнесе и политике он был по-прежнему сильным, но это все внешнее; только глупец вкладывает душу в подобные вещи. Из сенатора словно выдолбили сердцевину. Погляди на Марию-Луизу: старая жирная картежница. Погляди на Мэри-Бен: она боготворила брата, но понимала его в лучшем случае наполовину. Зейдок был самой сильной личностью в окружении мальчика, и ты это прекрасно знаешь.

— Он жулик, дорогой мой коллега. Жулик.

— Да, жулик, но порядочный и добрый, стоящий в самой гуще жизни и смерти. Ты же знаешь — мне приходится работать с тем, что под рукой.

— Тебе виднее. Я не бывал на твоем месте, так что, конечно, не мне критиковать, как ты делаешь свою работу.

— Совершенно верно. А Зейдок действительно был чем-то вроде художника — мы это увидим, если ты любезно продолжишь рассказ. Кстати, а ты знаешь, чем все кончилось?

— Я не могу помнить все жизни во всех деталях. Я, как и ты, словно впервые смотрю историю Фрэнсиса Корниша.

Фрэнсис подумал, что свет в похоронном бюро Девинни — как на картинах Рембрандта: две жал-

кие лампочки над узким наклонным столом, куда Зейдок водрузил сверток с останками покойного Макалистера, злобного старикашки. Зейдок стоял у раковины и яростно тер руки желтым мылом.

— Чистота — это очень важно, — сказал он. — Уважение к мертвым и предосторожность для живых. Никогда не знаешь, отчего умер очередной покойник. Так что я сейчас побрызгаю карболкой, а ты, малыш, отойди подальше в угол.

Уважение к мертвым; Зейдок очень бережно развернул Старого Макалистера, который, судя по всему, умер в кальсонах и фуфайке — мешковатых, цвета печенки, похожих на вторую кожу. Зейдок быстро взрезал нижнее белье кривым ножом, в котором Фрэнсис узнал нож для обрезки кустов. Скоро Старый Макалистер остался голым — непривлекательное зрелище, но Фрэнсис не променял бы его на все сокровища мира.

На такое он даже и не надеялся. Он сможет рисовать обнаженную натуру! Даже Гарри Фернисс утверждал, что это — после умения видеть, что у тебя под носом, — необходимейшая вещь для того, чтобы стать художником.

Старый Макалистер был лыс и тощ. Лицо и руки — выдубленные и загорелые: шестьдесят семь лет

они были открыты всем стихиям, обитающим в долине Оттавы. Но все остальное тело оказалось голубовато-белым. Ноги были как палки, ступни вывернулись наружу. Белье пришлось разрезать, так как, по местному обычаю, оно было зашито на зиму прямо на теле. Фрэнсису был знаком этот обычай: в Карлайлской сельской школе так зашивали большую часть детей, и от них чудовищно воняло.

— Для начала устроим ему помывку, — сказал Зейдок. — Но сперва хорошенько выполоскаем.

Вооружившись большой спринцовкой, он аккуратно выполоскал содержимое прямой кишки в ведро. Затем вымыл Старого Макалистера, поливая из короткого шланга и часто сдабривая карболкой. Вода падала на цементный пол и уходила в сток. Зейдок вымыл руки Старого Макалистера, взбивая желтое мыло в обильную пену, и вычистил ему ногти перочинным ножом.

— С ногтями всегда возня, — сказал он Фрэнсису, который самозабвенно скрипел карандашом. — У этих деревенских и в заводе нету такого, чтоб ногти чистить. Так и ходят с нечищеными от Пасхи до Пасхи. Но когда придут прощаться с телом, у него должны быть ногти как у парикмахера. Понимаешь, это часть нашего искусства. Когда

я закончу, он будет выглядеть не хуже, чем когда-то на собственной свадьбе, а может, и лучше. Наверно, лучше.

Он побрил Старого Макалистера, не скупясь на мыльную пену и горячую воду.

— Хорошо, что я побывал камердинером у джентльмена, — сказал он. — Правда, вот такого ни один джентльмен не потерпел бы.

Он ловко сунул палец в рот трупа, оттопыривая впалую щеку. У Старого Макалистера была такая жесткая щетина, что бритва скрипела.

— Надо полагать, он никогда в жизни не брился чаще раза в неделю, — сказал Зейдок. — Где-то у меня был рулон ваты. Для того, что мы называем отверстиями.

Отверстиями оказались уши, ноздри и, к изумлению Фрэнсиса, задний проход. Зейдок засунул в каждое по внушительному ватному комку. Самый большой ком ваты отправился в рот, а за ним — большой ком воска, после чего Зейдок сжал челюсти трупа и держал, пока они не схватились.

— На зимних похоронах с этим никаких забот, а вот летом совсем другое дело. Мне приходилось видать, как воск размякал от жары и покойник вдруг открывал рот. Ты не поверишь, какой тут поднимался визг и обмороки. Но с тобой все бу-

дет в лучшем виде, а, старина? — И он дружески хлопнул Старого Макалистера по плечу. — Ну вот, с чисткой покончено. Теперь начинается наука. Малыш, если тебя замутит, вон там есть ведерко.

Но Фрэнсиса не мутило. Он зарисовал правую руку Старого Макалистера — вот это рука, вот это узлы и шишки! Зарисовал обе ступни со всеми мозолями и натоптышами. Сейчас он трудился над изображением тела в полный рост, в непростой перспективе. Ему на помощь пришла ожившая в памяти картина из «Шедевров великих галерей», которую тетушка не давала слишком долго разглядывать, — кажется, она называлась «Урок анатомии». Вот это здорово! Вот это жизнь!

Зейдок подкатил к рабочему столу приспособление, установленное на столике с колесами. Это был бак, из которого тянулся шланг. Маленьким ланцетом Зейдок вскрыл вену в руке Старого Макалистера, ввел в нее иглу потолще, прикрепленную к шлангу, и стал размеренно качать рычаг насоса своей машинки. Качая, он пел красивым низким голосом, *sotto voce:*

Да! Пусть погибну, как солдат,
Пускай паду в бою —
И все, в чем был я виноват,

Я смертью искуплю…[22]

Прошло много времени — Фрэнсис успел еще раз нарисовать тело и стоящую рядом темную фигуру Зейдока. Он гордился мастерством, с которым изобразил гениталии Старого Макалистера: всего шесть беглых линий и тень. Совсем как у Рембрандта. Никакого сходства с омерзительными рисунками мальчишек на заборах. Но мальчишки, конечно, не художники.

— А теперь важное, — сказал Зейдок.

Он ловко наколол иглой пупок Старого Макалистера, вставил туда иглу побольше — он назвал ее трокаром — и снова принялся качать. Потом проделал какую-то очень тонкую операцию с уголком глаза.

— Вот так, старина, — сказал он. — Теперь ты у нас продержишься неделю-другую. А теперь, Фрэнки, настал черед настоящего искусства.

Работая, Зейдок, и обычно жизнерадостный, становился прямо-таки весельчаком.

— Время терять не след, а то он возьмет да и окоченеет, — объяснил Зейдок, ворочая Старого Макалистера и ловко натягивая на него нос-

---

[22] Примечания: 22

…Да! Пусть погибну как солдат… — Ария из оперы Уильяма Винсента Уоллеса «Маритана» (1845). Автор слов — Эдвард Фитцболл.

ки, брюки и рубашку, — все приехало с фермы, завязанное в узел. — Ну-ка надевай бальные туфельки, щеголь, — пошутил Зейдок, втискивая огромные бесформенные ступни в мягкие кожаные тапочки. — А теперь, еще до воротничка и галстука, — тонкая работа.

— Зейдок, а где ты был камердинером? — спросил Фрэнсис.

— О, до войны — до Бурской то есть — я кем только не побывал! Сперва лакеем; это очень полезный опыт, помогает устроиться в кучу разных мест. Потом я поступил камердинером к джентльмену, потому что на войне я ведь был денщиком у нашего молодого лорда. Я был лакеем в доме у его отца, мы и в армию пошли вместе, — конечно, он офицером, а я рядовым. Но мы все время были неразлучны. Следить за тем, чтобы молодой офицер выглядел как следует — на фронте, где сволочи-буры лезут изо всех щелей, — это та еще работенка, скажу я тебе. Ты знаешь, что у буров не было военной формы? Они так и дрались в чем у себя на ферме ходили. Это и войной-то не назовешь. Но я научился одевать джентльменов, и живых и мертвых, чтоб они выглядели как джентльмены. А уж с деревенским жителем мне управиться — проще простого.

— Но где ты этому научился — вата, иголки и все такое?

— Меня всегда к этому тянуло. Помню, совсем маленьким, на похоронах деда, я все ныл: «Пустите меня к дедушке, пустите меня к дедушке». Мать решила, что это я из любви к деду, как хороший мальчик, но на самом деле мне просто было любопытно. У деда была трясучка, и меня страшно поразило, как это он перестал трястись. Я думал, это похоронных дел мастер, старый Смаут, его остановил. Конечно, Смаут был таким похоронных дел мастером, какого только и можно встретить в корнуолльской деревне, — по сути, гробовщик. Великие достижения нынешней науки ему были недоступны. По моим теперешним меркам, это была топорная работа: саван дешевый, волосы зачесаны не в ту сторону. Но именно тогда я первый раз этим заинтересовался… Потом, на войне, нам пришлось хоронить мертвых. В нашем полку похоронами ведал сержант-коновал, он не учился этому и сам ничего не мог придумать, но хотел, чтобы все делалось как следует. Тут я со своим даром и развернулся в полную силу. Конечно, мы мало что могли сделать; никакого бальзамирования, но мы хотя бы придавали нашим беднягам-ребятам вид, достой-

ный солдат королевы. При ранении в лицо очень помогает хорошая доза алебастра. Я бы получил медаль за эту работу, но помешало одно недоразумение. Но я не держу обиды… уже не держу. Другие отделения копировали наши методы, но заходили слишком далеко. Один гнидор зарабатывал на сердцах. Он был офицером, так что его письма не подлежали цензуре, — джентльмен не читает письма другого джентльмена и все такое. И вот он писал родным погибших: «Дорогая мадам, прошу принять мои соболезнования в связи со смертью Вашего сына. Он достойно сражался и умер как герой. Его последним желанием было, чтобы его сердце вернулось в Англию и было похоронено в церкви, где он в детстве учился мужеству и любви к Родине. Я могу доставить Вам вышеупомянутое сердце, надлежащим образом законсервированное, по моем возвращении в Англию, за очень умеренную плату. Примите и проч.». Грязный трюк, но какая мать откажется? Черти б его драли — где бы он ни был сейчас… Потом, в Англии, я немного поучился у настоящих мастеров, там всего этого и набрался. Хотя, конечно, искусству прихорашивать покойных я научился не у бальзамировщиков. Настоящему искусству. Его я перенял у одного своего това-

рища, который подрабатывал в мелких ролях клоунов в рождественских пантомимах. Пудра. В ней — главный секрет.

Зейдок выпустил в воздух у головы трупа клубы рисовой пудры с запахом фиалок.

— Это основание, — сказал он.

Зейдок быстро покрыл пудрой лицо Старого Макалистера, которое раньше имело цвет темной замазки, а теперь стало розовым — наподобие лососины. Скулы Зейдок припудрил сухими румянами неожиданно алого цвета. После этого он занялся ртом: осторожно массировал мрачные серые губы, пока те не сложились в непривычную для них улыбку. Эту улыбку Зейдок накрасил красной помадой, какую и шлюха сочла бы чересчур яркой. Затем быстро втер в жидкие волосы немного вазелина и зачесал их на лоб.

— Что ты думаешь — как он причесывался? Когда вообще причесывался, конечно. С виду непонятно, так что будем делать классику.

Зейдок сделал в волосах пробор слева и пальцем взбил правую часть волос, придав Старому Макалистеру опрятный и даже щегольской вид. Быстро надел на покойника воротничок и галстук, потом жилет, перетянув его длинной и толстой серебряной цепочкой для часов (самих

часов на ней не было). Потом пиджак. В нагрудный карман пиджака Зейдок вставил кусок картона, частично обтянутый белым батистом (своего носового платка у Старого Макалистера не оказалось, да он ими и не пользовался). Руки Зейдок сложил на груди, в позе христианского смирения, и Старый Макалистер стал законченным произведением искусства.

Тут Зейдок еще больше поразил Фрэнсиса — после всех восхитительных и поразительных событий этого дня. Он взял правую руку Старого Макалистера и сердечно потряс ее:

— С Богом, старина.

Заметив удивление Фрэнсиса, он объяснил:

— Я всегда так делаю. Понимаешь, я — последний слуга, я исполняю самые личные услуги. Священник — это все-таки другое. Поэтому я всегда жму руку и желаю доброго пути. И ты, Фрэнки, тоже пожми: все-таки ты тут был и рисовал его и все такое.

Фрэнсис, робея, отважно пожал ледяную лапу Старого Макалистера.

— Вот так, старина, а теперь давай-ка обратно в холодную. Завтра утречком я тебя отвезу и все успеют с тобой попрощаться. А тебя, Фрэнки, я должен доставить обратно домой и в постель,

пока тебя не хватились.

К удивлению Фрэнсиса, Зейдок не только отвез его в «Сент-Килду», но и поднялся с ним наверх, закрыл за ним дверь спальни и пошел — куда? Шаги удалились не вниз по лестнице, а наверх, на третий этаж, в личное царство Виктории Камерон. Туда Фрэнсису запрещали ходить под страхом ужасных кар. Никогда не ходи туда, Фрэнсис, слышишь — никогда, ни в коем случае. Так почему же Зейдок туда пошел? Еще один сюрприз в конце удивительного дня, расширяющего кругозор, несущего просветление. Памятный день на пути к тому, чтобы стать художником, человеком, принадлежащим великому миру событий, — как Гарри Фернисс.

Теперь Фрэнсис проводил целые часы в задней комнате у Девинни, восторженно наблюдая, как работает Зейдок, и рисуя так, словно от этого зависела его жизнь. Его глазам и карандашу представлялось множество самых разных моделей. Старики, конечно, преобладали, но время от времени попадался кто-нибудь в расцвете лет — жертва несчастного случая или неожиданно тяжелой болезни. Однажды это оказалась девушка лет шестнадцати — Фрэнсис не знал ее, но встречал на улицах и в Оперном театре

Макрори.

С женщинами Зейдок вел себя просто образцово. Раздевая клиентку на столе, он всегда прикрывал ей лобок полотенцем, поэтому Фрэнсис так и не увидел полностью голой женщины, как ему ни хотелось.

— Профессиональная скромность, — пояснил Зейдок. — С дамами — не подглядывать. Так что мы всегда прикрываем Особенности полотенцем, понимаешь? Потому что ни один мужчина, будь он хоть какой профессионал, не вправе разглядывать Особенности женщины, с которой имеет дело в чисто профессиональной сфере.

Но — о, как Фрэнсис жаждал увидеть Особенности! Он мучительно пытался себе представить, как они могут выглядеть. На картинах из тетушкиной коллекции было очень мало обнаженных женщин, и те, казалось, вовсе не имели Особенностей, либо прикрывали их рукой, либо стояли в такой позе, что зрителю ничего не было видно. Что собой представляют Особенности? Фрэнсис тактично задал этот вопрос Зейдоку, упирая на то, что он, как художник, обязан знать все о человеческом теле.

— Ты должен сам это выяснить, — серьезно ответил Зейдок. — Вот буст — это да. Его много

где можно увидеть — да, по правде сказать, это первое, что видит любой человек в своей жизни. А вот Особенности — совсем другое дело.

Как-то мартовским вечером Зейдок приехал за Фрэнсисом в заметно подавленном настроении.

— Мне это не по сердцу, малыш, совсем не по сердцу.

Они вынули из ледника то, что ему было не по сердцу: это оказалось тело Франсуа Ксавье Бушара, карлика-портного, которого англоговорящие жители Блэрлогги звали Буши.

Его портняжная мастерская располагалась в жалком одноэтажном домишке в верхнем конце Дэлхузи-стрит. Зимой и летом Буши стоял в дверях, подпирая косяк в ожидании заказчиков. Заказов было немного: где пуговицу пришить, где перелицевать костюм для человека, не желающего тратиться на новый. Но Буши вроде бы зарабатывал себе на хлеб, хотя сам, подобно многим портным, одевался кое-как. На лице карлика навечно поселилась улыбка — собачья ухмылка, которая, казалось, просила, чтобы его хоть как-то потерпели, какое уж там уважение.

И вот он лежал на столе у Девинни. Голова огромная, торс — бочонком, ручки и ножки коротенькие — казалось, что между плечом и локтем,

локтем и кистью расстояние совсем крохотное. Гениталии высились горой над крохотными ножками, хотя на теле мужчины обычного роста не показались бы чрезмерными. Голова лежала под странным углом.

— Повесился, — сказал Зейдок. — Его нашли сегодня утром. Судя по всему, два или три дня прошло. Бедный, бедный малыш. Фрэнсис, мы должны все сделать для старины Ф. К. по наилучшему разряду. Правда, то, что он вытерпел в своей жизни, уже никак не загладишь.

Зейдок поведал о событиях, которые привели к такой развязке жизни Буши, — все, о чем он рассказал, лежало полностью за пределами жизненного опыта Фрэнсиса, если не считать ужасных минут на переменах в Карлайлской школе, когда мальчики мучили котов и. надували лягушек.

— Это мужчины в одном братстве. Не буду говорить в каком. Ты знаешь, что такое братство? Это когда кучка мужчин собирается вместе для чего-то вроде религии, но не совсем настоящей; у них есть алтари и всякие штуки, и они одеваются в дурацкие костюмы и вещают всякую белиберду. Все это очень большая тайна, но кто хочет ее выведать, тот как-то выведывает… Время от времени в

братство принимают новых людей и устраивают очень торжественную церемонию; а потом им надо повеселиться. Ну знаешь, после всяких серьезных вещей хочется чего-нибудь несерьезного для разнообразия. Как после похорон, когда на поминках рассказывают анекдоты и скандалят. Ну так вот, этим ребятам пришло в голову, что будет очень весело похитить Буши, притащить его в помещение братства — над лавкой де Марша — и выкупать. Они это проделывали несколько раз. Кто его держал, кто тыкал ему в лицо мылом, кто обдирал ему кожу полотенцем. А потом они его заставляли бегать по комнате, подгоняли мокрыми полотенцами, чтоб полюбоваться, как мелькают его ножки и как болтается его большая штука. Три дня назад они как раз устроили очередную забаву, и надо полагать, что бедняга просто уже больше не мог этого вынести и, придя домой, повесился на подтяжках. Фрэнки, господи боже мой, я даже не знаю — то ли меня плакать тянет, то ли блевать. Мне тоже в жизни всякого досталось, но бедный Ф. К…

Зейдок замолчал, склонился над телом и продолжил работу с особой деликатностью. *«Да! Пусть погибну как солдат, пускай паду в бою…»*

В тетиных книгах Фрэнсису встречались карти-

ны под названием «Положение во гроб». На лицах людей, несущих мертвого Спасителя, читалась такая скорбь, такое благоговение! Фрэнсис видел эти картины, но не понимал их, не воспринимал, не чувствовал, пока не увидел, как Зейдок работает над телом портного. Фрэнсис мужественно рисовал, как подобает настоящему художнику, но вынужден был время от времени шмыгать носом. Этот час запомнился ему на всю жизнь.

Когда все было сделано, Зейдок и Фрэнсис пожали Буши руку и напутствовали: «С Богом!» А потом Фрэнсис тщательно вымыл руки с мылом, ибо Зейдок не допускал отступления от правил.

Ночью, когда Фрэнсису полагалось лежать в постели и спать, у него иногда сна не было ни в одном глазу и он занимался… чем? Назвать это играми было бы не совсем точно, и сам он не смог бы определить свое занятие, если бы того потребовал какой-нибудь негодующий или сердобольный взрослый.

Мысли о сексе и телесные желания посещали Фрэнсиса по нескольку раз на дню, и даже предписанная доктором Аппером процедура с мокрым полотенцем не помогала. Фрэнсис попробовал ее раз или два, но потом решил, что это глупо: он вовсе не хотел упрекать свой пенис за настойчивое

стремление напомнить о себе. Причем пенис проявлял себя не только в те минуты, когда мысли Фрэнсиса устремлялись к загадке Особенностей, но зачастую — когда Фрэнсис думал о чем-нибудь совершенно невинном, например о еде или о том, куда он положил баночку китайских белил. Неужели он порочен? Но порок неотвратимо манил к себе. Может, это какое-нибудь особенное расстройство или болезнь? Почему его так мучит эта часть тела, которую он не может контролировать? Спросить было не у кого.

Но пенис требовал внимания часто, и эти приступы доставляли Фрэнсису пугающее удовольствие. Иногда он сам их провоцировал — прекрасно зная, что поступает плохо, — тем, что разглядывал кинозвезд в журналах. Эти журналы он очень изредка покупал в местном магазине под названием «Улей», где, кроме них, продавались еще резиновые накладные лица, кольца в форме змей с красными стеклышками на месте глаз и книги, в которых рассказывалось, как стать фокусником или чревовещателем. В журналах изображались популярные актрисы того времени — Мэй Мюррей, Маргарита Фишер, Глэдис Уолтон — в купальных костюмах, обнажающих ноги до колена, или в коротких юбках

и скатанных чулках; Глория Свенсон в каком-то историческом фильме, рисующем эпоху, когда люди явно не ведали стыда, показывала одно бедро почти до тазобедренного сустава. Фрэнсис подолгу смотрел на эту картинку, и его окатывала горячая волна. Это возбуждало гораздо сильнее, чем обнаженные женщины, которые изредка попадались в тетушкиных книгах, — зачастую монументальные фигуры Торвальдсена или какого-нибудь художника девятнадцатого века, явно единомышленника доктора Аппера. Те были скучны, а кинозвезды были живые и соблазнительные. Но сильнее всего Фрэнсиса возбуждали фотографии Джулиана Элтинга.

Фрэнсис видел этого знаменитого актера травести в дедушкином театре, в фильме «Прекрасная графиня». Элтинг, ничем не примечательный пухлый мужчина, умел перевоплощаться в женщин, полных элегантности и шарма; в фильме показали кружевное нижнее белье, корсет, парик, с помощью которых происходило перевоплощение. Фрэнсис пытался подражать Элтингу, используя куски занавесок и клочки шелка, припрятанные в комоде. Результат не убедил бы никого, но Фрэнсиса глубоко удовлетворил. Фрэнсису нужно было знать все о человеческом теле;

он напихал в майку побольше тряпок, чтобы получился «буст» примерно как у Элтинга. Ноги были очень важной деталью на фотографиях кинозвезд. Фрэнсис расположил собственные ноги на манер Глории Свенсон. Парика у него не было, но он обмотал голову шарфом. Созерцание результата в зеркале доставило Фрэнсису несказанно острое наслаждение. Но как же Элтинг прятал свои Особенности? Личные Особенности Фрэнсиса недвусмысленно дали понять, что это — нелегкая задача.

Постельные фантазии сопровождались ночными кошмарами. Во сне Фрэнсиса преследовали суккубы, совершенно непохожие на Глорию Свенсон или обворожительную Кларину Сеймур; нет, Фрэнсису являлись страшные старые ведьмы и женщины, чудовищно похожие на тех, что он видел на столе бальзамировщика. Они мучили его, шептали ему на ухо, пока он не просыпался с горячим мокрым пятном на бедрах. Тогда он вскакивал, кое-как вытирал простыни мокрым полотенцем и как мог застирывал пижамные штаны. А вдруг кто-нибудь узнает? Вдруг Анна Леменчик, которая застилает его постель, расскажет Виктории Камерон? Что тогда? Фрэнсис не мог и гадать, но знал, что это будет позор, неопи-

суемый даже красочным лексиконом доктора Аппера. Но остановиться он не мог. Позировать на манер Элтинга было наслаждением, которому Фрэнсис не мог противиться.

— Что ты об этом думаешь, друг мой? — спросил даймон Маймас.

— Лучше ты скажи мне, что ты об этом думаешь, — ответил Цадкиил Малый. — Я полагаю, что за всем этим стоял именно ты.

— Правильно полагаешь. И конечно, я позаботился, чтобы никто не застал Фрэнсиса за этими играми, потому что, как он совершенно правильно предполагал, поднялся бы благочестивый переполох. Но ты, конечно же, понимаешь, что он делал?

— Очевидно, пытался найти что-то такое, чем жизнь его обделила. Справиться с проблемой, которую нельзя было ни решить, ни забыть в условиях, определяемых его существованием в Блэрлогги. По-видимому, он не был знаком ни с одной девушкой — разве что вприглядку, — а если бы и знал каких-нибудь одноклассниц, все равно это и близко не подошло бы к тому, что он видел в кино.

— И это к лучшему, потому что упражнениями возле зеркала он не пытался вызвать к

жизни ни какую-либо живую, знакомую девушку, ни, конечно же, Джулиана Элтинга. Конечно, он не знал — люди этого никогда не знают, — что ищет Девушку с большой буквы, девичью часть своей души, идеальную женщину, которая определенным образом присутствует в любом сколько-нибудь значительном мужчине. А мой Фрэнсис был, несомненно, значителен. Не женоподобие, хотя любой наблюдатель заподозрил бы именно это. Конечно, не гомосексуальность — у Фрэнсиса ее была разве что самая малость, не больше обычного. Нет — он ощупью искал Мистический Брак, единство мужского и женского начала в себе самом. Без этого он был бы бесполезен как художник и как знаток искусства. Как бесполезен любой человек — богач, бедняк, нищий, вор, король, королевич, сапожник, портной... кто угодно, если судьбой ему предписано видеть хоть немного дальше собственного носа. Так Фрэнсис начал поиски Мистического Брака — а это великое и значительное путешествие в человеческой жизни. Как водится, оно заняло очень много времени, и искать оказалось важнее, чем в конце концов найти.

— Ага! Надо полагать, именно об этих поисках смутно подозревает, но ничего не знает бедный

Даркур, который трудится над биографией Фрэнсиса.

— Не надо ударяться в крайности. И конечно, не стоит недооценивать Даркура. Но ему не придет в голову описать жизненный путь Фрэнсиса как поиски женственной половины собственной души, как жажду познать эту половину, чтобы обрести полноту, духовную завершенность. Подобная идея, если человеческое существо сталкивается с ней в лоб, обычно оказывается непосильной. В результате люди начинают видеть то, чего не понимают, — а все непонятное для них, разумеется, чудовищно.

— Вроде тебя, дорогой Маймас?

— Да, вроде меня. Посмотри на меня, Цадкиил; что ты видишь?

— Прекрасное существо. Роскошные груди, которым позавидовала бы любая Венера; нежный цвет лица, блестящие глаза, гиацинтовые кудри цвета воронова крыла. Несомненно, женщина. Но эти изящные узкие бедра и жилистые ноги! Эти дивные мужские детородные органы, которые постоянно движутся и шевелятся при каждой смене настроения и направления мыслей! Гермес и Афродита, чудесным образом слитые воедино. Симулякр полного человеческого суще-

ства, хотя, конечно, ты бы не мог быть собою — даймоном, — если бы не стоял намного выше человечества в его нынешнем виде. Быть может, ты создание будущего?

— Только как символ, брат. Если человечество когда-либо примет подобные формы, ему будет очень трудно себя воспроизводить.

— Давай дальше разворачивать историю большого путешествия Фрэнсиса. Именно ее я, как ангел биографии, обязан сохранить, точнее, уже сохранил, ибо мы смотрим не что иное, как запись прошедших событий. Но, как я уже говорил, я не могу помнить все подробности всех жизней. Хотел бы я знать, нашел ли он то, что искал? Мало кто находит.

— Да, но любому, кто ищет, посылаются драгоценные знаки и намеки, приносящие внезапное озарение. И конечно, когда мы смотрели на Фрэнсиса перед зеркалом, в нелепых женских тряпках, ты заметил то пророчество, прозрачный намек.

— Боюсь, я очень тупой, — сказал ангел.

— Взгляни мимо переодетого мальчика — видишь картину на стене? Ту, которую повесила туда тетушка от всей щедрости внешне смиренного, властолюбивого сердца. Знала ли она, что это — пророчество? Вряд ли сознательное, но

это было именно оно, а еще — символ той жизни, которую вели все обитатели «Сент-Килды». Картина «Изгнанная любовь».

— Неужели Фрэнсис так и не найдет любовь?

— Нить повествования разматываешь ты, дорогой друг. Продолжай.

Продолжая рассказ, мы обязательно должны взглянуть на событие, к которому Фрэнсис не имел ни малейшего отношения, но которое тем не менее решительно повлияло на его будущее. Мы говорим о падении — но лишь временном — Джеральда Винсента О'Гормана, который был мужем тетушки Мэри-Тесс и, таким образом, приходился Фрэнсису дядей.

Дж. В. О'Горман обладал незаурядными деловыми способностями, и сенатор, который отличал талантливых людей, быстро продвигал Джерри (как его все звали) по службе, пока тот не оказался вторым после сенатора человеком в компании. Джерри ведал всеми повседневными делами, давал советы, когда его просили, — а порой и тогда, когда его не просили, — но большие вопросы оставлял на решение сенатору.

Джерри, крупный и мясистый мужчина, канадский ирландец, был хорош собой, весел и добросердечен. Любящий муж Мэри-Тесс и забот-

ливый отец двоих сыновей — Джеральда Лоренса и Джеральда Майкла. Истовый католик и, после сенатора, наиболее значительный БКМ в Блэрлогги и окрестностях.

Каждое воскресенье О'Горманы обедали в «Сент-Кидде», и тетушкино сердце радовалось при виде любящей четы. Коронным номером О'Горманов была своего рода «кладбищенская галантность» — они любовно препирались на публике, оспаривая друг у друга право первым уйти на тот свет.

— О-о-о, Мэри-Тесс, если ты уйдешь первой, я никогда в жизни тебя не прощу! Моя жизнь без тебя будет каким-то недоразумением.

— Джерри, не говори так! Ты же знаешь, если ты уйдешь первым, я этого не переживу. Ради бога, любимый, пропусти меня вперед. Это будет последнее из тысячи и одного доказательства твоей любви!

— Ну ладно; кто бы из нас ни ушел первым, будем надеяться, если на то Божья воля, что этот день еще не скоро наступит. Но я ничего не обещаю.

Засим следовал поцелуй — прямо за столом; Джерри сперва заботливо вытирал губы салфеткой, тетушка сияла, Мария-Луиза одобрительно

кивала, а сенатор глядел в собственную тарелку.

Кажется, лучше не бывает. Но в один ужасный день Мэри-Тесс оказалась недалеко от главного отделения компании около пяти часов пополудни, решила туда зайти, чтобы прогуляться домой вместе с обожаемым Джерри, и обнаружила его на столе в кабинете: он занимался «этим самым» с секретаршей по имени Блонди Утронки.

О, какие слезы! Какие горячие отрицания! Какой ужасный позор! Ибо на крики Мэри-Тесс прибежала уборщица, которая затем разнесла новости по всему польскому «слою торта», откуда они быстро поднялись во французский «слой», а оттуда, практически мгновенно, — в шотландский, где, конечно, вызвали волну праведного злорадства.

А вы что, не знали? Ну конечно, с Блонди Утронки еще и не то станется! И так все знают, что Джерри О'Горман продвигал ее как мог — устраивал попеть в Оперном театре Макрори прямо перед художественным фильмом, да выбирал самые лучшие. А за это платят хорошие деньги — пять долларов за выход! «Мыльные пузыри», «Прощальный поцелуй» и все такое. Ну что ж, Блонди Утронки выдула последний мыльный пузырь в Блэрлогги, и скоро ей придется подарить

Джерри прощальный поцелуй, это уж точно!

Мамка Александра Дэгга тоже не смолчала: «У них кровь гнилая! Я всегда говорила. То клянчат, а то бесстыдничают на столе со стеклянной крышкой! Мы еще увидим падение Макрори! Мозги гниют! Гляньте на старую тетку!»

Но это было еще не самое худшее. Тетушка, неутомимая закулисная устроительница чужих судеб, два года трудилась над большим замыслом, который должен был осуществиться через приход Святого Бонавентуры. Отец Девлин был уже монсеньором Девлином, и именно тетушка толкала и дергала епископа, чтобы отца Девлина удостоили такой чести. Она же подарила отцу Девлину две пары первых в его жизни фиолетовых носков, положенных его новому сану. Но не это было высшим достижением тетушки.

Приход Святого Бонавентуры в военное время отличился на поприще благотворительных трудов. Джеральд Винсент О'Горман был самую чуточку старше призывного возраста и к тому же чувствовал, что его свояк, майор Фрэнсис Чигуидден Корниш, с лихвой исполняет долг солдата за всю семью. О'Горман не покладая рук — как раб, как собака, как вьючный осел — трудился, организуя кампании по сбору денег в фонд по-

беды. Карточные вечера, концерты, ужины, где подавали жареную птицу (говядина была нужна фронту). Он настолько преуспел, что приход Святого Бонавентуры затмил все протестантские церкви. Посмотрите на сигаретный фонд — огромное достижение, триумф организационных способностей! И еще все знали — стараниями тетушки, — что Джерри творил бесчисленные добрые дела, оплатил из собственного кармана множество украшений и улучшений для церкви и никогда об этом не заикался. Разве подобное усердие не заслуживает хоть какой-нибудь награды?

Усердие было вознаграждено, ибо тетушка не отставала от епископа, который, в свою очередь, не отставал от кардинала из Апостольской канцелярии, пока о Джерри не услышал сам наместник Христа на земле. Однажды в воскресенье утром после мессы монсеньор Девлин объявил, что Джерри за свои заслуги перед Церковью, Святым престолом и обществом становится кавалером ордена Святого Сильвестра.

Мэри-Тесс была сама скромность. Конечно, это не звание командора, не Большой рыцарский крест — просто орден Святого Сильвестра. Нет, супруге не полагается никакого титула — вся слава

достается только мужчине. Но конечно, она очень гордится мужем. Внешние знаки отличия? Ну, в будущем, если выпадет торжественный случай… например, визит епископа или месса в престольный праздник святого Бонавентуры, 15 июля… Джерри обязан будет надеть парадный фрак с золотыми пуговицами и золотой вышивкой на бархатном воротнике и бархатных манжетах и золотым кантом на брюках. И двууголку с папской кокардой. И сам орден Святого Сильвестра, с прицепленной золотой шпорой. И конечно, шпагу. Хочешь не хочешь, ему придется все это надевать, а ей, Мэри-Тесс, придется следить, чтобы он все надел правильно, потому что вы же знаете этих мужчин… Наконец под давлением Мэри-Тесс сознавалась, что это очень приятно.

И вдруг — Блонди Утронки!

Монсеньор Девлин, жизнь которого была отнюдь не медом, столкнулся с самой неприятной задачей из всего, что до сих пор выпадало на его долю, — сообщить Джерри, что подобные вещи недостойны папских рыцарей и что епископ прислал запрос, от которого нельзя просто так отмахнуться. Ему, монсеньору Девлину, придется сделать формальный доклад епископу, а епископ перешлет его в Рим, и рыцаря лишат

рыцарского звания. Монсеньор Девлин, корчась в фиолетовых носках, постарался, чтобы эта новость прозвучала как можно менее серьезно. Но Джерри не был расположен шутить.

— Я только одно хочу знать: требую, чтобы вы мне сказали, отец Мик, кто на меня донес?

— Ну что ты, Джерри, тут и доносчик не был нужен. Весь город знал.

— Мелкие местные сплетни. А кто донес епископу, я вас спрашиваю?

— Ну, Джерри, ты же знаешь, что мне придется написать докладную записку, даже если у меня рука отсохнет.

— Я все понимаю, вы исполняете свой долг. Но кто стукнул вам?

— Весь город, я же говорю. Мы стали посмешищем для пресвитерианцев. Я встретил на почте мистера Маккомаса, и он выразил мне соболезнования в связи с «неприятностями». Чтобы меня жалел пресвитерианский пастор! Они смеются над нами за глаза.

— Да и в глаза тоже, надо сказать! Вчера в конторе какой-то шутник повесил записку на доске объявлений: «Все шпаги, подлежащие возвращению в Рим, следует до пятницы поместить на стойку для зонтиков».

— О, это мелочи! Перетерпи, и они успокоятся.

— Честное слово, я знаю, кто это сделал! Сказать кто? Только не обижайтесь, но вы же знаете, что я его никогда не любил. Отец Бодри! Клянусь, это он написал донос епископу, а тот уже послал запрос вам!

— Довольно, Джерри, я не имею права слушать подобные разговоры.

— Ах, не имеете права? Ну так вот: будь он хоть трижды священник, все равно он доносчик и ябеда, и даю слово, что ему не носить фиолетовых носков, если я могу хоть как-то этому помешать!

— Ну-ну, Джерри, ты же знаешь, что устав ордена предписывает «незапятнанный моральный облик», и все тут. Разговорами не помочь. Где Блонди?

— Уехала в Монреаль.

— Она ведь хорошая девушка. Надеюсь, ты сделал ей щедрый подарок на прощание? Ты ее погубил, знаешь ли.

— У-у-у, отец Мик, нечего бить на жалость! Она прекрасно знала, на что идет. Это я погиб, а не она.

Кроме подобных разговоров, монсеньору Девлину пришлось выслушивать еще и причитания своей благодетельницы, мисс Мэри-Бен.

Темная туча окутала семью Макрори, за исключением, возможно, сенатора, который на несколько недель отлучился в Оттаву по государственным делам.

Фрэнсис ничего не знал о домашних и публичных несчастьях О'Горманов, так как не ходил в школу, а мрачная атмосфера, царящая в «Сент-Килде», на него не особенно действовала. Его полностью поглощало другое, его личное сенсационное открытие.

Теперь он точно знал, что несколько раз в неделю, вечером, Зейдок Хойл поднимается по лестнице, на которую Фрэнсису было запрещено ступать, так как она вела во владения Виктории Камерон. Что происходит там, наверху? Что связывает двух людей, столь важных в жизни Фрэнсиса? А если в этом нет ничего такого — почему Зейдок разувается и идет вверх по лестнице в одних носках?

И еще звуки. Смех — Фрэнсис по голосам узнал, что смеялись Зейдок и Виктория. Пение — явно голосом Зейдока. По временам — удары и возня. Изредка, но достаточно часто, чтобы повергнуть Фрэнсиса в недоумение, — какой-то странный звук, словно кошка мяукает, но гораздо громче. Фрэнсис не хотел спрашивать тетушку — вдруг

он в результате окажется ябедой. Конечно, он не мог спросить у Зейдока или Виктории, потому что если они там занимаются чем-то запретным — возможно, чем-то имеющим отношение к великой тайне и мрачному миру, завесу над которым едва приподнял доктор Аппер, — то, естественно, рассердятся, и конец долгим философским беседам с Викторией, конец визитам в похоронное бюро Девинни и столь необходимым урокам рисования. Но он должен знать!

И вот как-то ночью, в начале Великого поста, Фрэнсис, в пижаме, осторожно прокрался наверх, двигаясь ощупью в темноте. Вскоре он почувствовал, что стены покрыты чем-то мягким вроде одеял. Лестничную площадку освещали лучи луны, падающие через высокое окно, и Фрэнсис увидел, что стены в самом деле обиты мягким и что путь ему преграждает тяжелый мягкий стеганый занавес. Это было странно: он знал, что комнаты Виктории — в другой стороне, а часть этажа, отгороженная занавесом, находится над спальней бабушки и дедушки. Тут он вдруг споткнулся — очень зря, хотя босой мальчик много шума не поднимет. И внезапно стало светло — это открылась дверь, и в дверном проеме появился Зейдок.

— Видите, мисс Камерон, я же говорил, что он рано или поздно сюда проберется. Входи, масенький.

Послышался голос Виктории:

— Вся ответственность на тебе! Ты знаешь, какой у меня приказ.

— Чем штаны короче, тем помочи длиннее: играть по обстоятельствам — что может быть умнее, — сказал Зейдок. — Он уже тут, и если ты его прогонишь, то потом пожалеешь.

Он поманил Фрэнсиса в комнату. Очень толстая дверь была неумело, но надежно обита мягким.

Комната, большая и пустая, напоминала больничную палату — на столе, покрытом белой клеенкой, стояли таз и кувшин. Пол был покрыт так называемым корабельным линолеумом. Единственная большая лампочка заливала помещение резким светом, который отражался вниз от белого абажура. Но первым делом Фрэнсис увидел кровать — и она приковала его внимание надолго.

Это была больничная кровать с подъемными бортиками — когда они поднимались, кровать превращалась в подобие клетки без крыши. В клетке сидело странное создание — меньше самого Фрэнсиса, одетое в мятую фланелевую пижаму.

Голова у него была очень маленькая для такого тела, и череп сходился не в точку, а в некрупную шишку, на которой росли черные волосы. Оттого что верхняя часть головы была такая маленькая, нижняя казалась гораздо больше, нос — длиннее, челюсть — шире. Очень маленькие глазки без особого понимания разглядывали окружающий мир. Сейчас глазки были устремлены на Фрэнсиса. Дитя — или создание, или неизвестно кто — открыло рот и издало тот самый мяукающий звук, что порой доносился до Фрэнсисовой комнаты.

— Иди-ка, Фрэнсис, поздоровайся со своим старшим братцем, — сказал Зейдок. Потом обратился к созданию: — Видишь, Фрэнко, это твой брат пришел тебя навестить.

Фрэнсиса приучили слушаться. Он подошел к клетке, вытянув руку перед собой, и создание, поскуливая, отпрянуло и съежилось на постели.

— Это Фрэнсис-первый, — сказал Зейдок. — Обращайся с ним бережно: он не совсем здоров.

Фрэнсис-второй к этому времени проболел несколько месяцев и был еще слаб. Он упал в обморок.

Очнулся он в своей кровати. Рядом сидела Виктория и вытирала ему лоб холодным мокрым

полотенцем.

— Слушай, Фрэнки: поклянись мне на Библии, что никому не расскажешь, где был и что видел. Но, я полагаю, ты хочешь знать, что происходит. Поэтому я отвечу на несколько вопросов. Но смотри, чтобы их было не слишком много.

— Виктория, это правда мой брат?

— Это первый Фрэнсис Чигуидден Корниш.

— Но он же на кладбище. Тетя показывала мне могилку.

— Ну, как ты сам видел, он не на кладбище. Но я не могу этого объяснить. Может быть, ты сам выяснишь, когда подрастешь.

— Но он совсем не похож на человека.

— Не говори так, Фрэнки. Он болен и никогда не выздоровеет, но он человек, это уж точно.

— Но почему он там, наверху?

— Потому что будь он здесь, внизу, это было бы очень тяжело для всех. Все очень непросто. Твоим дедушке и бабушке пришлось бы нелегко. Может быть, ему недолго осталось на этом свете. И так никто не ожидал, что он столько проживет.

— Но вы, кажется, все время с ним сидите, ты и Зейдок.

— Кому-то надо с ним быть, и твой дедушка попросил меня, и я это делаю. Но у меня не очень

получается его веселить. Это делает Зейдок. У него просто замечательно выходит. Твой дедушка ему доверяет. А теперь давай спи.

— Виктория…

— Ну?

— Можно, я как-нибудь еще к нему приду?

— Я думаю, лучше не надо.

— Виктория! Мне бывает так ужасно одиноко. Я бы приходил иногда и сидел там, наверху, с тобой и Зейдоком. Может, я развеселю… его.

— Ну… я, право, не знаю.

— Ой, ну пожалуйста!

— Ладно, посмотрим. А теперь спи.

Взрослые всегда думают, что дети могут засыпать по желанию. Часом позже, когда Виктория снова заглянула к Фрэнсису, он все еще не спал, и она была вынуждена принять чрезвычайные меры — дать ему горячего молока с капелькой дедушкиного рома, чтобы заснул.

Весь этот час у Фрэнсиса в голове лихорадочно вертелись одни и те же мысли. У него есть брат. Этот брат — очень странный. Он, должно быть, и есть тот самый лунатик, которого, по словам мерзкой мамки Александра Дэгга, Макрори держат на чердаке. Лунатик! Фрэнсис не мог привыкнуть к этой мысли.

Но одно он знал твердо и не собирался уступать. Он должен нарисовать Лунатика.

Назавтра же вечером он явился наверх с карандашом и блокнотом. Виктория Камерон разгневалась: неужели он хочет насмехаться над бедным мальчиком, выставлять его беду напоказ? Конечно нет. Фрэнсис собирался лишь заняться тем же, чем занимался у Девинни, — рисовать все и вся, следуя совету Гарри Фернисса. Но в глубине души осознавал, что рисовать Лунатика его тянет не только пыл начинающего художника; рисуя разные вещи, Фрэнсис как бы осваивал их. Он не мог понять Лунатика, принять его как нечто родственное себе, если не нарисует его — если не будет рисовать его снова и снова, запечатлевая его подобие во всех возможных ракурсах.

Фрэнсис не мог бы поручиться, что Виктория полностью поняла его, но, услышав про Девинни, она очень широко распахнула глаза, тяжело задышала через нос и яростно взглянула на Зейдока. Тот был невозмутим:

— Нам надо признать, мисс К., что Фрэнсис не какой-нибудь заурядный шалопай. А как я всегда говорю, играй по обстоятельствам. Кого попало я бы к Девинни не повел, но для Фрэнсиса это — часть его образования. Он не из любопытства

туда ходит: он наблюдатель и примечатель, а таких мало. Он глубже, чем кажется на первый взгляд, а таким людям нужно плавать в глубоких водах — чайная чашка не подойдет. А здесь мы имеем глубокую ситуацию. Фрэнсис-второй — там, внизу, и ум его остер как бритва; Фрэнсис-первый — тут, наверху, и доктор Дж.-А. раздает приказы направо и налево о том, как его следует содержать. Неужели этим двоим не суждено встретиться? Разве им нечего дать друг другу? Я, кажется, все справедливо изложил, не так ли, мисс К.?

Убедил ли он Викторию? Фрэнсис не мог сказать. Но она явно очень доверяла этому кучеру-бальзамировщику.

— Уж и не знаю. Я знаю, какие мне даны приказы, и мне непросто было уговорить его милость, чтобы он разрешил изредка пускать наверх тебя. Изредка, заметь, — а ты тут торчишь почти каждый вечер.

— Да, но сенатор мне доверяет. Иначе разве он просил бы меня ездить на Переволок?

— Ну… я, право, не знаю. Но ты солдат и мир повидал, и я только надеюсь, ты знаешь, что делаешь.

— Знаю. Фрэнсису-первому полезно будет уви-

деть новое лицо — это его развеселит. Давайте-ка споем.

Зейдок затянул «Frère Jacques». Он пел по-французски, и неплохо. Но Виктория пела: «Поп Мартын, поп Мартын! Спишь ли ты? Спишь ли ты?» — поскольку не знала французского — не умела «парле-ву ле дин-дон», как выражались англоговорящие жители Блэрлогги, — и даже не пыталась его учить. Фрэнсис подтянул третьим голосом, и вышло вполне приличное исполнение на двух языках.

Лунатик был зачарован. Не сказать, что его лицо просветлело, но он стоял, вцепившись в решетку кровати, и переводил глазки с одного певца на другого.

Потом Зейдок спел «Да! Пусть погибну как солдат» — очевидно, свою любимую песню. Слова в основном были очень мужественные, но, как Зейдок объяснил Фрэнсису, один куплет у него всегда выходил «жалистно»:

Судьбу прошу я об одном:
Пускай мой славный род
В моем лице сейчас покой
Достойно обретет.

— Так пал капитан в Южной Африке, — пояс-

нил Зейдок, но не сказал, кто такой капитан.

Эта прекрасная оперная ария была жемчужиной его репертуара, который Фрэнсис хорошо изучил за несколько вечеров. У Зейдока была очень личная манера исполнения. Когда он пел:

И кого бы ни встречал
В этой дивной стороне,
О тебе всегда мечтал,
Думал только о тебе… —

он страстно взглядывал на Викторию, которая этого якобы не замечала, но краснела, что ей очень шло. Кроме этого, в репертуаре Зейдока были шумные мюзик-холльные арии времен Бурской войны и «Прощай, Долли Грей». И еще другие — видимо, обрывки народных песен глубокой древности, но Зейдок пел их так, как слышал в детстве, а не облагороженные, научно обработанные варианты, известные Английскому обществу любителей народных песен.

На дворе петух поет,
Мимо Ирод-царь идет,
Дайте пенни, дайте два
И кусочек пирога,
Дай вам Боже счастья (три раза),

Счастья в Рождество!

Еще он пел неприличную версию «Цыганского табора», заслышав которую Лунатик принимался прыгать на кровати. При этом он, как правило, громко выпускал газы, и Виктория почти автоматически реагировала:

— Ну-ка прекрати, или я сейчас же уйду.

Но вмешивался Зейдок:

— Ну-ну, мисс Камерон, вы же знаете, у мальчика талант.

И Лунатику:

— Лучше наружу, чем внутрь, а?

Это, кажется, слегка утешало несчастного Лунатика, не знающего, чем он провинился. Понимал ли он хоть что-нибудь из истории благородной дамы, которая сбежала от богатого мужа и мягкой перины, чтобы скитаться с ясноглазыми бродягами? Трудно было бы сказать, насколько Лунатик понимает происходящее, но он откликался на ритм, и его любимой песней, которой завершался каждый концерт, была залихватская мелодия, под которую Зейдок и Фрэнсис хлопали в ладоши:

Правь, Британия!

Боже, храни королеву —

Минует нас время
Без эля и хлеба!
Раз-два, так и быть,
Пробуй, прежде чем купить,
Запевай-ка веселей —
Слава Англии моей!

После этого Виктория требовала, чтобы они развлекались потише, иначе кое-кто никогда не заснет.

Иногда они устраивали импровизированные пикники: Виктория приносила с кухни разные лакомства. Ели все, Лунатик тоже — шумно и весело, но в его наслаждении Фрэнсис видел пародию на утонченное обжорство тетушки и бабушки. Он нарисовал карикатуру в духе Гарри Фернисса: все трое за столом. Да-да, тетушка, бабушка и Лунатик — все трое вгрызаются в один гигантский пирог. Зейдок счел карикатуру прекрасной, но Виктория схватила ее и разорвала, а Фрэнсиса отругала за нехорошее поведение.

Поскольку Лунатик не умел говорить, разговоры вели Зейдок и Виктория, время от времени кивком указывая на безмолвного собеседника в кровати, чтобы включить в разговор и его. Зейдок тыкал в сторону Лунатика черенком трубки

и приговаривал: «Верно, сынок?» — словно тот молчал по собственному выбору и о чем-то раздумывал. Фрэнсис говорил мало, но безостановочно рисовал, пока не заполнил набросками целые альбомы: двое взрослых, одетые вне всякой моды, могли принадлежать к любому из пяти предшествующих столетий. Виктория обычно вязала или штопала, а Зейдок сидел, подавшись вперед и опираясь руками о колени. Он сидел на манер старых крестьян: не касаясь спиной спинки стула. И конечно, у Фрэнсиса накопилось огромное количество изображений Фрэнсиса-первого. Поначалу они были просто гротескны, но со временем стали проникновенны: в них сквозили сострадание и понимание, неожиданные для такого юного художника.

— Виктория, он правда так плох? Неужели ему нельзя хоть иногда сходить вниз?

— Нет, Фрэнк, нельзя. Ни сейчас, ни потом. Ты еще не все видел. Он ведет себя отвратительно.

— Да, он странный, но почему отвратительно?

Виктория покачала головой:

— Если б ты за ним смотрел каждый день, то знал бы. В нем глубоко сидит разложение.

Разложение? Может, у него гниют мозги, как утверждала мамка Александра Дэгга?

Дело вскоре прояснилось. Как-то ночью, в начале Страстной недели, Лунатика больше обычного захватил исполненный Зейдоком гимн, подходящий по календарю: «Кто сей в одеждах окровавленных?» Лунатик запыхтел и принялся дергать себя за пах, прикрытый пижамными штанами.

— Ну-ка, Фрэнко, перестань, — сказал Зейдок.

Но Лунатик не послушался. Он мастурбировал вовсю, сопя и булькая. Это зрелище воистину повергло Фрэнсиса-второго в бездну стыда.

Зейдок быстро поднялся и ухватил Фрэнсиса-первого за руки. Виктория достала из комода странное приспособление из проволоки и тесемок. Зейдок стянул с Лунатика штаны, Виктория быстро надела на его прыгающие гениталии проволочную клетку, пропустила завязки между ногами и закрепила все вместе на спине висячим замочком.

Лунатик упал на матрас, подвизгивая мяукающим голосом, и продолжал скулить.

— Тебе нельзя было это видеть, малыш, — сказал Зейдок. — Теперь ты знаешь, в чем беда. Он никак не может оставить себя в покое, и днем, когда мисс Камерон должна быть внизу, мы так и держим его в этой штуке, иначе никто не знает,

до чего он себя доведет. Очень печально, и эта клетка — ужасная гадость, но доктор Дж.-А. говорит, что по-другому нельзя. А теперь давай-ка мы с тобой пойдем вниз, потому что Виктории уже пора его укладывать.

Так вот оно что! Это было явное подтверждение правоты доктора Аппера. Ужасный порок, разложение мозгов и позорная тайна Лунатика — все было частью одной и той же загадки жизни, которая снова начала мучить Фрэнсиса, — а он только было подумал, что начинает от нее освобождаться!

Ему снились чудовищные кошмары; его посещали чудовищные мысли, когда он лежал без сна, глядя невидящими глазами на картину «Изгнанная любовь». Иногда он рыдал, хотя такому большому мальчику стыдно плакать. Но что он мог думать об этом ужасном доме, где утонченная набожность тетушки жила под одной крышей с животной похотью Лунатика, а сладчайшая музыка в гостиной — с пением Зейдока на чердаке, настолько бодрым и смачным, что, казалось, в нем крылся намек на опасность, нечто такое, чего не одобрил бы доктор Дж.-А. О доме, где так дрожали за здоровье Фрэнсиса, но вовсе не давали столь нужной ему любви, — ее он получал от

двух слуг, которые даже не столько любили его, сколько просто принимали как собрата-человека. О доме, где нежно лелеемый Фрэнсис знал про другого Фрэнсиса, который томился в больнице-тюрьме и которого даже никто не посещал, кроме одной пресвитерианки — кухарки и няньки; она иногда, очень неохотно, говорила, что обо всем этом думает.

— Мы не можем судить, Фрэнк, но такие вещи, как то, что там, наверху, не бывают случайно. Ничего не бывает случайно. Все где-то записано, знаешь ли, и те жизни, которые мы живем, были предрешены давным-давно, еще до Сотворения мира. Нельзя сказать, что твой брат — свидетельство, что кто-то осужден. Но можно, наверно, сказать, что он — предупреждение. Может, для того, чтобы осадить кое-чью гордыню.

Адамов грех —

Он пал на всех.

Моя бабушка в детстве вышила это крестиком, и ее вышивка до сих пор висит в рамке у нас дома.

— Виктория, мы все грешники, да?

— Да, Фрэнк. Все, как бы твоя тетушка ни пыталась это прикрыть своими религиозными

картинками и расфуфыренными молитвами. Все католики себя так обманывают, как будто жизнь — это маскарад с фиолетовыми носками и прочим. Люди живут не для веселья, знаешь ли.

— И мы никогда-никогда не будем счастливы?

— Покажи мне, где в Библии написано, что люди должны быть счастливы в этой жизни. Счастье грешников — грех. От этого никуда не уйдешь.

— Виктория, а ты тоже грешница?

— Может, я хуже всех. Откуда мне знать?

— Тогда почему ты такая добрая к этому, который наверху?

— Понимаешь, мы, грешники, должны держаться вместе и делать все, что можем, — насколько позволяет наша падшая природа. Это и есть религия. Я никого не сужу. Этот дом, несмотря на все ковры, серебро и нарисованные картины, и твои картинки тоже, — обитель греха.

— Виктория, но это же ужасно. И потом, это не ответ. Если ты грешница, то почему не грешишь?

— Я слишком гордая для этого. Господь сотворил меня грешницей, и этого я изменить не могу. Но я не обязана сдаваться, даже перед Ним, и не сдамся. Не допущу, чтобы Он взял верх. Вот, Он

убивает меня, но я буду надеяться.[23] Но я не сдамся, даже если Он меня осудит на вечные муки.

Так Фрэнсис, кроме капельки теплохладного англиканства и мощной струи горячего сладкого католичества, впитал суровый, неподатливый кальвинизм. Это мало помогло в его личных трудностях. Но он любил Викторию и доверял ей так же, как тетушке. Единственный человек, чей Бог, кажется, не охотился за его скальпом, был Зейдок.

Религия Зейдока, если это можно так назвать, укладывалась в несколько слов: «Жизнь — странная история, масенький. Уж я-то знаю!»

Обитель греха была, однако, в своем роде великолепна, и Фрэнк утешался ее роскошью, не осознавая, насколько она безобразна. Гостиная, такая серебристо-голубая, заставленная неудобной мебелью в стиле какого-то Луи, — ее разнообразили только яростно сверкающее красное дерево «Фонолиста» и массивная виктрола, вместилище дивной музыки, в том числе нескольких пластинок богоподобного Карузо. Столовая, поле великой пожизненной битвы с двумя несварениями желудка: тетушкино прояв-

---

[23] Примечания: 23

…Он убивает меня, но я буду надеяться. — Иов. 13: 15.

лялось в ужасных газах, которые она героически сдерживала, а бабушкино — в желчных приступах. Ни одной из дам ни разу не пришло в голову перейти на диету построже. «Я могу добавить сливок», — объявляла тетушка за каждой едой, словно ей отказывали во многих других видах роскоши. «О, не надо бы, но я рискну», — говорила бабушка, накладывая себе вторую порцию нежнейшего теста работы Виктории — обычно в виде сладкого пирога с фруктами. Столовая с бархатными красными обоями и картинками, изображающими кардиналов, казалась внешним придатком двух воспаленных, растянутых и перегруженных желудков. И кабинет деда с мучительно сложными панелями на стенах — тут интереснее всего были альбомы с «солнечными картинами». Обитель греха? Несомненно, дом разочарований и томлений, даже если не считать тех, что мучили Фрэнсиса.

В Страстную пятницу, поздно вечером, сенатор сидел в своем безобразном кабинете, освежаясь капелькой отличного контрабандного виски. (В этот день сенатор по настоянию Мэри-Бен и Марии-Луизы поужинал лососиной и не стал запивать ее шампанским: воистину день поста и воздержания.) В дверь постучали, и она откры-

лась ровно настолько, чтобы пропустить внутрь доктора Джозефа Амброзиуса Джерома. Доктор улыбался своей обычной улыбкой — широкой, но нерадостной.

— Джо, заходи! Я надеялся, что ты заглянешь. Выпьешь немного?

— Да, выпью, даже несмотря на то, что сегодня такой день. Я на пару слов, насчет твоего жильца с верхнего этажа.

— Все по-прежнему?

— Да, он только становится старше, как и все мы. Хэмиш, ты помнишь, что много лет назад, когда мы переселили его туда, я отмерил ему совсем недолгий срок. И ошибся.

— Да, это была большая ошибка.

— А то я не знаю! Но ты же помнишь, мы тогда все это обсудили и решили, что так будет лучше для Мэри-Джим и нового ребенка.

— Да, но притвориться, что он умер! Мы даже Мэри-Джим обманули! Эти ужасные шутовские похороны — если бы отец Девлин знал, что в гробу только камни, он бы с нас обоих шкуру спустил!

— Нас поддержали Мария-Луиза и Мэри-Бен. Они были уверены, что это наилучшее решение. Они когда-нибудь заговаривают об этом?

— Не слышал ни слова ни от одной за все эти

годы. Наверху никто не бывает, кроме Виктории Камерон, и, кажется, Зейдок заходит иногда. Я — никогда. Мой внук! Джо, ну почему, почему?!

— Лучше не вдаваться в причины.

— Это не ответ. Ты сам-то что предполагаешь? Что говорит наука?

— Ты прочитал ту книгу, что я тебе давал?

— Этого… как его… Крафт-Эбинга?[24] Частично. Когда дошел до человека, который ел ушную серу своей любовницы, то думал — сблюю. Будешь уходить — забери с собой. Скажи мне, при чем тут Мария-Джейкобина Макрори, милая, невинная девушка, попавшая в беду при обстоятельствах, в которых могла оказаться любая?

— А! Но что это за обстоятельства? Я тебе еще тогда сказал: будешь гоняться, как шлюха, за англичанами и светской жизнью — пожалеешь. А теперь посмотри на себя, на свою жизнь с тех самых пор, что она собой представляет? Жалкое зрелище.

— Ну конечно. Ты у нас всегда прав. И что тебе дала эта правота? Посмотри на себя. Ты — сума-

---

[24] Примечания: 24

Крафт-Эбинг, Рихард фон (1840–1902) — австрийско-немецкий психиатр и сексолог, автор знаменитой книги «Половые психопатии» (1886), одного из первых опубликованных исследований сексуальных девиаций.

сбродный, полусъехавший с катушек старый холостяк, а моя сестра — сумасбродная, двинутая на религии старая дева, и, как бы тебя ни тошнило при взгляде на ее полусодранный скальп, вам было бы лучше вместе, чем так, как вы сейчас, — ни вместе, ни отдельно и оба мучитесь. Так что нечего тут проповеди читать.

— Хэмиш, Хэмиш, успокойся. Нечего тут закатывать шотландскую истерику. Все не так плохо. Когда я последний раз видел Мэри-Джим, она была вполне довольна.

— Вполне довольна — не то же самое, что счастлива. Может, я и ошибся. Но я хотел для своей дочери только самого лучшего.

— Боже мой, да никто не может сделать никому другому самое лучшее. Это и для себя-то не всегда получается. Мэри-Джим звезд с неба не хватает, но, Бог свидетель, она красива, и ты из-за этого потерял последние мозги. Добрые намерения могут привести к ужасному несчастью, но пока длится любовь, длятся и они, и вот мы имеем то, что имеем. Ты не так уж оплошал. Поймал вожделенного англичанина.

— Я не собирался ловить никаких англичан! Но ее надо было выдавать замуж, а где в этом городе или даже в Оттаве я бы нашел подходящего

жениха?

— Вечная проблема богатых наследниц-католичек: где найти мужа на ее уровне?

— В Англии я встречал весьма достойных католиков.

— Весьма достойных? Надо думать, ты хочешь сказать — высокородных, богатых и образованных? Я ничего не говорю, это и само по себе немало. Но в результате у тебя на руках оказался Корниш.

— А чем он плох?

— Да ладно! Ты прекрасно знаешь чем. Помнишь бумажку, которую ты подписал?

— Он тогда загнал меня в угол, не буду отрицать. Но он оказался лучше, чем я думал. Пожалуйста, никому не говори, но скоро мы услышим о нем кое-что интересное.

— Чем это он занялся?

— Он этим занимался всю войну. Почти все время делал что-то очень секретное и, насколько я понимаю, опасное. Когда выйдет очередной список награждений, он станет кавалером ордена Британской империи, сэром Фрэнсисом! А моя девочка будет леди Корниш. Что теперь скажешь?

— Скажу, что я рад за тебя и за Мэри-Джим. Может, не очень рад за Джерри О'Гормана и Мэ-

ри-Тесс. Потерять рыцарское звание только для того, чтобы свояк тут же отхватил себе другое, — им это окажется не по нутру.

— О, то было всего лишь папское рыцарство; это — гораздо серьезней.

— Ты меня поражаешь! «Всего лишь папское рыцарство». Ты заговорил почти как протестант.

— В этой стране, если занимаешься финансами, приходится сидеть за одним столом с протестантами. Они правят бал. Католиков и евреев просят не беспокоиться. А я очень крепко подумываю о том, чтобы заняться финансами.

— Тебе что, денег не хватает?

— То, чего человеку не хватает, и то, чего он хочет, — это могут быть совсем разные вещи. Не забывай, я из очень бедной семьи и ненавижу бедность — это у меня в крови. А теперь слушай: торговля лесом уже не та, что была; этот рынок меняется, а я не хочу меняться вместе с ним. Я хочу чего-то совсем нового.

— В твоем возрасте?

— А что такое? Мне всего шестьдесят семь. Мне приходится думать о других. Ты знаешь, что уже много лет люди — вдовы, старики и так далее — приходят ко мне и просят позаботиться об их деньгах.

— И ты это делаешь, причем с выгодой для них. И для меня тоже.

— Да, но мне это не нравится. Ты мне доверяешь, и я этому рад, но бизнес не может строиться на личном доверии. В бизнесе никто не должен нести единоличную ответственность за деньги другого человека. Вот я и думаю разделаться с древесиной и учредить одну из этих компаний доверительного управления.

— В Блэрлогги? Не слишком ли мелкий масштаб?

— Нет, не в Блэрлогги. В Торонто.

— В Торонто? Ты с ума сошел! Почему не в Монреале? Все большие деньги — там!

— Есть и другие большие деньги, и они на западе, и центром для них станет Торонто. Это еще не случилось, но в таких делах приходится бежать впереди паровоза.

— Ты бежишь далеко впереди меня.

— Правильно, так и должно быть. Почему бы нет? Ты доктор — и заботишься о моем здоровье; я финансист — и забочусь о твоих деньгах.

— Ну что ж… Так когда ты делаешь большой шаг?

— Уже сделал. Об этом мало кто знает, но недавние события меня подтолкнули. Джерри

О'Горман и Мэри-Тесс хотят выбраться из Блэрлогги: после той неприятной истории они его больше не любят. Они переедут в Торонто, и Джерри наладит дело.

— Боже мой! А он справится с таким масштабом?

— Да. У него масса еще не раскрытых способностей. И он честный.

— Честный! А как же Блонди Утронки?

— Честный в том, что касается денег. Женщины — это другое дело. Я ему сказал, чтоб больше никаких хождений налево, и Мэри-Тесс держит его под каблуком. Он справится. У него отличные организаторские способности, и люди его любят.

— Он не протестант.

— Пока нет. Но уже и не такой добрый католик, каким был раньше, до того как этот святой крысеныш Бодри постарался. Дадим ему время и Торонто и посмотрим, что выйдет. Хотя это даже и не так важно. Я тебе говорил, что Корнишу дают рыцарское звание?

— Я что-то не пойму, куда ты клонишь.

— Ну гляди. Трест Корнишей: Джерри будет исполнительным директором, я — председателем совета директоров (и будь уверен, вся настоящая власть останется у меня), а президентом — сэр

Фрэнсис, вывеска всего бизнеса. А уж Корниш-то — махровый протестант. Кому и знать, как не мне.

— А он согласится?

— Куда он денется. Он все время приставал ко мне, чтобы я устроил его к себе в компанию, и вот — местечко прямо как на заказ.

— А он справится?

— Он далеко не дурак. У него прекрасный послужной список, включая войну, а это многое значит. И он не хочет возвращаться в Блэрлогги. Как у президента, у него будет только та власть, которую я сам ему дам. По-моему, все вытанцовывается отлично.

— Хэмиш, я всегда говорил, что ты голова, но это — венец всего.

— Да, все неплохо выходит. Совсем неплохо. Словно кусочки вдруг сложились в картинку.

— Любящим Бога все содействует ко благу.[25]

— Джо, ты ужасный циник. Но если ты говоришь искренне, то ты прав. Даже третье поколение окажется при деле. Сыновья Джерри — славные мальчики и, когда вырастут, займутся банковским делом и будут работать в тресте.

---

[25] Примечания: 25

Любящим Бога все содействует ко благу. — Рим. 8: 28.

— А что же юный Фрэнсис? Неужели Корниш допустит, чтобы его сына не приняли в большую игру?

— Фрэнсис — хороший мальчик. Он мне нравится больше всех остальных, и я не позволю оттеснить его в сторону. Но он не совсем тот человек, которого я стал бы готовить к работе банкира. Впрочем, это беда небольшая: Мэри-Джим написала матери, что скоро на свет появится еще один юный Корниш. Если это мальчик — а вероятность, как ты всегда говоришь своим пациентам, пятьдесят на пятьдесят, — он попадет в семейное дело, когда вырастет, а это у нас теперь — финансы, отличный бизнес.

— Надеюсь только, что с ним все будет в порядке.

— Джо, о чем ты?

— Ты забыл про этого, наверху?

— Он же не сын Корниша. С Корнишем все в порядке. Отец этого несчастного создания наверняка дегенерат.

— Но он и сын Мэри-Джим тоже.

— Не понял.

— Слушай, Хэмиш. Ты знаешь, я не люблю говорить неприятные вещи…

— Джо, я тебя знаю, ты обожаешь говорить

неприятные вещи.

— Это недостойный выпад против старого друга. Но помни, что я — человек науки, а науке приходится глядеть в лицо фактам, в том числе неприятным. Ребенок рождается у двоих людей, и, если с ребенком что-то не так, который из двоих виноват? Ты сказал мне, что отец этого бедного адиёта — неизвестно кто, солдат…

— Одному Богу известно, что он собой представлял. Возможно, сгнил от дурных болезней.

— Нет, очень маловероятно, потому что иначе это как-то сказалось бы и на Мэри-Джим, а я за все годы ничего такого не видел.

— Ты хочешь сказать, что виновата моя дочь?

— Тихо, Хэмиш! Тихо. Налей-ка мне еще стопочку этого превосходного виски, и я все объясню. Потому что я об этом много думал и перечитал все книги, какие мог достать и какие могли пролить свет на это дело. Я дал тебе ту книгу, Крафт-Эбинга, в надежде, что ты уловишь намек, но ты, кажется, не уловил.

— Эта книга — куча грязной чепухи!

— Жизнь тоже куча грязной чепухи. Я-то знаю, я врач. Если бы ты читал эту книгу как научный труд, ты бы понял, о чем она. Труды Крафт-Эбинга до сих пор признаются специалистами, хотя уже

много времени прошло, как он умер. Я читал Крепелина, его преемника, он сейчас главное светило в этой отрасли медицины, и по ряду пунктов он полностью согласен с Крафт-Эбингом. Так вот, если бы ты прочитал эту книгу, вместо того чтобы выискивать истории про ушную серу, ты бы усвоил один очень важный факт: здоровая, хорошо воспитанная молодая женщина не испытывает вообще никакого полового влечения. Какие-нибудь романтические идейки из книжек — может быть, но настоящее влечение — никогда. Она не знает, что это такое, даже если примерно представляет себе, откуда берутся дети. А теперь посуди сам: бережно воспитанная и хорошо образованная девушка, католичка, оказывается в гостиничном номере с незнакомым мужчиной. Со слугой, приученным не отвлекаться от своих обязанностей и всячески прятать, если можно так выразиться, человеческую часть своей натуры. Насиловал ли он ее? Насколько нам известно — нет. Она сказала тебе, что одно повлекло за собой другое. Что же такое это «одно»?

— Хватит, Джо. Тебе пора.

— Нет, Хэмиш, не хватит. Ты прячешь голову в песок. И нечего меня выгонять, потому что я говорю как ваш семейный врач, — я лечу всю

вашу семью с незапамятных времен. И сейчас я даю тебе горькое лекарство, чтобы вылечить. Я не говорю, что Мэри-Джим — позорная женщина. Да обратится твой виски в яд у меня во рту, если это так! Но и воплощение добродетели может пасть жертвой душевной болезни…

— Джо, неужели Мэри-Джим больна?

— Это не постоянное расстройство, насколько я знаю. Но оно существует и поражает молодых. Люди моей профессии называют его *furor uterinus.*

— Ты же знаешь, я не учился латыни. Что это такое?

— Ну… я бы перевел это как «бешенство матки». Неуправляемое желание. Я видел, как оно проявляется у женщин… низких женщин, с окраины города. Упаси тебя господь когда-нибудь с таким столкнуться. С желанием то есть. Да, иногда замужняя женщина, привыкшая к такому образу жизни, может… что-то такое почувствовать. Скажем, в жаркую летнюю ночь. Но многие прекрасные женщины никогда этим не страдают. Так какой можно сделать вывод из того, что это есть у Мэри-Джим?

— О боже! Ты говоришь ужасные вещи!

— Хэмиш, науке известно множество ужасных

вещей. И некоторые ужасные люди на этом даже зарабатывают. Взять, например, этого Фрейда, о котором мы узнали только сейчас, когда немецкие книги опять стали доступны. Его никто не слушает, и он скоро сойдет со сцены, или же его изгонят сами коллеги. Но доказанные постулаты медицинской науки, подтвержденные обширным опытом, — против них не попрешь.

— Джо, ты намекаешь на то, что мир обременен сексом, пронизан этой гнилью сверху донизу.

— Я не намекаю — я знаю. Как ты думаешь, почему я холостяк? Хоть и знал давным-давно, что Мэри-Бен согласна за меня выйти. И сейчас еще, наверно, вышла бы. Но я слишком много повидал и решил не рисковать. У науки, как и у религии, есть свои безбрачные служители. А теперь мир сошел с ума и болтает о сексе на каждом углу. Как этот негодяй Аппер, который разъезжает с лекциями по школам и рассказывает невинным детям бог знает что! Фрэнсис о нем ничего не говорил?

— Нет, я даже не слышал от него такого имени.

— Возможно, ему удалось этого избежать. Он очень хрупок. Не думаю, что у него в голове уже завелись какие-нибудь такие мысли. Когда время придет, я обязательно сам с ним поговорю. Предостерегу его.

— Да, пожалуй. Но… Джо… ты думаешь, это… то, что у Мэри-Джим… может повлиять на ее будущего ребенка?

— Скажу тебе по совести, не знаю. Но она уже много лет живет семейной жизнью, и, может быть, оно как-то выгорело. Будем на это надеяться.

— Еще один такой же, как там, наверху, прикончит Марию-Луизу. И меня, возможно, тоже. Джо, неужели ничего нельзя сделать?

— Хэмиш, я тебе уже однажды говорил, что не пойду на убийство, и сейчас скажу то же самое. Я поклялся сохранить этого адиёта в живых; это священный завет в моей профессии. Потому я и приказал сделать ту проволочную штуку — чтобы сдержать его похоть. Без нее он наяривал бы без устали и скоро загнал бы себя в могилу, но я не могу такое терпеть и поощрять. Нам всем надо просто переждать. Слушай, Хэмиш! Если семейные интересы отныне будут в Торонто, почему бы не отправить Фрэнсиса туда учиться? Мэри-Тесс и Джерри за ним присмотрят. Я слыхал, что «Христианские братья» держат там неплохую школу. Убери его отсюда. Подальше от этих женщин. И представь себе, что будет, если по какому-нибудь чудовищному стечению обстоятельств он на-

ткнется на эту тварь наверху. Что за ужас иметь такого брата!

— Брат, неужели тебе по-прежнему не жалко Фрэнсиса? — спросил Цадкиил Малый, приостанавливая ленту.

— Я тебе уже неоднократно говорил, что жалость не входит в набор инструментов, применяемых в моей профессии, — ответил даймон Маймас. — На этой стадии жизни Фрэнсиса моя жалость не сделала бы его лучше; она только притупила бы его восприятие и лишила преимуществ, которые я ему обеспечил.

— Довольно жестоко по отношению к случайным свидетелям, а?

— Случайные свидетели меня не касаются. Я даймон Фрэнсиса, а не их. Он уже познакомился со своим Темным Братом. У каждого есть Темный Брат, но большинство людей за всю жизнь так его и не узнают, и тем более не чувствуют к нему ни любви, ни сострадания. Они видят его издали и ненавидят. Но Фрэнсис надежно запер своего Темного Брата в альбомах с набросками, и даже более того — Темный Брат навеки запечатлелся у него в руках и в чувствительном сострадании художника.

— Тем не менее, дорогой коллега; только не

подумай, что я тебя критикую или учу, как работать. Но разве это хорошо — то, что ты скрыл от всех, кто такой Темный Брат и как он появился на свет?

— Ну, в очевидном, физическом смысле этого слова Темный Брат в жизни Фрэнсиса — результат благих намерений Марии-Луизы, когда она в Лондоне всеми известными ей способами пыталась вызвать у дочери выкидыш. Эти люди думают, что ребенок не по-настоящему живой, пока его не выпихнули наружу. Они не знают о внутриутробной жизни, а это сладчайшее и безопаснейшее время в жизни человека. Если ребенка трясти, дергать, шпарить кипятком, окатывать слабительными и травить джином, его можно убить, или, если он очень силен — а Фрэнсис-первый был очень силен, иначе он не выдержал бы этих плясок, — на свет появится урод. Но Фрэнсисов Темный Брат — нечто гораздо большее, нежели очевидный, физический объект. Он — драгоценный дар от меня, и я думаю, что поступил очень хорошо, уцепившись за первую же возможность познакомить с ним Фрэнсиса.

— Надо полагать, тебе виднее, брат.

— Воистину. Так что давай смотреть дальше, и мы увидим, чем обернулся мой дар Фрэнсису. Все

началось с того, что он выбрался из Блэрлогги.

Часть третья

Раскрывая доктору Дж.-А. свой замысел нового треста, сенатор был не полностью откровенен со старым другом: идею треста он вынашивал уже пять лет, из них три — воплощал ее в жизнь. История с папским рыцарством лишь немного ускорила дело в том, что касалось О'Горманов, и Джерри с Мэри-Тесс уже купили дом в Торонто на модной улице Сент-Джордж. Майор Корниш и Мэри-Джим обсуждали с архитектором постройку дома в пригороде под названием Роуздейл, как раз входящем в моду, в удобном месте — недалеко от резиденции лейтенант-губернатора. Сенатор и доктор Дж.-А. беседовали под Пасху; меньше чем через месяц О'Горманы перебрались в Торонто и немедленно начали ходить в англиканский собор Святого Иакова.

— Нельзя и думать затевать трест, если не знаешь, где деньги, — сказал Джеральд Винсент своей жене.

Она согласилась, потому что он знал Торонто лучше, — ведь он все время ездил сюда последние полтора года. Но заметила, что, может быть, в го-

роде, который называют «методистским Римом», лучше завязывать знакомства в методистских церквах, где богатство мешалось с набожностью в духе Джона Уэсли, образуя необычный, типично торонтовский настой. Когда Мэри-Тесс обнаружила, что дамы-методистки ходят на вечерние приемы в характерных платьях, закрытых до самого подбородка, и не носят никаких драгоценностей, кроме, может быть, горстки неброских крупных бриллиантов (хорошее вложение денег), она решила дело в пользу менее чопорных англикан. За первые три месяца жизни в Торонто, еще до того, как трест начал обслуживать клиентов, О'Горманы стали известны в торонтовском обществе. Известны в хорошем смысле.

Первый вопрос, конечно, был, из какого они класса — «старых денег» или «новых денег»? Для большинства населения (которое относилось к классу «денег нет») разница была неуловима, но все же разница была. Семьи «старых денег» обычно восходили к колониальной эпохе, а некоторые — к имперским лоялистам;[26] «старые деньги»

[26] Примечания: 26

Лоялисты (от *англ.* loyal — «верный», «лояльный») — жители британских колоний Северной Америки, занявшие во время Войны за независимость (1775–1783) сторону Британии. По окончании войны около 100 тыс. лоялистов эмигрировали, в том числе в Канаду.

были консерваторами такой чистой воды, что в сравнении с ними первый герцог Веллингтон показался бы слабаком и либеральным хлюпиком.[27] «Старые деньги» прилагали все силы, чтобы сохранить и укрепить лучшее в политическом организме страны, и точно знали, где найти эту утонченную эссенцию: она была в них самих и во всем, что им принадлежало. Даже в начале двадцатых годов «старые деньги» все еще предпочитали автомобилям экипажи (во всяком случае, дамы, нанося визиты, пользовались исключительно ими). У «старых денег» сохранились и другие племенные обычаи, отличающие их носителей от простых смертных. Высокопоставленные священники «старых денег» часто носили цилиндры по будним дням, когда направлялись по какому-нибудь священническому делу, связанному с деньгами. «Старые деньги» яростно сражались против обычая надевать короткие пиджаки к ужину и против белых жилетов с фра-

---

[27] Примечания: 27

…были консерваторами такой чистой воды, что в сравнении с ними первый герцог Веллингтон показался бы слабаком и либеральным хлюпиком. — Артур Уэлсли, 1-й герцог Веллингтон (1769–1852) — английский полководец и государственный деятель, фельдмаршал, участник Наполеоновских войн, победитель при Ватерлоо (1815), 25-й (1828–1830) и 28-й (1834) премьер-министр Великобритании, носитель крайне консервативных взглядов.

ками.[28] Они редко держали любовниц, а если держали, то некрасивых — настолько, что их можно было принять за жен. Для «старых денег» девятнадцатый век еще не совсем кончился.

«Новые деньги», напротив, ориентировались на Эдуарда VII, который глубоко уважал богатство, независимо от его происхождения, и людей «на подъеме». «Новые деньги» хотели стать «большими деньгами» и не очень расстраивались оттого, что гостиные «старых денег» открывались перед ними не слишком охотно. «Новые деньги» носили смокинги, которые называли «таксидо», и курили большие сигары, с которых предварительно снимали кольцо, — немыслимая оплошность, ибо поступающий так грозит запачкать табаком белые перчатки. О'Горманы знали, что относятся к «новым деньгам», но понимали также, что компания доверительного управления, не ладящая со «старыми деньгами», может столкнуться с неожиданными трудностями. Другой проблемой был сенатор. Галантные манеры и представительная внешность помогали ему всюду, но от неусыпной бдительности «старых денег», конеч-

[28] Примечания: 28

«Старые деньги» яростно сражались... против белых жилетов с фраками. — Мода со временем менялась: к фраку полагался то исключительно белый жилет, то, наоборот, черный, а то и вовсе высокий пояс.

но, не могло укрыться, что он — католик, а по политическим взглядам — либерал. Решением этой проблемы, как и предвидел сенатор, стала семья Корниш.

Все части головоломки легли на место третьего июня, когда был объявлен список наград ко дню рождения короля и майор Фрэнсис Корниш, президент Корниш-треста, который должен был вскоре открыться, стал сэром Фрэнсисом Корнишем, кавалером ордена Британской империи. За что ему дали орден? По слухам, он делал что-то невероятное в разведке во время войны, и не только в канадской разведке — там слишком мелкие масштабы. Среди штатских и даже среди многих военных распространено мнение, что работа военного разведчика требует блестящего ума, невероятной находчивости и смелости, способности разгадывать шифры, над которыми противник трудился годами, и железной руки для управления обворожительными шпионками. Конечно, это может быть и правдой, но доподлинно никто не знает, и все что-нибудь додумывают. Годы придали обличью Деревянного Солдатика определенное благородство: немногословный мужчина с непроницаемым лицом и седыми висками. Сверкание монокля, казалось, таило в себе

ужасные тайны; усы говорили о природе покоренной, укрощенной, взятой под уздцы. Конечно, такому человеку можно доверить свои деньги; его можно и к ужину пригласить. А жена-то! Какая красавица! Может, она была шпионкой?

Так имя Корниша придало блеск строению, которое зиждилось на прочном фундаменте из Макрори и О'Горманов. Трест обрел финансовую солидность задолго до объявления о наградах и до того, как он официально открыл двери клиентам. Когда компания доверительного управления начинает обслуживать публику, это значит, что она уже давно ведет надежный и прибыльный бизнес, предъявив все нужные обещания и гарантии. Рыцарское звание сэра Фрэнсиса должно было служить гарантией того, что уже давно воплотилось в жизнь.

Ни в коем случае не стоит думать, что высший свет и финансовые круги Торонто страдали снобизмом. Любой представитель этих кругов мигом заверил бы вас, что они все до единого первопроходцы и демократы. Но они были первопроходцами и демократами с хорошими связями, а если зорко следили за католиками и евреями, то это ни в коем случае не предубежденность. Просто католики и евреи (конечно, среди них

попадаются прекрасные люди!) не особенно себя проявили, когда колония совершала долгий и трудный путь к тому, чтобы стать страной. Без сомнения, время католиков и евреев тоже придет. Но пока что обязанность держать киль ровно лежит именно на «старых деньгах» и на представителях «новых денег», которых они сочтут достойными. А кто гарантирует ровность киля лучше, чем президент компании доверительного управления — человек, который достойно служил своей стране во время войны, который обладает вполне респектабельным умом и такой располагающей внешностью?

Что думал об этом сам сэр Фрэнсис — так никто никогда и не узнал. Возможно, он, по крайней мере частично, верил в то, что о нем говорят. Без сомнения, он понимал язык финансов и у него хватало ума, чтобы предоставить финансовые дела тестю и свояку, брать щедрое жалованье и помалкивать.

В этих обстоятельствах семья пренебрегла глубоко провинциальным мнением доктора Дж.-А. о том, что третье поколение семьи должно пойти в школу «Христианских братьев». Юных О'Горманов — Джеральда Лоренса и Джеральда Майкла — записали в Колборн-колледж, великую твер-

дыню «старых денег». При этом первое имя обоих мальчиков, Джеральд, как-то незаметно потерялось: Мэри-Тесс почувствовала, что семейный обычай приклеивать династическую этикетку на нескольких детей сразу, может быть, подходит для Блэрлогги, но совершенно неуместен для нового положения семьи.

Сэр Фрэнсис тоже отправил сына в Колборн. Кузены редко встречались в новой школе: О'Горманы по возрасту посещали так называемую «Нижнюю школу» и были приходящими учениками, так как их родители жили в Торонто. Сэр Фрэнсис и его жена (ее уже никто, кроме семьи Макрори, не звал «Мэри-Джим»: весь свет знал ее под именем Джекко, ибо так называл ее муж) уже знали, что будут проводить в Торонто считаные месяцы в году. Сэр Фрэнсис не скрывал, что постоянно сотрудничает (в чем именно, никто так и не узнал) с Очень Важными Людьми, которые находятся в Англии, а следовательно, и ему придется много времени проводить за границей. Джекко не хотела оставаться дома без мужа. Поэтому Фрэнсиса поместили в Колборн как пансионера. Так он вошел, казалось бы, в новый мир, но тут же обнаружил, что этот новый мир во многих важных аспектах мало чем отличается от старого.

Со времен учебы Фрэнсиса в Колборне читающую публику завалили книгами, авторы которых учились в закрытых школах и возненавидели их. Пережитое в школах навсегда травмировало чувствительную натуру этих людей. Но с Фрэнсисом ничего такого не случилось. Жизнь уже научила его изворотливости, чтобы не сказать дьявольской хитрости, в общении со сверстниками и взрослыми и умению все принимать философски. Ту же стратегию — хитрость и философское отношение — он применил и в Колборне. Он не был умен тем умом, который помогает сдавать экзамены, завоевывать награды и делаться первым учеником. Но он был неглуп. Он философски принимал то, что приносила ему жизнь, — а ее новые приношения кое в чем удивительно напоминали Карлайлскую сельскую школу.

Можно многое узнать о любом обществе, изучая поведение детей и распространенные среди них идеи, ибо дети, а порой и взрослые тоже — тени своих родителей; их поступки и мысли часто не что иное, как скрытые убеждения их родителей, и родители вели бы себя в соответствии с этими убеждениями, если бы общество им позволяло. Доминирующую, хоть и не самую многочисленную, группу в Колборн-колледже составляли

сыновья «старых денег», и в их поведении явно отражался дух «старых денег». Они были хранителями традиций и следили за соблюдением этих традиций — беспристрастно и безжалостно. Наилучшей традицией для ускоренного низведения новеньких к общему знаменателю считалось цуканье.

В первый день осеннего семестра префекты назначали каждому старшему мальчику новенького, которому предстояло весь следующий год быть «шестеркой» старшего. По заведенному обычаю, шестерка становился рабом и орудием в руках своего «хозяина» и обязан был выполнять его приказы в любое время дня и ночи. Неписаный закон гласил, что, если с шестеркой очень плохо обращаются, он может пожаловаться префектам, но это считалось стукачеством, а стукач навлекал на себя всеобщее презрение. Эта система, как и все подобные, очень сильно зависела от людей, которые воплощали ее в жизнь. Некоторым шестеркам жилось легко; бывали даже случаи, когда хозяева помогали младшим мальчикам делать уроки. Изредка хозяева оказывались жестокими скотами, и их шестерки жили в аду; но большинство шестерок, как всегда бывает с рабами, высмеивали своих хозяев, когда это

могло сойти с рук, вели себя уважительно, когда нельзя было по-другому, и выполняли работу — чистили ботинки, складывали выстиранное белье — настолько плохо, насколько можно было это сделать, не навлекая на себя наказания. Если такая система чему-то и учила, то лишь тому, что любая власть — самодурство, но любому начальнику можно втереть очки притворным старанием, а работать по-настоящему при этом не обязательно.

Фрэнсиса отдали крупному мальчику по фамилии Иствуд, из Монреаля, в целом добродушному и не отягощенному особым интеллектом. Он был офицером кадетского корпуса, и в обязанности шестерки входила полировка пуговиц на его кадетской форме, а также сабли, чтобы блестела. Все это надо было проделывать каждое воскресенье вечером, готовясь к понедельничному параду. Фрэнсис никогда не грешил наглостью: он убедил Иствуда, что восхищается им и гордится его участием в параде, и дело было в шляпе. Про себя он считал Иствуда болваном.

В школе были уверены: если система цуканья годилась для твоего отца, она годится и для тебя. Определенная доза рабского труда и унижения делает из тебя человека. Возможно даже, что в

этом убеждении есть доля правды. Любому следует испытать на своей шкуре, что значит быть слугой: знать, во что обходится подчиненным твоя практически неограниченная власть, очень полезно.

Фрэнсис учился так, чтобы не привлекать излишнего внимания: по результатам учебы — непримечательным, но вполне приличным — он всегда оказывался чуть выше середины списка. Он легко удерживался на этом месте, и у него оставалось время изучать преподавателей — это зачастую бывало полезнее, чем изучение собственно преподаваемых ими предметов.

В день наград смотреть на учителей было интереснее всего: они всходили на сцену молитвенного зала в академических мантиях, порой прикрывающих сюртуки, оставшиеся с какой-нибудь свадьбы незапамятных времен. Примерно половину преподавателей составляли англичане, и гораздо больше половины — ветераны недавней войны. Их украшали медали за доблесть, а порой и более выдающиеся награды. Один-двое прихрамывали; у мистера Рамзи[29]

[29] Примечания: 29

Рамзи — Данстан Рамзи, один из главных героев предыдущей, «дептфордской» трилогии Робертсона Дэвиса: «Пятый персонаж» (1970), «Мантикора» (1972), «Мир чудес» (1975).

была деревянная нога и потому — характерная тяжелая, неровная походка. У мистера Ривьера — искусственная рука в черной перчатке. У мистера Карвера — серебряная пластина в черепе; известно было, что с ним случаются припадки, во время которых он залезает на водопроводную трубу в своем классе и проводит уроки с высоты. Академические мантии, старые и мятые, говорили о древних славных университетах и высочайших достижениях в учебе, но эти достижения не принесли своим владельцам ничего, кроме должности школьного учителя. В глазах среднего мальчика учителя были богоподобны, но Фрэнсис чувствовал, что их окутывает облако меланхолии, потому что он, наверняка единственный во всем зале, видел то, что у него под носом, — замечал, в какой позе они стоят и что на самом деле отражают их лица. Конечно, он ни с кем не делился своими открытиями.

Его жизнь была полна тайн — вещей, о которых он ни с кем не мог говорить, хотя у него были друзья и в целом к нему относились хорошо. Взять, например, религию: официальной религией школы было англиканство, не очень

низкое и не очень высокое.[30] Особого упора на англиканство школа не делала, потому что в ней учились мальчики самых разных религиозных убеждений, в том числе несколько евреев и смуглых мальчиков из Южной Африки, наверняка папистов. Мальчиков заставляли петь гимны — в основном бодрые, состоящие из призывов к достойной и честной жизни. Пели на «изысканную» музыку из «Сборника гимнов для частной школы» — Хольст,[31] Воан-Уильямс[32] и лишенные сантиментов мелодии, которые не резали бы ухо и Лютеру. Каждое воскресенье вечером директор школы произносил короткую импровизированную проповедь, а поскольку был из тех людей, чей энтузиазм забегает вперед их же здравомыслия, часто говорил вслух то, о чем осмотрительный

---

[30] Примечания: 30

…англиканство, не очень низкое и не очень высокое. — «Высокая» церковь — направление в англиканской церкви, организационно и обрядово более близкое к католичеству. «Низкая» церковь — направление, организационно и обрядово более близкое к протестантизму.

[31] Примечания: 31

Хольст, Густав Теодор (1874–1934) — английский композитор и педагог, наиболее известный симфонической сюитой «Планеты» (1914–1916).

[32] Примечания: 32

Воан-Уильямс, Ральф (1872–1958) — английский композитор, органист и дирижер, внучатый племянник Ч. Дарвина, близкий друг Г. Т. Хольста; стоял у истоков новой английской композиторской школы (т. н. английского музыкального ренессанса), в своем творчестве вдохновлялся творчеством английских композиторов старой школы и

народной музыкой.

человек промолчал бы. Однажды он, рассуждая о грехе и, видимо, забыв, где находится, процитировал Ницше: «…в любом организованном жрецами обществе „грехи“ неизбежны — в них подлинная опора власти, жрец живет за счет прегрешений, ему надо, чтобы „грешили“…»[33] К счастью, его почти никто не слушал, а кто и слушал, не понял. Фрэнсис, возможно, был единственный, кто принял эту мудрость и сохранил ее в своем сердце. Но в целом религия школы приводила его в недоумение. Казалось, ей не хватает души. В ней не было ничего от тайны, окутывающей теплоты, густоты и сладости, характерных для католичества Мэри-Бен. Это была религия, подогнанная под вкусы «старых денег» и их прихвостней. Это была религия, которая Знала Меру.

Знай меру. Таков был вечный девиз «старых денег» и их подлипал. Те, кто претендовал на познания в области древних языков, могли бы уподобить его девизу греков «Ничего слишком». Другие, знакомые с Шекспиром, могли бы процитировать: «Особенно наблюдайте за тем, чтобы

[33] Примечания: 33

…процитировал Ницше: «…в любом организованном жрецами обществе…» — Ф. Ницше. Антихрист. Перевод А. В. Михайлова.

не преступать скромности природы».[34] Они понятия не имели, до чего на самом деле нескромна природа. Но Фрэнсис — имел. Он чувствовал это и в пропасти, которая разверзлась у его ног в Карлайлской сельской школе, и в жестокостях жизни, в ее тяготах, отражение которых видел в бальзамировочной у Девинни. Он сердцем чувствовал: жизнь глубже, шире, выше, ужаснее и прекраснее, чем думают «старые деньги», — им и не снилось насколько. Школьникам не положено знать такие вещи, и он редко признавался в них даже себе самому. Но они иногда просвечивали в его рисунках.

Жизнь в большой закрытой школе устроена так, что рисовать незамеченным — невозможно. Фрэнсису, как шестерке, пришлось, выполняя заказы хозяев, малевать физиономии на спинах желтых школьных плащей. Плащи были клеенчатые, непромокаемые, и Фрэнсис должен был рисовать на спине, между лопатками, забавные рожи, которые затем покрывали шеллаком, отчего они становились практически вечными. Такие плащи очень ценились. Два-три шаржа

---

[34] Примечания: 34

...«Особенно наблюдайте за тем, чтобы не преступать скромности природы». — Вильям Шекспир. Трагедия о Гамлете, принце Датском. Перевод М. М. Морозова.

подошли к опасной грани сходства с оригиналом; особенно одна из них, суровое шотландское лицо, с густейшими бровями и невероятным количеством растущих из носа волос, явно изображала мистера Данстана Рамзи, учителя истории. Однажды после вечерней молитвы мистер Рамзи позвал Фрэнсиса к себе в кабинет:

— Корниш, дар карикатуриста редок и ценен. Но подумай хорошенько, прежде чем полностью ему отдаться. Это преувеличение наиболее характерных черт, верно? Но если ты считаешь характерным только безобразное, то скоро превратишься в человека, ценящего и видящего лишь безобразие, поскольку таково его ремесло. И тогда ты станешь хихикающей, ухмыляющейся мелкой тварью — таково большинство карикатуристов, даже самых лучших. В нашей библиотеке есть неплохие книги по искусству. Смотри их и учись чему-то большему, нежели карикатура. Не забывай про нее, но пусть это будет далеко не все, на что ты способен.

Фрэнсис был счастлив, что его не высекли тростью за оскорбление величества и сверхнаглость, и пообещал ознакомиться с сокровищами школьной библиотеки. И там, среди не особенно обширного и ничем не примечательного

собрания книг, нашел то, чего не хватало ему в школьной религии.

Как часто бывает (с людьми, у которых есть даймон), это открытие совпало с другим, имеющим к нему не совсем прямое отношение. Шестерки часто пели — когда их сгоняли в кучу, чтобы таскать тяжелый каток, трамбующий лужайку для крикета, или сгребать снег с хоккейной площадки. Пели они то, что им нравилось, а не то, что их заставляли разучивать на уроках музыки; учитель музыки предпочитал «В поисках ягнят» и другие народные песни, потому что они были в темпе пять четвертых и требовали некоторого музыкального искусства. Но шестерки пели сентиментальную песню на простой мотив: одни ее уже знали, а другие быстро выучили.

Как-то рыцарям в дозоре
На крутой скале у моря
Свет небесный воссиял —
Это был святой Грааль.
Голос звал в ночи кромешной:
«За Граалем же, не мешкай,
Выступай скорей в поход!
Пусть Грааль тебе сияет,

Пусть Грааль тебя ведет!»

И пускай мало кто из них знал, что такое Грааль и почему он должен воссиять. Фрэнсис знал, так как читал об этом (книгу, конечно, подсунула ему Мэри-Бен). Грааль — чаша, из которой пил Христос на Тайной вечере, и любому, хоть раз увидевшему эту чашу, была гарантирована очень интересная жизнь вплоть до самой смерти.

Среди книг по искусству, рекомендованных Уховерткой — так мальчики прозвали мистера Рамзи, — была одна, посвященная прерафаэлитскому братству. На иллюстрациях — текст Фрэнсиса не особенно интересовал — было что-то от Грааля: то ли свет, сияющий в глазах мужчин, то ли роскошная, поразительная красота женщин. Этот свет насытил Фрэнсиса, оголодавшего от сухой, поверхностной школьной религии, а пышные изображения природы уравновесили мир убогих парт, чернильных клякс, меловой пыли, еды, вызывающей запоры, и дежурной, однообразной, унылой непристойности в разговорах мальчиков. Благодаря этому преображению даже обязательные спортивные игры и военная подготовка открылись свету, источник которого находился где-то вне школы. А потом директор, у которого ушки были на макушке, услышал

рабскую песню шестерок и посвятил очередную воскресную вечернюю проповедь Граалю, видению, неустанному поиску. С характерным для него презрением к реальности директор призвал всех учеников немедленно прочитать Мэлори и сделать поиски Грааля частью своей повседневной жизни.

Фрэнсис отыскал «Смерть Артура» в школьной библиотеке и скоро вынужден был признать, что это непроходимая, нечитаемая, трудная книга. Он не смог добраться до Грааля или чего-нибудь другого интересного. Энциклопедия тоже не помогла — там скучно объяснялось, откуда взялись те или иные части легенды, и уныло, по-ученому, отвергались самые интересные куски — про Иосифа Аримафейского и короля Артура, именно то, что подпитывало воображение Фрэнсиса и делало Грааль сверкающей реальностью. Так что Фрэнсис вынужденно вцепился в книгу о прерафаэлитах и даже не вернул ее в библиотеку, когда нужно было вернуть, несмотря на то что книга больше никого не интересовала. Фрэнсис подумывал о том, чтобы украсть книгу, но воспитание, полученное в Блэрлогги, настойчиво подсказывало, что Некой Особе это не понравится — возможно, от этого Его раны даже откроются

заново — и что жизнь, полная благородного чувства, не может базироваться на преступлении, особенно таком, которое столь легко раскрыть.

От всех мальчиков ожидали «старания». Самыми старательными признавались даже не те мальчики, которые лучше всех учились, а те, которые участвовали в каких-нибудь школьных конкурсах, где заведомо не могли выиграть, но могли показать свое умение проигрывать, дабы его заметили и оценили. Для Фрэнсиса это оказался конкурс риторики.

Конечно, никто всерьез не ожидал от мальчиков риторики в строгом смысле этого слова. Красноречие — очень подозрительный дар. Но для участия в конкурсе ежегодно записывалось достаточно мальчиков, способных стоять перед зрителями (учителями и учениками), обуздывать собственный страх и десять минут говорить на заданную тему. Директор выдавал участнику сложенный листок с написанной на нем темой и на десять минут оставлял одного в запертой комнате — конечно, не в библиотеке, — чтобы мальчик собрался с мыслями, какие у него были. Фрэнсису досталась тема «Дар видения».

Так что Фрэнсис поднялся на сцену и вполне уверенно принялся критиковать портреты, кото-

рые украшали все четыре стены молитвенного зала. Эти картины, сказал он, каждый день видят все обитатели школы. Но никто не воспринимает их как картины — разве что как пятна на стенах. Это плохие картины, но в таком случае что они делают в образовательном учреждении? Достойны ли они лучшей в Канаде школы? (Он решил, что это удачный штришок, который непременно польстит слушателям.) Он указал на отсутствие мастерства у живописцев и риторически спросил, может ли кто-нибудь из слушателей назвать хотя бы одного создателя любой из этих картин. Он упомянул, что две-три картины уже сильно облезли, хотя им не более пятидесяти лет, — несомненно, они написаны плохими красками. Он слегка пошутил по поводу того, что борода одного директора школы, относящегося к девятнадцатому веку, стремительно зеленеет. Он сказал, что авторы этих картин явно дилетанты или шарлатаны. Последние три минуты из десяти он рассказывал, как признанный гений живописи, например Микеланджело или Бугро, изобразил бы эти суровые фигуры: тогда они не только служили бы напоминанием о былых директорах, но живо отражали бы глубокий ум и сильный характер, служа отдохновением для глаз всей

школы. Он сел в тяжелом молчании.

Оглашая решение жюри, директор похвалил очевидную искренность Корниша. Но кубок получил мальчик, который сразился не на жизнь, а на смерть с темой «Соблюдение дня субботнего: за или против» и привел массу аргументов в пользу того, что по воскресеньям все магазины и прочие заведения в Торонто должны быть закрыты.

После конкурса директор сказал:

— Корниш, ты говорил хорошо. Неожиданно и, я полагаю, правдиво. Но бестактно, Корниш, бестактно. В зале сидели несколько членов попечительского совета, и им это не понравилось. Будь осторожен со словами вроде «шарлатан», — к сожалению, мир полон шарлатанов. Учись прятать когти. Но один член попечительского совета сказал, что тебя надо поощрить. Поэтому вот тебе записка, пойди с ней в школьную книжную лавку и выбери себе книгу по искусству. Но никому не говори, откуда она у тебя. Это приказ.

Так зародилась огромная библиотека книг об искусстве в его всевозможных формах, которую Фрэнсис оставил после себя. Книготорговец, добрый человек, нашел ему «Историю Ренессанса» Буркхардта — она была иллюстрированная, а потому дорогая — и прибавил подержанный

комплект «Жизнеописаний художников» Вазари: он стоил доллар пятьдесят, но книготорговец уценил его ради способного мальчика.

Фрэнсис послушно молчал про свой особый приз, но уже не мог избавиться от репутации знатока живописи и, как презрительно шипели некоторые враждебные ему учителя, «эссс-тета». Фрэнсис раньше не знал этого слова, хотя сталкивался со словом «эстетика». Но, судя по тому, как они его произносили, становилось ясно, что «эссс-тет» — это такой хлюпик, который теряет время на разглядывание картинок, вместо того чтобы закалять волю и готовиться к настоящей жизни — как враждебные учителя, все до единого неудачники, ее понимали. Но не все учителя так думали; особенно мистер Миллз, старший учитель древних языков и античной литературы, стал благосклонно поглядывать на Фрэнсиса.

С учениками было то же самое. Большинство из них думали, что интересоваться картинками могут только девчонки, и то не все. Девочки их круга — по сути, они сами, только в другой анатомической упаковке — такого себе не позволяли. Это были дочери «старых денег». Но были и другие ученики, в том числе большинство евреев, — им хотелось говорить с Фрэнсисом об искусстве.

Точнее, об искусстве, как они его понимали.

Уже несколько лет группа канадских художников, прозванная «Группой семи», пыталась раскрыть канадский пейзаж новыми способами, увидеть его заново — глазом, не замыленным представлениями английского пейзажиста девятнадцатого века о том, как должна выглядеть природа. Конечно, над их работой многие насмехались; их считали отвратительно современными, хотя американскому или европейскому критику они такими не показались бы. Дети как попугаи повторяли слова родителей и Фрэнсису не давали покоя вопросами вроде: «А что ты думаешь про „Группу семи“? Моя мать говорит, наша шведская кухарка в выходные малевала точно такие картинки. Отец говорит, он нарисовал бы не хуже, только у него времени нет. Ну ты только погляди! По-твоему, это похоже на Джорджиан-Бей? Мой отец говорит, он охотится по всей стране каждую осень, начал еще мальчиком; он говорит, что знает Канаду лучше, чем эти свистуны, и никогда не видел ничего подобного. Синий снег! Подумать только!»

Фрэнсис отделывался ничего не значащими словами — но не потому, что его как-то интересовала новая живопись: он хотел писать не

мир природы, но мир своей фантазии, в котором царила легенда о Граале. Именно она теперь питала его дух; если от католичества, контрабандой протащенного Мэри-Бен в предположительно англиканский мир Фрэнсиса, и сохранилось хоть что-то, это были именно вещи, связанные с Граалем. Познания Фрэнсиса о Граале были почерпнуты почти исключительно из Теннисона; если по случайности Фрэнсис наталкивался на текст, связывающий великую легенду с дохристианской эпохой, он бросал его; ему нужен был только мир Россетти, Берн-Джонса, Уильяма Морриса. Непросто быть прерафаэлитом в Канаде, в третьем десятилетии двадцатого века, в школе, среди жизнерадостных филистеров, равнодушных к картинам (но отнюдь не равнодушных к успехам в учебе). Но в той мере, в какой это вообще было возможно, Фрэнсису это удалось.

Потребовалась определенная доля изворотливости — даже что-то вроде раздвоения личности. Для школьных товарищей он был просто Корниш, неплохой парень, но повернутый на картинках. Для учителей он был мальчиком со способностями чуть выше средних, за исключением древних языков, в изучении которых подавал надежды. Фрэнсис старался не бросаться в глаза ни учите-

лям, ни товарищам: он играл в спортивные игры — средненько, но все же играл, и участвовал в разных других внеклассных занятиях ровно настолько, чтобы его не презирали как лентяя; он старательно учился, всегда был первым по французскому языку (но это школа не вменяла ему в заслугу, поскольку он знал язык с детства, а в школе французский рассматривался не столько как ключ к другой культуре, сколько как гонка с препятствиями и упражнение для ума) и неплохо успевал по латыни и греческому, которые тоже считались упражнениями для ума. Никто не знал, насколько Фрэнсиса пленяли герои Гомера и Вергилия и насколько проще становятся древние языки, если тебе интересно то, что на них написано. В те годы работники образовательной сферы считали, что мозг можно укрепить, как мышцу, если атаковать и покорять все, что поначалу кажется трудным. Лучшей гимнастикой для развития умственных мускулов были алгебра, геометрия и математический анализ; их освоение было эквивалентно поднятию штанги. Но годились и древние языки — они были достаточно омерзительны для среднего мальчика, чтобы считаться первоклассным предметом. А во внутренних чертогах души Фрэнсиса безраздельно

царил Грааль, который казался ему… чем-то прекрасным, неизмеримо превосходящим все, что могла предложить ему нынешняя жизнь, чем-то таким, что нужно было искать в другом месте, но что на краткий миг, проблесками, являлось ему дома.

Можно спорить о том, жестоко ли поступали по отношению к Фрэнсису его родители. Да, они надолго оставляли его на попечение бабушки, дедушки и тети, но разве это жестокость? Они не заметили зияющей пропасти между его школой в Блэрлогги и его жизнью в «Сент-Килде». Они послали его в Колборн, потому что сэр Фрэнсис признавал школы такого типа, но не задались вопросом, какая именно школа может быть нужна Фрэнсису. Они сделали для него все, что можно купить за деньги, и все, что только могли придумать, но редко видели его и почти не думали о нем. Конечно, они оправдывали это войной и ролью в ней сэра Фрэнсиса — позже, в другой, совсем другой войне, его назвали бы «аналитиком». А Мария-Джейкобина, конечно, обязана была делать все для продвижения карьеры мужа и укрепления его позиций. Война уже давно кончилась, но эти обязанности по-прежнему мешали родителям обратить на сына сколько-нибудь

серьезное внимание.

Ожесточился ли он? Чувствовал ли себя отвергнутым, покинутым? Отнюдь. Наоборот, это помогло ему идеализировать родителей и любить их как далекие сияющие фигуры, совершенно отдельные от повседневной жизни. В школе и в дорогих загородных лагерях, где он проводил лето, он всегда держал при себе папку с фотографиями отца — доблестного и матери — красивой. Это были иконы, которые утешали и поддерживали его в минуты сомнений. Когда Грааль воцарился в его внутренней жизни, родители оказались связаны с ним — не напрямую, это было бы глупо, но как люди, которые делают это великолепие возможным и оберегают его в современном мире.

Когда сэр Фрэнсис начал проводить в Канаде больше времени в связи с делами Корниш-треста, он стал видеться с сыном по выходным, беседовал с ним, иногда кормил роскошными обедами у себя в клубе и часто показывал свои медали. Правда, тут же объяснял, что медали вовсе не мерило солдатской доблести; главное — что думают о тебе люди из министерства обороны и министерства внутренних дел. Главное — доступ, который ты имеешь к Знающим Людям. Кто эти

люди — он не говорил, но не потому, что они не существовали: в майоре не было фальши, когда дело касалось его ремесла; он не называл этих важных людей, потому что они держались подальше от огней рампы, хотя в прямом смысле управляли этими самыми огнями и выбирали, кого освещать. Эти люди далеко не все были солдатами; некоторые были учеными, некоторые — официально — путешественниками, некоторые — университетскими преподавателями. Никогда не говорилось вслух, но было ясно: майор как-то связан с тем, что называется секретной службой. Секретность была у Фрэнсиса в крови.

Что же до его матери, она была красавицей — еще до той эпохи, когда это превратилось в профессию. Светской красавицей, хотя сказать так было бы вульгарно и не в духе Грааля.

Быть красавицей всегда означало воплощать некий идеал, относящийся к данному историческому периоду. Мария-Джейкобина, известная теперь как Джекко, была красавицей двадцатых годов. Она не принимала томные позы; она танцевала — энергично и весело. Она не схватывала свой стан расшитыми шелками — она носила обтягивающие платья-футляры, которые открывали ее красивые колени. У нее была

мальчишеская — но не плоская и не чрезмерно мускулистая — фигура. Она много курила, и у нее была целая коллекция длинных мундштуков для турецких сигарет. Она пила коктейли и слегка хмелела — до обворожительного смеха, но никогда до икоты. Она коротко стриглась — ее прическа в разные годы называлась по-разному, но, по сути, это был «итонский гарсон». Она пользовалась косметикой, но при ее румянце это было скорее приятное дополнение, чем маскировка. Она почти не носила нижнего белья; а то, что носила, было украшено искусной вышивкой, но никогда не мешало хорошо сидеть потрясающим платьям. Духи, которыми она пользовалась, были из Парижа; и только богатый человек вроде президента Корниш-треста мог себе такое позволить. Она флиртовала со всеми подряд, даже со старшим сыном.

Да, теперь у нее был еще один сын, которого собирались послать в «Нижнюю школу» Колборна. Его звали Артур, и он приходился Фрэнсису братом. У них было больше десяти лет разницы, и Артур не играл особой роли в жизни Фрэнсиса, но был вполне милым ребенком, и Фрэнсис обращался с ним вежливо. Артур обладал всеми качествами, которых не было у Фрэнсиса, — шум-

ный, жизнерадостный, крепкий мальчик, очень популярный в школе. Если бы Фрэнсис время от времени не валил Артура на пол и не сидел на нем — ради его же блага, — Артур относился бы к брату снисходительно, чутьем узнавая в нем человека, которому никогда не бывать спортивным капитаном всей «Верхней школы». Для себя Артур поставил именно такую цель и в назначенный срок ее добился. Фрэнсис никогда не узнал — ибо детям не положено знать такие вещи, — что майор был более высокого мнения о нем, нежели об Артуре. Из младшего в один прекрасный день должен был выйти хороший солдат — если ему не повезет настолько, что придется воевать. Но к работе в контрразведке он не годился, в отличие — как подозревал майор — от Фрэнсиса.

В мае 1929 года, когда Фрэнсису шел двадцатый год, несколько назревших вопросов разрешились сами собой.

Первое решение пришло на тренировке по легкой атлетике, на овальной беговой дорожке, окружавшей главную крикетную площадку школы. Фрэнсис был неплохим бегуном, но не звездой. В этот день он пробежал немного, начал задыхаться, в лучших традициях школы поднажал, потерял сознание и упал на землю.

Сенсация! Ученики столпились вокруг. Сержант, который ведал строевой подготовкой, подбежал с криком «Назад, назад! Дайте ему воздуху!», и, когда Фрэнсис пришел в себя через несколько секунд, сержант отрядил четырех мальчиков отвести его в лазарет, где мисс Грив, школьная медсестра, немедленно уложила его на больничную койку. Был четверг, как раз один из дней, когда в школу приходил доктор; он выслушал сердце Фрэнсиса, принял серьезный вид, чтобы скрыть отсутствие мнения, и сказал, что немедленно устроит Фрэнсису визит к специалисту.

На следующее утро Фрэнсис чувствовал себя прекрасно, пошел к общей молитве, как обычно, и был совершенно поражен, когда директор прочитал список наград: Фрэнсис был в списке, он получил награду за изучение античной литературы. И еще его назвали в числе тех, кто должен был немедленно после окончания молитвы явиться к секретарше директора.

— А, Корниш, — сказала мисс Семпл, — ты сегодня утром освобождаешься от уроков. Ты записан на прием к доктору Макодруму в Центральной больнице, на десять часов. Так что поторопись.

Доктор Макодрум был очень важный специалист, но работал в безжалостно перегретом,

крохотном закутке без окон в подвале большой больницы и сам был такой бледный, сутулый и озабоченный, что вряд ли мог служить рекламой своей профессии. Он велел Фрэнсису раздеться, попрыгать, побегать на месте, взобраться на сиденье стула и снова слезть на пол и наконец лечь на холодную каталку, пахнущую больницей, а сам тщательно прослушал его во всех местах стетоскопом.

— Ага, — сказал доктор Макодрум и, родив это высоконаучное мнение, отправил растерянного Фрэнсиса обратно в школу.

Поскольку была пятница, а Фрэнсис получил награду, его раньше времени отпустили домой на выходные. Обычно ему приходилось ждать до утра субботы. Поэтому около пяти часов вечера он вошел в новый роуздейлский дом и направился в гостиную, надеясь, что там еще накрыт стол для чая. Но обнаружил свою мать, которая целовалась с Фредом Маркхэмом.

Они даже и не подумали виновато отпрянуть друг от друга. Маркхэм, улыбаясь, предложил Фрэнсису сигарету, которую тот принял, а мать сказала:

— Привет, милый! Отчего ты так рано?

— Мне дали особый отпуск. Я получил первую

награду по античной литературе.

— О, какой ты умник! Ну поцелуй меня, милый. Это надо отметить!

— Точно, — сказал Фред Маркхэм. — «Белую даму», а, Фрэнсис?

— О Фред, ты уверен? Он не пьет коктейлей.

— Так пора уже начинать. Держи, старик.

«Белая дама» оказалась очень вкусной, особенно яичный белок. Фрэнсис пил, болтал и чувствовал себя светским человеком. Потом поднялся к себе в комнату, бросился на кровать и разрыдался. Мама! Подумать только, мама! С Фредом Маркхэмом, у которого в переднем зубе золотая пломба! Да ему сорок лет, не меньше! Мама… оказывается, она ничуть не лучше королевы Гвиневры! Но тогда выходит, что Фред Маркхэм — Ланселот, а это смешно. Он может быть только низким смердом или, быть может, вонючим мужланом. И вообще он страховой брокер, и что он вообще о себе возомнил, если считает возможным лапать леди Корниш? Но, судя по всему, мама была не против; она не сопротивлялась, так что, похоже, это был не первый их поцелуй. Мама! Боже, да ведь ей, наверно, не меньше лет, чем Маркхэму! До того Фрэнсис считал мать молодой, не задумываясь о хронологии. Конечно, она стар-

ше его, но он никогда не подсчитывал ее годы.

Открылась дверь, и вошла мать. Она увидела, что Фрэнсис плачет.

— Бедный ты мой, — сказала она. — Ты очень удивился? Не надо. Ну пойми, это ничего не значит. Сейчас все так делают. Ты не поверишь, насколько все изменилось с тех пор, как я была в твоем теперешнем возрасте. И к лучшему, правда. Все эти нудные формальности, и приходилось так быстро стареть. Сейчас никто не обязан стареть, если не хочет. В прошлом году в Лондоне я познакомилась с человеком, которому сделали операцию Воронова — ну знаешь, когда пересаживают железы обезьяны,[35] — и он просто потрясающий.

— Похож на обезьяну?

— Глупый, конечно нет. А теперь поцелуй меня, милый, и не беспокойся ни о чем. Ты почти окончил школу, и пора тебе повзрослеть в разных очень важных вопросах. Тебе понравилась «Белая дама»?

---

[35] Примечания: 35

…сделали операцию Воронова — ну знаешь, когда пересаживают железы обезьяны… — Сергей (Самуил) Абрамович Воронов (1866–1951) — французский хирург российского происхождения; родился в Воронеже, умер в Лозанне (Швейцария). Автор методики омоложения посредством прививания ткани яичек обезьян к человеческим яичкам, разработанной им во Франции в 1920–1930-е гг. Послужил прототипом профессора Преображенского в повести М. Булгакова «Собачье сердце» (1925).

— Ну… наверно.

— Они поначалу кажутся странными. Ты скоро привыкнешь, и тебе понравится. Главное, чтобы не чересчур понравилось. А теперь давай-ка умойся, сойди вниз и поговори с папой.

Но Фрэнсису не особенно хотелось говорить с папой. Бедный отец, обманутый, как король Артур! Как это называлось у Шекспира?[36] Рогоносец. Слепой рогач. Фрэнсис был недоволен тем, как держался во время разговора с матерью: он должен был вести себя подобно Гамлету в спальне королевы. Как он там ее обличал? «Блюет и хнычет, нежась и любясь»?[37] Нет, это откуда-то еще. Она позволяет своему любовнику распутные щипки, дарит ему грязные поцелуи, он гнусными пальцами треплет ей шею.[38] Боже,

---

[36] Примечания: 36

Как это называлось у Шекспира? Рогоносец. Слепой рогач. — Уильям Шекспир. Веселые виндзорские кумушки. Перевод М. А. Кузмина.

[37] Примечания: 37

…он должен был вести себя подобно Гамлету в спальне королевы. Как он там ее обличал? «Блюет и хнычет, нежась и любясь». — Фрэнсис смешивает две цитаты из Шекспира: «…блюет и хнычет…» («Как вам это понравится», д. 2, сц. 7, пер. В. Левика) и «…нежась и любясь…» («Гамлет, принц Датский», акт 3, сц. 4, пер. М. Лозинского).

[38] Примечания: 38

…распутные щипки, дарит ему грязные поцелуи, он гнусными пальцами треплет ей шею. — Перефразированная цитата из «Гамлета», акт 3, сц. 4, перевод А. Радловой:

Пусть пухлый ваш король в постель вас тащит,

Распутно щиплет вас, зовет вас мышкой,
А вы за пару грязных поцелуев,
За пальцы гнусные, что вас ласкают
И шею треплют вам, во всем сознайтесь.

какой все-таки пошляк этот Шекспир! Надо бы перечитать «Гамлета». Прошел уже год с тех пор, как мистер Блант протащил их через эту пьесу на спецкурсе по литературе. Мистер Блант злорадно расписывал грех Гертруды. Ибо это был грех. Разве она не преобразила брачные обеты в клятву шулеров?[39] Ну что ж… надо умыться и пойти поговорить с отцом.

Сэр Фрэнсис был очень доволен, что сын получил награду по античной литературе, и открыл бутылку шампанского. Невинный бедняга, он не знал, что самый его дом рушится ему на голову и что прекрасная женщина, сидящая рядом за столом, — прелюбодейка. «Белая дама» еще не совсем улеглась в непривычном к спиртному желудке, а Фрэнсис уже выпил два бокала шампанского. Поэтому, когда после обеда позвонила Искорка Грэм, он слабее обычного сопротивлялся ее предложению пойти в кино.

Он до сих пор отчитывался перед родителями, куда идет вечером и зачем.

— Искорка Грэм хочет в кино, — пробормотал

---

[39] Примечания: 39

Разве она не преобразила брачные обеты в клятву шулеров? — Перефразированная цитата из «Гамлета», акт 3, сц. 4, перевод А. Радловой:

> *…брачные обеты*
> *Преображает в клятву шулеров…*

он.

— А ты, можно подумать, не хочешь? Ладно тебе! Она очень милая девочка. Уж перед папой и мной можешь не притворяться.

— Мама… а это ничего, что Искорка мне звонит? Я думал, это мальчик должен звонить девочке и приглашать куда-нибудь.

— Милый, где ты набрался таких старомодных идей? Ей, наверно, просто скучно. Фрэнк, дай победителю пять долларов. Пускай развеется как следует.

— А? Что? А, да, конечно. Машина тебе нужна?

— Искорка обещала приехать на своей.

— Вот видишь? Она очень хорошая! Не хочет, чтобы все расходы ложились на тебя. Желаю приятно повеселиться.

Искорка хотела посмотреть фильм с Кларой Боу — «Опасные изгибы», так что на этот фильм они и пошли. Искорка взяла Клару Боу за образец для подражания и в самом деле напоминала ее — неуемной энергией и живыми кудряшками. В зале она как бы случайно положила руку рядом с Фрэнсисом, так что он вынужден был взять эту руку. Не то чтобы он очень хотел, но руку ему практически навязали, как фокусник навязывает карту одному из зрителей. После кино они пошли

в кафе-мороженое, уселись на высокие табуретки и стали поглощать сверхкалорийную, нездоровую кашу из мороженого, сиропа и взбитых сливок, украшенную сверху помадкой и орехами. Потом они поехали домой через красивый овраг, каких много в Торонто, — он точно был им не по пути, — и Искорка вдруг остановила машину.

— Что-нибудь не так? — спросил Фрэнсис.

— Бензин кончился.

— Да ну! Осталось больше полубака.

Искорка весело заискрилась:

— Ты что, не знаешь, что это значит?

— Когда бензин кончился? Знаю, конечно. Это значит, что в баке нет бензина.

— Вот глупый! — сказала она, быстро, умело обняла Фрэнсиса за шею и поцеловала.

У нее получилось почти как у Клары Боу в фильме. Но Фрэнсис растерялся и не знал, что делать.

— Дай я тебе покажу, — сказала практичная Искорка. — Ну-ка расслабься! Это не больно. Расслабься.

Под ее руководством Фрэнсис проявил себя как способный ученик.

За полчаса он сильно обогатился опытом. Искорка по ходу дела расстегнула ему рубашку и положила руку туда, где билось его сердце.

Око за око: Фрэнсис расстегнул ей блузку, долго и мучительно копался в лифчике, по пути случайно порвал бретельку комбинации и наконец положил руку Искорке на сердце; тут мошонка (наверно, это была она, если Фрэнсиса не обманули на уроках биологии) принялась отправлять в мозг сигналы о том, что это самое большое счастье, которое он доселе испытывал в своей жизни, ибо сердце Искорки находилось в грудной клетке, а грудь Искорки, вопреки моде двадцатых годов, была весьма пышна, хоть и сдавлена тугой повязкой. Теперь Фрэнсис был уверен, что его поцелуи ничуть не хуже любых киношных.

— Не сопи так, — сказала практичная Искорка.

Когда она высаживала его возле дома, он произнес медленно и настойчиво:

— Надо полагать, это значит, что мы любим друг друга?

Искорка заискрилась еще сильнее, чем в ходе этого искрометного вечера.

— Вот глупый! Конечно нет. Это просто приятно. Правда? Тебе ведь было приятно?

И подарила ему еще один поцелуй в стиле Клары Боу.

«Приятно», и все? Фрэнсис готовился ко сну, остро сознавая, что весь раздухарился, как сказала

бы Виктория Камерон. Это Искорка его раздухарила, и ей было всего лишь «приятно». Неужели девушки проделывают все это — поцелуи, возня под блузкой — только потому, что это приятно?

Не зря он получил награду по античной литературе. В памяти всплыла строка из Вергилия, которую мистер Миллз читал с мрачным напором:

Varium et mutabile semper
Femina…

Даже в мысленной цитате он постарался правильно расставить строки. «Изменчива и ненадежна / Женщина».[40]

Фрэнсис отправился в постель — раздухаренный, раскаивающийся; он жаждал еще, но был обижен, что его использовали для чужого удовольствия. Он долго не мог заснуть.

— Фрэнк, сходим сегодня пообедаем у меня в клубе, — сказал сэр Фрэнсис, увидев сына за завтраком.

Клуб был большой, мрачный, не тронутый современностью и невероятно удобный. Дам в него

---

[40] Примечания: 40

«Изменчива и ненадежна / Женщина». — Вергилий. Энеида. Книга IV, 569/570. Перевод С. Ошерова.

допускали только по особым случаям и со строгими ограничениями. Отец заказал два стакана хереса (не слишком сухого), и Фрэнсис подумал, что по сравнению со своей обычной нормой он в эти выходные просто упился.

— Так, обед… что ты скажешь о супе из бычьих хвостов, а потом отбивные, жаренные на гриле, и… о, у них сегодня пудинг из тапиоки! Я всегда говорю, что здесь его готовят как нигде. Значит, заказываем это, и… официант! — два стакана клубного кларета. Фрэнк, мы празднуем. Твою награду по античной литературе.

— А… спасибо, папа.

— Такую кому попало не дают, а?

— Ну, многие думают, что античная литература — это так, ничего особенного. Даже некоторые учителя считают, что от нее никакой пользы.

— Не обращай внимания. Древние языки — это просто отлично. Все, что дает возможность опереться на прошлое, полезно. Нельзя понять настоящее, не зная прошлого, а? Надо полагать, ты пойдешь в «Душок» изучать античную литературу? Или оставишь это до Оксфорда?

— Оксфорда?

— Ну, я всегда думал, что ты пойдешь в Оксфорд после здешнего университета. Конечно, ты дол-

жен поучиться тут, и, наверное, «Душок» подходит больше всего, раз я глава крупной канадской компании и все такое, — просто нехорошо будет, если мой сын все высшее образование получит за границей. Значит, «Душок», а потом Оксфорд. У тебя будет куча времени.

— А разве мне не надо поторапливаться?

— С чем?

— Я пока не знаю. Но в школе все думают, что надо как можно скорее изучать то, что собираешься.

— Я думаю, тебе не стоит торопиться с тем, что ты будешь делать.

— Да? А что я буду делать?

— А что ты хочешь?

— Если по правде, я хочу быть художником.

— Прекрасно. Это отличная профессия. Тот художник, который написал портрет твоей матери, — де Ласло, или как его там? — он, кажется, просто замечательно рисует. Но имей в виду, у него талант. А у тебя есть талант?

— Если честно, я не знаю. Мне надо выяснить.

— Превосходно.

— Я думал, ты хочешь, чтобы я пошел в бизнес.

— Дедушка считает, что ты для этого не годишься. Правду сказать, я тоже так считаю. Может,

Артур для этого лучше подойдет. Он больше похож на банкира, чем ты. Я подумал, может, ты вместо бизнеса решишь попробовать себя в моем ремесле?

— Извини, я…

— В моей профессии. Давай начистоту. Ты знаешь или, может быть, догадываешься, что я в последние несколько лет был тесно связан с разведкой. Это удивительно интересный мир. Ты не знаешь, что я делал, и не узнаешь. Наверно, излишне предупреждать, что ты ни словом не должен никому обмолвиться о моей работе. О моей настоящей работе то есть. Люди всякое себе воображают. Но мне кажется, ты — как раз подходящий человек, а эта награда по античной литературе гораздо лучше подходит к нашей игре, чем работа с финансами. Лучший разведчик — тот, кто в глазах всего света занят чем-то совершенно другим, каким-то делом, которое с виду отнимает у него все свободное время. Художник — отличное прикрытие. Художники всюду путешествуют, встречаются с самыми разными людьми, и никто не удивляется, если они слегка со странностями.

— Я никогда об этом не думал.

— Вот и хорошо. Кто мечтает и всячески стре-

мится стать разведчиком, у того точно ничего не получится. Слишком много рвения. В лучшем случае из них выходят дешевые филеры. Ты знаешь про свою сердечную слабость?

Сердечная слабость? Неужели это он про Искорку Грэм?

— Вижу, Макодрум тебе не сказал. У тебя, судя по всему, слабое сердце. Ничего страшного, но надо быть поосторожней. А это — самое оно для нашего дела. Кто-нибудь захочет узнать, почему ты не работаешь, — скажешь, что у тебя больное сердце, и все решат, что ты практически инвалид. Будешь бить баклуши и рисовать. Просто отлично. Про меня думали, что я всего лишь солдат. И до сих пор думают. Никто не ожидает от солдата умения соображать. Как и от художника.

— Ты хочешь сказать, что я буду… шпионом?

— Ох, Фрэнк, я тебя умоляю, забудь это слово! Это из той же оперы, что Филлипс Оппенгейм.[41] Ничего подобного: ты будешь наблюдательным человеком, который ездит туда-сюда, и делает что ему в голову взбредет, и знакомится с самыми разными людьми. Никаких там фальшивых усов,

---

[41] Примечания: 41

…шпионом? <…> Это из той же оперы, что Филлипс Оппенгейм. — Эдвард Филлипс Оппенгейм (1866–1946) — английский писатель, автор многочисленных шпионских романов.

не надо мазать лицо сажей и притворяться, что ты водонос Абдул. Будь собой и держи ухо востро. Пойдешь в «Душок», потом в Оксфорд, будешь набивать голову всем, что тебя интересует, и не слушай дураков — они непременно захотят, чтобы ты изучал что-нибудь такое, важное с их точки зрения. А у тебя — сердечная слабость, понимаешь?

— Но что мне надо будет делать?

— Не могу сказать. Может, просто будешь писать письма. Ну знаешь — дружеские письма кому-нибудь из знакомых про то да се. Имей в виду, я пока говорю навскидку. Поначалу совсем ничего не надо будет делать. Но я хочу, чтобы ты как можно скорее познакомился кое с кем. Я сведу тебя с ними этим летом, когда ты будешь в Англии.

— А я разве еду в Англию?

— А ты разве не хочешь?

— Хочу! Просто я об этом не думал.

— Тебе надо бы познакомиться с моей родней. Я раньше ничего не говорил, ведь это родня твоей матери и все такое, но в тебе не только эта компашка из «Сент-Килды». Мэри-Бен с ее патерами и всякой суетней и бабушка — она, конечно, хорошая женщина, но в конце концов будет вылитая

мадам Тибодо. В твоей жизни есть и другие люди. Ты должен познакомиться с родней по моей линии. Мы ведь половина тебя, знаешь ли. Может, эта половина тебе понравится больше, чем родня из Блэрлогги.

— Папа, ты ненавидишь Блэрлогги?

— Не то чтобы ненавижу. Я не позволяю себе ненавидеть места, где приходится жить. Но я пожил в Блэрлогги — и хватит. А что?

— Я помню, на прощальном вечере, который ты давал в отеле в Блэрлогги… Вы с дедушкой одни были во фраках, и Альфонс Легарэ подошел пьяный, рассмеялся тебе в лицо и чиркнул спичкой по пластрону твоей рубашки.

— Я помню.

— Ты не дернулся, даже и бровью не повел. Но это было даже хуже, чем если бы ты его ударил, — настолько явно ты был в другом мире. Он ничем не мог тебя задеть. Я был просто восхищен. Это высокий класс.

— Ужасное выражение.

— Ну, мы так говорим, когда у кого-то есть настоящий стержень.

— Мм… спасибо, сынок. Ты же понимаешь, это все моя профессия. Держать себя в руках. Не делать глупостей.

— Даже если задета твоя честь? Даже ты кому-то доверял больше всех, а он оказался этого недостоин?

— Не стоит доверять людям, пока не узнаешь их как следует. Но ты явно имеешь в виду конкретного человека. О ком ты говорил?

— Папа, что ты думаешь про Фреда Маркхэма?

Деревянный Солдатик редко смеялся, но сейчас рассмеялся:

— Для человека его уровня он неплох, но уровень у него невысокий. Я, кажется, понял, о чем ты. Пускай Фред Маркхэм тебя не волнует. Он — заурядный человечек, неплохо развлекает многих женщин. Но у него нет того, что ты называешь стержнем.

— Но, папа, я видел, как он…

— Я знаю, что ты видел. Твоя мама мне рассказала. Она решила, что ты воспринял увиденное совершенно неправильно. Людям время от времени нужен отдых. Перемена. Но провести день на поле для гольфа — не то же самое, что сбежать на другой континент. Так что не волнуйся. Мама прекрасно может сама о себе позаботиться. И обо мне тоже.

— Но я думал… брачные обеты…

— Ты имеешь в виду верность? Ты еще узнаешь,

что верность меняется и снаружи может выглядеть по-другому, но это не значит, что внутри она слабеет. Не беспокойся за нас с мамой.

— Это значит, что мама для тебя лишь часть… как это называется… легенды?

— И да и нет. Фрэнк… надо полагать, ты мало что знаешь о женщинах?

Кому охота признаваться, что он мало что знает о женщинах? Любому хотелось бы думать, что он знает о них больше своего отца. Фрэнк побился бы об заклад, что видел столько голых женщин, сколько отцу и не снилось, — правда, качеством увиденного он хвалиться бы не стал. Бледные тела у Девинни. Не конкурс красоты, это уж точно. Но Фрэнсис давно перерос свое детское неведение. Теперь он знал, как люди делают *это.* Как животные — но любовь все преображает. Он снисходительно вспомнил беднягу Вудфорда из школы — когда его дразнили, он проговорился, что думает, будто детей зачинают через пупок женщины! Семнадцатилетний парень! Как над ним смеялись, как издевательски воображали его первую брачную ночь! Фрэнсис теперь знал об Особенностях все, что могла сообщить энциклопедия и школьные уроки биологии. Еще он знал анатомию и мог нарисовать женщину с на-

чисто содранной кожей — по книге. Но отец явно имел в виду близость с женщинами, а Фрэнсис прекрасно знал: несмотря на умение нарисовать освежеванную женщину, живой и теплой он ни разу не касался, пока Искорка Грэм не оказала ему любезность. Но Деревянный Солдатик продолжал:

— Мне часто приходится иметь дело с женщинами. Как в личном, так и в профессиональном плане. Они бывают полезны в разведке. Ты знаешь, я ведь и Мату Хари встречал пару раз. Потрясающая женщина. Прекрасные глаза, но фигура поплотнее, чем сейчас модно. Когда ее наконец расстреляли, ей был сорок один год — примерно как твоей матери сейчас, и такая же красавица. Но ты знаешь, ценность женщин в нашем деле ограниченна, потому что они работают исключительно ради денег и всегда ищут вариант повыгодней. А вот мужчины… конечно, и среди них много наемников, но кое-кто из лучших работает исключительно за идею или из любви к родине. Я иногда думаю, что у женщины нет родины — только семья. Есть, конечно, мужчины, которых привлекает элемент романтики. А вот женщин таких не бывает, хотя замешанных в нашем деле часто называют

авантюристками. Понимаешь, они работают телом и, конечно, смотрят на все совершенно по-другому. Имей в виду, я встречал в нашей среде совершенно поразительных женщин. Им отлично дается все связанное с шифрами, но это уже совсем другой тип — мозг, заточенный на разгадывание загадок. Синие чулки. Обычно они не слишком привлекательны. А вот авантюристки — настоящие стервы. Всегда смотрят, как бы чего урвать… Но… я не об этом собирался с тобой поговорить. А о женщинах вообще. Вот тебе мой совет: никогда ни в чем не связывайся ни с одной, сколь угодно высокого или низкого положения, если она хочет за это денег. Они все мошенницы, и, кроме случаев, когда платишь очень дорого, как правило, остаешься с чем-нибудь таким, что тебе совершенно не нужно. Никакой платы — это хорошее правило. Я тебе вот что скажу: придерживайся вдов. Их много, особенно сейчас, после войны, и тебе легко будет найти женщину своего класса, а это важно, если ты хоть сколько-нибудь по-настоящему уважаешь женщин. Конечно, будь щедр, играй честно и прямо, и тогда все будет хорошо. Кажется, это все. А теперь — что ты намерен делать?

— По-моему, я не знаю ни одной вдовы.

— О, еще узнаешь. Но я не о том. Поедешь в Англию этим летом? А осенью — в «Душок»?

— Да, папа. Это будет здорово.

— Хорошо. А в Англии тебе надо будет встретиться с одним-двумя людьми. Я все устрою.

— Фрэнк упустил момент — не спросил отца о Лунатике, — заметил Цадкиил Малый.

— А ты думаешь, у него была такая возможность? Майор весьма умело ведет беседу — с виду как будто и совсем не ведет, но не теряет контроля над нитью разговора. Он ошеломил Фрэнсиса новыми идеями — работа в разведке, поездка в Англию, встреча с Корнишами, умение обращаться с женщинами. У Фрэнсиса в непривычном желудке булькали стакан хереса и стакан клубного вина; у него не было ни единого шанса переменить тему беседы и потребовать, чтобы ему раскрыли давнюю тайну. Ты знаешь, как бывает с тайнами: они растут, становятся все загадочней и вдруг распадаются в пыль, — и никто не может понять, почему вот это когда-то скрывали. Тайна Лунатика осталась в Блэрлогги, ушла в прошлое на несколько лет назад, а Фрэнсис не успевал осмыслить уйму новых удивительных идей, которые обрушил на него отец, — что он не возражает, чтобы мать целовалась с Фредом

Маркхэмом, что он, оказывается, был разведчиком, что вдовы — это хорошо. Уж майор-то умел проводить важные разговоры.

Фрэнсис сидел на руинах замка Тинтагель и пытался думать о короле Артуре. Это была земля святая — именно здесь Утер Пендрагон зачал Артура от прекрасной Игрейны, жены герцога Корнуолльского. И все произошло благодаря искусству волшебника Мерлина. Но как Фрэнсис ни пытался думать об этих великих событиях, он мог только смотреть на северо-запад, через сверкающее бурное море, от которого, кажется, только и исходил свет в Корнуолле. Свет моря отражался обратно к небу, словно источник света находился под самим морем, и это мучило Фрэнсиса, не давало ему покоя весь месяц, проведенный у Корнишей из Чигуиддена. Этот свет придал новое значение легендам, которые Фрэнсис привез с собой — как багаж, подобающий каникулам в Корнуолле. Это не была ночь с картин прерафаэлитов — лунное сияние, обливающее невообразимо благородных мужчин и нездорово прекрасных женщин; это был свет мира, по видимости неограниченный свет, который тусклое зеркало моря отражало, так сильно рассеивая, что он будто пронизывал весь полу-

остров Корнуолл. Кое-где виднелись тени, но свет словно бы отрицал их, падая на все предметы со всех сторон.

Ведь наверняка в этом невероятном, незнакомом свете — незнакомом Фрэнсису, который никогда не жил у моря, — можно с головой нырнуть в мир легенд? Глядя с овеянного веками мыса, как не вообразить, что видишь пестрые паруса, несущие Изольду и Тристана к королю Марку? Но сколько бы Фрэнсис ни пытался силой склонить свои мечты к легендарному и поэтическому, в голову лезли исключительно Корниши из Чигуиддена и то, что они очень странные.

Странные потому, что, живя на этой колдовской земле, были, по-видимому, совершенно невосприимчивы к ее чарам. Странные потому, что жили там, где святые древней кельтской Церкви провозгласили Христово Евангелие подлинно кельтским голосом задолго до того, как из Рима явились смуглые Августиновы миссионеры проповедовать и внедрять свою веру со всем свойственным их породе фанатизмом. Но Корниши из Чигуиддена явно не слыхали о кельтском христианстве, а если и слыхали, то, видимо, не поняли, что оно может быть интереснее низкого англиканства церкви Святого Исфаэля, куда они

ходили и где считались большими людьми. Уж конечно, само имя святого Исфаэля было достаточно кельтским, чтобы возбудить даже самое равнодушное к истории воображение. Церковь присутствовала на этой земле в том или ином виде с шестого века, и Корниши это знали. Но им гораздо интереснее было то, что в девятнадцатом веке набожный Корниш пожертвовал огромную сумму, в пятьсот фунтов, на переделку церкви Святого Исфаэля по последнему писку викторианской готики. И Корниши были твердо намерены сохранить всю отделку, до последнего бронзового завитка, до единой плитки, расписанной энкаустикой. Семейное предание гласило, что трудами набожного Корниша кучу старых панелей — пятнадцатого века или что-то вроде этого — выломали и сожгли по окончании великого ремонта.

Странные, ибо словно не догадывались, что сам король Артур, может быть, скакал верхом там, где сейчас простираются их парковые угодья, и что старейшие дубы на их земле, возможно, выросли из желудей того дуба, под которым великий король — *dux bellorum*[42] древних летописей

---

[42] Примечания: 42
Военачальник *(лат.): досл.* «повелитель битв».

— придержал коня, чтобы отдохнуть и оглядеться в таинственном свете полуострова Корнуолл. Когда Фрэнсис высказал это предположение, дядя — которого звали не как-нибудь, а Артур Корниш — странно поглядел на него и сказал, что, конечно, в парке есть дерево, посаженное в честь коронации королевы Виктории, и это уже вполне приличный дубок, хоть он и перенес два серьезных приступа серой гнили.

Дядю Артура гораздо больше интересовало нечто, называемое Местной скамьей — местное отделение мирового суда, где он заседал, как и все прочие Корниши один за другим, с тех самых пор, как эта самая скамья существовала. Но к сожалению, нынешнему Корнишу приходилось делить скамью с торговцами и даже с местным социалистом, который не мог понять, что суть местного правосудия в том, чтобы знать местных жителей — кто достойный человек, а кто известный голодранец и браконьер — и выносить вердикты соответственно. Дядя Артур владел обширными землями и многочисленными коттеджами — на арендной плате за них и держался Чигуидден со всей его древней славой. Если дядя Артур и слыхал об Оскаре Уайльде, то наверняка считал его порочным типчиком, с которым Мест-

ная скамья разделалась бы без всякой жалости. И уж наверняка дядя не знал афоризма Уайльда: «Земля дает положение в обществе, но не дает возможности пользоваться им».[43] Но если бы знал, то согласился бы, что «этот содомит» хоть тут оказался прав. Любимой темой дядюшки Артура было безжалостное давление правительства на землевладельцев. Если бы его домашние знали слово — «паранойя», они бы наверняка согласились, что дядя Артур в этом отношении параноик. Он был уверен, что современное правительство — это один гигантский заговор с целью погубить его и в его лице все лучшее, что есть в сельской Англии.

Жена его, тетушка Мэй, с подобающей скромностью называла себя религиозной женщиной, так как больше всего на свете ее занимали приходские дела и богослужения в церкви Святого Исфаэля. Она помогала бедным, насколько позволяли тающие доходы Корнишей, и железной рукой сдерживала священников, выказывающих наклонность к высокому англиканству. Во что она верила — никто не знал, ибо она держала

---

[43] Примечания: 43

...афоризма Уайльда: «Земля дает положение в обществе, но не дает возможности пользоваться им». — Оскар Уайльд. Как важно быть серьезным. Перевод И. Кашкина.

свою внутреннюю жизнь в строгой тайне. В церкви она молилась, но Чему именно, и что она Ему говорила, и как Оно проявлялось в ее повседневной жизни — никто не знал. Вероятно, она молилась за своего сына Реджинальда, чей полк стоял в Индии, за другого сына — Губерта, который служил во флоте и надеялся выслужиться, и за дочь Пруденс, которая вышла замуж за Родерика Глассона, еще одного угнетенного местного сквайра. Без сомнения, тетя Мэй молилась и за всю орду своих внуков, но действенность этих молитв вызывала сомнения — внуки были хулиганами и нещадно изводили Фрэнсиса.

За месяц, проведенный в Чигуиддене, Фрэнсис так и не разобрался, где чьи дети, — они приходили и уходили без всякой системы, с воплями врывались в дом или выбегали из дома с крикетными битами или велосипедами — и с оружием, если это были мальчики. Что до девочек — тихому канадцу казалось, что они решили свести счеты с жизнью: девочки изображали чудовищную пародию на поло, скача на пони по лужайке, полной кроличьих нор, так что пони вечно спотыкались и девочки вечно валились кувырком под копыта другим, атакующим пони. Кузена-канадца все дети считали смешным недо-

разумением. Он попытался блеснуть талантом — развести костер без спичек (как его научили в дорогом летнем лагере для мальчиков). За это он получил прозвище Последний-из-могикан, а его страсть ко всему связанному с королем Артуром сочли особым американским помешательством. Он так и не понял, которые дети — Реджинальда, а которые — Губерта, но две девочки точно были дочерьми Пруденс, так как они ежедневно заявляли, что их сестра Исмэй Глассон живо наставила бы его на путь истинный. Они очень гордились сестрой, потому что она была Страхом Господним даже среди чигуидденских буйнопомешанных. Но сейчас она гостила за границей — жила во французской семье, чтобы улучшить свой французский выговор, и, без сомнения, терроризировала французов.

За семейным столом, над скудными порциями невкусной еды, Фрэнсис пытался повернуть разговор так, чтобы выяснить, известно ли чигуидденским Корнишам, какой великий человек его отец и насколько близок он с лондонскими Знающими Людьми. Но оказалось, что для дяди Артура сэр Фрэнсис — всего лишь младший брат, а тетя Мэй очень жалела, что леди Корниш оказалась американкой, раз уж вообще кому-то

вздумалось вводить титул леди Корниш; ибо Корниши были непоколебимо уверены, что канадцы на самом деле американцы, а их жалкие попытки отрицать это — вранье, которому следует противостоять со всей строгостью. О состоянии, приобретенном Деревянным Солдатиком в результате женитьбы и на посту зицпредседателя компании по доверительному управлению, в Чигуиддене вспоминать очень не любили: богатство младшего сына, притом что старший сын едва сводил концы с концами, было непростительной наглостью. Так что Фрэнсису дали понять: он не только Последний-из-могикан, но и Богатый Американец. Он был уверен, что чигуидденские Корниши вовсе не хотели его обидеть; просто их прекрасных манер было недостаточно, чтобы полностью обуздать зависть.

Сидя за общим столом, Фрэнсис иногда поднимал глаза от бараньего рагу, стынущего на тарелке, и разглядывал фамильные портреты, развешенные на деревянных панелях. Он был вынужден признать, что они ужасны. Они были даже еще хуже (древнее, закопченнее, изъязвленнее), чем портреты в молитвенном зале школы. Но со всех глядело одно и то же семейное лицо — длинное, лошадиное, с зелеными, как

крыжовник, глазами; на некоторых портретах взгляд выдавал незаурядных людей — у них в глазах светился ум и умение повелевать. Фрэнсис разглядывал сидящих за столом дядю Артура и разнообразных внуков (тетя Мэй, конечно, в счет не шла — в сложном семейном механизме Корнишей она была лишь аппаратом для воспроизводства): одно и то же лицо, разочарованное и жесткое у дяди Артура, проступающее сквозь детскую пухлость или мальчишескую неловкость или обрамленное плохо заплетенными косичками — у детей, повторялось во множестве вариаций, но форма лица и набор выражений не менялись. Ложась спать в нетопленой комнате, Фрэнсис глядел на себя в волнистое зеркало и видел под черными волосами, унаследованными от Макрори, то же самое лицо; он понимал, что эти черные волосы и крыжовенные глаза когда-нибудь станут просто пугающими.

Чигуидден, правду сказать, его разочаровал. Он столько выстрадал из-за этого необычного названия, которое не только было странным само по себе, но еще и произносилось не по-человечески, что теперь ожидал увидеть величественный памятник архитектуры, причем, как подсказывало название, белого цвета. Но нет: Чигуидден оказал-

ся большим, невысоким, запущенным особняком из серо-бурого камня, с низкой, неприветливой парадной дверью, жалкими окошечками и сланцевой кровлей, покрытой пятнами мха. Без сомнения, дом был очень старый — не меньше четырехсот лет, судя по тому, как чудовищно неудобно было там жить. Кроме того, в нем воняло, так как викторианская канализация отродясь не справлялась со своим делом, несмотря на то что с ней постоянно возились. По-видимому из-за семейной привычки никогда ничего не выбрасывать, дом был заставлен мебелью и безделушками, среди которых почетное место занимали сувениры, привезенные различными Корнишами из армейской или флотской службы за морем. В целом дом был обшарпанным, неудобным и походил на дряхлого опустившегося старика. Школьная жизнь приучила Фрэнсиса терпеть убогую обстановку, неудобство и вонь, но от семейного обиталища он ждал уродливой бархатной роскоши, как в «Сент-Килде», или безжалостного следования моде, как в торонтовском доме его матери. Как Корниши вообще могут жить в доме, где каждый стул даже среди лета обдает холодом, словно садишься в таз холодной воды, и где все постели мокры от морских

туманов?

Но отец уверял, что по крайней мере половина его корней — тут.

Как Фрэнсис ни старался, он не смог погрузиться в эпоху короля Артура — даже на развалинах Тинтагеля. Он поехал на велосипеде обратно через Камелфорд, в Чигуидден, радуясь, что завтра вернется в Лондон, а через несколько дней сядет на пароход, идущий в Канаду.

— Ну как, понравилось тебе в Корнуолле?

— Благодарю вас, там было очень интересно.

— Но не очень весело?

— О, очень весело. Но я ожидал, что его хозяева хоть немного интересуются местной историей.

— Корниши сами — местная история. Надо полагать, для них история — то, что происходит где-то еще. Они немного провинциальны, а?

— Я бы не стал так говорить.

— Ты, похоже, осмотрителен.

— Я не люблю делать поспешных выводов. Видите ли, я первый раз в Англии.

— Но конечно, не последний. Твой отец мне сказал, что ты планируешь в конце концов поступить в Оксфорд.

— Да, так и есть.

— К тому времени ты можешь оказаться по-

лезным человеком. Твой отец сказал, что ты, возможно, пойдешь по нашей линии.

Так вот что все это значит! Вот зачем полковник Коппстоун пригласил Фрэнсиса на ланч в «Атенеуме» — респектабельном клубе в Вест-Энде, — где, правда, кормили немногим лучше, чем в Чигуиддене. Фрэнсис и ждал чего-то такого. Несомненно, полковник Коппстоун был одним из Знающих Людей.

— Да, он об этом говорил.

— И ты не против?

— Я был польщен.

— Ну что ж… Конечно, мы не даем никаких обещаний. Следуй своему чутью. Но мы все время ищем молодых людей, подающих надежды, и, если у них оказываются нужные задатки, попозже мы можем и пообещать кое-что.

— Спасибо.

— Ты любишь писать письма?

— Простите?

— Ты умеешь писать интересные письма? Если ты действительно хочешь в будущем с нами работать, начни писать мне письма.

— О чем?

— О том, что ты делаешь… и что видишь… и что думаешь. Я хочу, чтобы ты присылал мне письма

хотя бы раз в две недели. Пиши на этот адрес — это мой загородный дом. И в письмах обращайся ко мне «дядя Джек»; это вполне допустимо, потому что я старый друг твоего отца. И твой крестный.

— Правда? Я не знал.

— Я тоже, до нашей сегодняшней встречи. Но теперь я — как раз он. Так что пиши мне как своему крестному — это очень удобные отношения, они могут значить очень много или вовсе ничего. Только вот что: никогда не упоминай, что твой отец или твой крестный имеет какое-то отношение к «ремеслу».

— Правду сказать, я не очень хорошо представляю себе, что это за ремесло.

— Конечно не представляешь. Пока тебе довольно знать, что это ремесло людей, которые доверяют своему чутью и видят все, что можно увидеть. Бланманже мы не будем, надо полагать? Давай возьмем кофе и пойдем наверх.

Дорогой дядя Джек!

В Корнуолле было здорово, но в Лондоне мне понравилось больше. Я раньше никогда не видел таких картин. У нас в Торонто картинная галерея маленькая и не очень хорошая, потому что у нас нет денег на первоклассные картины. Пока. Может быть, потом будут. Сейчас я стараюсь

узнать как можно больше о новых картинах, которые пишут новые люди, так что в Лондоне я обошел сколько мог частных галерей и увидел много непонятного. Наверно, следует сказать, что сотрудники галерей, точнее, молодые люди, которые показывают картины потенциальным покупателям, не менее интересны, чем сами картины. Они такие лощеные, так легко рассуждают о тактильных ценностях и стиле nouveau vague *и разных других вещах, в которых я ничего не смыслю. Я впервые осознал свое полное невежество.*

Я кое-что почитал о новом искусстве. Точнее, довольно много прочитал. И понял (точнее, думаю, что понял): картина не должна «что-то изображать». Никаких ужасных «картин, рассказывающих историю», богатых детишек, которые кормят снегирей на снегу, аллегорических изображений Надежды или Пробуждения души и всякого такого, что должно вызывать религиозные чувства или задумчивость. Нет, картина — это всего лишь линии и пятна цвета, расположенные на плоской поверхности, ведь думать, что она не плоская, — это чистый самообман, правда? Я хочу сказать, перспектива — это все прекрасно с точки зрения математики, но только если ее

использовать, чтобы провести зрителя, внушить ему, что он смотрит на трехмерное изображение, — это будет обман. Картины — это форма и цвет в чистом виде. Во всяком случае, так написано в новых книгах, и, конечно, именно это говорят лощеные юноши в галереях. Никаких чувств. Возможно, и никакого смысла — только то, что видят глаза.

Но беда в том, что в лучших из новых картин чувства и смысл все равно прорываются наружу. Взять хоть этого Пикассо. Я видел кое-что из его работ в одной галерее, и если это всего лишь форма и цвет на плоской поверхности, то я сплю. Они — высказывание. Правда, если меня спросят, что именно заявляет каждая картина, я не смогу ответить, но я уверен, что она — высказывание, и знаю, что если как следует постараюсь, то пойму, в чем оно состоит.

А старые мастера! Конечно, я делал все, что мог, для изучения новой живописи, но должен признаться, что старые мастера мне понравились больше всего. Я, кажется, догадываюсь почему. Как вы знаете, меня воспитали в католичестве — точнее, не совсем, но двоюродная бабушка тайно пыталась сделать меня католиком, и, пока я не выжму из себя католичество до последней

капли (до сих пор что-то не очень получается), все эти Рождества, Поклонения волхвов, Распятия и Преображения никогда не будут для меня лишь сочетанием линий, форм и красок. Они — высказывания: сильные или робкие, причудливые или ужасно банальные. Неужели старые мастера заблуждались? Я стараюсь себя в этом убедить, но пока не выходит.

Частично в этом виноваты Вы. Вы велели мне «видеть все, что можно увидеть», и, когда я слушаюсь, мои глаза ведут меня в совершенно немодных и несовременных направлениях. Если я должен видеть картины как современный человек, и никак иначе, мне придется выколоть себе глаз. И тогда, согласно пословице, у моей будущей тещи будет кривой зять, верно?

Я не собираюсь поступать назло гипотетической теще или кому-либо из старых друзей. Вам знакомо имя Гарри Фернисса, карикатуриста и иллюстратора? Я обязан ему очень многим; скажу больше, его книга довольно долго была моей библией. Недавно в лавке, торгующей рисунками и картинами, я нашел оригинальный набросок — портрет актера по имени Льюис Уоллер (сроду не слыхал про такого) работы Г. Ф. — и тут же купил его, ради старой памяти, за десять

фунтов. Это большой удар по моему карману. Но я просто не устоял. Держать в руках что-то такое, чего касался сам Г. Ф.! О, как лощеные юноши презирали бы этот рисунок! Но он чудесен по скупости изобразительных средств.

У меня болят ноги от блужданий по Национальной галерее, Тейт, коллекции Уоллеса, Музею Виктории и Альберта. Все они полны чудес. И что Вы думаете? У меня теперь есть любимая картина! Я знаю, что это не годится: влюбленность в один предмет искусства — худший признак дилетанта. Но эта картина поражает меня как удар по голове. Она висит в Нац. гал. и называется «Аллегория времени». Нарисовал ее художник Бронзино; на раме написано «1502–72»,[44] *и это все, что я о нем знаю. Но какое высказывание! Но что же это за высказывание, в чем состоит аллегория? Я разглядываю картину часами и все же не могу понять.*

Вы знаете эту картину? Первое, что поражает взгляд, — обнаженная фигура прекрасной женщины, восхитительно плотской и совершенно голой,

---

[44] Примечания: 44

...«Аллегория времени». Нарисовал ее художник Бронзино; на раме написано «1502–72»... — Картина известна также под названием «Аллегория с Венерой и Амуром». Аньоло Бронзино — итальянский живописец, придворный художник Медичи, выдающийся представитель маньеризма.

за исключением тиары из драгоценных камней. То есть она не просто голая — голым может быть и труп на столе бальзамировщика. Она потрясающе обнаженная. Слева к ней склоняется юнец лет четырнадцати и целует ее; ясно видно, что она просовывает язык ему меж губ, — как Вы, наверное, знаете, это называется «французский поцелуй», — что довольно странно, если они в самом деле мать и сын. Более того — его правая ладонь лежит на левой груди женщины, и ее сосок выглядывает между его указательным и средним пальцами, а это, конечно, значит, что поцелуй не просто приветствие или что-нибудь такое. Левой рукой юноша притягивает голову женщины к себе. Справа пухлый младенец с многозначительной улыбкой замахивается, чтобы осыпать их розами. Пока все прекрасно. Но атлетически сложенный старик, вроде бы недовольный происходящим, не то задергивает синий занавес, скрывая эту сцену, не то, наоборот, открывает его. Трудно сказать. Ему помогает женщина, от которой видна только голова, но под ней, прямо позади выпяченной задницы Купидона, располагается другая женщина, чье лицо искажено болью… или ревностью? За пухлым младенцем видна еще одна фигура — с детским, но не невинным лицом,

а ее тело заканчивается змеиным хвостом и ужасными львиными лапами. На земле валяются две маски — молодое лицо и старое.

Что Вы думаете об этой прекрасной картине? Пока одному Богу известно, что на ней изображено, но я твердо решил, что и я это узнаю, потому что она заявляет нечто — как и любимые моей тетей ужасные, искусно нарисованные картинки с пирующими кардиналами что-то заявляют. Они говорят, что Церковь могущественна и аристократична, а Бронзино… он что-то рассказывает о совершенно другом мире, и об этом мире я хочу узнать. Я никогда не поверю, что эта картина лишь набор определенным образом расположенных линий и пятен. Моя тетя назвала бы ее «хорошим уроком».

Я быстро учусь. Я уже понял, что Бугро на самом деле не очень хороший живописец, хотя техника у него потрясающая. Вчера я купил еще один набросок — всего несколько штрихов, — изображающий Мадонну с Младенцем, и сбоку закорючка — возможно, один из волхвов. Мне это обошлось в двадцать пять фунтов, и сегодня я точно не буду ужинать в «Кафе Рояль». Но я уверен, что это Тьеполо. Или его школа.

Утром — поезд с пересадкой на пароход. Я очень рад был с Вами повидаться. Скоро напишу еще.
Примите и проч., Ваш кр. сын Фрэнк

«Неплохо для мальчика девятнадцати лет», — подумал полковник Джон Копплстоун, подшивая письмо в новенькую папку.

За четыре года учебы Фрэнсиса в университете Торонто, а именно — в колледже Святого Иоанна и Святого Духа (все студенты, а также преподаватели в неофициальных беседах звали его «Душком»), дело, заведенное полковником Копплстоуном, сильно разбухло. К нему прилагалась еще одна папка, потоньше, с письмами, которые писал полковнику старый друг и заслуженный коллега: он подписывался попросту «Дж. Б.» и время от времени уведомлял полковника о том, о чем Фрэнсис не считал нужным писать крестному отцу. Официально Дж. Б. занимал в университете пост секретаря студенческого союза; он любил и умел писать письма. В основном он, как почтительный сын, писал своей престарелой матушке в Кентербери, но и полковника Копплстоуна тоже не оставлял вниманием, а некоторые письма шли и дальше — Знающим Людям. Даже в

доминионе[45] — вполне надежном, хотя, быть может, и не очень любимом страной-матерью — могло случиться всякое, о чем следовало знать ее контрразведке, и значительная часть интересной информации шла от Дж. Б.

То, что он рассказывал про Фрэнсиса — если отбросить шелуху, — никому не показалось бы важным, кроме людей, отбирающих кандидатов для «ремесла». В университете к Фрэнсису хорошо относились, но звездой он не был; совсем не то, что называется «большой человек на кампусе». С девушками он, по-видимому, общался мало, хотя его к ним и влекло. С другой стороны, его дружба с молодыми людьми не была слишком тесной. Раза два Фрэнсис попытался сыграть в постановках университетского театра и оказался безнадежным, деревянным актером; из-за черных волос и зеленых глаз он странно смотрелся на сцене. Вне учебы он ничем особенным не отличился, но оказался неожиданно полезным членом комитета по закупке картин при студенческом союзе:

---

[45] Примечания: 45

Доминион — фактически независимое государство в составе Британской империи (ныне — в составе Британского Содружества), признающее главой государства британского монарха, представленного в доминионе генерал-губернатором. После юридического оформления статуса Британского Содружества в 1931 г. все входившие в него государства были признаны доминионами Великобритании (за исключением непосредственно колоний и зависимых территорий).

он умел распознать хорошую вещь и настоять на ее покупке, в отличие от других студентов, работавших с Дж. Б., — те попросту не отличили бы Пикассо от пятна на обоях. Фрэнсис уже покупал работы канадских художников и для себя — в диапазоне от двадцати пяти до ста долларов за картину. Он происходил из богатой семьи, но явно не имел возможности швыряться деньгами. Однажды Дж. Б. встретил его на улице без пальто в морозный день и спросил, в чем дело. Оказалось, Фрэнсис заложил пальто, чтобы купить картину Лорена Харриса,[46] перед которой не смог устоять. Все деньги, какие были у Фрэнсиса, он откладывал на покупку картин. На себя он не тратил ничего и имел репутацию жмота, — видимо, этим и объяснялись недостаточные контакты с девушками, поскольку девушки любят поесть и выпить. Он много рисовал и обладал несомненным талантом карикатуриста, но почему-то не пожелал обратить его себе на пользу; однако в зеленых глазах часто пробегала искорка, свойственная карикатуристу, — когда Фрэнсис думал, что его никто не видит. Он неплохо учился и всех удивил, когда в конце четвертого курса получил

[46] Примечания: 46

Лорен Харрис (1885–1970) — канадский художник, член «Группы семи».

ректорскую премию по классической филологии, хоть это и был не очень модный предмет. Премия увеличивала его шансы на поступление в Оксфорд, и Дж. Б., у которого в Оксфорде была «рука», собирался позаботиться о том, чтобы награда не осталась незамеченной.

Кандидат для «ремесла»? Возможно. Оксфорд покажет, подумал полковник Коппластоун. В конце концов, мальчику всего двадцать три года.

В последнее лето перед Оксфордом Фрэнсис навестил Блэрлогги. Ему бы это не пришло в голову, если бы мать не настояла на поездке. Она сказала, что тамошние обитатели стареют. «Дедушку ты видишь хоть иногда, а бабушку и тетушку не видел уже… о, уже больше десяти лет. Это самое меньшее, что ты можешь для них сделать, милый». И вот жарким августовским днем он отправился в путь.

Он пересел с главной ветки на поезд, идущий на север, к Блэрлогги, и ему показалось, что кто-то насильно обратил время вспять. До того он ехал в отличном современном поезде — там, поскольку за билет платили родители, ему досталось место в сидячем вагоне, с радионаушниками у каждого кресла; а после пересадки он оказался в каком-то историческом экспонате. Древний па-

ровоз, изрыгающий клубы дыма, величественно и неторопливо — со скоростью двадцать миль в час — тащил один багажный вагон и один пассажирский по ровной низине. Пассажирский вагон был стар, но не почтенной старостью; интерьер украшали многочисленные деревянные кружева, когда-то покрытые лаком, но зеленые плюшевые сиденья облысели и засалились, пол был не метен, в вагоне пахло угольной пылью и усталостью. Из-за жары те окна, что еще открывались, были открыты, и в вагон время от времени залетали дым и сажа от паровоза. Поезд останавливался на крохотных полустанках среди чиста поля — обычно для выгрузки небольших грузов. Останавливались и для того, чтобы остыли буксы, — поезд был подвержен перегревам букс, этому бичу древних железнодорожных составов.

В полдень они остановились посреди каменистой, поросшей кустами пустоши. «У кого нечем перекусить, можно поесть у старухи, вон там, на горке. Это стоит четвертак», — объявил кондуктор и лично повел небольшую процессию пассажиров на горку, где в кухне у старухи уже стояли на краю плиты тарелки с жареной картошкой и кусками жирного бекона. Сверху на каждую тарелку клали кусок пирога с ревенем.

Фрэнсис увидел, что здесь принято осторожно снять пирог (чтобы не раскрошился), положить на дощатый стол рядом с тарелкой, съесть содержимое тарелки и начисто вытереть ее хлебом; затем пирог следовало вернуть на тарелку и съесть вилкой, предварительно хорошо облизав ее. Все это запивалось старухиным кофе, некрепким, но очень горячим. На трапезу отводилось пятнадцать минут; когда встал кондуктор, встали и все остальные, и каждый положил по четвертаку в ладонь старухе, которая стояла не улыбаясь и не говоря ни слова. С кондуктора, судя по всему, денег не брали; он повел цепочку путешественников обратно вниз под горку, к ожидающему поезду. Экономные машинист и кочегар поели из тормозков, устроившись возле путей. Они забрались в вагоны, смачно рыгая, и поезд торжественно, сонно покатил дальше.

Уже ближе к вечеру кондуктор с важным видом протопал по вагону, выкрикивая: «Блэрлогги! Конечная станция! Блэрлогги!» — словно у кого-то из пассажиров были сомнения на этот счет. Затем кондуктор первым соскочил с поезда и почти добежал до дома к тому моменту, как Фрэнсис стащил чемодан с верхней полки и впервые за долгое время ступил на землю своей малой

родины.

Блэрлогги, в отличие от старого поезда, заметно изменился. Лошадей на улицах было мало, и на самих улицах — по крайней мере, на некоторых — появилась мостовая. Магазины сменили имена, а «Универсальный магазин для дам», где бабушка всегда покупала шляпы (потому что у барышень Сим, хоть они и протестантки, был наилучший в городе вкус и самая легкая рука в том, что касалось искусственных вишенок и роз), вовсе исчез, и место, где он когда-то был, поросло сорняками. Появился в городе и кинотеатр — судя по всему, пестро раскрашенный фасад прилепили на разорившуюся бакалейную лавку. Оперный театр Макрори, чуть дальше по улице, стоял заколоченный, с заброшенным, словно обиженным, видом. Деревья стали выше, а дома — ниже. Кузница Донохью куда-то подевалась; самая разительная перемена — по улице навстречу проехал грузовик с пиленым лесом и фамилия на борту кузова принадлежала не дедушке Фрэнсиса.

Но стоило отойти от главной улицы и подняться на горку, и Фрэнсис увидел «Сент-Килду», которая выглядела совершенно как всегда. Он позвонил в дверь, и открыла Анна Леменчик

— ошибки быть не могло, хотя она стала шире и словно бы ниже ростом. Она ничего не сказала — она никогда ничего не говорила, открывая дверь гостям, — но наверху послышалась возня, по лестнице сбежала тетушка Мэри-Бен, опасно поскальзываясь на полированных деревянных ступенях, и бросилась Фрэнсису на шею. Какая она стала крохотная; неужели он так вырос?

— Фрэнсис! Мальчик мой дорогой! Какой ты огромный! Да какой красавец! О Матерь Божия, это ли не счастливый день! Ты на такси ехал? Мы бы послали… да я все забываю, что послать-то теперь некого, — Зейдок в больнице и все такое. О, что скажет бабушка, когда тебя увидит! Иди скорее к ней, милый, иди скорее. Это будет ей полезней всего на свете!

Бабушка лежала в постели — гора плоти, но желтой, кисло пахнущей. Общаться с ней пришлось по-французски, потому что говорить по-английски ей теперь было трудно. Она была намного моложе сенатора — который, как обычно, уехал по тем или иным делам в Оттаву, или Монреаль, или Торонто, — но годы не имели отношения к ее болезни. Бабушка выглядела лет на десять старше, чем на самом деле (ей исполнилось шестьдесят восемь).

— Доктор Дж.-А. очень скрытен в том, что касается Марии-Луизы, — сказала Мэри-Бен Фрэнсису вечером, за плохо приготовленным ужином. — Мы очень боимся того, что там на самом деле, но он не хочет говорить прямо. Ты же помнишь, какой он всегда был. Говорит, что семьдесят лет обжорства не поправишь. Но неужели от хорошего аппетита может быть *такое?* Я, конечно, молюсь за нее, но доктор Дж.-А. говорит, что век чудес уже миновал. Ох, Фрэнки, Фрэнки, это такой ужас, но мы все уйдем рано или поздно, правда же? А твоя бабушка прожила такую добродетельную жизнь — ей не в чем себя упрекнуть, абсолютно не в чем, — так что, как это ни тяжело для нас, мы должны склониться перед Его волей.

Оказалось, что главная страсть бабушки еще пылает у нее в груди. Вечером Фрэнсис три часа играл в карты с тетушкой и бабушкой, собравшей последние остатки сил. Играли в юкер. Когда они поднялись наверх, колода из тридцати двух карт уже была готова, и они играли раунд за раундом — безжалостно, почти в полном молчании. Фрэнсис, самый неопытный игрок, проигрывал раз за разом, но он не мог не заметить, что рука бабушки постоянно ныряет под одеяло, вроде бы потереть больное место или поправить ночную

рубашку. Но когда рука выныривала снова, не мелькала ли в ней карта, которой не было на столе раньше? Это была недостойная мысль, и Фрэнсис затолкал ее подальше, но, видимо, недостаточно далеко. Мэри-Бен была вполне готова проигрывать, но Фрэнсис еще не достиг возраста, когда понимаешь, что победа не всегда результат всяких трюков.

Когда они прощались на ночь, Фрэнсис шепнул тетушке:

— А как там мадам Тибодо?

— Она теперь очень редко выходит; понимаешь, она стала такая корпулентная. Но держится замечательно. Совершенно оглохла, но в карты играет трижды в неделю. И выигрывает! Представляешь, она выигрывает! Ей уже восемьдесят семь лет.

А где же Виктория Камерон? Кто ходит за Лунатиком?

Оказалось, что тетушке пришлось избавиться от Виктории. Та что-то слишком сильно зафордыбачила, и тетушка выставила ее вон. Новой кухарки не взяли, но Анна Леменчик управлялась как могла с помощью младшей дочки старой миссис Август — девочки старательной, но не слишком способной. Могла Анна Леменчик не

многое, но, притом что бедная Мария-Луиза теперь питалась только жидкостями, тетушке не хватало духу нанять другую, хорошую кухарку, несмотря на уговоры деда. Ведь правда это было бы очень жестоко — нанять кого-нибудь, чтобы готовили яства, которых бедной бабушке не суждено попробовать?

Фрэнсис так и не решился сказать тетушке, что знал о Лунатике, но в первую же ночь в «Сент-Кидде» он прокрался наверх, зная, что тетушка сейчас преклоняет колени на молитвенной скамеечке. Мягкая обивка исчезла со стен, и занавесов, глушащих звук, больше не было. В этой части дома никто не спал — Анна Леменчик приходила только на день. Фрэнсис подергал дверь комнаты, которая когда-то была больничной палатой, домом скорби и тюрьмой одновременно. Дверь была заперта.

Раздеваясь перед сном в своей старой комнате — словно утратившей вещественность, как и все в «Сент-Килде», — Фрэнсис уловил свое отражение в длинном зеркале, перед которым когда-то позировал, облачившись в пародию на женские одежды. Молодой мужчина; волосы на груди и ногах; черные завитки в паху. Что-то подтолкнуло Фрэнсиса — он мог бы воспроти-

виться этому порыву, но не стал; он, как когда-то, завернулся в покрывало с кровати и посмотрел в зеркало — жадно вгляделся в его глубины в поисках девушки, которую ожидал там увидеть. Но ее не было. Где же она? В «Душке» он пытался искать ее в разных девушках, но не нашел ни в одной. Она должна где-то быть — эта девушка из мифа, из настоящего Корнуолла, живущего в воображении Фрэнсиса. Он отказывался верить, что ее нигде нет. Но из-за позирований и разглядываний он так возбудился, что пришлось «придушить одноглазого змея», как это называли в школе. Как обычно, это принесло облегчение, смешанное с отвращением, и он заснул в дурном расположении духа. Ему не нужны были интрижки, связи, студенческие забавы, о которых было столько разговоров в «Душке». Он искал любви. Ему было двадцать три года, и он думал, что в таком возрасте уже давно должен был найти любовь; он подозревал, что с ним самим или с его судьбой, или кто там этим управляет, что-то неладно. Черт!

Наутро он без труда нашел Викторию Камерон: прямо на главной улице, в лавочке с вывеской «Лучшие кондитерские товары Камерон», за прилавком, на котором в изобилии располагались ее

кулинарные шедевры.

— Фрэнки, ты же не думал, что я пропаду, если твои родные меня уволят? Наоборот, я процветаю. Папа с мальчиками пекут хлеб, как всегда, а я делаю торты и пирожные, и от покупателей отбою нет, скажу я тебе. Нет, я не вышла замуж и не собираюсь — хотя желающие есть, скажу я тебе. Я найду дела получше, чем быть домашней прислугой при муже, и не сомневайся… Зейдок? Это грустная история. Он хотел на мне жениться, можешь ты себе представить? Я ему сразу сказала: даже не думай, пока работаешь у Девинни. И не думай оттуда увольняться, потому что, даже если уволишься, я за тебя не выйду. Слишком уж привыкла жить по-своему. Но он страдал. Это было заметно. Не буду притворяться, что это только из-за меня, но, может быть, и из-за меня в том числе… Наверно, сильней всего по нему ударила смерть мальчика. Ты не слыхал? Да, конечно, кто ж тебе рассказал бы. Зейдок чувствовал, что в каком-то смысле он тому причиной.

На этом в разговоре наступил перерыв: Виктория отпустила покупателям, с любопытством разглядывавшим Фрэнсиса, полдюжины корзиночек с лимонной начинкой, еще полдюжины — с малиновой, два лимонных пирога, заказан-

ных на годовщину свадьбы, и большой пакет профитролей. Не говоря уже о двух караваях белого хлеба с хрустящей корочкой, двух — черного и двух с изюмом. Когда поток покупателей схлынул, Виктория продолжила рассказ:

— Ты помнишь, что Зейдок всегда любил ударить по пиву. Когда я ему отказала, он стал приносить пиво наверх. И пил, когда пел Фрэнсису — тому Фрэнсису. Ты знаешь, он так любил этого мальчика. Почти как родного сына. У Зейдока доброе сердце, этого у него не отнять. Мне не нравилось, что он носит туда пиво, но запрещать ему я не хотела: вышел бы шум, а мне казалось, что оно того не стоит. И мне кажется, он еще и назло делал. Мужчины вообще странные. Я думаю, он решил показать мне, что раз я его не хочу, так он пойдет ко всем чертям. Может, надеялся, что я передумаю и спасу его. Но меня не так воспитывали: я знаю, что никого спасти нельзя. Если человек не может спастись сам — насколько человек вообще может сам себя спасти, — никто это за него не сделает. Каждый должен осуществить свое предначертание, а я знала, что мне не предначертано спасти Зейдока. Так что он напивался, начинал дурить, поднимал тосты за здоровье Фрэнки, а Фрэнки чувствовал, что это

что-то веселое и хорошее, и радовался на своем языке как умел. Но в одном я была тверда: велела Зейдоку не давать Фрэнки ни капли пива.

Может, оттого все и вышло. Вместо пива Фрэнки выпивал много воды. Можно подумать — ничего страшного. Попьет, пописает в пеленку, и все тут. Но как-то вечером мы с Зейдоком поссорились по-настоящему, потому что он пил больше обычного и слишком шумел, и наконец я ушла: оставила их вдвоем и сказала Зейдоку, что, раз так, пусть он сам укладывает мальчика спать.

Конечно, я знала, что у него ничего не выйдет. Фрэнки ждал меня, чтобы я его уложила, и я не собиралась его подводить. Так что через час или около того, когда я знала, что Зейдок уже ушел, я пошла укладывать Фрэнки и уложила. Но мне показалось, что он какой-то странный и вроде бы тяжелее обычного. А наутро я нашла его мертвым.

Ты знаешь, что с ним случилось? Он утоп! Я побежала за старой тетушкой, а она послала за доктором Дж.-А., и он посмотрел Фрэнки и сказал вот это самое. Утоп! Понимаешь, этот мальчик, бедняга, был не как другие люди. У него на самой макушке была какая-то железа, которая работала не так, и, когда он принялся пить воду напере-

гонки с Зейдоком, он, должно быть, выпил… не знаю… может, несколько галлонов, и это оказалось слишком много. Доктор сказал, что вода, должно быть, попала к нему в кровь, а оттуда в легкие и он захлебнулся. Доктор сказал, это называется отек легких. Я запомнила, потому что… ну как такое забудешь? Так что они устроили еще одни похороны, ночью, но на этот раз без попа. И теперь под тем камнем, который так долго был фальшивкой, на самом деле покоится Фрэнки.

Нет, твоим родителям ничего не сказали. По правде сказать, твоя мать и не знала, кто жил на чердаке все эти годы. Но дедушка знал, конечно, и они с доктором Дж. — А… ну, кто знает, что там на самом деле случилось. Они оба, конечно, обрадовались, но виду не подали — это было бы неуместно. Я знаю, что Зейдоку дали денег, чтобы держал рот на замке. И это ужасно, конечно, но в каком-то смысле они заплатили ему за то, что он сделал.

Эти деньги и погубили Зейдока. Он пил все сильнее и стал хуже работать у Девинни: пару раз родные просто перепугались, заглянув в гроб, — такие у их покойников были распухшие лица и цвет какой-то вареный. Так что оттуда его уволили. Долго ли, коротко ли, как-то зимней ночью он

пьяный упал в проулке позади магазина Девинни — потому что его туда все время тянуло какой-то сверхъестественной силой — и замерз чуть не до смерти, и ему отрезали обе ноги и все равно, кажется, не смогли остановить гангрену. Он теперь в больнице. Хорошо бы ты его навестил. Да, я к нему хожу — раз в неделю, ношу пирожные и всякое такое. Больничные повара готовят еще хуже Анны Леменчик.

После того как бедного Фрэнки похоронили второй раз, я и недели не продержалась в «Сент-Килде». Как-то утром мы со старой тетушкой сцепились по-настоящему, прямо на кухне, и она велела мне убираться. «Убираться! — сказала я. — Это вы уберетесь, если я отсюда уйду! Вы со старой хозяйкой набиваетесь за каждой едой еще хуже, чем Зейдок наливается пивом! Не думайте, что вы меня уволили! Это я вас увольняю! Посмотрим, как вы без меня обойдетесь! Парочка фаршированных каплунов!» Да, Фрэнки, это было вульгарно с моей стороны, но уж очень я завелась. После этого я даже на уговоры твоего дедушки не поддалась бы. Как я могла остаться там, где так вульгарно себя повела?

Фрэнсис знал, каких слов она заслуживает, и, хотя молодому человеку это непросто, сказал:

— Виктория, я знаю, никто тебя никогда не благодарил за то, что ты делала для него… Фрэнсиса-первого, как я его называю… Но ты была просто чудом, и я хочу сказать тебе спасибо за него… за всех. Ты была ангелом.

— Ну вот еще, нечего тут рассусоливать. Я делала то, что надо было делать. А что до благодарности… твой дедушка не поскупился, когда мы расставались. Он видит дальше многих. Кто, по-твоему, платит за Зейдока в больнице? И деньги, на которые я открыла эту лавку, тоже подарок твоего деда.

— Я рад. И знаешь что, Виктория, ты сколько хочешь притворяйся суровой пресвитерианкой, но я все равно буду считать тебя ангелом.

И он звучно поцеловал ее.

— Фрэнк, ради всего святого! Только не в лавке! А если бы кто-нибудь увидел?

— Ну, они бы подумали, что тут сласти не только на витрине, — сказал Фрэнсис и ринулся к двери.

Вслед ему летели слова разъяренной Виктории:

— Да как у тебя язык повернулся! Ты еще хуже Зейдока!

Можно ли быть хуже Зейдока? Когда — в тот же

день — Фрэнсис навестил Зейдока в больнице, ему показалось, что с таким упадком и разрушением равняться невозможно. В палате было жарко и душно; две другие койки пустовали, так что Фрэнсис мог без помех беседовать с изможденной развалиной, лежащей возле окна. Под простыню было засунуто что-то вроде клетки, приподнимавшей ее там, где раньше были ноги. Запах дезинфекции подавлял, а из постели Зейдока время от времени долетала струйка другого запаха — чего-то отвратительного, зловещего.

— Все эта гангрена — так это называется, Фрэнки. Я ее чувствую по всему телу. Как перед Богом, даже на вкус чувствую. У меня отняли ноги, но ее, кажется, не остановить. Она меня пожирает, понимаешь? Доктор Дж.-А. говорит, что не встречал таких тяжелых случаев, хотя всякого повидал в лагерях лесорубов. Он говорит, что не знает, как это я до сих пор не помер, потому что я весь — одна сплошная масса разложения. Он со мной говорит прямо, дружок, потому как я старый солдат и могу перенести даже самое худшее. Нельзя сказать, что он недобрый; просто он видит мир как одну огромную болезнь, а всех нас — как ее части.

— Ох, Зейдок, как тебе не повезло!

— Знаешь, дружок, я знавал большое невезение в свое время. Видал его уродливую морду, оно и вправду страшно. Да, странные штуки порой случаются с человеком. Я ведь тебе никогда не рассказывал про Южную Африку?

— Я знаю, что ты там воевал.

— И хорошо воевал. Просто отлично. Меня представили к чину и награде. А потом все рухнуло — из-за любви. Ты бы никогда не подумал, а? Но это была любовь, и мне не стыдно о ней рассказывать.

Видишь ли, наш полк набирали в Корнуолле, и командовал нами молодой человек, сын очень знатной семьи из наших краев. Его отец — граф, так что сам он был лорд. Он был в чине капитана. Боже, какой он был красивый! Мы выросли вместе — ну почти, потому что я всю жизнь был вместе с ним: мы охотились, рыбачили, бродили — ну все, что обычно делают мальчишки. Так что я, конечно, вступил в полк, чтобы воевать у него под командой, и стал его денщиком — ну вроде личного слуги. До того как пойти на фронт, я два или три года прослужил в доме его отца младшим слугой, то есть лакеем, и казалось естественно, что я так и продолжал заботиться о его одежде, и даже волосы ему подстригать, и все такое. Мы

были друзьями, близкими друзьями — насколько могут быть друзьями хозяин и слуга. И я клянусь как перед Богом, что он никогда ни пальцем не тронул меня, а я — его, никаким неподобающим образом. Это было совсем не в том смысле: я много такого видел и в армии, и на гражданке, и это было совсем не в том смысле. Но я любил капитана, как любят героя. И он по правде был героем. Очень смелым, хорошим человеком.

И, как многих героев, его убили. Его нашла пуля бурского снайпера. Так что мы его похоронили, и я делал для него все, что мог, до конца. Одел его, вымыл ему голову, и он такой красивый лежал в этом дешевом гробу, — конечно, других там было не достать. «Да, пусть погибну как солдат». Помнишь эту песню?

Я думал, я тоже умру. По ночам, после отбоя, я прокрадывался наружу и сидел на его могиле. Как-то ночью меня заметил патруль — я лежал на могиле и плакал, аж сердце разрывалось. Они написали на меня рапорт, и поднялся ужасный шум. Против меня выдвинули обвинение, и полковник много говорил о том, что такое поведение недостойно солдата и может повредить боевому духу и что такие безнравственные связи надо безжалостно пресекать, и меня уволили из армии

с лишением почестей и отослали домой. Прощай медаль и большой кусок моей жизни. Полковник был не из наших людей. Не корнуоллец, и он меня не понял. Не знаю, любил ли он кого или что в своей жизни. Так что мне, по правде, очень не повезло.

— Ужасно не повезло. Но я тебя понимаю. Как раз такая любовь объединяла рыцарей святого Грааля и тех, кто им служил в невинной любви.

— Ну, про это я ничего не знаю. Но конечно, ты ведь тоже частью из Корнуолла, Фрэнки, правда? Не то чтобы корнуолльцы — сильно любящий народ в целом. Но верный.

— А что ты делал в Англии?

— Что мог. Был слугой в домах, иногда работал в похоронных конторах. Но со мной случилась одна вещь — она словно свыше была послана, чтобы утешить меня за то, другое, и это тоже была любовь, хоть и очень необычная.

Это все было как сон. Во всяком случае, сейчас мне это кажется сном.

Я знал одного полкового сержант-майора — хороший был человек и время от времени выручал меня. Он подрабатывал необычным делом. Поставлял людей — по большей части солдат — в разные места, куда нужны были слуги для боль-

ших приемов, просто для красоты: делать почти ничего не надо было, только стоять в ливрее, с внушительной осанкой. Ну а я ведь когда-то был лакеем, верно? Плохо ли получить несколько шиллингов за вечер легкой работы?

Как-то вечером в одном большом отеле выдался наплыв гостей и меня позвали работать. Я был весь разнаряженный — в панталонах, бархатном фраке и белом парике. Усы я тогда, конечно, брил. Слуга должен быть чисто выбритым. Мы отработали свое, и я уже собирался снимать этот наряд, когда кто-то — один из старших официантов — подбежал ко мне и говорит: «Эй, у нас людей не хватает; ну-ка отнеси вот это в номер двести сорок два, а потом можешь уходить». Сует мне в руки поднос с бутылкой шампанского и парой бокалов и убегает. Так что я пошел, постучал в дверь — очень тихо, как меня учили в замке, — и вошел.

Там была девушка. Вроде бы одна. Помню, что красивая, хотя сейчас уже не вспомню ее лица, потому что она была так красиво одета, а слугам не положено пялиться на господ или даже в лицо им смотреть, если тебя об этом не попросили. Она сказала: «Откройте, пожалуйста, бутылку». Голос был тихий; я подумал, что она, может

быть, француженка. Я открыл бутылку, налил в бокал и спросил: «Это все, мадам?» Так нас учили — любой женщине говорить «мадам», а не «мисс». Она говорит: «Погодите минуту. Дайте я на вас посмотрю хорошенько». А я все стою, не поднимая глаз. Не знаю, сколько она смотрела. Может, минуту. Может, две. Потом она говорит, очень тихо: «Вы ходите в театр?» Я отвечаю: «Это не по моей части, мадам». — «О, обязательно сходите! — говорит она. — Я часто там бываю, и это так красиво! Вы не видели „Мсье Бокэра“?» — «Не имею чести знать этого джентльмена, мадам», — отвечаю я. «Конечно не имеете, — говорит она, — он ненастоящий. Он в пьесе. Он — слуга, который на самом деле принц. А актер, который его играет, — самый красивый человек на свете. Его зовут Льюис Уоллер».

Тут я начал понимать, о чем она говорит. Про Льюиса Уоллера я слыхал. Его называли кумиром театральных поклонниц. Настоящий красавчик. Тут она сказала что-то такое, что меня сильно удивило, и я невольно взглянул ей в лицо.

«Вы — вылитый он в „Мсье Бокэре“. Костюм, белый парик. Поразительно! Выпейте бокал шампанского».

«Строго против приказов, мисс». Я начал забы-

ваться и потому назвал ее «мисс».

«Но я вам строго приказываю выпить, — говорит она, вылитая принцесса. — Мне одиноко, и я не люблю пить одна. Так что выпейте со мной бокал».

Я-то знал, что она только хорохорится. Она вовсе не привыкла пить, одна там, не одна. Но я ее послушался. И растянул свой бокал как мог, а она выпила три. Мы стали разговаривать. Точнее, говорила она. Я молчал.

С ней что-то было не так. Не знаю что. Вся возбужденная и в то же время невеселая, словно потеряла шиллинг и нашла шесть пенсов, если ты понимаешь, о чем я.

И я скоро понял, в чем дело. Я повидал жизнь и женщин тоже повидал немало, самых разных. Она хотела. Ты понимаешь, о чем я? Не как какая-нибудь старуха, которую сводят с ума тщеславие, глупость и страх перед собственным возрастом. Эта девушка хотела, и я клянусь тебе, Фрэнки, я не воспользовался ее беспомощностью, ничего такого. Я просто, если можно так выразиться, жил настоящим моментом — мы еще поговорили, и я сделал то, чего она хотела. Не то чтобы она так прямо об этом попросила, да она, скорей всего, и не знала, как это делается. И я клянусь тебе,

что делал все с величайшей почтительностью, потому что она была милой девочкой и я ни за что на свете не хотел бы ее обидеть. Это было прекрасно. Прекрасно! А когда все кончилось, она не плакала, ничего такого, но видно было, что она готова ко сну, и я отнес ее в спальню, уложил в постель, один разок хорошенько поцеловал на прощание и ушел.

Фрэнк, ничего прекрасней со мной не случалось за всю мою жизнь! Это было как сон! Но мало кому можно такое рассказать. Люди начнут ухмыляться, скажут, что с ней все ясно, и подумают про нее плохо. И будут не правы, потому что это было совсем не так.

В коридоре стояло большое зеркало, и я, идя мимо, увидал там свое отражение — в ливрее и белом парике. Я выглядел роскошно. Может, я и был этим самым мсье Бокэром, уж не знаю, кто он. Но тот вечер принес мне что-то очень важное. Он придал мне сил, чтобы оставить позади армейскую историю с позорным увольнением и начать строить новую жизнь.

Правда, не сказать, чтобы мне это особенно удалось. Но через какое-то время я решил попытать счастья в Канаде и перебрался сюда. И вот чем все кончилось.

Нет, я ее больше никогда не видел. Так и не узнал ее имени. Странная история, дружок. Больше ничего и не скажешь. Странная история.

Зейдок устал, и Фрэнсис поднялся, собираясь уходить:

— Зейдок, что я могу для тебя сделать?

— Э, дружок, для меня уже никто ничего не сделает. Совсем ничего.

— Это на тебя вовсе не похоже. Ты выздоровеешь. Вот увидишь.

— Фрэнки, ты хотел сказать мне приятное, но я-то лучше знаю. Ну и что будет, если я поправлюсь? Без ног — на что я гожусь? Старый безногий солдат играет на губной гармошке и просит подаяния у прохожих? Нет! Ни за что! Так что прощай, дружок.

Зейдок улыбнулся — щербатый рот, красный нос, но усы, когда-то щегольски подкрашенные, а ныне желтовато-седые, все еще гордо торчали к небу.

Фрэнсис, движимый неясным порывом, который он не успел обдумать, склонился над кроватью и поцеловал в щеку эти человеческие останки. И выбежал из палаты, чтобы Зейдок не увидел его слез.

Больница была на некотором расстоянии от

города. Когда Фрэнсис вышел, одно из двух городских такси как раз высадило пассажира и собиралось уезжать. Но, поравнявшись с Фрэнсисом, машина вдруг притормозила, и водитель закричал:

— Эй, Чикен! Такси надо?

Это был Александр Дэгг.

— Нет, спасибо. Я пройдусь.

— Где ты был?

— Я здесь уже давно не живу.

— Это я знаю. Я спрашиваю, где ты был.

Фрэнсис не ответил.

— Навещал кого-нибудь в больничке? Небось Хойла, алкаша этого. Он умирает, а?

— Может быть.

— Никаких «может быть»! Слышь, чего скажу? Когда это случилось, никто не удивился. Моя мамка говорит, это предупреждение всем пьяницам.

В спортзалах Колборн-колледжа и «Душка» Фрэнсис научился разным вещам, которых не знал во время учебы в Карлайлской сельской школе. С тех пор он вымахал до шести с лишком футов ростом и окреп. Он подошел к машине, сунул руку в окно со стороны водителя, схватил Александра Дэгга за грудки и резко дернул к дверце.

— Эй! Осторожно, Чикен! Больно же!

— Будет еще больней, если ты не заткнешься. Слушай меня: мне глубоко плевать, что думаешь ты или что там думает твоя стерва-мамка. А теперь вали отсюда, или я тебе вломлю как следует!

Фрэнсис впечатал Александра лицом в руль и вытер руки носовым платком.

— Ах вот оно теперь как! Ах, простите великодушно, мистер Корниш, извините, ваше королевское высочество. Слышь, чего скажу! Моя мамка говорит, что Макрори — шайка кровососов, они попросту используют этот город, выжимают из него что могут! Все вы кровососы!

Эта горькая тирада неслась из окна удаляющегося такси. При этом Александр Дэгг опасно выворачивал шею, так что не видел, куда едет; он чуть не врезался в дерево. Фрэнсису следовало бы сохранить лицо и радоваться несомненной победе, но молодое безрассудство одержало верх. Он подобрал камень, швырнул вслед машине и обрадовался, услышав звук удара, который, несомненно, поцарапал краску.

— Фрэнсис, милый, я обещала, что на твой прощальный ужин будет утка, но это, кажется, что-то другое, верно? Так что мои слова оказались *уткой.*

— Да, Мэри-Бен, то действительно была *утка,* потому что это — вовсе не утка. Смотрите! Я режу ножом, и из разреза выступает кровь.

— Боюсь, Дж.-А., что вы правы. Фрэнсис, не ешь. В нашем доме тебе не нужно соблюдать этикет.

— Тетушка, меня учили вежливости вы, и именно за этим столом. Я уже не могу остановиться.

— Да, но не до такой же степени, чтобы есть сырого… как вы думаете, Дж.-А., кто это?

— Могу лишь догадываться, что это существо, лежащее у нас на тарелках, отправилось в печь, считая себя каплуном, — сказал доктор. — Мэри-Бен, так жить нельзя; Анна Леменчик не умеет готовить, и все тут.

— Но, Дж.-А., она считает себя кухаркой.

— Значит, тебе придется развеять ее заблуждение, пока она не прикончила и тебя, и Марию-Луизу. Я настаиваю — в интересах моих пациентов. О, то был черный день, когда вы дали уйти Виктории Камерон…

— Но тут я ничего не могла поделать. Она стала тиранкой, настоящей тиранкой. Принималась фордыбачить, стоило мне сказать хоть слово…

— Ах, Мэри-Бен, познай самое себя, пока еще не поздно! Ты безжалостно пилила ее, потому что она была упертой протестанткой и тебе не хвата-

ло величия духа признать, что талант поднимает ее выше всяких перегородок между сектами…

— Джо, какой вы недобрый! Разве я когда-нибудь пилю?

— Ты мило пилишь, Мэри-Бен, а это самый худший вид пилежки. Но не будем ссориться, когда Фрэнсис последний вечер с нами. Что у нас после этой ужасной утки, или кто она там? Пирог, верно? Молите Бога, чтобы он пропекся.

Но пирог не пропекся. Анна Леменчик, плотная, непробиваемая даже зрелищем еды, оставшейся на тарелках, внесла поднос с чашкой горячего молока и размоченного хлеба для больной, лежащей наверху. Тетушка извинилась, вышла из-за стола и отправилась кормить Марию-Луизу, которая предпочитала есть свою тюрю в компании. Доктор Дж.-А. встал, принес с буфета бутылку сенаторова портвейна и снова сел за стол.

— Слава богу, до спиртного Анна не дотянется, убийца этакая, — сказал он, наливая два больших стакана. — Этот дом валится в тартарары, Фрэнсис, да ты и сам видишь.

— Я очень беспокоюсь. Тут, кажется, все идет наперекосяк. Дело не только в еде, а в общем ощущении.

— Фрэнсис, это все скупость. Старческая ска-

редность совсем заела Мэри-Бен. Она купается в деньгах, но думает, что бедна и ей не на что нанять хорошую кухарку. Твоя бабушка все равно не может есть такое, а Мэри-Бен ест эти отбросы, чтобы доказать свою правоту.

— Доктор, скажите мне честно, бабушка умрет?

— Конечно умрет рано или поздно. Все мы умрем. Но когда — я не знаю. У нее не рак, если ты об этом. Всего лишь начисто испорченный желудок и желчные камни величиной с бейсбольные мячи. Но и она, и Мэри-Бен держатся так, словно заслуженная кара за целую жизнь переедания жирнейшей пищи — что-то неслыханное в анналах медицины. Клянусь Богом, они из этого делают что-то религиозное. «Воззрите, и увидите, еже когда кто имел кислотность превыше моей кислотности». Странность, однако, в том, что Мэри-Бен ела то же самое ровно в тех же количествах, что и ее невестка, но чувствует себя прекрасно — прямо стойкий оловянный солдатик. Ты знаешь, что она каждый день ходит на чай к мадам Тибодо? Думаешь, из христианского милосердия? Как бы не так! Все потому, что мадам Тибодо закупает торты и пирожные у еретички Виктории Камерон, вот почему! И вот

тебе, Фрэнсис, женская логика.

— Значит, бабушка не так плоха, как кажется?

— Нет, она и впрямь плоха, но если будет сидеть на хлебе с молоком и моей мятной смеси, то протянет еще долго. Но Мэри-Бен — вот кто будет долгожителем. У Макрори очень крепкая порода. Так что присматривай за собой, Фрэнсис. Это — бесценное наследство.

— Без единого изъяна?

— Что ты имеешь в виду?

— Никакого наследственного безумия? Никаких странностей? Я знаю об этом, который жил наверху; отчего он был такой?

— Не могу тебе сказать. Может быть, случай — то, что называют игрой природы. Или что-нибудь такое, что заложено в костях.

— Но… для меня это очень важно. Если я женюсь и у меня будут дети, насколько вероятно, что они…

— Возможно, вероятность не очень высока. Погляди на себя, на своего брата Артура. Вы оба совершенно здоровы. А может, это и повторится. Но я дам тебе совет…

— Да?

— Пусть это тебя не останавливает. Живи. Если хочешь иметь детей — рискни. Не оставайся

холостым и бездетным из какого-либо принципа. Слушайся инстинкта: он всегда прав. Погляди на меня и Мэри-Бен. Вот тебе урок! Да, Фрэнсис, человек в моем возрасте уже не столько советник или учитель, сколько поучительный пример.

Я обвиняю каждый тщетный призрак
В погасшей лампе и неплодном чреве…

Ты читал Браунинга?[47]

— Н-нет…

— Мы с Мэри-Бен читали его вместе — когда-то, давным-давно. Очень умный человек. Намного опередил всех этих так называемых психологов, о которых теперь столько крику.

Когда длинный, скучный сеанс игры в юкер у постели бабушки наконец завершился, тетушка настояла, чтобы Фрэнсис зашел к ней в гостиную — поболтать напоследок. Наутро он уезжал. Комната почти не изменилась, только немного обветшала от употребления и от времени.

— Тетя, почему дедушка тут теперь так редко бывает?

— Кто знает? У него столько дел. И надо пола-

---

[47] Примечания: 47

Я обвиняю каждый тщетный призрак… Ты читал Браунинга? — Цитируется стихотворение английского поэта Роберта Браунинга (1812–1889) «Статуя и бюст» (1855).

гать, ему тут скучно.

— А это, случайно, не из-за еды, а?

— О Фрэнсис, как ты мог такое сказать!

— Ну ты же слышала, что сказал доктор. Тебя это прикончит.

— Ничего подобного; доктору все бы шутить. Но по правде сказать, Фрэнсис, я не могу так обидеть Анну. Она последняя осталась из наших старых слуг, и она единственная не доставила мне ни минуты беспокойства. Ты же помнишь: Старый Билли страшно пил, Белла-Мэй совсем рассудок потеряла с этой Армией спасения, — ты представляешь, они имеют наглость играть свою музыку прямо рядом с церковью, перед началом мессы! А Зейдок… ты же знаешь, что я никогда ему не доверяла: у него было такое выражение лица, словно он, правя каретой, думал о чем-то совершенно непозволительном. Представляешь, я однажды поймала его на том, что он передразнивал отца Девлина! Да, прямо на кухне! Набросил на плечи скатерть, кланялся, сложив ладони перед грудью, и гнусавил: «Домино со спи-и-иском!» — как будто служит мессу, понимаешь?[48] А Виктория

[48] Примечания: 48

…гнусавил: «Домино со спи-и-иском!» — как будто служит мессу… — Пародийно искаженное Dominus Vobiscum *(лат.)* — «Благословение Господне на вас», возглас священника во время католической мессы.

Камерон хохотала, прикрывая рот ладонью! О Фрэнсис, что бы ни говорили твой дедушка и доктор Дж.-А. — у этой женщины черное сердце!

В том, что касалось Виктории Камерон, тетушку невозможно было переубедить. Затем она объявила, что при жалованье, которое нынче требуют слуги, — подумать только, доходит до сорока долларов в месяц! — нужно держать ухо востро, иначе тебя оберут до нитки. Так что Фрэнсис перевел разговор на свое будущее, и тетушка страстно, и это не преувеличение, страстно заинтересовалась:

— Художником! О, Фрэнки, милый, да это же исполнение моей заветной мечты! Помнишь, мальчиком, когда ты так ужасно болел, ты сидел тут, в этой комнате, и разглядывал картины, и сам рисовал, и я молилась, чтобы твой дар расцвел во что-нибудь подлинно чудесное!

— Тетя, не говори «чудесное». Я пока даже не знаю, есть ли у меня вообще хоть какой-нибудь талант. Способности — возможно. Но талант — это нечто гораздо большее.

— Милый, не сомневайся в себе. Молись Богу о помощи, и Он поможет. Чему Господь положил начало, того Он не оставит. Если не считать жизни в Церкви, быть художником — самое пре-

красное призвание, к которому только можно стремиться.

— Да, тетя, ты всегда это говорила. Но мне интересно почему. То есть почему именно живопись, а не музыка или литература, например?

— О, музыка — это, конечно, очень хорошо. Ты знаешь, как я люблю музыку. Писать книги может кто угодно; достаточно приложить старание. Но живопись открывает людям глаза. Чтобы они могли подлинно увидеть Господне творение.

> *Вот наше свойство — ценим*
>
> *То, что воссоздано, хотя мы сотню раз*
>
> *Вокруг видали вещи, но не замечали;*
>
> *Все нарисованным становится ценнее…*[49]

Это Браунинг — «Фра Липпо Липпи». Когда-то мы с одним моим близким другом очень часто читали Браунинга, и на этом месте мне всегда хотелось закричать: «Да, да, это правда!» Художник — огромная моральная сила, Фрэнки. Дар художника — подлинно дар Божий.

— Ну… я надеюсь.

— Не надейся. Верь. И молись. Ты ведь еще

---

[49] Примечания: 49
Перевод Э. Ю. Ермакова.

молишься, а, Фрэнсис?

— Иногда. Когда мне плохо.

— О милый, молись и когда тебе хорошо! И не проси все время. Дари! Дари Господу хвалы и благодарность! Знаешь, для стольких людей Он что-то вроде банкира. Все время «дай, дай, дай», и они не понимают, что дается-то на самом деле взаймы. Фрэнки… ты ведь помнишь, что было тогда, когда ты болел?

— Ну… кажется, тогда все совершенно зря перепугались?

— О Фрэнк, как тебе не стыдно! Тогда отец Девлин тебя крестил. Ты навеки католик, милый. И от этого нельзя просто так отмахнуться из-за того, что ты попал в модную школу или в среду бездумных людей вроде твоего отца, хотя он, конечно, хороший человек — в меру своего понимания, что хорошо и что плохо. Фрэнк, а четки у тебя остались?

— Где-то лежат, наверно.

— Милый, не говори так! Слушай: тебе всегда нравились мои четки, они и правда очень хорошие. Возьми их… нет-нет, возьми, у меня есть еще… и, я тебя очень прошу, носи их с собой всюду и пользуйся ими. Пожалуйста, Фрэнк, обещай мне!

— Тетя, как же я могу это обещать?

— Тем, что сделаешь это прямо сейчас. Это будет искреннее обещание, данное с любовью. Потому что ты, конечно, знаешь: ты ведь и мое дитя, по крайней мере отчасти, и единственное дитя, какое мне суждено было иметь.

Еще немного поупиравшись, Фрэнсис дал обещание и взял четки. Наутро он покинул Блэрлогги, думая, что больше сюда не вернется.

— Значит, этот несчастный Лунатик был плодом случайной встречи между романтически настроенной Марией-Джейкобиной и конченым солдатом Зейдоком? — спросил Цадкиил Малый.

— Ну, если ты желаешь использовать слово «случай», то да, — ответил даймон Маймас. — Но мы-то с тобой знаем, насколько обманчива сама концепция случайности — совершенно ничем не обусловленных, необъяснимых событий, — если ее использовать для объяснения происходящего.

— Да, конечно. Но я не забываю, насколько эта концепция дорога жителям Земли. Они смотрят на вещи в краткосрочной перспективе. Отними у них Случай — и пострадает их любимое понятие свободы воли. Им отпущено слишком мало времени, чтобы понять, что у концепции случая есть определенные ограничения, как и у концепции

свободы воли. Странно, не правда ли? Они рады, когда их ученые открывают закономерности в природе, но решительно не желают признавать себя частью этой самой природы. Они, кажется, уверены, что над ними, единственными среди всего Творения, не властна Anima Mundi.[50]

— Ну что ж, мы видим, что у них есть определенная свобода выбора — в пределах заданного узора, но сам узор очень силен и время от времени просвечивает, видный невооруженным глазом. И тогда случается что-то подобное: Мэри-Джейкобина выбирает Зейдока — против всякой вероятности, лишь потому, что влюблена в актера; Зейдок зачинает дитя в единственном совокуплении с девственницей — снова против вероятности, лишь потому, что он сострадателен и несчастен. Назвать ли это случайностью? Но потом она не узнает своего случайного любовника, когда он снова появляется, а он не узнает ее, потому что оба находятся в Новом Свете, который для них — совершенно другой мир. Затем Мария-Луиза уничтожает дитя в утробе матери, что весьма вероятно, если принять

---

[50] Примечания: 50

Anima Mundi (*лат.* Мировая душа) — в философии единая внутренняя природа мира, мыслимая как живое существо, обладающее стремлениями, представлениями и чувствами.

во внимание, кто она такая и что она такое. Зейдок не узнает собственного сына — да и как было узнать? Это Случай и Вероятность творят обычную неразбериху, — заметил даймон.

— Надо полагать, люди назвали бы это совпадением.

— Очень полезное слово для людей, не желающих признавать существование узора, в который укладывается их жизнь. Позволяет сбросить со счетов что угодно.

— Но мы-то видим скрытое значение, верно, брат? Конечно видим. Лунатик снова принес в жизнь Зейдока любовь, ибо только любовью можно объяснить его поведение по отношению к мальчику. Лунатик привнес материнство в жизнь Виктории Камерон, которая решила не искать материнства обычным путем — возможно, из страха.

— А что же твой Фрэнсис, дорогой коллега?

— А! Для Фрэнсиса Лунатик стал неустанным напоминанием о первобытном начале, изгнанном из чрезмерно утонченной жизни; вечным призывом к милосердию; доказательством того, что любой человек — на волосок от уродства и униженности. Постоянным стимулом использовать все дары судьбы на полную катушку.

— Но также и постоянным напоминанием о необходимости смирения?

— Воистину так. И я считаю: несмотря на то что Лунатика зачали без моей помощи, я в полной мере использовал его для формирования Фрэнсиса. Так что Лунатик не зря жил на свете.

— Да, брат, это хорошая работа. А куда же мы направимся теперь?

— В Оксфорд.

— Оксфорд наверняка не укрепит блэрлоггское наследие, — заметил ангел.

— Оксфорд укрепит то, что было заложено в костях. А уж я постарался заложить Лунатика в кости Фрэнсиса — в самых разных аспектах. В Оксфорде Фрэнсису понадобится весь его ум и все сострадание, — сказал даймон.

Часть четвертая

Чего же не выбить из мяса?

— Все согласны, что твой первый год в Оксфорде был колоссально удачным, — заявил Бэзил Бьюс-Боцарис.

— Очень мило со стороны всех, — ответил Фрэнсис.

Жирный хам Бьюс-Боцарис беседовал с ним свысока, и Фрэнсис уже спрашивал себя, как долго собирается это терпеть.

— Ну-ну, к чему ложная скромность? Ты очень неплохо выступал на заседаниях в студенческом союзе; тебя допустили в члены одного из комитетов ДООУ;[51] твои шаржи на оксфордских знаменитостей в «Айсисе»[52] считаются лучшими вещами этого рода со времен Макса

---

[51] Примечания: 51

ДООУ — Драматическое общество Оксфордского университета.

[52] Примечания: 52

«Айсис» — студенческий журнал, издающийся в Оксфорде с 1892 г. Назван по имени реки Айсис — такое название носит часть Темзы, протекающая через Оксфорд. В разные годы в журнале сотрудничали такие выдающиеся литературные деятели, как Хиллэр Беллок, Ивлин Во, Грэм Грин, Сильвия Плат и др.

Бирбома.[53] Ты известен как эстет, но тебя нельзя назвать напыщенным дураком. Признай же, что это очень хорошо.

— Это все забавы, а я приехал в Оксфорд за делом.

— За каким?

— Ну, есть такое мнение, что сюда приезжают учиться.

— Чему же это?

— Основам профессии, которой человек намерен заниматься в дальнейшем.

— А именно?..

— Я пока не решил.

— О, хвала Господу! Я уже было испугался, что ты из этих серьезных американцев, строящих себе карьеру. Какое мещанство! Но Роскалнс говорил, что ты ему сказал, будто собираешься быть художником.

Роскалнс? Это еще кто такой? А, да, неопрятный тип, который околачивается вокруг ДООУ и частным образом репетирует студентов по современным языкам. Неужели Фрэнсис с ним откровенничал? Наверно, говорил с кем-нибудь

---

[53] Примечания: 53

Макс Бирбом (1872–1956) — английский писатель и художник-карикатурист, прославился сатирическим романом о жизни Оксфорда «Зулейка Добсон» (1911).

еще, а Роскалнс подслушал — он, кажется, все время подслушивает. Фрэнсис решил, что Бьюс-Боцариса с него хватит.

— Мне пора, — сказал он. — Спасибо за чай.

— Не спеши. Я хочу еще поговорить. Я знаю кое-кого, с кем тебе интересно будет встретиться. Я слыхал, ты любишь играть в карты.

— Играю иногда.

— На большие деньги?

— Достаточно большие, чтобы играть было интересно.

— И часто выигрываешь?

— Обычно остаюсь при своих.

— О нет, гораздо лучше. Твоя скромность очаровательна.

— Мне действительно пора.

— Конечно-конечно. Только вот что: я знаю людей, которые играют регулярно — и притом хорошо; ты не хочешь к нам присоединиться? Но мы играем не на пуговицы.

— Вы меня приглашаете вступить в какой-то клуб?

— Ничего такого формального. И мы не только играем — еще и разговариваем. Я слыхал, что ты любишь поговорить.

— О чем же вы разговариваете?

— О, о политике. О текущих событиях. Мы живем в интересные времена.

— Такой-то и сякой-то поехали в Испанию, чтобы выяснить, чем они могут быть полезны. Еще больше народу заявляет, что сей же час поехали бы в Испанию, вот только уладят кой-какие дела. Такого рода разговоры?

— Нет, это — юношеский романтизм. Мы гораздо серьезнее.

— Может, я загляну как-нибудь.

— Конечно!

— Сегодня вечером?

— Восхитительно. В любое время после девяти.

Через несколько дней Фрэнсис послал очередное письмо полковнику Коппластоуну.

Дорогой дядя Джек!

Второй год в Оксфорде гораздо лучше первого. Уже знаешь, где найти то, что тебе нужно, и где находятся люди, которые тебе совершенно точно не нужны. В нашем колледже Тела Христова мне нравится то, что он такой маленький. Но это значит, что жить в самом колледже могут только первокурсники и немногие избранные, кроме них. Поэтому я снимаю частную квартиру. Мне повезло — я нашел очень приятные апарта-

менты практически на пороге колледжа. Дом, где я живу, называется Кентербери-хауз, так как стоит у Кентерберийских ворот колледжа Церкви Христовой. Я занимаю верхний этаж; у меня большая гостиная и маленькая спальня и прекрасный вид на Мертон-стрит — это, пожалуй, самая красивая улица в Оксфорде. Единственный недостаток моей квартиры — то, что, когда Большой Том в 9 часов вечера отбивает традиционный 101 удар, он звонит почти что у меня в спальне. Я подумываю написать ректору и предложить ему уничтожить этот старинный обычай. Как Вы думаете, он меня послушает?

Я познакомился кое с какими новыми людьми. На первом этаже нашего дома — в самой дорогой квартире с самым плохим видом из окна — живет некто Бэзил Бьюс-Боцарис. Имечко с вывертами, а? Он и сам отчасти с вывертами: пару дней назад я пробегал по лестнице мимо его двери, а он высунулся и сказал: «Дева! Узнаю по походке!» Это меня сильно заинтересовало, так что я остановился поболтать с ним, и он некоторое время разглагольствовал об астрологии; оказалось не лишено интереса. Я не особый приверженец астрологии, но обнаружил, что иногда она дает кое-какие полезные общие сведения о

людях. В общем, он пригласил меня на чай и вчера я к нему пошел.

В промежутке я успел навести о БББ кое-какие справки. Наш домовладелец весьма словоохотлив; он сказал, что БББ богат, болгарин и князь. БББ часто принимает гостей и каждый раз, когда ждет кого-нибудь к обеду, накануне заказывает такой же обед для себя, с вином и всем прочим, а потом редактирует его на предмет ошибок повара и собственных вкусов! Это глубоко впечатлило хозяина, и его можно понять.

Другой знакомый БББ назвал его необычным человеком. БББ лет тридцать пять, и официально он приехал в Оксфорд для изучения международного права. Вы и без меня знаете, насколько это расплывчатая область изучения и как это полезно, если нужен предлог, чтобы околачиваться в каком-нибудь университете. БББ, по-видимому, интересуется коллизионным правом, а это, конечно, еще более темный лес. Мой информатор сказал, что БББ — один из вечных студентов, каких притягивает любой университет. Что же до княжеского титула — я не знаю, есть ли вообще в Болгарии князья и были ли когда-нибудь, но это туманный титул, который значит всего лишь, что его носитель стоит несколько выше

крестьянских масс. Так что я успел кое-что разузнать до чая.

Начали с обычных вежливых вопросов, для прощупывания почвы. Он спросил, что я изучаю. Польстил мне, похвалив кое-какие наброски, которые я делал прошлой весной для «Айсиса», — портреты университетских знаменитостей. Вкрадчиво осведомился о дне и часе моего рождения, так как он будет счастлив составить мой гороскоп. Я выдал нужную информацию: у меня не было причины отказать, и, кроме того, я не могу устоять перед гороскопами. Я спросил, чем же интересуется он. «Я ценитель», — ответил ББВ. Это меня удивило, так как комната совсем не похожа была на обиталище ценителя искусств: добротная, скучная мебель (от домовладельца), несколько фотографий в серебряных рамках — судя по виду, центральноевропейцев (мужчины в высоких воротничках, женщины с ужасным изобилием волос и полнотой, которую деликатно именуют пышностью). Во всей комнате ни одного предмета, на котором остановился бы взгляд. В углу — икона Богоматери в отвратительно слащавом стиле девятнадцатого века, в явно дешевой серебряной ризе, закрывающей все, кроме ликов и кистей рук. ББВ улыбнулся, видя

мое удивление. «Я ценитель не искусства, — сказал он, — но идей, мировоззрений, политики в широком смысле этого слова». Мы немного поговорили о текущем положении в Европе, об этом немецком деятеле Гитлере, о тяжелой ситуации в Испании — все очень отвлеченно, словно в событиях участвуют только идеи, но не люди. ББВ пригласил меня заходить еще, поиграть в карты, и я согласился — не потому, что он мне понравился, а именно потому, что не понравился.

Я снова пришел к нему — на карточную игру, и она оказалась достаточно интересной, чтобы вознаградить меня за вечер, проведенный в неудобных обстоятельствах, каких я обычно избегаю. Хозяин выставил обильную выпивку и дорогие сигары для всех желающих, но главное происходило за двумя столами для бриджа — сколько уместилось в комнате, не создавая чрезмерной тесноты. Для дружеской игры на вечере царила слишком серьезная атмосфера. ББВ заправлял за одним столом, а за вторым — неряшливый тип, некто Роскалнс; он занимается репетиторством: натаскивает первокурсников в латыни и всех желающих — в современных языках (он не на жалованье в университете, а сам по себе). Все остальные игроки время от

времени переходили от стола к столу, но эти двое оставались на местах. Игра шла быстро, и ставки были заметно выше обычно принятых в Оксфорде — здешние обитатели, проиграв фунт, думают, что прожигают жизнь на всю катушку. Меня особенно интересовал другой человек — второкурсник колледжа Церкви Христовой, некто Фримэнтл, потому что он канадец, хотя давно живет в Англии.

У Фримэнтла взгляд безумного игрока. Жизнь с матерью, бабушкой и прабабушкой научила меня многому в том, что касается карт, и первое правило — сохраняй спокойствие, не стремись к выигрышу, иначе карты или боги, или кто там правит за карточным столом, посмеются над тобой и заберут твои последние гроши. Только то, что моя мать называла «умным, зорким равнодушием», позволит тебе выжить. Если видишь у кого-то в глазах такое выражение — жаркий, жадный блеск, — то знай: это человек, который уже первым делом потерял себя и, скорее всего, потеряет и все свои деньги — будет проигрывать, пока не отойдет от стола. Когда под конец вечера пришло время расчетов, оказалось, что Фримэнтл проиграл ББВ около двенадцати фунтов и был этому явно не рад. Я выиграл ровно семь

шиллингов, отчасти благодаря удаче, отчасти потому, что за мной стоят еще три поколения игроков. Любой, кто играл в скат с моими бабушкой и прабабушкой, научится по крайней мере передергивать карты, не роняя их.

Научится и разным другим интересным вещам, так что я глядел во все глаза, не будет ли чего такого. Но ничего интересного не увидел. Разве что Роскалнс самую чуточку склонен время от времени раздавать карты снизу колоды. Но последствия этого не очень сокрушительны. Я люблю рисковать по маленькой и потому собираюсь время от времени ходить на карточные вечера к БББ, хотя знаю несколько других мест, где можно играть в карты, и притом в намного более удобной обстановке.

Зачем же тогда ходить к БББ? Ну Вы же знаете, до чего я любопытен. Почему у БББ еще и голландская фамилия вдобавок к его родной болгарской? Как он финансирует свое роскошное гостеприимство — не за счет ли карточных выигрышей? Действительно ли Чарли Фримэнтл так твердо намерен идти к гибели, как кажется? И почему, когда я уходил, БББ дал мне конверт с неплохим гороскопом, в котором среди прочего говорилось: «Вы очень проницательны и провидите то, что

скрыто от других»? Звучит так, как будто он делает мне авансы. Я никогда не видел в своих гороскопах ничего такого, что указывало бы на особую проницательность, — конечно, если не считать той, какая свойственна карикатуристу.

Как видите, я послушался Вашего совета и не пишу на бумаге с гербом колледжа. Эту бумагу я давеча свистнул, когда ходил в Старый дворец, чтобы по строгому настоянию моей тетушки Марии-Бенедетты нанести ежегодный визит вежливости монсеньору Ноллису, капеллану Римско-католической церкви. Капеллан — со странностями и глядит на канадцев немного свысока, именуя их «колонистами». Я ему покажу колонистов, дайте только случай.

Примите и проч., Ваш кр. сын Фрэнк

Через два дня после карточного вечера у Бьюс-Боцариса Фрэнк сидел у себя в гостиной и работал. Тут послышался резкий, короткий стук, дверь распахнулась, и в комнату влетела девушка.

— Ты Фрэнсис Корниш, верно? — выпалила она и свалила на диван охапку книг. — Я решила на тебя посмотреть. Я Исмэй Глассон, и мы с тобой вроде как кузены.

Со времени поездки в Корнуолл и Чигуидден-

хауз прошло пять лет, и Фрэнсис уже забыл, что у него есть кузина по имени Исмэй. Но теперь вспомнил: это ужасная старшая сестра мерзких глассоновских отпрысков, которые уверяли его, что, будь Исмэй дома, уж она бы ему показала. Тогда он боялся девушек, но за это время научился значительно лучше владеть собой. Сейчас он сам ей покажет.

— Вот те раз, моя кузина, — сказал он. — А что, ты не спрашиваешь разрешения, прежде чем вломиться в чужую комнату?

— Обычно нет. «Вот те раз, моя кузина» — это ведь цитата откуда-то? Надеюсь, ты не английскую литературу изучаешь?

— Почему ты на это надеешься?

— Потому что те, кто ее изучает, обычно ужасные уроды, а я надеялась, что ты окажешься приятным человеком.

— Я приятный человек, но с незнакомцами обычно соблюдаю формальности, как видишь.

— В жопу формальности! Налей мне лучше хересу.

За первый год пребывания в Оксфорде Фрэнсис уже привык к местному обычаю — практически купаться в хересе. Он также открыл, что херес вовсе не такой невинный напиток, каким его

полагают неискушенные люди.

— Какого тебе? Светлого или олоросо?

— Олоросо. Так что ты учишь, если не английскую литературу?

— Великих современников.[54]

— Это еще ничего. Дети что-то говорили про античную литературу.

— Я об этом думал, но решил, что мне надо немного расширить горизонты.

— Да, судя по всему, тебе это было нужно. Дети сказали, что ты все время бродил с видом лунатика, разглагольствовал про короля Артура и называл Корнуолл волшебной землей, как полный осел.

— Несомненно, по меркам твоих омерзительных, невоспитанных и необразованных младших родственников я и есть полный осел.

— Ого! Кажется, мы сразу не поладили, а?

— А чего ты ждала? Ты врываешься в мою комнату, когда я работаю, оскорбляешь меня, кладешь грязные ноги на мой диван. Тебе дали

---

[54] Примечания: 54

Так что ты учишь… Великих современников. — «Великие современники» — первоначальное название дисциплины «Философия, политика и экономика» (ФПЭ). ФПЭ начали преподавать в Оксфорде (колледж Баллиол) в 1920-х гг. для подготовки государственных служащих, так как было решено, что существующие дисциплины — философия и античная литература — не удовлетворяют требованиям современности.

стакан хереса; по-моему, это любезность превыше той, которую ты заслуживаешь.

— Ну перестань! Я же твоя кузина, в конце концов!

— Не знаю. У тебя есть какие-нибудь документы? Правда, они все равно не скажут больше, чем твое лицо. У тебя лицо Корнишей.

— У тебя тоже. Я бы тебя где угодно узнала. Лошадиное, ты хочешь сказать.

— А я вот не говорил, что у тебя лошадиное лицо. Я слишком хорошо воспитан и уже вышел из детского возраста и потому не считаю возможным оскорблять людей подобным образом. Если в твоем понимании это значит, что я полный осел или даже урод, — пускай так. Иди играй с достойными тебя хамами.

Фрэнсис получал от этого диалога огромное удовольствие. В «Душке» он научился укрощать девушек: главное — сразу начать помыкать ими, и тогда они, может быть, не дойдут до стадии помыкания тобой, а именно к этому они, несомненно, стремятся. Эта девушка крута на словах, но ей не хватает подлинной уверенности в себе. Ее одежда неопрятна и не идет ей. Волосы явно нуждаются в расческе; мягкая женская академическая шапочка пыльная и мятая, мантия — тоже.

Ноги неплохие, — правда, чулки явно слишком долго носили не стирая. Но корнишевское лицо у нее было выразительным, одухотворенным. Она, как и другие оксфордские девушки, могла бы быть красивой, если бы обладала понятием о красоте и применяла его к себе. Но у нее в голове, судя по всему, укоренилась типично английская идея презрения к собственной женственности.

— Давай не будем ссориться. У тебя хороший херес. Можно мне еще? Расскажи о себе.

— Нет, сначала дамы. Давай ты рассказывай.

— Я на первом курсе в Леди-Маргарет-Холле.[55] Мне дали стипендию на изучение современных языков, так что я ими и занимаюсь. Ты ведь знаешь Чарли Фримэнтла?

— Да, кажется, встречал.

— Он говорит, что вы познакомились за картами. Он проиграл кучу денег. А ты выиграл кучу денег.

— Я выиграл семь шиллингов. А что, Чарли считает себя игроком?

— Он обожает риск. Говорит, что от этого кровь быстрей бежит по жилам. Обожает опасность.

— Эта опасность обходится дорого. Надеюсь, у

---

[55] Примечания: 55

Леди-Маргарет-Холл — колледж в составе Оксфорда. Был основан в 1878 г. как женский колледж (первый в Оксфорде).

него толстый кошелек.

— Не очень тонкий. Толще моего, во всяком случае. Я — из достойных бедняков. Моя стипендия — семьдесят фунтов в год. Моя родня, стеная и жалуясь, добавляет до двухсот.

— Неплохо. Родсовские стипендиаты[56] сейчас получают всего триста.

— Да, но им еще дают кучу денег сверх этого на поездки и то-се. А ты сколько получаешь?

— Я до определенной степени сам присматриваю за своими деньгами.

— Понятно. Не хочешь говорить. Это все шотландская кровь. Чарли мне все про тебя рассказал, так что тебе теперь не укрыться. Он говорит, что твоя семья жутко богата, но слегка вульгарна. А мелкие сказали, что ты скряга. Даже по мороженому им не купил.

— Если они ждали от меня мороженого, то совершенно зря подкинули мне в кровать змею.

— Она была дохлая.

— Я об этом не знал, когда она оказалась у ме-

---

[56] Примечания: 56

Родсовские стипендиаты… — Стипендия Родса — международная стипендия для обучения в магистратуре или аспирантуре Оксфордского университета. В настоящее время претендовать на стипендию Родса могут студенты из Австралии, Новой Зеландии, Канады и ряда других стран. Стипендия присуждается за высокие академические способности, спортивные достижения, лидерские качества.

ня под ногой. Почему ты в Оксфорде? Ты синий чулок?

— Может быть. Я очень умная. Я хочу работать на радио. Или в кино. Куда-то надо идти, так почему бы и не в Оксфорд? Прошли те времена, когда девушки только выезжали в свет, ездили на балы и ждали прекрасного принца.

— Да, я слыхал. Ну так чем могу быть полезен?

— Похоже, что ничем.

— Если нет других предложений, можем сходить пообедать.

— О, замечательно! Я как раз проголодалась.

— Только не сегодня. Завтра. Чтобы ты успела привести себя в порядок. Я поведу тебя в ДООУ. Ты там была когда-нибудь?

— Нет, никогда. Мне очень хочется там побывать. Но почему ты говоришь «ДООУ»? Все зовут его просто Доу.

— Я знаю, но не знал, знаешь ли ты. В общем, это мой клуб, и туда пускают женщин на время обеда.

— Но ведь там, наверно, полно жутких уродов? Людей с тошнотными аристократическими именами типа Рептиллиан Пробк-Подошвинс? Там, наверно, вообще одни уроды?

— Нет. Самое большее — каждый четвертый. Но

у этих жутких уродов, как ты невежливо выразилась, подают хорошую еду и напитки, и еще у них обычно прекрасные манеры, поэтому не вздумай кидаться булками или иным образом бузить, как принято у вас в женских колледжах. Встретимся в полпервого здесь — на первом этаже, возле двери, на которой написано «Бьюс-Боцарис». Я люблю быть пунктуальным. Шляпу можешь не надевать.

Фрэнсис решил, что для первого раза вполне доходчиво объяснил кузине, кто тут главный.

Совет насчет шляпы не был просто беспричинным оскорблением. На следующий день в обеденном зале ДООУ Исмэй увидела двух элегантных дам в шляпах — они сидели за столом президента общества. Они были актрисами и красавицами, и шляпы их были в модном стиле «валлийская ведьма» — огромные, высокие, остроконечные, с вуалевыми шарфами, ниспадающими с полей на плечи. Шляпы, а также профессиональное умение держаться и уверенность в себе неумолимо отделяли этих двух от пяти простоволосых оксфордских девушек, в том числе Исмэй, которые пришли обедать с друзьями мужского пола. В члены ДООУ женщин не допускали.

Исмэй уже не была вчерашним воинственным

сорванцом. Она вела себя вполне пристойно, но Фрэнсис видел у нее в глазах злобную искорку — как у пони, который притворяется послушным, собираясь скинуть тебя в канаву.

— Эти две дамы в шляпах — мисс Джонсон и мисс Ганн. Они играют в пьесе «Ветер и дождь»[57] в Новом театре, через дорогу, а на следующей неделе уезжают в Лондон. Очень элегантные, правда?

— Надо думать. В конце концов, им за это деньги платят.

Но ее равнодушие было напускным. Исмэй едва не запрыгала, как школьница, когда после обеда к их столику подошел красивый молодой человек и сказал:

— Фрэнсис, я бы хотел представить тебя и твою сестру нашим гостьям.

Когда взаимные представления закончились и Фрэнсис сказал актрисам все положенные комплименты, он заметил:

— Должен сказать, что Исмэй не родная моя сестра. Она моя кузина.

— Боже мой, да у вас поистине семейное лицо! — воскликнула мисс Джонсон, очевидно

---

[57] Примечания: 57

«Ветер и дождь» — популярная пьеса английского драматурга, актера и врача Мертона Ходжа (1903–1958), впервые поставленная в 1933 г.

желая сказать приятное.

— А он правда президент клуба? — спросила Исмэй, когда великие люди удалились.

— Да, и, следовательно, большой человек в Оксфорде. Джервейс Фезерстоун; все как один считают, что он станет великим актером. Ты видела его прошлой зимой в клубной постановке «Пер Гюнта»? Нет, конечно; тебя здесь еще не было. Но лондонские критики превозносили его до небес.

— Он очень красивый.

— Надо думать. В конце концов, ему в том числе и за это деньги платят.

— Ты просто завидуешь!

Фрэнсис хорошо усвоил принятую в Оксфорде манеру притворяться, что бьешь баклуши, в то время как на самом деле усиленно работаешь. Он овладел техникой учебы еще в Колборне, где от учеников ожидали хорошей успеваемости, и усовершенствовал эту технику в «Душке». В Оксфорде он более чем соответствовал ожиданиям своего тьютора в том, что касалось учебы, околачивался в ДООУ, помаленьку ковыряясь с костюмами и декорациями, время от времени публиковал карикатуры в «Айсисе», и у него еще оставалось время, чтобы часами просиживать в

Эшмоловском музее, изучая превосходную коллекцию рисунков старых мастеров, почти старых мастеров и художников восемнадцатого-девятнадцатого столетий, которых никто не считал мастерами, хотя, по мнению Фрэнсиса, их работы были этого достойны.

Эшмоловский музей в то время не был ни особо привлекательным, ни особо хорошо организованным с точки зрения музейного дела. В лучших традициях Оксфорда музей был призван служить серьезно настроенным студентам и не желал иметь ничего общего с американской манерой проституировать высокое искусство, то есть с попытками привлечь и заинтересовать широкую публику. В конце концов, это был один из старейших музеев Старого Света. Первокурснику Фрэнсису не сразу удалось убедить музейное начальство, что он настроен серьезно. Добившись своего, он получил возможность почти без помех работать с обширной коллекцией музея. Фрэнсис хотел научиться хорошо рисовать. Он был не настолько самоуверен, чтобы надеяться рисовать, как старые мастера. Но именно им хотел подражать. Поэтому он проводил бесчисленные часы, копируя их рисунки, анализируя технику и с изумлением обнаруживая в себе идеи, оза-

рения и даже вспышки эмоций, которые явно принадлежали рисункам, а не ему самому. Но он не доверял этим шепотам из прошлого, пока не встретил Танкреда Сарацини.

Все вышло потому, что Фрэнсис был членом, хоть и не очень активным, оксфордского студенческого союза. Он бы не стал туда вступать, но на первом курсе его убедили, что это нужно. Иногда он ходил на дебаты и порой даже выступал по вопросам, связанным с искусством или эстетикой, — там, где ему было что сказать. Оттого что он, в отличие от большинства выступающих, знал, о чем говорит, был уверен в своей правоте и высказывал свои мысли простым и недвусмысленным языком, он, к собственному удивлению, заработал скромную репутацию оратора. Политика, которой в основном занимался студенческий союз, Фрэнсиса не интересовала, а сам союз интересовал в основном как место с хорошей кухней.

Но когда Фрэнсис был на втором курсе, комитет студенческого союза по благоустройству, ища, чем бы заняться, решил, что ветшающие фрески на стенах библиотеки союза требуют внимания. С ними нужно было что-то делать. Что же? Начинающие политики из комитета слабо разбирались в живописи, хоть и знали, что искусство любить

надо, и потому украшали свои комнаты репродукциями вангоговских «Подсолнухов» или, кто посмелее, красными конями Франца Марка. Они знали, что фрески в библиотеке — значительное произведение искусства, ведь их написали ведущие художники прерафаэлитского братства. Именно такие вопросы в студенческом союзе любили и понимали, ибо по ним можно было устроить дебаты. Следует ли воскресить художественные реликвии мертвого прошлого, или союз должен решительно пойти вперед, в будущее, заменив эти фрески работами художников несомненно талантливых, но столь же несомненно и решительно современных?

Первым делом, конечно, следовало выяснить, подлежат ли фрески вообще реставрации. Комитет по благоустройству во главе с парой преподавателей, что-то знающих об искусстве, призвал знаменитого Танкреда Сарацини обследовать фрески.

Великий человек явился, потребовал лестницу, взобрался на нее и осмотрел роспись, светя на стены фонариком и ковыряя их перочинным ножом. Спустившись, он объявил, что готов к обеду.

Фрэнсис не был членом комитета по благоустройству, но на обед его пригласили, поскольку

тремя или четырьмя краткими выступлениями он заработал репутацию человека, кое-что знающего об искусстве. Ведь он же автор тех набросков — почти шаржей, но не совсем, — которые публиковались в «Айсисе». У него есть коллекция рисунков — оригиналов, а не репродукций. Кому же еще говорить с Сарацини? Когда Фрэнсиса спросили, он охотно согласился встретиться с одним из величайших в мире реставраторов картин. Даже французские музеи, которые так не любят искать экспертов по искусству за пределами своей страны, неоднократно приглашали Сарацини для консультаций.

Сарацини оказался человеком небольшого роста, очень смуглым и очень аккуратным. Он не особенно походил на художника: единственной необычной деталью его внешности была пара скромных бакенбард, которые застенчиво останавливались ровно на такой длине, чтобы заработать право считаться бакенбардами. На лице постоянно играла улыбка — но не радостная, а ироническая. Карие глаза под прикрытием очков все время блуждали, причем не всегда в согласии друг с другом, отчего иногда казалось, что Сарацини смотрит сразу в две стороны. Он говорил тихим голосом, на идеально правильном

английском. Слишком правильном, что тут же выдавало в нем иностранца.

— Мы хотим получить ответ на следующие вопросы: во-первых, можно ли вообще отреставрировать эти фрески и, во-вторых, стоят ли они той суммы, в которую обойдется реставрация, — произнес президент студенческого союза. В будущем он видел себя кабинет-министром, а потому любил прояснять очевидное. — Скажите откровенно, что вы думаете по этому поводу?

— Их ценность как произведений искусства весьма спорна, — сказал Сарацини. Ироническая улыбка у него на лице играла в полную силу. — Если я их восстановлю или их восстановят под моим руководством, они будут выглядеть точно так же, как семьдесят пять лет назад, когда художники спустились с лесов. Отреставрированные, они продержатся двести или триста лет при условии надлежащего ухода. Но конечно, в таком случае это будут мои работы или работы моих учеников, нарисованные точно так же, как первоначально задумывали Россетти, Берн-Джонс и Моррис, но красками гораздо лучшего качества, на правильно подготовленных поверхностях, запечатанные фиксаторами для предохранения от сырости, дыма и прочих агрессивных воздей-

ствий, которые за это время превратили их в набор едва различимых пятен. Короче говоря, я сделаю профессионально то, что авторы фресок сделали практически как любители. Они совершенно ничего не знали о росписи стен. Они были энтузиастами.

На последнем слове он еле слышно хихикнул.

— Но разве не в этом и состоит реставрация? — спросил кто-то из членов комитета.

— О нет; картину, пострадавшую от военных действий или несчастного случая, можно восстановить, подвергнуть дублировке,[58] написать заново, если от оригинала ничего не осталось, но она останется работой того же мастера, возвращенной к жизни бережно и со знанием дела. Эти фрески — руины, потому что были написаны неправильным способом с использованием неподходящих красок. Мы видим слабые очертания первоначальных фресок, но воскресить их — значит написать заново, а не отреставрировать.

— Но вы можете это сделать?

— Разумеется. Вы должны понимать: я не называю себя художником в романтическом смысле

---

[58] Примечания: 58

Дублировка — укрепление ветхого холста картины подклейкой другого холста.

этого затасканного, размытого слова. Я ремесленник — говорят, что в моем ремесле мне нет равных в мире. Я опираюсь лишь на возможности своего ремесла; я призываю не музу, но свои познания в химии и свое мастерство. Но я не исключаю, что муза все же время от времени будет навещать меня. Заранее никогда не скажешь.

— Простите, я не понял.

— Ну, я редко говорю об этом аспекте своей работы. Но если, работая над картиной, вкладывать все свое мастерство, сострадание, любовь — даже если большую часть картины приходится изобретать заново, как мне придется делать в данном случае, — нечто руководившее изначальным автором может прийти на помощь.

Именно в этот момент Фрэнсиса, который внимательно слушал, словно стукнули по голове крохотным молоточком — острый, животворящий удар.

— Синьор Сарацини, я правильно понял: вы надеетесь, что во время работы в вас время от времени будет вселяться дух прерафаэлитов?

— А!.. а!.. а! Вот почему я обычно не говорю на эту тему! Люди вроде вас, мистер Корниш, могут истолковать мои слова поэтически — и заговорить о чем-то вроде одержимости чужим духом.

В силу своего опыта я не делаю таких смелых заявлений. Но подумайте вот о чем: авторы этих фресок — поэты; они были лучшими поэтами, чем художниками, за исключением Берн-Джонса, но и он, как вы наверняка знаете, прекрасно писал. О чем же они писали? На фресках изображены поиски Грааля, а эта тема гораздо лучше подходит поэту, чем художнику. Вы согласны, что дух Грааля гораздо легче вызвать словами, чем изображениями? Еретическая ли мысль — то, что у каждого искусства есть своя область превосходства и для него опасно вторгаться в сферу, где властвует другое искусство? Картина, иллюстрирующая легенду, есть лишь бледная копия этой легенды. Картины, рассказывающие историю, бесполезны, поскольку недвижны, — в них нет нюансов, нет развития, которое есть душа рассказа. Мне кажется, это не слишком большая вольность — думать, что у поэтов, которые опозорились с этими старыми, грязными, ушедшими в небытие картинками, было бы что сказать мастеру-художнику, пускай и не поэту?

— И вам случалось сталкиваться с подобным?

— О да, мистер Корниш, и когда это случается, в этом нет ничего сверхъестественного, поверьте мне.

— Значит, фрески могут быть восстановлены в таком виде, в котором их нарисовали бы Моррис, Россетти и Берн-Джонс, если бы умели писать фрески?

— Этого никто не скажет. Восстановленные фрески определенно будут выполнены с гораздо большим мастерством. И в них будет в полной мере присутствовать вдохновение, руководившее авторами первоначальных фресок.

— Я считаю, мы получили ответы на все вопросы, — сказал Фрэнсис.

— О нет. Простите, остался еще один очень важный вопрос, которого мы не коснулись, — вмешался будущий кабинет-министр. — Во сколько это обойдется?

— Не могу вам сказать, так как я пока не исследовал стены под картинами с надлежащей тщательностью и даже не измерил их протяженность, — сказал Сарацини. — Но конечно же, вы знаете анекдот про американских миллионеров, один из которых спросил другого, во сколько обходится ему содержание яхты. Второй ответил: «Если вы спрашиваете, значит, вам это не по карману».

— Вы хотите сказать, что это может обойтись, скажем, в тысячу?

— Во много тысяч. Если вообще реставрировать фрески, это надо делать хорошо, а качественная работа всегда обходится дорого. Но когда я закончу, у вас будут иллюстрации к легенде о Граале, написанные подлинными энтузиастами… если вам нужно именно это.

Разговор был окончен, хотя стороны еще некоторое время обменивались любезностями и выражали друг другу совершеннейшее почтение. Комитет по благоустройству был вполне удовлетворен. Он совершил нечто такое, что не удавалось ни одному предшествующему комитету в течение многих лет. Теперь он мог написать отчет о проделанной работе. Членов комитета не слишком волновало, будут ли на самом деле восстановлены фрески. В конце концов, студенческий союз был великой школой для будущих политиков и государственных мужей, а политики и государственные мужи работают именно так: они консультируются с экспертами, обедают и культивируют в себе приятное чувство собственной осмотрительности и практичности. Но практичность подсказывала, что не стоит тратить слишком много денег на картинки.

Фрэнсис, однако, был сильно взволнован и пригласил Сарацини поужинать с ним тем же

вечером в отеле «Рэндольф», с полного одобрения президента, который обрадовался возможности сбыть консультанта с рук — теперь, когда вопрос с фресками был наконец решен.

— Несомненно, мистер Корниш, вы единственный из членов комитета хоть что-то знаете о живописи. Кроме того, вы сильно заинтересовались, когда я заговорил о влиянии автора оригинального произведения на реставратора. Я должен еще раз подчеркнуть, что не имею в виду никакой мистики. Я не духовидец; покойники не водят моей кистью. Но подумайте вот о чем: многие композиторы, завершив оперу, набрасывают план увертюры и отдают его доверенному, талантливому помощнику, который пишет настолько в стиле учителя, что специалисты не отличат работу одного от работы другого. Сколько пассажей из позднего Вагнера на самом деле написаны Петером Корнелиусом? Мы знаем — но вовсе не потому, что это видно по музыке.

С живописью то же самое. Многие великие мастера перепоручали большие части своих картин подмастерьям или помощникам — драпировки, фон, даже кисти рук, и те писали так хорошо, что мы не можем определить, где начинается и кончается их работа. Подобным же образом я

сегодня могу — не скажу, что любой реставратор может, — сыграть роль подмастерья при покойном художнике и убедительно воспроизвести его стиль. Когда люди заказывали копии шедевров художника, иногда их делали ассистенты — но художник не упоминал об этом, выставляя счет. А сегодня некоторые из этих копий очень трудно отличить от оригиналов. Кто их создал? Мастер или подмастерье? Эксперты никак не могут прийти к согласию.

И я наследник; не мастеров — как видите, я очень скромен, — но этих одаренных подмастерьев, которые порой сами выходили в мастера. Видите ли, в те великие дни, которые мы сейчас почтительно именуем эпохой старых мастеров, искусство было также и ремеслом. Великие художники держали мастерские, которые служили еще и лавками, — туда можно было зайти и купить то, что понравилось. Это романтизм девятнадцатого века поставил художника на ступень выше ремесленника и заставил его презирать торговлю — художник стал дитятей муз. Зачастую дитя оказывалось без глазу, так как музы — не очень заботливые няньки в обычном смысле этого слова. А оказавшись выше торговли, художник счел себя и выше ремесла, совсем

как те неумехи, чей труд мы сегодня обсуждали. Искусство переполняло их до краев, но овладеть ремеслом они не позаботились. И вот результат: они не смогли воплотить собственные идеи так, как хотели бы, и от их трудов остались лишь пятна на стенах. В каком-то смысле печально.

— Вы не очень уважаете прерафаэлитов.

— Те из них, кто лучше всего мыслил — как Россетти, — едва умели рисовать, не говоря уже о живописи. Все равно что в наше время Д. Г. Лоуренс. Идей у него больше, чем у десяти прославленных современных художников, вместе взятых, но рисовать, а тем более писать красками он не умеет. Конечно, найдутся глупцы, которые скажут, что это не важно, главное — замысел. Чепуха! Плохо исполненный замысел — не картина.

— Так вот, значит, что не так с современным искусством!

— А что не так с современным искусством? Лучшие из современных картин очень хороши.

— Но многие ставят меня в тупик. А некоторые и вовсе просто мазня какая-то.

— Это логическое следствие из искусства эпохи Возрождения. За те примерно три века, что мы называем эпохой Возрождения, разум цивилизо-

ванного человека радикально изменился. Психолог сказал бы, что человечество из экстраверта стало интровертом. К исследованию внешнего мира прибавилось исследование внутреннего, субъективного. Первопроходцы этого мира не могли полагаться на старые карты, предоставляемые религией. Именно эти изыскания принесли нам «Гамлета» вместо «Горбодука».[59] Человек начал искать все великое, а также, если он был честен (хотя очень немногие люди честны), все неблагородное, низкое, злое — в себе. Если художник был гением и мыслителем, он находил в себе Бога и все Его творения и рисовал их, чтобы весь мир мог увидеть их и поклониться им.

— Но современные художники рисуют вовсе не Бога и Его творения. Иногда я вообще не могу понять, что они рисуют.

— Они рисуют то, что видят в себе, и очень стараются, если честны, — конечно, не все они честны. Но они полагаются только на себя, не опираясь на мифы или религию. И конечно, то, что большинство из них в себе находит, — от-

---

[59] Примечания: 59

«Горбодук» (1561) — пьеса английских драматургов Томаса Нортона и Томаса Сэквилля. Представляет собой переходную форму от трагедий в духе Сенеки и средневековых пьес-моралите в направлении, которое впоследствии развили английские классики-драматурги, такие как Шекспир.

кровение только для них самих. И эти одинокие поиски часто переходят в шарлатанство. Подделать взгляд в себя — проще простого, мистер Корниш. Поглядите хоть на те фрески, о которых мы говорили утром. Люди, которые их нарисовали, — Россетти, Моррис, Берн-Джонс — у них всех внутреннее видение связывалось с легендой, и они предпочли обернуть его в картинки про Грааль и аппетитных красоток с глазами-черносливами, наполовину мадонн, наполовину — чересчур пышных россеттиевских любовниц. Но современные люди, ушибленные страшной мировой войной и кое-как усвоившие постулаты Фрейда, твердо намерены быть честными. Их тошнит от того, что они считают Богом, а внутри себя они видят нечто настолько личное, что большинству людей оно кажется хаосом. Но это не просто хаос. Это сырые ошметки души, извергнутые на холст. Не слишком приятно на вид и не слишком много сообщает зрителю, но художник должен пройти через это на пути к чему-то такому, что в самом деле будет говорить со зрителем. Не знаю, правда, будет ли оно приятно на вид.

— Это адски тяжело для любого, кто хочет стать художником.

— Например, для вас? Ну что ж… ищите свое

внутреннее видение.

— Именно это я и пытаюсь делать. Но выходит что-то не очень современное.

— Я понимаю. У меня тоже не очень хорошо выходит на современный лад. Но хочу вас предостеречь: не втискивайте себя в современный лад, если он не для вас. Найдите свою легенду. Свой личный миф. Что вас обычно занимает?

— Можно, я вам покажу?

— Обязательно, но не сейчас. Я уезжаю рано утром. Но я скоро снова приеду. Эксетер-колледж хочет, чтобы я посмотрел тамошнюю часовню. Я дам вам знать заранее и оставлю для вас время. Куда вам написать?

— Я учусь в колледже Тела Христова. Если вы напишете мне туда, я получу ваше письмо. Не хотите ли еще коньяку перед уходом?

— Ни в коем случае. Некоторые великие мастера много пили, но нам, подмастерьям и помощникам, даже живущим триста лет спустя, нужно иметь твердую руку. Я не хочу больше коньяку, и вы тоже, если только вы не уверены абсолютно, что вы — мастер. Мы, второразрядные, должны быть аскетами.

Это было сказано с иронической усмешкой, но для Фрэнсиса, вскормленного, по крайней мере

отчасти, на суровой вере Виктории Камерон, прозвучало приказом.

Поздней осенью, вскоре после знакомства с Сарацини, Фрэнсис удивился и поначалу не очень обрадовался, получив такое письмо:

Дорогой мой внук Фрэнсис!

Я никогда раньше не писал тебе в Оксфорд: я думал, что мне нечего сказать молодому человеку, погруженному в изучение передовых наук. Как ты знаешь, я не получил почти никакого образования, ибо мне очень рано пришлось самому пробивать себе дорогу в жизни. Образование пролагает пропасть между поколениями — еще сильнее, чем нажитое богатство. Что может необразованный дед сказать образованному внуку? Но я надеюсь, что у нас еще остались общие языки.

Первый из них — это язык, которому я не могу подобрать названия; на нем мы с тобой говорили, когда ты был мальчиком и ходил со мной на послеобеденные вылазки за «солнечными картинами». Это был язык глаза и еще — думаю, даже по большей части, — язык света, и мне очень радостно думать, что твое увлечение живописью и интерес к картинам берет начало в этом языке или, по крайней мере, подпитывалось им. Теперь

ты говоришь на этом языке так, как никогда не говорил на нем я. Я горжусь твоей любовью к искусству и надеюсь, что она проведет тебя через счастливую жизнь.

Другой язык — я не назову его религией, ибо всю свою жизнь был твердым в вере католиком, не полностью приемля все, во что католики должны верить. Поэтому я не могу чистосердечно призывать тебя держаться за веру. Но все же не забывай про нее. Не забывай этот язык и не будь одним из тех людей «без царя в голове», которые ни во что не верят. Есть высший мир, недоступный нашим чувствам, а религия — попытка объяснить его. Но к несчастью, чтобы достичь всех и вся, религия должна быть организованной, и для священников она превращается в ремесло; но хуже всего то, что ее приходится сводить к чему-то приемлемому и понятному для широких масс людей. То, что я написал, конечно, ересь. Помню, как я рассердился, когда твой отец потребовал, чтобы тебя растили протестантом. Но с тех пор прошло много лет, и я часто задумывался, действительно ли протестанты — большие идиоты, чем католики. Чем старше человек становится, тем более одинок он в религии.

Третий язык, на котором мы оба говорим, — деньги. Именно поэтому я тебе сейчас пишу. Я говорю на этом языке лучше тебя, но и ты должен изучить его грамматику, иначе не управишься с тем, что удача посылает тебе как моему внуку. Я сейчас много думаю об этом — врачи говорят, что мне недолго осталось. Что-то с сердцем.

Когда откроют мое завещание, ты узнаешь, что я оставил тебе значительную сумму в единоличное пользование — сверх той доли, которая причитается тебе в ряду остальных наследников. Причину этого я указываю в своем завещании. Мне кажется, что ты по натуре не слишком подходишь для семейного бизнеса — банковского и трастового дела — и, следовательно, не должен добиваться работы в нем или искать возможностей для продвижения. Это выглядит почти так, как будто я лишаю тебя наследства, но на самом деле ничего подобного. Строго между нами: я надеюсь, что деньги освободят тебя от множества забот и от необходимости заниматься делом, которое, как я подозреваю, тебе совсем не понравится. Но тебе нужно освоить грамматику денег. Неграмотность в денежных вопросах так же связывает человека, как и любая другая неграмотность. У твоего брата Артура, судя по

всему, есть склонности к банковскому делу, и на этой работе у него будут возможности зарабатывать, каких не будет у тебя. Но у тебя будут возможности другого рода. И я надеюсь, что они соответствуют твоим жизненным целям.

Пожалуйста, не отвечай на это письмо — я боюсь, что мне недолго осталось читать корреспонденцию, и не хочу, чтобы то, что ты напишешь, читал кто-нибудь другой. Но если ты напишешь мне, чтобы попрощаться, я буду рад.

С наилучшими пожеланиями, Джеймс Игнациус Макрори

Фрэнсис тут же написал прощальное письмо — он старался как мог, хотя умел писать не лучше дедушки; даже более того, ему недоставало простоты, характерной для самоучки-деда. Но ответная телеграмма сообщила ему, что письмо опоздало.

Мог ли он что-нибудь сделать? Он написал бабушке и тетушке, написал также и матери. Он подумал, не сходить ли к отцу Ноллису в Старый дворец, заказать заупокойную мессу по старику, но в свете письма это было бы неискренне и насмешило бы старого колониста, если бы он знал.

Лицемерна ли была печаль Фрэнсиса? Она боролась в нем с облегчением, с ощущением

новой свободы, с радостью, что теперь он может жить как хочет. Скорбь по старому лесорубу-шотландцу скоро сменилась душевным подъемом и благодарностью. Хэмиш был единственным из всей родни, кто вообще хоть как-то видел Фрэнсиса и задумывался о том, что он за человек. И может быть, Хэмиш единственный из всех любил в нем художника.

Приближалось Рождество, и Фрэнсис решил, что долг зовет его обратно в Канаду. Совершив зимнее плавание через Атлантику, больше похожее на суровую епитимью, он снова оказался в доме матери, словно сошедшем с картинки в модном журнале. Мало-помалу Фрэнсис начал понимать, что значил дедушка для всех поколений Корнишей, Макрори и О'Горманов. Банкиры искренне скорбели о смерти сенатора, но сильно утешились приятнейшей необходимостью управления его делами. Судя по всему, после смерти дед стал еще сиятельнее, чем при жизни. Джеральд Винсент О'Горман особенно громко хвалил старика за то, как тот распорядился своим имуществом. Никого не обидел. Вот это настоящее Рождество!

Сэр Фрэнсис Корниш был несколько менее доволен, чем О'Горман, и вполне понятно почему:

Джерри сменял тестя на посту председателя совета директоров, а Корниш оставался на почетной, но не такой влиятельной должности президента. Но в то же время леди Корниш получила неплохое наследство, что сильно радовало сэра Фрэнсиса и существенно подсластило горькие слезы его жены. Даже Артур, младший брат Фрэнсиса, которому исполнилось всего двенадцать лет, будто слегка вырос после смерти деда, ибо его перспективы в Корниш-тресте, и до того отчетливые, обрисовались еще четче, и Артур уже держался в школе как юный финансист: одетый дорого, стильно и со вкусом, красивый, обходительный со сверстниками и старшими.

Сильнее всего смерть деда ударила, конечно, по бабушке и тете Мэри-Бен, но и у них были свои утешения: на похороны в Блэрлогги приехали ее преподобие мать Мария-Базиль из Монреаля и его преподобие преосвященный Майкл Макрори — из своей епархии на западе. Оба нанесли старухам визит, одарив их утешением и добрым советом (которые нисколько не стали хуже оттого, что сенатор щедро помянул в завещании и брата, и сестру).

Завещание! Кажется, семья только о нем и говорила; положение в нем Фрэнсиса, которому

причиталась самая большая из специально выделенных сумм, удивило родных и повергло их в недоумение. (Мать Фрэнсиса и Мэри-Тесс получали доходы от суммы, переданной в доверительное управление.) Общее мнение кратко и откровенно подытожил Джерри: наверное, Фрэнк мог бы изучать свои картинки и на меньшие деньги, чем доход с кругленькой суммы в миллион.

Тем более что Фрэнсису причитался не только доход: старик оставил ему всю сумму. Да разве Фрэнк умеет обращаться с такими деньжищами? Но Фрэнсис помнил слова деда о том, что нужно изучить грамматику денег. Перед тем как претерпеть мытарства морского путешествия в Оксфорд, он оставил распоряжения, что делать с деньгами, когда они станут доступны. Даже Джерри вынужден был признать, что Фрэнсис вполне справился с задачей.

Итак, Фрэнсис вернулся в колледж Тела Христова, Кентербери-хауз и запасники Эшмоловского музея богатым человеком — в смысле возможностей и в смысле обязанностей. А в перспективе он должен был стать еще богаче, так как дед оставил ему долю в состоянии, помещенном в доверительное управление. Кроме него, доход от этой суммы получали бабушка, тетя, мать

Фрэнсиса и Мэри-Тесс, и после смерти любой из них доля Фрэнсиса увеличивалась. «Хорошо устроился», — заметил Джерри, а сэр Фрэнсис с достоинством, подобающим президенту, сказал, что теперь будущее Фрэнсиса обеспечено.

Как любят люди говорить, что чье-то будущее обеспечено, имея в виду лишь то, что ему хватает денег на жизнь! Кто в двадцать четыре года скажет, что его будущее обеспечено? Фрэнсис знал, что по крайней мере в одном отношении его будущее туманно, и сильно страдал из-за этого.

В «Душке» он общался с девушками — общение ограничивалось легким перещупыванием на вечеринках; девушки того времени были осторожны и не позволяли себе, как по-прежнему мысленно называл это Фрэнсис, Переходить Границы. Сам он впервые Перешел Границы в торонтовском борделе, с толстоногой женщиной родом из маленького городка с говорящим названием Осстолоп. Целый месяц после этого Фрэнсис маялся, осматривал себя и все боялся увидеть признаки заражения сифилисом, пока врач не заверил его, что он чист как стеклышко. На основании всего этого Фрэнсис считал, что много знает о сексе, но о любви не имел ни малейшего понятия. А теперь он был влюблен в свою кузину

Исмэй, в то время как она его совершенно явно не любила.

Возможно, она любила Чарли Фримэнтла. Фрэнсис часто видел их вместе, а когда Исмэй была с ним, то много говорила о Чарли. Для Чарли Оксфорд был болезненно тесен: Чарли хотел вырваться в большой мир и изменить его к лучшему, независимо от желаний самого мира. У Чарли были передовые политические взгляды. Чарли читал Маркса — правда, не очень много, так как толстые заумные книги обременяли его свободный, воспаряющий дух. Чарли произнес несколько марксистских речей в студенческом союзе, к восторгу родственных, не скованных буржуазными условностями душ. Его марксизм можно было сформулировать примерно так: все, что есть, — неправильно, и для установления любых зачатков справедливого общества нужно сперва полностью разрушить существующий порядок; надежда на будущее — в рабочих, а все, что нужно рабочим, — сочувственное руководство со стороны людей вроде Чарли, видящих насквозь лицемерие, глупость и кровожадность правящего класса, к которому они сами принадлежат по рождению. Исмэй как верная ученица разделяла все эти идеи. Она еще сильнее Чарли (если это

вообще было возможно) ненавидела стариков (то есть людей старше тридцати лет), которые так сильно все испортили. Конечно, Чарли со товарищи изрекали все это гораздо более звучным, политическим языком, и у них — или у Исмэй — было много книг, поддерживающих эмоции, которые они называли принципами.

Чарли было всего двадцать один год, а Исмэй — девятнадцать. Слушая их, двадцатичетырехлетний Фрэнсис ощущал себя скучным пожилым человеком. Он не очень разбирался в политике и не был находчив в спорах, но твердо знал, что с философией Чарли что-то не так. Чарли, в отличие от Фрэнсиса, не проучился три года в Карлайлской сельской школе, иначе по-другому представлял бы себе чаяния и способности рабочих. Дедушке Чарли не пришлось прорубать себе дорогу топором лесоруба — из леса в кресло председателя совета директоров. «Дайте рабочим образование, и мир изменится на протяжении трех поколений», — говорил Чарли. Фрэнсис припоминал мисс Макглэддери и думал, что, кажется, рабочие не очень восприимчивы к образованию или любой перемене, выходящей за рамки немедленного улучшения их жизни. Чарли был канадцем, как и Фрэнсис, но из семьи

«старых денег». Фрэнсис насмотрелся на «старые деньги» в Колборн-колледже и знал, что лицемерие, глупость и кровожадность — действительно врожденные свойства этого класса, как и говорил Чарли. Однако у Фрэнсиса была злосчастная способность — небольшая, но ощутимая — видеть обе стороны вопроса. Ему никогда не приходило в голову, что разделяющие их три года могут влиять на мировоззрение Чарли, и, уж конечно, он никогда не думал, что у него самого мировоззрение художника, который ненавидит как богатых, так и бедных и хочет только, чтобы от него отвязались и дали возможность работать спокойно. Чарли был аристократом, бросающимся в бой за правое дело, на стороне угнетенных; лордом Байроном, полным решимости освободить греков, но мало что о них знающим; рыцарем Грааля социальной справедливости.

Судьба Чарли не волновала Фрэнсиса, но от беспокойства за Исмэй он очень страдал. Он четко ощущал, что Чарли на нее плохо влияет, и чем больше наблюдал за Чарли на карточных вечерах у Бьюс-Боцариса, тем больше в этом уверялся. На вечерах стало слишком много завсегдатаев, поэтому теперь там вместо бриджа играли в покер; к нему у Чарли не было вовсе никаких

способностей. Мало того что он был азартным игроком — он наслаждался ролью азартного игрока. Он практически выхватывал причитающиеся ему фишки; он швырял карты на стол с победоносным видом; он глупо рисковал — и проигрывал. Он не платил проигрыши, а выдавал долговые расписки, которые Бьюс-Боцарис засовывал в жилетный карман, словно не замечая. Фрэнсис хорошо изучил грамматику денег и знал: долговая расписка — опаснейшая вещь. Хуже всего было то, что при редких выигрышах Чарли непристойно ликовал, словно, обирая окружающих его оксфордцев, мстил за всех неимущих и угнетенных. Фрэнсис страдал из-за Чарли, не осознавая, что Чарли — дурак и простофиля, так как тот обладал чем-то вроде романтического размаха и напора, а Фрэнсис знал, что сам он этих качеств начисто лишен.

Исмэй он видел часто: ее притягивал льющийся рекой превосходный херес, обеды в «Джордже», походы в кино и театр — все, что мог обеспечить и охотно обеспечивал Фрэнсис. Она даже позволяла Фрэнсису целовать и лапать себя («лапать» было ее любимое словечко, если она теряла терпение и хотела, чтобы Фрэнсис перестал) — в качестве разумного вознаграждения за предоставляемые

им житейские блага. Это еще больше расстраивало Фрэнсиса: если она ему позволяет такие вольности, что же тогда позволено Чарли?

Он страдал, как может страдать только неуверенный в себе влюбленный, но у его любви был другой, более счастливый аспект. Исмэй охотно позировала ему, и он сделал с нее множество набросков.

Однажды, когда он завершил особенно удачный рисунок, Исмэй сказала:

— Ой, можно, я его возьму?

— Это всего лишь этюд. Давай я попробую нарисовать тебя по-настоящему.

— Нет, это просто здорово. Чарли очень понравится.

Но Чарли не понравилось. Он пришел в ярость и изорвал рисунок, а Исмэй довел до слез — она вообще редко плакала, — заявив, что не позволит этому болвану Корнишу пялиться на нее глазами влюбленного обожателя. А по рисунку совершенно ясно видно, что он смотрит на нее именно так.

Исмэй, однако, нравилось возбуждать ревность Чарли. Он ревновал яростно, не похоже на вялую ревность Фрэнсиса, душную и собственническую, замаскированную под беспокойство за судьбу

Исмэй. Так что дело заходило все дальше, и, когда однажды Фрэнсис набрался храбрости и попросил Исмэй позировать ему голой, она согласилась. Он был вне себя от счастья, пока она не сказала: «Только никакого этого, „художник-и-модель-в-Париже“, ясно?!» Он решил, что это отражает его флегматичный, объективный подход художника к обнаженному телу. Он признался сам себе, что Исмэй грубовата, но то была часть ее неодолимого очарования. Ее грубость вызывала в памяти роскошных аристократок эпохи Возрождения.

Так что он нарисовал ее обнаженной, лежащей на диване у него в гостиной, на верхнем этаже Кентербери-хауза, где был такой хороший свет и уголь так жарко пылал в камине, и потом рисовал ее еще много раз, и, хотя обширный опыт, приобретенный в бальзамировочной Девинни, очень помогал Фрэнсису, мысль о тех изношенных работой телах ни разу не приходила ему в голову.

Однажды, закончив особенно удачный рисунок, Фрэнсис отшвырнул альбом и карандаш и бросился на колени рядом с Исмэй, целуя ее руки и пытаясь удержать непрошеные слезы.

— Что такое?

— Ты такая красивая! И я так тебя люблю!

— О боже! — сказала Исмэй. — Я так и думала,

что до этого дойдет.

— До чего?

— До разговоров о любви, осел ты премированный.

— Но я тебя и правда люблю. Неужели ты совсем-совсем ничего не чувствуешь?

Исмэй подалась к нему, и он зарыл лицо у нее между грудями.

— Да, — сказала она. — Я люблю тебя, но я в тебя не влюблена — надеюсь, ты понимаешь, что я хочу сказать.

Люди вроде Фрэнсиса не способны постигнуть это тонкое различие, очень дорогое некоторым женщинам. Но он был счастлив — ведь она же сказала, что любит его! Может быть, потом когда-нибудь она в него и влюбится тоже.

Поэтому, когда он согласился на ее условие — не говорить о любви, — она согласилась продолжать время от времени позировать в обнаженном виде. Ей это нравилось. Позируя, она чувствовала, что живет полнее, богаче, а обожающий взгляд Фрэнсиса согревал ее в местах, куда не доходило щедрое тепло его камина, — в местах, о существовании которых Чарли, судя по всему, и не подозревал.

— Кто учил вас рисовать?

Они сидели в одной из гостевых комнат Эксетер-колледжа, где остановился Сарацини, приехав на несколько дней в середине весеннего семестра. Сарацини разглядывал принесенные Фрэнсисом наброски и законченные рисунки.

— Гарри Фернисс, надо полагать.

— Потрясающе! Похоже на то, но он умер… дай бог памяти… совершенно точно больше десяти лет назад!

— Я учился по его книге. «Рисование карандашом и пером». В детстве она была моей библией.

— Да, у вас его энергия, но не его стиль. У него стиль грубый, шутливый, добродушный, поверхностный.

— Конечно, я сейчас очень много копирую, да вы и сами видите. Я каждую неделю копирую рисунки старых мастеров в Эшмоловском музее. Пытаюсь схватить их манеру, а не только их сюжеты. Вы говорили, что делаете так, когда реставрируете картины.

— Да, но анатомии вы точно учились не у Фернисса… и не у старых мастеров.

— По правде сказать, я учился ей в бальзамировочной у похоронных дел мастера.

— Матерь Божия! В вас много такого, что сразу не увидишь.

— Надеюсь. То, что видно поверхностному взгляду, боюсь, не слишком впечатляет.

— Это говорит влюбленный. Несчастливо влюбленный. Влюбленный в эту самую обнаженную натуру ваших рисунков, которые вы пытались мне подсунуть как копии старых мастеров.

Сарацини положил руку на стопку рисунков, изображающих Исмэй и стоивших Фрэнсису немалых трудов. Фрэнсис покрыл дорогую, ручной работы, бумагу цинковыми белилами, в которые подмешал коричневого болюса, чтобы придать бумаге цвет слоновой кости. На подготовленных таким образом листах бумаги он изобразил обнаженную Исмэй. Рисовал он серебряным карандашом, за который заплатил немалую сумму, и под конец наложил завершающие штрихи красной охрой.

— Я не хотел вас обмануть.

— О, меня вы не обманули… Хотя обманули бы многих.

— То есть я вообще не собирался никого обманывать. Просто хотел рисовать в подлинном стиле эпохи Возрождения.

— И вам это удалось. Вы восхитительно уловили их манеру. Но вот предмет ваш значительно менее удачен. Посмотрите на эту девушку: она

— современная девушка. Об этом кричит каждая деталь ее тела. Она стройная, высокая для женщины, у нее длинные ноги. Это не женщина Ренессанса. Одни только ступни уже выдают ее: это не большие ноги крестьянки и не изуродованные ступни богатой женщины. Понимаете, старые мастера, когда не копировали античные статуи, рисовали женщин, каких сегодня уже не бывает. Эта девушка — посмотрите на ее груди. Она никогда не будет кормить грудью ребенка, а если и будет, то недолго. Но женщины Ренессанса кормили грудью, и тем, кто их рисовал, нравились огромные материнские вымена; стоило этим женщинам расстаться с невинностью, и они непрерывно кормили; к тридцати пяти годам их груди превращались в пустые мешки, свисающие до пояса. Их гениталии были изодраны постоянным деторождением, и, надо полагать, почти у всех был геморрой по той же причине. В ту эпоху старость приходила рано. Плоть, розовая и цветущая в восемнадцать лет, теряла упругость, и жир обвисал на костях, слишком мелких для того, чтобы его как следует поддерживать. А эта ваша девушка будет красавицей всю жизнь. И ее красоту вы запечатлели с нежностью, выдающей влюбленного… Я не претендую на дар

ясновидения. Но вглядываться в картины — моя профессия. Нетрудно понять, что эта женщина — современная женщина, а отношение художника к модели всегда видно. Каждая картина заключает в себе несколько вещей: то, что видит художник, но также и его мнение об увиденном, поэтому каждая — в определенном смысле портрет самого художника. И в ваших рисунках все эти элементы присутствуют… Я вовсе не хочу сказать, что ваши рисунки плохи. Но почему вы тратите столько труда, чтобы подражать стилю эпохи Возрождения?

— Мне кажется, он гораздо лучше высказывает многое, что нельзя сказать, точнее, что мне не удается сказать современным стилем.

— Да, да, и еще для того, чтобы польстить натурщице — надеюсь, она это оценила — и показать, что для вас она превыше пространства и времени. Вы неплохо рисуете. В наше время искусство рисования не так любовно взращивают, как когда-то. Современный художник может быть хорошим рисовальщиком, но не очень ценит это умение. Вы же любите рисование ради него самого.

— Да. Возможно, это звучит слишком сильно, но я им одержим.

— Больше, чем цветом?

— Не знаю. По правде сказать, я мало работал с цветом.

— Если хотите, я могу посвятить вас в тайны цвета. Но мне хотелось бы знать, насколько хорошо вы на самом деле рисуете. Хотите, я вас испытаю?

— Я буду польщен, что вы сочли возможным потратить на меня время.

— Тратить время — еще одна существенная часть моего ремесла. У вас альбом при себе? Проведите, пожалуйста, линию с верха до низа листа. Я имею в виду прямую линию, от руки.

Фрэнсис повиновался.

— А теперь проведите такую же линию снизу доверху, абсолютно точно, чтобы две линии полностью совпали.

Это оказалось не так просто. В одном месте вторая линия чуточку отклонилась от первой.

— Ага, уже не так просто, а? Теперь проведите прямую поперек страницы, чтобы она пересекла первую линию, точнее, две слитые воедино. Так. Теперь проведите прямую через центральную точку, где эти линии пересекаются; проведите так, чтобы я не видел даже намека на треугольник в точке пересечения. Да, неплохо.

Далее Фрэнсису пришлось рисовать от руки окружности — по часовой стрелке и против, концентрические и эксцентрические в разных сочетаниях. Все получилось — вполне достойно, но не идеально.

— Вам надо работать над этим, — сказал Сарацини. — Способности у вас есть, но вы не развили их в полную меру. Вы должны понимать, что это — фундамент рисования. Хотите последний экзамен? Он проверяет нечто большее, чем просто владение карандашом, а именно ваше умение чувствовать массу и пространство. Я буду сидеть тут, на стуле, как сидел все это время, а вы нарисуете меня настолько хорошо, насколько сумеете за пять минут. Но нарисуете так, словно сидите позади меня. Готовы?

К этому Фрэнсис был совершенно не готов, и ему показалось, что он не справился. Но, поглядев на рисунок, Сарацини засмеялся:

— Мистер Корниш, если вас когда-нибудь заинтересует моя профессия — а я вас уверяю, что она чрезвычайно интересна, — напишите мне или приезжайте со мной повидаться. Вот моя карточка; как видите, мой постоянный адрес — в Риме. Я там редко бываю, но, если вы напишете туда, я получу ваше письмо. В любом случае

приезжайте в гости. Я вам покажу много разных интересных вещей.

— Вы хотите сказать, что я могу стать реставратором? — спросил Фрэнсис.

— Да, безусловно можете, если поработаете со мной. Но я вижу, что для вас это не комплимент; это намек на то, что ваш талант — второго сорта. Ну что ж, вы спросили моего мнения, и вы его получите. Ваш талант — значительный, но не первосортный.

— Что со мной не так?

— Вам не хватает определенного рода энергии. Слишком слабый поток снизу. В этой стране найдутся десятки уважаемых художников, которые не умеют рисовать и вполовину так хорошо, как вы, и у которых гораздо менее острый глаз, но в их работе есть что-то неповторимое, даже если неподготовленному глазу она кажется грубой и глупой. У них энергия бьет из потрохов. Вы католик?

— Ну… в каком-то смысле да.

— Я мог и сам догадаться. Нужно либо быть католиком, либо не быть. Полукатолики не могут быть художниками, так же как полу- кто угодно еще. Всего доброго. Мы должны встретиться снова.

— Что тебе подарить на день рождения?

— Денег, пожалуйста.

— Но, Исмэй, деньги — это не подарок. Я хочу подарить тебе что-нибудь ощутимое.

— А разве деньги неощутимы?

— Ты обещаешь купить на них что-нибудь такое, чего тебе по-настоящему хочется?

— А что я, по-твоему, буду с ними делать?

И Фрэнсис дал ей чек на десять фунтов. Когда через два дня Чарли явился к Бьюс-Боцарису с десятью фунтами на игру, Фрэнсиса немедленно охватили подозрения.

— Ты отдала Чарли те десять фунтов?

— Да. Он был без гроша.

— Но я подарил их тебе!

— Мы с Чарли верим в коллективное владение имуществом.

— Да? И чем же он делится с тобой?

— Какое ты имеешь право об этом спрашивать?

— Я тебя люблю! Черт побери все на свете! Я тебе уже сто раз говорил.

— Я думаю, привратник в экзаменационных залах тоже меня любит: у него глаза становятся как у барана, когда я с ним говорю. Но это не дает ему права допрашивать меня о моей личной жизни.

— Не говори глупостей.

— Хорошо, не буду. Ты думаешь, что я сплю с Чарли, так? А если и сплю — я не говорю, что это так, — какое твое дело? Не слишком ли ты злоупотребляешь правами кузена?

— Дело не в кузенах.

— Помнишь, что ты сказал, когда я первый раз сюда пришла? «Вот те раз, моя кузина». Я тогда сказала, что найду эту цитату, и нашла. Попросила одного парня, он учит английскую литературу. Это из старинной пьесы: «Вот те раз, моя кузина, как ты не сообразила: у него таких мильен, ни в одну он не влюблен». Ты это имел в виду, да? Ты хочешь сказать, что я шлюха?

— Я такого никогда не слыхал; думал, это просто поговорка про чересчур напористых людей. Ты вела себя, и до сих пор ведешь себя, очень напористо. Но ты не шлюха. Конечно же ты не шлюха.

— Нет. Я не шлюха. Но у нас с Чарли гораздо более передовые воззрения, чем у тебя. У тебя бывают какие-то совершенно отсталые идеи. Пойми: я не потерплю с твоей стороны ни допросов, ни покровительства. Если ты этого хочешь, считай, что между нами все кончено.

Последовали извинения, протесты. Заверения в том, что он заботится о ней как влюбленный, —

это ее рассмешило. Дорогой обед в «Джордже». После обеда она снова для него позировала; до того как они всерьез принялись за работу, Исмэй приняла несколько развратных поз, доставила Фрэнсису немалые мучения и оттого страшно развеселилась. Когда она уходила, Фрэнсис дал ей еще один чек на десять фунтов — потому что он все-таки должен был что-то подарить именно ей («Нет-нет, ни в коем случае не давай их Чарли на игру, если его судьба тебе небезразлична, потому что это его погубит»).

Фрэнсис не знал, что Исмэй купила на эти деньги, потому что не смел ее спросить, а по выпискам из банка видел, что она так и не получила по чеку наличные. Конечно, она решила придержать чек, пока не найдет что-нибудь такое, чего ей по-настоящему захочется.

Фрэнсис начал понимать, чего от него нужно Бэзилу Бьюс-Боцарису. Тот всегда приглашал Фрэнсиса остаться поболтать после игры в карты, а так как они жили в одном доме, то Фрэнсису не нужно было уходить до полуночи; им не мешало правило, которое распространялось на всех студентов и аспирантов университета и требовало под угрозой исключения, чтобы они к полуночи возвращались домой — на квартиру или в кол-

ледж. Роскалнс тоже оставался, так как не имел отношения к университету, а следовательно, мог свободно приходить и уходить. К чему же клонились эти разговоры?

Фрэнсис догадался задолго до того, как Бьюс-Боцарис понял, что он догадался. У князя (если он был князь) из Болгарии (если он был именно оттуда) были, как он сам выражался, передовые политические взгляды; не такие наивные, как у Чарли, но созвучные с ним. В тогдашнем Оксфорде было совсем не трудно говорить на эти темы; стайки студентов часто рассуждали о «поляризации» современной политической жизни. Демократия провалилась, и основанные на ней всевозможные формы правления могут пасть в любое время. Любой, у кого есть голова на плечах, понимает (хотя может не формулировать в явном виде), что он либо коммунист, либо фашист; а при наличии в голове мозгов выбор однозначен. Кто отказывается принять ту или другую сторону, тот «индифферентист»; он, несомненно, поплатится за свою глупость, когда настанет час расплаты. Бьюс-Боцарис знал, куда прыгнет лев.

Разумеется, этот политический лев не мог прыгнуть в сторону фашизма, буржуазной идеологии, возглавляемой людьми вроде Гитлера и Мус-

солини, желающими основать сильные нации — даже империи — на невозможном фундаменте той или иной разновидности капитализма. Шанс на выживание имел только мир, движимый учением Маркса, — то есть мир, в котором основные доктрины Маркса отточены и выкованы методом проб и ошибок. И не пора ли любому, кто следит за львом, готовящимся к прыжку, встать на сторону силы, которая возглавит цивилизованный мир? Скорее всего, и десяти лет не пройдет, как это случится. Разве ускорение прогресса — не долг каждого интеллигентного человека?

Фрэнсис может быть полезен в этом деле. Возможно, даже очень полезен. Но пока он не принял твердого решения, Бьюс-Боцарис не может открыть, что именно ему придется делать. Бьюс-Боцарис видит многое — о да, он не просто студент, изучающий международное право, как может показаться со стороны. Он видит, что и Фрэнсис — молодой человек с необычными задатками. У Фрэнсиса есть деньги: это легко заметить, если знаешь, что такое деньги, а Бьюс-Боцарис знает. У Фрэнсиса есть неоценимое достоинство — канадское гражданство и канадский паспорт, они позволяют ему ездить почти всюду, не вызывая подозрений. Фрэнсис, конечно, знает,

что канадские паспорта очень ценятся в мире международного шпионажа? Настоящий паспорт, который выдержит любые проверки, — это прямо-таки дар богов. Если Фрэнсис захочет помогать, он будет чрезвычайно полезен, и, конечно, рано или поздно его полезность будет вознаграждена. Ну что, стало понятнее, о чем идет речь?

Фрэнсис признался, что смутно догадывается, о чем говорит Бьюс-Боцарис. Но эта идея ему совершенно в новинку. Ему нужно время подумать. Вау, такого ему никто никогда не предлагал. (Фрэнсис решил, что это «вау» — мастерский штрих, именно такого восклицания человек вроде Бьюс-Боцариса мог ожидать от канадца, которому открылись райские двери политических свершений.) Можно, они вернутся к этой теме чуть позже? Ему нужно все обдумать, а в таких делах он соображает медленно.

Конечно, сказал Бьюс-Боцарис, думай, сколько нужно.

Фрэнсис думал долго. Он не хотел нарушать свой обычный распорядок, чтобы не привлечь внимания болгарина, который, кажется, наблюдал за всеми его перемещениями. Поэтому он дождался пасхальных каникул, чтобы встретиться с полковником Копплстоуном и все ему

рассказать. Они снова пошли обедать в «Атенеум». Фрэнсис понял, что полковник считает людный, шумный зал ресторана лучшим местом для откровений. Два человека, которые склонились друг к другу через стол и тихо беседуют, не бросаются в глаза. Полковник выслушал рассказ Фрэнсиса.

— Да, мы знаем этого твоего болгарина, — сказал он. — Несерьезный человек. По правде сказать, он просто глуп. Таких много; у него нет ни важных контактов среди людей, о которых он говорит, ни реального влияния. Но он любит намекать, что очень влиятелен. Конечно, он презирает студенческие группы, которые явно исповедуют коммунистическую идеологию; он любит тайны, действия тихой сапой и прочие завлекательные подробности, окружающие шпионов высокого класса. Поверь мне, он не относится к их числу. По правде сказать, твой соотечественник гораздо интереснее. Такие горячие головы могут очень многое открыть своими действиями или попытками действовать — гораздо больше, чем они сами знают. Держи меня в курсе.

— Простите, что я не могу быть ничем полезен, — сказал Фрэнсис.

Это была его первая попытка показать, что он достоин «ремесла», и он жалел, что не смог разузнать ничего по-настоящему ценного.

— О, ты очень полезен, — возразил полковник. — Ты подтвердил кое-какие сведения, а это полезно. Моя работа в значительной степени состоит из обыденных мелочей. Не верь романам, в которых какой-нибудь замечательный герой в одиночку совершает великие подвиги.

— А что, замечательных героев на самом деле не бывает?

— Может, и бывают. Но гораздо больше людей, которые просто сидят тихо; тут заметят одно, там другое, подтвердят что-нибудь в пятнадцатый раз.

— А разве мой отец не был замечательным героем?

— Спроси у него. Я даже догадываюсь, что он ответит. Его величайшее достижение заключалось в том, что он перерабатывал и сопоставлял информацию, поступающую от десятков людей вроде тебя. Твой отец просто гений в том, что касается умения сложить два и два и получить четыре.

— Значит, я, скорее всего, буду еще долго заниматься тем же самым?

— Да, надо думать, довольно долго. Да.

— Значит, я вряд ли стану постоянным сотрудником?

— То есть на жалованье? Не выдумывай. Обеспеченным людям вроде тебя не платят за такую работу.

— Понятно. Видимо, это английская специфика. Я недавно говорил с главным куратором Эшмоловского музея — узнавал, нельзя ли мне устроиться туда работать после университета. А он первым делом спросил: «Есть ли у вас независимый доход?» Дядя Джек! А что, если ББВ предложит мне работу за деньги, — может, мне стоит взяться?

— Ни в коем случае, если ты не полный идиот. Он и не предложит, но, если вдруг это случится, сразу дай мне знать. Потому что тебе это никогда не сойдет с рук. Ты вовсе не так одинок и незаметен, как думаешь. Но что это ты беспокоишься о деньгах? Ты ведь не бедствуешь?

— Да, но, кажется, все думают, что меня можно поиметь задешево. Видят во мне только денежный мешок. Неужели я сам по себе ничего не стою?

— Стоишь, конечно. Иначе я бы сейчас с тобой не разговаривал. Но на нашем деле люди

не богатеют. И ни один человек, хоть немного в нем замешанный — даже так неглубоко, как ты сейчас, — никогда не сможет полностью освободиться. Неужели ты хоть на минуту мог подумать, что у этого твоего болгарина куча денег и он раздает их людям вроде тебя? Скорее всего, его держат компроматом, а это может быть очень неприятно. А ты продолжай делать то, что делаешь, и, если когда-нибудь настанет пора говорить о деньгах, я сам подниму эту тему.

— Простите, дядя Джек.

— Ничего страшного, забудь. Забудь — во всех смыслах этого слова.

Взгляд полковника удивил и отчасти смирил Фрэнсиса. Благодушный дядюшка вдруг проявил жесткость.

В Оксфорде шла четвертая неделя летнего семестра — Троицкого, как он звался исстари. Это была «неделя восьмерок» — лодочных гонок, в которых состязались команды колледжей. Колледж-победитель становился «хозяином реки». Фрэнсис, по примеру полковника Коппстоуна, завел очень важный разговор с Исмэй на открытом воздухе. Они удобно расположились на верхней палубе баржи «Тела Христова», в гомоне толпы болельщиков, ели клубнику со сливками

и наблюдали за пыхтящими гребцами.

— Я получил странное письмо из своего банка пару дней назад.

— Мне из банка только такие и приходят.

— Меня это почему-то совсем не удивляет.

— На что ты намекаешь?

— Думаю, ты прекрасно знаешь на что. На чек, выписанный на твое имя, с моей подписью, на сумму сто пятьдесят фунтов.

Кажется, Исмэй попалась жесткая клубничина.

— Что они тебе написали?

— Попросили меня зайти посмотреть на этот чек и ответить на кое-какие вопросы.

— А что ты им сказал?

— Мы просто поговорили. Как банкир с клиентом.

— Фрэнк, послушай меня. Я положила этот чек к себе в банк, и этих денег у меня больше нет.

— Я так и думал. Ты отдала их Чарли, верно?

— Нам обязательно тут об этом говорить?

— А почему нет? Главное, не повышай голос, а если тебе нужно сказать что-нибудь особенно важное — говори шепотом, когда я закричу: «Давай-давай, молодцы!» Я тебя услышу. У меня прекрасный слух.

— О, ради бога, я серьезно с тобой разговариваю! Ты думаешь, я подделываю документы?

— Да. И если хочешь знать, я это уже давно заподозрил. Думаешь, я принял за чистую монету, когда ты вдруг начала восхищаться моим элегантным почерком и попросила тебя научить? Ты всю жизнь пишешь как курица лапой; если тебе вдруг вздумалось научиться каллиграфии, то лишь затем, чтобы писать, как я. Настолько, чтобы изменить сумму на чеке, например. А зачем это может быть нужно, а, маленькая мошенница?

— Почему в банке вообще тебя спросили?

— У всех банков есть соглашение с прокторами: если студент университета выписывает особенно большой чек, то банк обязан известить проктора. Таким образом они следят за азартными играми. Надо полагать, деньги пошли Бьюс-Боцарису в уплату долгов Чарли?

— Пойдут. Но пойми, Чарли угрожают!

— Кто, жирный князь? Не смеши меня.

— Нет, другие люди… настоящие бандиты. Фрэнк, Бьюс-Боцарис — жулик!

— Какой ужас! Жулики со всех сторон! Я дрожу от страха!

— Ради бога, отнесись к этому серьезно!

— Я совершенно серьезен. Эти гонки волнуют мою кровь. Слушай, как все кругом кричат: «Бэллиол, давай-давай!» Правда, волнительно?

— К Чарли приходили какие-то ужасные бандиты и угрожали ему! У них все долговые расписки, которые он давал Бьюс-Боцарису. Этот жирный пидор их продал!

— Не сквернословь. Эта баржа принадлежит колледжу Тела Христова, и нам следует уважать его святое имя. Тебя удивило, что ББББ продал расписки? Надо думать, ему срочно нужны были деньги и он загнал чужие долги со скидкой.

— Я никогда не слыхала ничего подобного!

— Еще услышишь, милая, еще услышишь. Когда продвинешься немного по стезе подделки документов, узнаешь много нового и удивительного. Говорят, тюрьма — это настоящая школа для начинающих преступников.

— Фрэнк, я тебя умоляю, не шути!

— Я зверски серьезен, да и как иначе, если дело касается большой суммы рыжья. Это, кстати говоря, выражение из воровского арго; ты скоро его освоишь.

— Что ты сказал в банке?

— Ну, раз они уже выдали деньги по чеку, я решил, что нет смысла ничего говорить. Они

держались очень скромно — ну знаешь, как ведут себя банкиры, когда думают, что имеют дело с настоящим кутилой.

— Ты хочешь сказать, что ты им ничего не сказал?

— Как, посрамить мой банк? И твою аккуратную работу? Ты так замечательно преобразила мой подарок! Да разве в банке смогли бы потом глядеть мне в лицо, если бы я заявил, что это подделка?

— О Фрэнк, ты такой милый!

— Милый или полный лох?

— Ну… я просто не могла поступить иначе. Но я тебя отблагодарю, по-честному.

— По-честному, в самом деле? А что ты можешь делать по-честному? Переспать со мной?

— Ну, если ты хочешь.

— Ты знаешь, что хочу. Но не тогда, когда ты это делаешь за определенную цену — спасение шкуры Чарли. По-моему, это как-то убивает всю романтику. Хотя как посмотреть… «Женщина уступает домогательствам богатого поклонника, чтобы спасти честь своего возлюбленного». Неплохо, а? Только мне не нравится расстановка ролей: либо я буду любовником, а Чарли негодяем, либо спектакль отменяется. Не желаешь ли

еще клубники?

Фрэнсис с нетерпением ждал визита к Бьюс-Боцарису. Эпоха Карлайлской школы, когда любая оплеуха или пинок повергали Фрэнсиса в смятение и беспомощность, давно прошла; он был готов обойтись с жирным князем жестко, если понадобится. Кровь банкиров — Фрэнсис и не знал, что она у него есть, — кипела в жилах, и он собирался выручить свои деньги. Пообедав в колледже, он быстро покрыл небольшое расстояние до дома и постучал в знакомую дверь.

— Корниш? Рад тебя видеть. Давай я тебе налью чего-нибудь. Надо думать, ты решился наконец присоединиться к нашему делу? Можешь говорить свободно. Роскалнс — из наших. Сегодня не покерный вечер, так что никто больше не зайдет.

— Я пришел насчет долговых расписок, которые выдал тебе Чарли Фримэнтл.

— О, не беспокойся. Мы все уладили. Чарли честно расплатился.

— Как же! Ты загнал его расписки другим людям.

— Какая разница? Главное, Чарли уже ничего не должен.

— Нет, черт побери, должен. Чтобы распла-

титься, он подделал мой чек. И эти сто пятьдесят фунтов я хочу получить с тебя.

— Сто пятьде… Слушай, Корниш, Чарли был мне должен девяносто семь фунтов четырнадцать шиллингов и одиннадцать пенсов, и я этих денег еще не видел. Кстати, сборщики долгов должны зайти ко мне как раз сегодня. Неужто этот нехороший мальчик нарисовал чек на сто пятьдесят фунтов? Это как-то нечестно с его стороны, а?

— Да, а с твоей стороны было нечестно отдавать его расписки сборщикам долгов, как ты их называешь. Они вытрясут из Чарли сто пятьдесят фунтов, из которых ты предположительно получишь свои девяносто семь фунтов четырнадцать шиллингов и одиннадцать пенсов. Скажи мне, кто эти люди. Я собираюсь донести на них прокторам.

— Слушай, Корниш, не горячись. Ты этого не сделаешь. Есть же правила, неписаные правила среди джентльменов насчет долгов и прочего. Не ввязывать в дело прокторов — это, можно сказать, правило номер один. Конечно, самое первое правило — всегда плати долги.

— Но не моими же деньгами!

— А что, моими? Чего ты вообще ко мне пришел? Иди к Чарли, это он у нас нехороший

мальчик.

— С ним я обязательно поговорю. Но меня нагрели на сто пятьдесят фунтов, и я думал, что тебе уже заплатили.

— Ни гроша. Я же сказал, я жду. И я кое-что скажу этим сборщикам. Сто пятьдесят фунтов за девяносто семь! Возмутительно!

— Да, и торговать чужими долговыми расписками — тоже возмутительно. Почему ты сам не потребовал с него денег?

— О Корниш, не будь ребенком. Я занимаю определенное положение. Мне не пристало ходить по квартирам с засаленной книжечкой. Может, конечно, у вас так принято?

— Не твое дело, что у нас принято.

Разговор перешел бы в скандал, но тут кто-то постучал в дверь квартиры. Не будь Фрэнсис так занят перепалкой с болгарином, он услышал бы шарканье и шепот за дверью. Роскалнс пошел открывать, но, выглянув в щелку, попытался снова захлопнуть дверь и был отброшен назад, а в квартиру ворвались двое решительных мужчин. Обитатели Оксфорда разделяются на три общественных класса: разнообразные люди, которые учатся или работают в университете; не менее разнообразные люди, которые прислуживают

первым или обслуживают их; и люди, вовсе не связанные с университетом, также весьма разнообразные, но на вид совершенно отличные от первых двух категорий. Пришедшие явно относились к категории номер три.

— Слушайте, мистер Бьюсь-Базарюсь, так не пойдет. Ваш Фримэнтл смылся.

— Вы хотите сказать, что он исчез?

— Я это и сказал. Он смылся.

— Я не понимаю.

— Ладушки, я объясню. Мы к нему пришли, как было договорено, и он говорит, дайте мне чуток времени, я соберу деньги, а мы говорим, ладно, только никаких фокусов, ясно? Чтоб всю сумму, и наличными. Потому что уж мы-то знаем, как нечестно люди себя ведут, когда требуешь с них долги. И нам этого не надо. Так что мы приглядывали за его домом. Он приходил, уходил, все как обычно. В этом колледже, где он живет: в Новом колледже. Кажный раз, как мы спрашивали, привратник говорил: он у себя. Но эти ребята скажут чего угодно. Вчера мы его не увидели, тихонько поднялись к нему в комнату, и, короче, оказалось, что он смылся.

— Вы хотите сказать, что не можете мне заплатить?

— Что значит «заплатить»? Мистер Бьюсь-Базарюсь, мы дали вам полсотни за евойные расписки и договорились отдать остаток от суммы в девяносто семь фунтов четырнадцать шиллингов одиннадцать пенсов, когда получим ее с Фримэнтла…

— Вы хотите сказать — когда получите с него сто пятьдесят фунтов, — перебил Бьюс-Боцарис.

— Это уже наше дело. Должны же мы что-то иметь за беспокойство? Но теперь нам придется попросить эти полсотни назад, раз нас нагрели.

— Но не я же вас нагрел!

— А это без разницы. Гоните деньги.

— Не выдумывайте.

— Слушайте, мистер Бьюсь-Базарюсь, мы не хотим поднимать шум, но либо вы сейчас заплатите, либо мой коллега вас немножко убедит.

Молчаливый коллега тихо кашлянул, прочищая горло, и стал разминать кисти рук, очень похоже на то, как это делают пианисты. Сборщик, который объяснялся с болгарином, впервые обратился к Фрэнсису:

— Вам, пожалуй, лучше уйти. Это наше частное дело.

— Мое тоже, — возразил Фрэнсис. — Мне и самому надо кое-что получить с Чарли.

— Это уже становится слишком сложно, — заявил сборщик. — Не век же нам тут сидеть. Ну-ка, мистер Бьюсь-Базарюсь, стойте смирно, а вы, джентльмены, отойдите подальше, пока мой коллега его вежливо обыщет. Это не страшно, главное — не сопротивляться.

Коллега вежливо, но решительно двинулся к Бэзилу, вытянув перед собой руки, словно собирался его щекотать. Бьюс-Боцарис попятился в угол и потянулся рукой к карману пиджака.

— А ну без фокусов! — воскликнул говорливый сборщик.

Коллега же схватил руку Бэзила, которая дернулась кверху. Пистолет зацепился в кармане и выстрелил с грохотом, подобным пушечному. Бьюс-Боцарис заорал даже громче выстрела и упал на пол.

— Господи, он застрелился! — воскликнул сборщик.

— Яйца отстрелил! — отозвался молчаливый коллега, впервые открыв рот.

Сборщики рванулись к двери, пересекли узкий вестибюль, выбежали на улицу и скрылись.

В Оксфорде редко стреляют. Устав университета строго запрещает использование огнестрельного оружия. Не прошло и нескольких секунд, как на

звук прибежали мистер Тасним Хан со второго этажа, мистер Уэстерби с третьего, мистер Колни-Оверэнд — сосед Бэзила по первому этажу, а также домовладелец и принялись выкрикивать противоречащие друг другу советы. Фрэнсис дотащил Бьюс-Боцариса до кресла, усадил его, и стало ясно, что болгарин прострелил себе ногу, но не очень серьезно.

Через полчаса Роскалнс увез раненого, который стонал, как рожающая корова, на такси в Рэдклиффский лазарет. Фрэнсис и домовладелец отправились на поиски прокторов, чтобы сделать заявление. В заявлении говорилось только то, что к болгарину пришли двое мужчин, потребовали денег — по-видимому, в связи с какой-то задолженностью; никто ни в кого не стрелял, а ранение было вызвано чистой случайностью. Младший проктор, который уже всякого повидал, поднял брови при слове «чистой», записал имена участников, предупредил Фрэнсиса, чтобы тот не покидал Оксфорд, пока идет дознание, и позвонил в больницу с распоряжением, чтобы Бьюс-Боцариса не выпускали, пока его не допросят.

Фрэнсис отправился в Леди-Маргарет-Холл, где ему удалось быстро поговорить с Исмэй, так как до закрытия ворот оставалось еще четверть часа.

— Да, Чарли смылся. Я знала, что он собирается.

— Куда?

— Наверно, я могу тебе сказать, раз он все равно не вернется и его не найдут. Он поехал в Испанию сражаться за правое дело.

— Какое же из них — правое?

— Республиканцев, конечно. Ты же знаешь Чарли.

— Ну… хорошо хоть ты не оказалась замешана. И не окажешься, если тебе хватит ума держать рот на замке.

— Спасибо, Фрэнк. Ты очень милый.

— Да, этого я и боюсь.

Может быть, «милый» и означало «простофиля», но Фрэнсис все же был вознагражден. Тетя Пруденс Глассон пригласила его провести две недели по окончании семестра в имении «Сент-Колумб», родовом гнезде Глассонов. В письме тети Пруденс говорилось, что они с Исмэй, кажется, подружились и семья будет рада видеть его у себя, так как прошло очень много времени с тех пор, как он гостил в соседнем Чигуиддене. Фрэнсис помнил, что в тот раз Глассоны не нашли нужным позвать его в гости, хотя Пруденс — сестра его отца, а ее мерзкие младшие дети постоянно

виделись с Фрэнсисом и сочли его подходящей мишенью для травли. Но он не держал на них зла: слишком заманчивой была перспектива две недели жить рядом с Исмэй, без Чарли и прочих отвлекающих ее прелестей Оксфорда.

Ужасные дети за это время стали намного сноснее. Две девочки, Исабель и Амабель, превратились в толстых, неуклюжих школьниц, которые мучительно краснели, когда Фрэнсис к ним обращался, а когда он напомнил им про змею в кровати — заерзали и захихикали. Родерик, их старший брат, уже семнадцатилетний, был явным продуктом Винчестера и, кажется, перешел сразу в состояние государственного мужа, минуя юношество; но Родерика почти не было видно, так как он почти все время готовился к экзамену на стипендию, который ему предстояло держать когда-нибудь в будущем. Так что буйный нрав, который Фрэнсис привык ассоциировать с кузенами Глассон, сохранился у одной Исмэй.

С матерью она разговаривала небрежно, словно не принимая ее в расчет, а с отцом постоянно спорила — из принципа. Надо сказать, что Родерик Глассон-старший действительно напрашивался на споры: он был той же политической окраски, что и дядюшка Артур Корниш, то есть его кон-

серваторство было осторожным отзвуком былых лет. Правда, он не опускался до возгласов типа «Куда катится мир!», но часто произносил слово «нынче» так, что сразу становилось ясно: от мира, который совершенно сошел с ума и даже забыл, как прекрасна была жизнь до 1914 года, ждать решительно нечего. Этот принцип распространялся в том числе и на женскую красоту.

— Жаль, что ты не видел свою мать, когда твой отец на ней женился, — сказал он Фрэнсису. — Невероятная красавица. Нынче такие женщины уже не родятся. Господь разбил форму, по которой их отливали.

— Вот это был бы номер, если бы он мог видеть свою мать, когда его отец на ней женился, — заметила Исмэй.

— Исмэй, милая, не цепляйся к каждому папиному слову, — сказала тетя Пруденс, и привычная семейная перебранка возобновилась.

— А почему люди не могут говорить попросту и вместо этого несут какую-то чушь?

— Ты прекрасно поняла, что я имел в виду, но тебе очень хочется показать, какая ты умная стала у себя в Оксфорде.

— Если ты не хотел, чтобы я стала умная в Оксфорде, зачем пилил меня, чтобы я получила эту

несчастную стипендию? Лучше бы я осталась дома и изучала человеческую глупость. Вышло бы гораздо дешевле.

— Исмэй, ты уже слишком большая, и я не могу выгнать тебя из-за стола. Единственное, что мне остается, — это уйти самому. Фрэнсис, не желаешь ли сигару?

— Мы все равно уже все доели, и ты, папочка, совершенно зря изображаешь христианского мученика. Это не аргумент.

— Фрэнсис, я так хорошо помню свадьбу твоей матери! — сказала тетя Пруденс, выступая в роли миротворца. — Но кажется, у тебя был старший брат? Я припоминаю, что твой отец тогда написал нам из Швейцарии.

— Да, был старший брат, тоже Фрэнсис, но он умер.

Именно память о старшем Фрэнсисе смягчала мнение живого Фрэнсиса об Исмэй и ее родителях. В мире, где встречаются тайны вроде Лунатика, споры Глассонов казались мелочами. Как там у Вордсворта? Чуть слышная мелодия

людская, печальная… смирять и подчинять?[60] Да, что-то такое. Вездесущая, глубоко спрятанная скорбь. Нужно стараться понять, нужно сглаживать острые грани. Конечно, Фрэнсис был на стороне Исмэй, но не для того, чтобы сражаться. Ее родители — скучные, заурядные люди, а она слишком молода, слишком полна света и жизни, чтобы быть терпеливой. Наверное, ей никогда не приходилось проявлять терпение. Фрэнсис не знал, что его представление о семейной жизни почти совпадает со взглядами Шекспира: родители, если они не звезды вроде короля Лира, — второстепенные персонажи, мешающие, комические, не стоящие внимания. Один лишь Кориолан слушался своей матери, и вот видите, к чему это его привело!

Фрэнсис не думал о Шекспире, но легенда о Граале вновь завладела его душой. Он снова стоял

---

[60] Примечания: 60

Как там у Вордсворта? Чуть слышная мелодия людская, печальная… смирять и подчинять? — Перефразированная цитата из стихотворения У. Вордсворта «Строки, написанные на расстоянии нескольких миль от Тинтернского аббатства при повторном путешествии на берега реки Уай», перевод В. Рогова:

…но часто слышу
Чуть слышную мелодию людскую,
Печальную, без грубости, но в силах
Смирять и подчинять.

на священной земле Корнуолла, и его страсть к Исмэй ложилась на сюжет истории Тристана и Изольды, а также другого, еще более первобытного и волшебного мифа.

Это, несомненно, была страсть. Фрэнсису было двадцать четыре года, так что он не страдал и не чах, как мальчишка. Но душа его болела и рвалась к Исмэй; он желал видеть ее счастливой и довольной жизнью. Он, как все влюбленные, верил без всяких на то оснований, что на его любовь ответят. Он так любил Исмэй, что она не могла не заразиться этой любовью. Он не думал о себе уничижительно, не считал, что у него чего-то не хватает по сравнению с другими молодыми людьми. Но при виде Исмэй во всем ее великолепии он смел надеяться лишь на позволение служить ей, посвятить жизнь ей и ее желаниям.

Исмэй все это знала, и то, что она позволила себя уговорить и согласилась провести с ним день в Тинтагеле, возможно, заслуживало удивления. Конечно, она как следует его помучила. Может, им стоит взять с собой Исабель и Амабель? Девочки нечасто выбираются из дому. Ведь нельзя быть эгоистами, правда? Но на этот раз Фрэнсис твердо решил быть эгоистом.

В день пикника выдалась хорошая погода — хо-

тя, поскольку они были в Корнуолле, не без дождя. Исмэй еще не бывала в Тинтагеле, и Фрэнсис без устали распространялся о его истории: замок Черного Принца, а до того — монастырь, выросший вокруг отшельнической обители святой Иулитты,[61] а еще дальше, в тумане веков, — Артур, загадочная фигура пятого века, возможно последний хранитель римского порядка в Британии, захваченной дикими северянами, или даже лучше того — могучая фигура из валлийских легенд.

— Он что, тут жил? — спросила Исмэй, вроде бы мало-помалу поддаваясь атмосфере рассказа и духу места.

— Он тут родился, и зачали его тоже тут, чудесным образом.

— Почему чудесным образом?

— Его мать была принцесса неописуемой красоты, жена герцога Корнуолльского. Ее звали Игрейна. Великий кельтский военачальник и вождь Утер Пендрагон увидел ее, воспылал к ней желанием и не мог успокоиться. Он призвал на помощь волшебника Мерлина, и Мерлин окру-

---

[61] Примечания: 61

Святая Иулитта (Улита) — по преданию, римлянка, вдова, принявшая вместе с сыном Кириком мученическую кончину ок. 305 г. н. э. во время гонения, воздвигнутого на христиан императором Диоклетианом (284–305). Иулитта и Кирик причислены к лику святых.

жил этот замок волшебным заклинанием, так что однажды, когда муж Игрейны был в отъезде, Утер смог явиться к ней в облике ее мужа и именно тут зачал удивительное дитя, ставшее впоследствии королем Артуром.

— А герцог так и не узнал?

— Герцогу не повезло: в ту же ночь, когда ему наставили рога, его еще и убили, хотя это сделал не один и тот же человек. Артура воспитал другой рыцарь, сэр Эктор, а наставником его был Мерлин.

— Повезло ему.

— Да. Но неужели вы этого не проходили в школе? Ведь ты корнуолльская девушка — корнуолльская принцесса.

— В школе у нас считалось, что мифы бывают только греческие.

— Они и в подметки не годятся великим нордическим и кельтским.

Так Фрэнсис начал плести заклинание, которое давно уже составлял мысленно, и так успешно, что Исмэй поддалась; она была нежнее и послушнее, чем когда-либо, и наконец на автомобильном пледе, под сенью развалин — возможно, замка Черного Принца, или древней обители братства святой Иулитты, или того самого замка, где зача-

ли Артура, замка герцога Горлойса, ославленного в легенде рогоносцем, — отдалась Фрэнсису, и ему казалось, что мир прекрасен, как никогда, и не бывало в нем такого счастья со дней великой легенды.

На обратном пути к семейному автомобилю Глассонов, тоже похожему на остаток какой-нибудь древней легенды, Исмэй была молчалива и ступала как-то странно.

— Что-то не так?

— Ничего страшного. Просто под плед закатилась пара камешков. Знаешь, как в лимерике:

Любил один парень в Тулоне
Подружку на каменном склоне.
Ей камни в филей
Впивались сильней —
От страсти ли бедная стонет?

Фрэнсис так затерялся в роскошном счастье пережитого дня, что проглотил и это — как чувственную прямоту речи, подобающую кельтской принцессе века легенд.

Фрэнсис серьезно отнесся к совету Сарацини прекратить флиртовать с цветом и выяснить, что это на самом деле такое. Следовательно, он

должен был работать с масляными красками, с которыми никогда не имел дела, если не считать нескольких жалких попыток. Он знал, что начинать надо всерьез. Так что, покинув Корнуолл — уезжать не хотелось, но он знал, что оставаться сверх двух недель не следует, — и пользуясь летними каникулами, Фрэнсис направился в Париж и там почти каждый день работал в Академии Гранд-Шомьер — художественной школе, директором которой в то время был Отон Фриез. Фрэнсис покупал билет у привратника, приходил рано, сидел допоздна, перепортил кучу холстов, покрывая их грязным месивом из красок, и наконец научился воплощать в дело горстку принципов, которые по одному швырял ему Фриез — едва слышно и с явным презрением.

Всегда рисуй толстым по тонкому. Всегда клади теплые тона поверх холодных. Грунтовать надо краской, хорошенько разбавленной скипидаром, а потом — толстый слой цвета, смешанный с мастиксом или венецианским терпентином. Не размазывай сначала краску на палитре: свежая краска дает самый лучший эффект. Никогда не добавляй цвет поверх того же цвета. Всегда клади теплые тона поверх холодных; каждый последующий слой краски должен быть тоньше

предыдущего, и так до самого верха. Всегда толстым по тонкому. Сама простота — совсем как те несколько нот, которые Моцарт написал на обороте письма и дал своему ученику Зюсмайеру, чтобы объяснить, как надо сочинять музыку. Но следовать этим советам оказалось вовсе не так просто. От полного позора Фрэнсиса спасало умение рисовать. В мастерской было множество учеников, которые вовсе ничего не знали о рисовании; от их мольбертов Фриез отворачивался порой, бормоча: «Quelle horreur!»[62] Но Фриез нечасто заходил в мастерскую. Он давал совет и бросал ученика на произвол судьбы, чтобы тот боролся, пока не овладеет приемом или не сложит оружие. Фриез предоставлял ученикам место для работы, атмосферу, имя и изредка — ценные советы; и довольно.

После десяти недель тяжелой работы Фрэнсис решил, что заслужил каникулы, и отправился в Рим. Он хотел посмотреть город, а заодно выяснить, зачем Сарацини зазывал его в гости: из вежливости или это было нечто большее?

Это оказалось нечто гораздо большее. Сарацини настоял, чтобы Фрэнсис остановился у него и

---

[62] Примечания: 62
«Какой ужас!» *(фр.)*

взял его в провожатые по великому городу. Места для гостей у Сарацини вполне хватало.

В квартире у него царила чудесная, роскошная неразбериха. В течение тридцати лет Танкред Сарацини не мог отказать себе, если подворачивалась возможность купить по дешевке или просто по сходной цене хорошую картину, предмет мебели, гобелен, вышивку или скульптуру, — а такое с ним случалось все время. Его квартира не походила на гнездо скряги: каждая вещь была прекрасна сама по себе, все вещи располагались со вкусом, эффектно, насколько позволяло свободное место. Но даже в большой квартире свободное место небесконечно, и, хотя Сарацини не желал этого признавать, предел вместимости его жилья был давно превышен. Общий эффект ошарашивал.

Почему ошарашивал? Потому что целое было значительно больше суммы частей. Коллекция была разнородная, но гармоничная — в ней воплотился вкус одного фанатика, блестящего, гениального ценителя искусств. Это был Сарацини, раздутый до огромных пропорций. Душа человека размером с дом.

Сама квартира была частью старого дворца и выходила на маленькую, некогда очаровательную площадь — посреди нее стоял фонтан,

играющий струйками воды. Но то было в дни, когда Рим еще не опустился, испорченный и изнасилованный автомобилями, подобно множеству других городов. Ныне маленькую площадь ежедневно набивали под завязку припаркованные машины; они приезжали и уезжали, наполняя вонью недвижный сентябрьский воздух. Фонтанчик еще играл, но его чаша была забита мусором и обертками от еды, а чистили ее очень редко. Поскольку наружный воздух был загажен выхлопами, Сарацини весьма логично отказывался открывать окна, и это никак не помогало развеять гнетущее впечатление от его жилища. Оно в буквальном смысле хранило атмосферу вчерашнего дня.

Сарацини жил один. Каждое утро в квартиру приходила женщина и убиралась, насколько он позволял; пыль с предметов искусства он вытирал сам и сам же полировал то, что требовало полировки. Да, он был когда-то женат — на очаровательной английской даме, которая в конце концов решила, что больше не может так жить, и они расстались друзьями. «Танкредо, — сказала она, — ты должен принять решение: коллекция или я?» Он думал недолго. «Дорогая, — сказал он, — коллекция вечна, а ты, как ни больно мне

это говорить, пленница времени». Она засмеялась так дивно, что он почти передумал, но в конце концов удержался. Замечательная женщина! Они встречались — это были дивные встречи — каждый раз, когда он приезжал в Англию. У Сарацини была еще и дочь — счастливо замужем во Флоренции, где он ее время от времени навещал. Ее никак не удавалось заманить в эту квартиру — даже ненадолго.

Сарацини философски относился к одиночеству. Он сделал свой выбор. Если уж приходится выбирать между искусством и человеческими отношениями — искусство, конечно, важнее.

Он был гостеприимнейшим хозяином. Он водил Фрэнсиса по всему городу и показывал ему то, чего не увидел бы и самый привилегированный турист. Нельзя сказать, что двери Ватикана с грохотом распахнулись им навстречу, — на самом деле они неслышно, медленно приоткрылись, поворачиваясь на хорошо смазанных петлях, — но мало какая дверь не открывалась перед Сарацини. Они побывали в кардинальских дворцах, куда не допускали публику, но где дворецкие знали Сарацини как особо важного друга дома. И в великом множестве церквей, часовен и дворцов Сарацини скромно замечал, что такой-то шедевр

живописи вновь обрел свою красоту лишь благодаря реставрации, проведенной им лично.

— Вы ремонтируете Ренессанс, — пошутил однажды Фрэнсис.

Но Сарацини воспринял его слова всерьез.

— Да, — сказал он. — Это задача, к которой я отношусь очень серьезно. Но то, что я делаю, нельзя назвать ремонтом. Скорее — восстановлением. Эта работа требует особых знаний и методов. Если хотите их перенять, приходите работать со мной. — И он взглянул Фрэнсису в глаза, словно подталкивая.

— Дайте мне сперва окончить учебу. Я уже два года отучился, теперь жалко бросать. Остался третий год. И тогда, если вы готовы меня принять…

— К тому времени я начну заниматься одной очень большой и сложной задачей. Частной коллекцией, которой позволили прийти в совершеннейший упадок. Но я думаю, что большую часть удастся восстановить. Мне нужен будет помощник. Я обещаю, что вы многому научитесь.

— Мне всему надо учиться. Работая в Париже, я понял, что совершенно никуда не гожусь как живописец.

— Нет-нет-нет, вы научились основам, и нужно время, чтобы они проявились в вашей работе.

Все то, что вы мне рассказывали, — толстое по тонкому и так далее — очень хорошо, но вы это делали с современными красками. Если станете моим учеником, вам придется научиться делать то же самое со старинными красками: в каком-то отношении это труднее, в других — легче.

— Со старинными красками? А откуда они берутся?

— Я сам их делаю. Как делали старые мастера. Они, знаете ли, не покупали краску в магазине. Они делали ее сами, и очень большая часть моей работы состоит в том, чтобы выяснить, какую именно краску они использовали и ее состав. Вы знаете, что Николас Хиллиард в своих роскошных елизаветинских миниатюрах использовал ушную серу? Что такое ушная сера, тщательно собранная из тысяч ушей? Я знаю. Весь секрет — в химии. Нельзя отреставрировать старинную картину красками, непохожими на те, которыми она была написана. А когда вы это сделаете… Впрочем, вы сами увидите, что будет дальше… что должно быть дальше, если реставрация — это реставрация, а не просто халтура.

По ночам они сидели в роскошной квартире и потягивали шотландский виски — любимый напиток Сарацини. Под хмельком Фрэнсис заго-

варивал о собственных вкусах. Он страдал из-за того, что, несмотря на все усилия, старинная живопись по-прежнему нравилась ему больше современной. Что же он тогда такое? Как он может надеяться стать художником, даже самым скромным, если живет и чувствует не в лад с собственной эпохой? Если картины, которыми он одержим, не современны ни техникой, ни стилем? Взять, например, Бронзино…

— А, Бронзино! Так называемая «Аллегория любви». Интересно, кто дал ей такое невыразительное название? Эта картина вовсе не о любви в ее высшей точке, но о роскоши, о наслаждении всех чувств. Несмотря на эротическое великолепие и напоминание о чувственных удовольствиях, это глубоко моральная картина. Старые мастера были выдающимися моралистами, знаете ли, даже такой человек, как Анджело Бронзино, которого многие недалекие критики называли холодным и бессердечным художником. Вы, конечно, уловили мораль, стоящую за этой картиной?

— Я разглядывал ее буквально часами, и чем больше смотрел, тем меньше понимал.

— Значит, посмотрите еще раз. Ведь вы когда-то получили награду за изучение античной

литературы!

— Это на самом деле не античная тема. Да, главные персонажи — Венера и Купидон, но они не делают ничего такого, что можно было бы соотнести хоть с одним известным мне классическим произведением.

— Вы должны понимать классику так, как ее понимали в эпоху Возрождения, а не так, как ее понимают в средней школе. Вы должны проникнуть в мир Античности — а он вовсе не мертв, уверяю вас: классическая мораль, классические чувства. Венера соблазняет своего сына Купидона, чтобы он выказал отнюдь не сыновнюю любовь. Разве не так же поступают многие матери? После Фрейда на светских вечеринках стало модно болтать про эдипов комплекс, то есть любовь сына к матери; но кто рискнет заговорить о роли матери в этом деле? Скажите начистоту: ваша мать, чью красоту вы неоднократно превозносили в разговорах со мной, — неужели она никогда с вами не флиртовала? Никогда не дарила вам ласку, которую трудно было бы назвать материнской?

— Она никогда не засовывала язык мне в рот и не поощряла играть со своими грудями, если вы об этом.

— Да, но возможность… неужели такая возможность никогда не возникала? Может быть, вы распознали бы ее, будь вы язычником, жадным до наслаждений, а не христианином, запуганным религией до потери рассудка?

— Маэстро, боюсь, я утерял нить ваших рассуждений.

— Я порой об этом думаю. Фрейд начал все эти разговоры про отцов, которые возбуждают эротические чувства в дочерях, но никто не говорит о матерях, которые то же самое делают с сыновьями. Неужели дело и впрямь обстоит так… односторонне?

— Там, где я рос, инцест не был редкостью. Я знал одного парня — сына лесоруба, погибшего на лесоповале. Этот парень с двенадцати лет был вынужден удовлетворять свою мать, вынь да положь, пять раз в неделю. Когда я последний раз о нем слыхал, у него было двое братьев, которые, скорей всего, приходились ему сыновьями. Он так и не женился, — видно, необходимости не было. Впрочем, эти люди жили в условиях, которые люди эпохи Возрождения назвали бы крайне примитивными.

— Не решайте за людей эпохи Возрождения. Но я говорю о возможностях, а не о свершившихся

фактах. Возможности — это такие штуки, которые плавают в воздухе и никогда не опускаются на землю, и они бывают чрезвычайно сильны. Привилегия художника в том, что он может поймать их и превратить в картины, и такие картины бывают самыми сильными. Что есть изображение Мадонны — каких мы видели множество за прошедшую неделю, — как не портрет матери с сыном?

— Святой Матери и Сына Божьего.

— В мире мифов и искусства все матери святы, потому что именно так мы их воспринимаем в глубинах сердца. Нет, не сердца; современные люди только думают, что чувствуют сердцем. В эпоху Возрождения сказали бы «в глубинах печени». А на самом деле — кишок. Поклонение Матери — реальной или мифической — всегда идет из кишок. Вы никогда не задавались вопросом: почему на столь многих картинах Иосиф, земной отец, выглядит таким болваном? На самые лучшие картины его вообще не допустили. А это, Фрэнсис, один из не высказанных словом краеугольных камней нашей могучей веры: любовная связь Сына и Матери. Если верить Писанию, ни одна женщина никогда не оспаривала ее единоличной власти. Но в этих мадоннах нет

ничего явно эротического. А у Бронзино — есть; в своей картине он сбросил цепи христианства и показал истину как она есть — отвергнутую, презираемую любовь… Вы когда-нибудь смотрели на эту картину по-настоящему? Вы оценили мастерство художника, но поняли ли вы, о чем он говорит? Венера держит яблоко в одной руке и стрелу в другой. То есть она говорит: я соблазняю тебя и собираюсь тебя ранить. А посмотрите на фигуры заднего плана: за Купидоном — полубезумная Ревность, она так явно говорит об отчаянии, об отвергнутой и презираемой любви; малыш Наслаждение собирается осыпать участников любовной игры розовыми лепестками — но видите у его ног шипы и маски, символизирующие ложь и иллюзии мира, меченные горечью старости? А кто это стоит за смеющимся Наслаждением? Задумчивое, привлекательное лицо… богатый наряд почти скрывает львиные лапы и жало змеи… руки преподносят медовые соты и одновременно с ними — нечто ужасное. Это, должно быть, Обман — по-латыни *fraude,* — который так ловко превращает любовь в безумие. А кто эти старик и молодая женщина в верхней части картины? Конечно, это Время и Истина; они отдергивают занавес, показывая миру, что

такое на самом деле любовь. Время — и его дочь Истина. Не правда ли, эта картина исполнена высокой морали?

— В вашей интерпретации — несомненно. А так как я ни разу не слышал никакой другой интерпретации, то не могу спорить. Но мне страшно думать, что Бронзино так видел любовь.

— И неудивительно. Но вы знаете, на самом деле он вовсе не так ее видел. Эта картина, которая так зачаровала вас в Национальной галерее, была лишь половиной замысла. Целостное произведение замышлялось как два гобелена. Один из них был закончен и хранится во Флоренции, в галерее Арацци. Он называется «Невинность». На нем изображена Невинность, которой угрожают пес (символизирующий Зависть), лев (Ярость), волк (Жадность) и змея (Предательство), а защищает ее грозная Справедливость, женская фигура с могучим мечом; и мы снова видим Время — с песочными часами и с крыльями (ибо Время летит, как известно каждой мартышке); старик Время сбрасывает плащ с обнаженной девушки — это, конечно, его дочь Истина. Так что на самом деле эти картины должны называться «Аллегории Истины и Роскоши», и они — великолепные проповеди эпохи Возрождения. Вместе они по-

вествуют нам многое о жизни и любви, как их видел христианский разум, освеженный новым прикосновением к античности.

— Маэстро, вы мне ужасно напоминаете мою дорогую тетушку Мэри-Бен. Она всегда утверждала, что картины рассказывают истории и что в них заключены моральные уроки. Но видели бы вы картины, которые она использовала в доказательство!

— Я совершенно уверен, что видел многие из них. Их мораль принадлежит определенной эпохе, а истории, которые они рассказывают, — сладкие и красивые, созданные для людей, которым нужно слащавое, красивое, ограниченное искусство. Но эти картины принадлежат древней традиции, совершенно отличной и от бесчисленных пейзажей с фигурами, и от абстрактных узоров, нарисованных людьми, не желающими говорить никому ничего, за исключением того, что они увидели внутри себя и облекли в легкоусвояемую форму. Но от традиции, которую, хоть и по-разному, уважаем мы с вашей тетушкой, отмахнуться не так просто; и работы, выполненные в этой традиции, нельзя разбирать так, словно они принадлежат другой традиции, полностью объективной. Если вам есть что сказать и вы это

говорите в меру своих сил — тут нет ничего плохого, даже если вы художник. Этим занимаются лучшие современные художники. Например, в голову приходит Пикассо. Подумайте о Пикассо.

Но Фрэнсис больше не мог думать о Пикассо и вообще о чем-либо, кроме непосредственных житейских забот, когда прочитал письмо, переправленное из колледжа и настигшее его за два дня до возвращения в Англию.

Дорогой Фрэнк!

Спешу обрадовать: я залетела, сомнений нет никаких. Уже два месяца. Я хотела скрыть эту интересную новость от родителей до твоего возвращения в Англию, но у меня не получилось. Нет, я не ввалилась домой босиком и с узлами, как Тэсс из рода д'Эрбервиллей,[63] *но меня выдало то, что я упорно блевала каждое утро как по часам. Последовали долгие семейные советы, папа произносил пространные мрачные речи, маман рыдала, и в конце концов встал вопрос: что делать? Я сказала, что съезжу в Лондон, чтобы какой-нибудь умелый доктор отправил этого*

---

[63] Примечания: 63

...я не ввалилась домой босиком и с узлами, как Тэсс из рода Д'Эрбервиллей... — «Тэсс из рода д'Эрбервиллей» — роман Томаса Гарди, опубликован в 1891 г.

маленького оккупанта туда, где раки зимуют, но предки подняли ужасный крик. Папа — церковный староста и очень серьезно к этому относится. Им подавай свадьбу. Но не падай в обморок. Они вовсе не считают тебя черным матерым бараном, покрывшим их белую овечку.[64]*(Это из Шекспира.) Они даже пару раз ехидно намекнули, что овечка, пожалуй, была и сама не прочь. Нет, они считают тебя весьма желательной партией (как говорили в дни молодости маман). Когда я сказала, что ты, может быть, вовсе и не жаждешь на мне жениться, они заявили, что кровь не вода (еще бы, она гораздо сильнее пачкается), и мы с тобой кузены (в других кругах это, пожалуй, было бы доводом против, а не за), и этот брак желателен во множестве других отношений, а не только как средство сохранить лицо. Как ты уже догадался, у Глассонов очень много лица, которое приходится сохранять, и чертовски мало всего остального. Так что ты скажешь? Не теряй времени. Подумай хорошенько и дай мне знать.*

---

[64] Примечания: 64

…черным матерым бараном, покрывшим их белую овечку. — Перефразированная цитата из трагедии В. Шекспира «Отелло», акт 1, сц. 1, перевод М. Лозинского:

> *…вашу белую овечку*
> *Там кроет черный матерой баран.*

Если ты поддерживаешь мой план, то все нужно делать быстро.

Целую и все такое,
Исмэй

Фрэнсис поразмыслил на протяжении утра и дал телеграмму:

ГОТОВЬТЕСЬ СВАДЬБЕ КАК МОЖНО СКОРЕЕ ТЧК БУДУ
ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ЦЕЛУЮ ВСЕХ
ФРЭНК

Энтузиазм, звучащий в телеграмме, был неискренним. Фрэнсису вовсе не хотелось жениться на Исмэй — да и ни на ком другом тоже. Он понял: на самом деле он хочет быть влюбленным, но вовсе не хочет связывать себя узами брака, о которых у него сложилось не слишком приятное впечатление. Против аборта возражала его неумолимая совесть католика при поддержке равно неумолимой совести кальвиниста, взращенной в нем Викторией Камерон. Как это могло случиться? Почему он не принял мер предосторожности? Разгадка была в том, что он счел меры предосторожности неромантичными, а с Исмэй в Тинтагеле все должно было происходить макси-

мально романтичным образом. «У стоячего хера совести нет» — эту суровую мудрость он впервые услыхал в Колборн-колледже. Он не сомневался, что Глассоны смотрят на дело именно таким образом. Он просто не смог бы объяснить им, что сам видел происшедшее в совершенно ином свете, и к тому же это ничего не меняло. Что же делать? Фрэнсису ни на минуту не пришло в голову бросить Исмэй в беде, не говоря уже о том, что в этом случае Глассоны и его собственные родители достанут его из-под земли и убьют. Его карьера — насчет которой у него не было твердых планов, а только масштабные, туманные ожидания — будет погублена, ибо Исмэй вписывалась в картину будущего только в роли Идеальной Возлюбленной, но никак не в роли жены и матери. Он намеревался стать рыцарем Грааля, который скитается в поисках приключений и лишь время от времени возвращается к своей даме. Эти мысли снова и снова крутились у него в голове, и в конце концов он услышал неприятный голосок совести, который шептал, что Фрэнсис на самом деле большой глупец, особенно для двадцатишестилетнего молодого человека с репутацией умника.

Перспектива встречи с Глассонами в новом

качестве гораздо больше пугала Фрэнсиса, чем воссоединение с беременной Исмэй. Ни тогда, ни потом ему так и не удалось полностью изгнать дух доктора Аппера, и в глубине души Фрэнсис был уверен, что совершил нечто грязное и, несомненно, будет справедливо наказан. Но по прибытии на ближайшую к «Сент-Колумбу» железнодорожную станцию он увидел отца и мать Глассон, которые приветствовали его с небывалой теплотой; самой трудной задачей, выпавшей на его долю, было поцеловать Исмэй тут же на перроне в правильном духе — как признанный и одобренный ухажер, а не как удачливый соблазнитель. О том, что было у всех на уме, никто не сказал ни слова до той минуты, когда окончилось чаепитие и Родерик Глассон с чудовищной непринужденностью предложил Фрэнсису пойти пройтись.

Все, что говорилось на этой прогулке, потом было повторено неоднократно, и намерения с каждым разом становились яснее. Очень жаль, что дело приняло несколько преждевременный оборот, но Фрэнсис, конечно, понимает: нынче на дворе 1935 год, а не темные века Викторианской эпохи. Если подойти к делу с умом, то все будет хорошо. Свадьба состоится через две недели с

небольшим; первое оглашение в приходской церкви уже было. Свадьба будет очень скромная — человек шестьдесят-семьдесят, не больше. Потом Исмэй и Фрэнсис поедут куда-нибудь в длительное свадебное путешествие, а когда вернутся с ребенком — через год или около того, — все будет шито-крыто. Да и кому какое дело, кроме семьи?

Фрэнсис помнил, что такой эпизод уже был в семейной истории, но Родерик Глассон, конечно, не мог знать, почему его слова обдали холодом сердце будущего зятя. Это Виктория Камерон рассказала Фрэнсису, что именно из такого свадебного путешествия его родители привезли Лунатика. Боже! А вдруг ребенок окажется таким же страшилищем? Вдруг Фрэнсис носит это темное наследство в себе? Рассудок говорил, что это, скорее всего, не так, но характерная для Фрэнсиса склонность к мифологическому мышлению твердо поставила рассудок на место. Быть может, Лунатик — это кара за что-нибудь? Фрэнсис не осмеливался задать себе вопрос — за что; он был совершенно уверен, что его родители никогда бы не оступились так, как они с Исмэй. Все, что он знал о своих родителях, подтверждало немыслимость такого предположения. Да и вообще, он не

сомневался, что он — истинный сын своего отца; семейное лицо было самым веским доказательством. Видно, с Лунатиком просто не повезло. Но какого рода это невезение?

Эта мучительная каша догадок, иррациональных, беспорядочных, суеверных, была как нельзя более осязаемой. А как понять телеграмму, которая пришла из Канады?

ПОЛУЧИЛИ НОВОСТИ РОДЕРИКА
ЦЕЛУЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ
НЕ МОЖЕМ ПРИСУТСТВОВАТЬ СВАДЬБЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
БУДЬ ОЧЕНЬ ОСТОРОЖЕН ЛЮБЫМИ РАСПОРЯЖЕНИЯМИ ДЕНЬГАХ
ОТЕЦ

Распоряжения о деньгах? Разговоры о чем-то подобном уже были. Во время другой прогулки Родерик объяснил, что Глассоны, как и все остальные землевладельцы, находятся в стесненном положении. Дохода от арендаторов не хватает на покрытие расходов, налоги просто душат, а возделывать землю невозможно без крупных затрат на механизацию. Имение требует новых капиталовложений, иначе придется продать большую часть родовых земель Глассонов. Хотя и продажа

земель позволит лишь на время заткнуть дыры. Родерик отважно заглянул в будущее и увидел только одну надежду для «Сент-Колумба» и всех семейных угодий — новые деньги. Либо семья получит существенные вливания капитала, либо… либо в конце концов ей грозит разорение.

Фрэнсис никогда не подумывал о сельском хозяйстве? Нет, Фрэнсис об этом никогда не подумывал. Вряд ли он захочет стать землевладельцем и фермером.

Родерик засмеялся — почти музыкально. Об этом и речи быть не может. Имение перейдет к Родерику-младшему, единственному сыну. Не то чтобы это предписывалось законом, но так всегда было и всегда будет. Однако юный Родерик твердо намерен делать карьеру в Уайтхолле, и у него к этому явные способности. Но если — только предположим — Исмэй и Фрэнсис поселятся во флигеле, очень приличном, на территории усадьбы, а Родерик и Пруденс будут по-прежнему жить в большом доме, пока наконец обстоятельства не заставят их уйти на покой (тут Родерик с искусством неумелого актера изобразил мужественное приятие судьбы, старости и смерти), тогда имение можно будет полностью рефинансировать, а семейные владения — Фрэнсис и сейчас кузен, а

скоро станет вдвойне родственником — оживить наилучшим возможным образом. Насчет хозяйства Фрэнсису вовсе не придется беспокоиться: Родерик знает сельское хозяйство как свои пять пальцев и, кроме того, в усадьбе есть отличный управляющий, который при наличии нужных средств сделает из хозяйства конфетку, не успеем мы и глазом моргнуть. Со временем вернется Родерик-младший, — впрочем, он и так не будет терять связи с «Сент-Колумбом». Фрэнсис же сможет заниматься чем угодно. Рисовать, если хочет. Возиться с корнуолльской историей и легендами, если это ему по душе. Он будет — кажется, это так называется — пассивным партнером. Впрочем, Родерик не объяснил, что именно в итоге получит пассивный партнер, кроме морального удовлетворения.

До Фрэнсиса медленно начало доходить. Вот почему Глассоны так философски отнеслись к падению Исмэй, хотя могли бы поднять ужасный шум. Цена Исмэй составляла один миллион канадских долларов плюс накопившиеся проценты, поскольку Фрэнсис не тратил свой доход полностью. Конечно, Глассоны знали о его деньгах: чигуидденские Корниши наверняка сплетничали и, по всей вероятности, преувеличивали.

Миллион канадских долларов — это существенно больше двухсот тысяч фунтов: для людей вроде Глассонов — необъятное богатство.

Но это лишь меньшая часть цены, которую он должен заплатить. Главная часть — пожизненное рабство во флигеле, на который падает тень «Сент-Колумба» и тень Чигуиддена, и свобода рисовать и грезить о мифах, если он настолько глуп. Но такой судьбы можно избежать: Глассонам не удастся поймать его в ловушку. Нет, Фрэнсис честно все обдумал, не жалея себя, и признал, что деньги для него важнее. Он был вынужден прийти к позорному для себя выводу, что хочет Исмэй, но цена его не устраивает.

Но все же, как говорил дедушка Макрори, твои деньги никто не забрал, пока они у тебя в кармане. Родерик Глассон, по-видимому, ожидал, что ему по частям передадут всю сумму. Фрэнсис объяснил: самое большее, на что он способен и что может сейчас обещать, — четыре тысячи фунтов ежеквартально в течение первого года. Это была неправда: помимо кругленькой суммы, завещанной дедом, Фрэнсис вместе с матерью и тетками получал солидный доход от состояния, помещенного в доверительное управление. То были сами по себе неплохие деньги. Но, сидя у се-

бя в спальне за расчетами, Фрэнсис с удивлением понял, до чего любит деньги и как не хочет расставаться даже с малой их долей. Когда Фрэнсис выложил дяде свои условия, у того вытянулось лицо. Но, не имея возможности узнать, сколько у Фрэнсиса денег на самом деле, дядя вынужден был довольствоваться этим. Фрэнсис заметил также, что ему придется оплачивать длительное пребывание Исмэй и, вероятно, тети Пруденс где-нибудь в Европе и это тоже ляжет бременем на его бюджет. Он объяснил, что тратить капитал ни в коем случае нельзя. Родерик при этих словах мудро покивал: он прекрасно знал, что собственный капитал потратил почти полностью, и именно потому попал в столь плачевное положение. Но дядя был преисполнен оптимизма: кто знает, может быть, по прошествии года все будет совсем по-другому.

«Исмэй и тетю Пруденс где-нибудь в Европе», — повторил Родерик, когда до него дошло. Но где же будет сам Фрэнсис? В Оксфорде, ответил Фрэнсис. Он твердо намерен получить диплом, а ему остался еще один год. Но зачем Фрэнсису диплом? Деревенскому джентльмену он совершенно ни к чему. У самого Родерика нет никакого диплома: когда он унаследовал «Сент-Колумб» со всеми

его бедами и радостями, он уволился с флота и начал хозяйствовать — и никогда не страдал от недостатка образования. Тут в их вежливую перепалку встряла Исмэй: она тоже хотела окончить учебу и получить какую-нибудь печать — знак высшего образования. Фрэнсис и об этом успел подумать. Вернуться в Оксфорд она, конечно, не сможет: там не любили замужних студенток, более того — просто не допускали их к учебе, что вполне понятно. Но она могла поехать на континент, прекрасно изучать современные языки в Лозанне, а жить поблизости, в Монтрё; континентальные университеты, в отличие от Оксфорда, не особенно интересовались личной жизнью своих студентов. Пребывание за границей позволит скрыть то, что ребенок родится прежде времени, а это тоже немаловажно. Платить за все будет Фрэнсис — в пределах разумного.

— Ты все продумал, а? — сказала Исмэй, когда родителей не было поблизости. — Разбил их по всем позициям! — В ее голосе звучало восхищение.

— Это кратковременный план, но он дает нам год, чтобы подумать и решить, что делать дальше. Я не хочу застрять тут и стать «Фрэнсисом Корнишем, чьи нежные, тонкие пейзажи продол-

жают традицию Б. У. Лидера».

На самом деле Фрэнсис думал о «ремесле». Он не рассказал Исмэй о своей работе на полковника и твердо решил не рассказывать без крайней необходимости. В его уме и сердце Исмэй Желанную сменила Исмэй Обетованная (чтобы не сказать Неизбежная), и в его жизни были вещи, о которых ей незачем знать. Она была не болтуньей, а гораздо хуже: обожала отпускать намеки. Ей нравилось возбуждать чужое любопытство и подогревать догадки об опасном и запретном.

Все эти семейные переговоры происходили по вечерам, после утомительного дня, потраченного тетей Пруденс и, в меньшей степени, дядей Родериком на приготовления к свадьбе. Столько дел! И такой скромный бюджет — ибо Глассоны заявили, что жениху ни в коем случае нельзя оплачивать свадебные расходы, даже частично: это не принято и, более того, может оказаться плохой приметой. Глассоны получали огромное удовольствие от приготовлений и каждый вечер объявляли во всеуслышание, что еще одного такого дня просто не выдержат.

За два дня до свадьбы, вечером, Исмэй и Фрэнсис сбежали от шума и гама и пошли прогуляться в сумерках по проселочной дороге. Небо над ни-

ми темнело, и его цвет напомнил Фрэнсису плащ, который Время и Истина так удачно разворачивали в «Аллегории» Бронзино.

— Ты чувствуешь, что тебя загнали в ловушку, да? — спросила Исмэй.

— А ты?

— Я — да, но моя ловушка — физическая. Ребенок. Мне придется через это пройти, прежде чем я смогу заниматься чем-то еще. Но ты в этом смысле свободен.

— Да, но меня связывает долг. Неужели ты не видишь? Конечно, помимо того, что я тебя люблю и хочу на тебе жениться.

— О Фрэнк, не будь таким болваном! Мне просто страшно подумать, как тебя воспитывали. У тебя еще есть шанс.

— Какой?

— Смыться, конечно.

— И бросить тебя? Сейчас?

— Некоторые так делают.

— Только не я. Я бы чувствовал себя последней сволочью.

— Не думаю.

— Может, и нет. Но я думаю, что да.

— Ну хорошо, суженый-ряженый. Как говорится, это твои похороны.

— Не могу поверить, что ты считаешь меня способным на такое.

— Ну что ж, потом не жалуйся.

— Ты крепкий орешек, Исмэй.

— Совсем не похожа на кельтскую принцессу из твоих грез? Может быть, я гораздо больше похожа на настоящую кельтскую принцессу, чем ты думаешь. Судя по тому, что я о них знаю, среди них попадались очень крепкие орешки.

На свадьбу съехались соседи со всех концов: деревенские семьи, мелкие лавочники, арендаторы Глассонов (управляющий заставил их преподнести новобрачным часы для каминной полки, с гравированной надписью вполне феодального содержания, отредактированной подобающим образом), старухи, какие заявляются на все свадьбы и похороны без различия социальных слоев, и епископ из Труро, который не венчал, но благословил новобрачных после венчания. Исмэй, в кои-то веки аккуратно одетая, в девственно-белом платье, была так прекрасна, что сердце Фрэнсиса болезненно рвалось к ней. Чин венчания проводил местный священник — его как будто достали с самой нижней полки в шкафу низкой англиканской церкви. Он подчеркнул, что в брак не следует вступать для удовлетворения людских

страстей и похотений, подобно бессловесным животным, а лишь для продолжения рода. Все эти слова он произносил с таким отвращением, что сестрички Исабель и Амабель, которые в белых платьях символизировали девственность — непаханую и мясистую, — напугались, а Гласконы и Фрэнсис задумались, не заподозрил ли пастырь чего-нибудь неподобающего. Но скоро все кончилось; спели «Глас слышен над Эдемом», епископ сказал свое слово, и Фрэнсис с Исмэй получили право невозбранно спать вместе.

Венчание Фрэнсис кое-как перенес, но вот завтрак на следующий день дался ему труднее. Завтрак состоялся на открытом воздухе, на лужайке «Сент-Колумба», поскольку погода была вроде как ничего. Парадом командовал Родерик Глассон-младший, как положено шаферу; он, как человек, нацеленный на Уайтхолл, стремился все делать с максимальной точностью и ровно с такой долей энтузиазма, какая укладывалась в его представление об элегантности, а это значило, что об избытке энтузиазма говорить не приходилось.

По Родерику было ясно видно, каким он станет к сорока пяти годам. Он прочитал вслух несколько поздравительных телеграмм — так, словно

зачитывал неразборчиво написанный протокол заседания своему начальнику. Телеграммы были в основном из Канады, одна-две — от оксфордских друзей (эти надо было читать вслух очень осторожно). Дядюшка Артур Корниш произнес тост в честь невесты; его обороты заставили Исмэй неподобающе захихикать, а Фрэнсиса — похолодеть от намеков на богатство жениха и выражений радости по поводу того, что деньги останутся в семье. Фрэнсис ответил краткой речью, в которой выразил смирение перед родителями невесты и благодарность им. Родители остались довольны, но решили, что он мог бы и чуть посильнее ощущать и то и другое. Пока Фрэнсис говорил, ему приходилось заглушать перешептывания гостей. «Американец? Мне никто не сказал, что он американец». — «Не американец — канадец». — «А какая разница?» — «Они щекотливей, вот что». — «Говорят, он богатый». — «А, вот, значит, как!» Потом шафер поднял тост в честь подружек невесты и снисходительно заявил, что, поскольку они его младшие сестры, он не может сказать о них ничего хорошего, но не теряет надежд на их улучшение в будущем. Подружки невесты краснели и бормотали: «Слушай, Родди, заткнись уже, а?» Родерик поведал

собравшимся, как они с сестрами подложили дохлую змею в кровать будущего жениха; и всем пришлось неодобрительно нахмуриться, когда старый Джордж Третэуэй, кузен, которого Глассоны не слишком жаловали, пьяно заорал, что уж теперь-то они подложили ему в кровать кое-что получше. И наконец, фермер, который арендовал у Глассонов самый большой надел, поднял бокал за счастливую чету; в своей речи он не очень тактично упомянул о вливании свежей крови (он не сказал «свежих денег»), которое, несомненно, сулит всяческие блага хозяйству «Сент-Колумба». Наконец мероприятие завершилось; свадебный торт разорили и роздали, все пожали всем руки, невеста встала у парадной двери и швырнула букет с такой силой, что он чуть не нокаутировал сестрицу Амабель, и новобрачные удалились в прокатном автомобиле в сторону Труро, где им предстояло сесть на поезд.

В Лозанне они без труда записали Исмэй в университет; ей зачли год, который она проучилась в Оксфорде. В Монтрё быстро нашлись комнаты в пансионе — гостиная и спальня; в последней стоял еще и диванчик, на котором могли спать Исмэй или тетя Пруденс во время приездов тети. Но все это означало расходы, большие и ма-

ленькие; Фрэнсис никогда еще не подвергался подобному медленному кровопусканию, да еще ради дела, которое не было делом его жизни; его грыз первый в жизни приступ яростной скупости, которая потом до конца жизни часто навещала его. Скаредность не красит человека, и Исмэй заметила вслух, что он с лица спал.

Жить с Исмэй оказалось неплохо, но былой трепет куда-то делся. Она стала еще красивее, а ее всегдашняя небрежность в одежде теперь казалась благородным презрением к житейским мелочам. Беременность пока была заметна лишь очень проницательному глазу, но в обнаженном виде тело Исмэй стало еще роскошнее, и Фрэнсис рисовал ее так часто, как только мог. «Фигура прекрасной женщины подобна виолончели», — говорил он, восхищенно проводя рукой по ее набухающему животу. Но хотя он и любил ее, он перестал ее боготворить; иногда они обменивались колкостями, потому что грубоватая речь Исмэй, когда-то приводившая Фрэнсиса в такой восторг, теперь действовала ему на нервы.

— Если тебе не нравится, как я говорю, нечего было заделывать мне ребенка.

— Пожалуйста, воздержись от вульгарности, мы же не мещане. Непристойности — бога ради,

но только не вульгарность.

В таких случаях Исмэй принималась петь песню Офелии,[65] тихо и задумчиво, с подчеркнуто простонародным выговором:

Ах, стыд мальчишкам, стыд и срам!
Благим клянусь Христом.
Лишь допусти — возьмет все сам,
Клянусь я петухом.
Пока меня не повалил,
Жениться обещал.
«Что ж ты в постель ко мне пришла?»
—
Вот что он мне сказал.

— Надеюсь, это устроит, — бормотала она, обращаясь, очевидно, к стенке. — Шекспир. Старый добрый Вилли Шекс, любимчик ДООУ. Уж в нем-то нет ничего вульгарного. Изысканней Шекспира не найти.

Фрэнсис не мог остаться в Монтрё. Ему нужно было обратно в Оксфорд, и он едва успел к на-

[65] Примечания: 65

…песню Офелии… — Цит. по: В. Шекспир. Гамлет. Акт 4, сц. 5. Перевод А. Радловой.

чалу Михайлова семестра.[66] Он корил себя за то, что так некрасиво вышло с Исмэй. Конечно, он не жалел, что на ней женился, но это должно было случиться позже. А теперь приходилось ее бросать в такой момент, когда она, конечно же, в нем нуждается, — хотя, когда он уезжал, она была вполне спокойна. В конце концов через несколько недель должна приехать тетя Пруденс. Фрэнсис не разбирался в таких вещах, но ему смутно казалось, что муж должен неотлучно находиться при беременной женщине, бегать среди ночи за мороженым с солеными огурцами, если ее вдруг охватит болезненная тяга к такому блюду, и романтически вздыхать, умиляясь зреющей в ней новой жизни. Доктор в Монтрё философски воспринял заявление Фрэнсиса о том, что ему надо уехать, и заверил его, что все будет в полном порядке. Оставалось только надеяться, что все действительно обойдется. Фрэнсис был полон решимости получить диплом, причем с наилучшими возможными оценками. И этот случайный ухаб на дороге ему не помешает. Так что Фрэнсис принялся за работу и работал изо всех сил; он

[66] Примечания: 66

Михайлов семестр — название осеннего семестра в ряде британских университетов. Назван в честь Михайлова дня, то есть праздника св. Михаила (29 сентября по западному церковному календарю).

даже почти забросил рисование и живопись и отказался от заманчивого предложения — помогать известному театральному декоратору в работе над постановкой «Бури» в ДООУ.

На Рождество он вырвался к Исмэй. Она выглядела уже явно беременной и явно европейской студенткой — привыкла говорить по-французски чаще, чем по-английски, и с головой ушла в изучение испанского. Она получала от жизни удовольствие — особенно после того, как убедила мать прекратить квохтанье над ней и вернуться в Англию. Здешняя студенческая жизнь подходила Исмэй гораздо больше, чем оксфордская чопорность. В целом они очень дружелюбно провели рождественские каникулы — по большей части сидели в гостиной Исмэй, курили одну за другой вонючие французские сигареты и учились. Говорили они исключительно по-французски. Исмэй понравился стойкий франкоканадский акцент Фрэнсиса. Он был «народный», как она выразилась, а она одобряла все, что идет от народа.

Он приехал и в феврале, когда родился ребенок. Пансионы плохо приспособлены для родов, и Исмэй рожала в маленькой частной клинике, что обошлось в кучу денег. Фрэнсис выволок диванчик из спальни в гостиную, чтобы спать

на нем, а тетя Пруденс, прекрасно сознавая, что кровать положена ей в силу ее пола и возраста, ежедневно стонала, что обременяет зятя своим присутствием.

Ребенок родился без осложнений, но бабушка и отец, как положено, волновались. По правде сказать, Фрэнсис ужасно боялся, пока сам не увидел маленькую дочку и не выслушал заверения доктора в том, что она — полное совершенство. Неужели он ждал чего-то другого? Он не сознался в своих страхах.

— Она — вылитый отец, — сказала тетя Пруденс, улыбаясь Фрэнсису.

— Да, вылитый отец, — согласилась Исмэй, улыбаясь в пространство.

Фрэнсис подумал, что ребенок похож на всех остальных виденных им младенцев, но промолчал.

Почти сразу встал вопрос об имени для ребенка. У Фрэнсиса не было никаких соображений по этому поводу, но Исмэй, возможно, сильнее отдалась материнству, чем готова была признать. Как-то раз, кормя ребенка грудью, она сказала:

— Давай назовем ее Чарлоттой.

— Хорошо, но почему?

— В честь отца.

Фрэнсис непонимающе посмотрел на Исмэй.

— Фрэнк, я все собиралась тебе сказать, но момент как-то не подворачивался. Сейчас он точно настал. Ты, конечно, знаешь, что ее отец — Чарли?

Непонимающий взгляд.

— Да, Чарли. Я точно знаю. Мы были очень близки перед тем, как он смылся.

— И ты окрутила меня, чтобы прикрыть ребенка Чарли?

— Ну, выходит, что так. Но не думай, что мне это доставило удовольствие. Ты очень милый и вел себя ужасно благородно. Но между тобой и Чарли есть существенная разница: он — из тех, кто приводит события в движение, а ты — из тех, с кем эти события просто случаются. Поэтому для меня выбор однозначен. И вспомни, что перед свадьбой я дала тебе шанс улизнуть, но ты решил остаться. Это ребенок Чарли.

— А он знает?

— Думаю, что не знает, и думаю, что ему все равно. Я получаю о нем кое-какие известия из третьих рук, а ты знаешь, что в Испании обстановка накаляется, так что, я полагаю, даже если бы он и знал, то ничего не мог бы поделать. У него сейчас дела поважнее.

— Исмэй, у меня просто слов нет.

— Я и не думала, что ты обрадуешься, и я честно хотела сказать тебе раньше, но ты видишь, как вышло. Я хотела обойтись с тобой по-честному, и вот наконец у меня это получилось.

— Это так ты ведешь себя по-честному? Не хотел бы я оказаться рядом с тобой, когда ты начнешь жульничать.

Фрэнсис вернулся в Оксфорд. Он был несчастен и сломлен в том, что касалось его брака, но полон яростной решимости отличиться в финальных экзаменах, назначенных на июнь. Подготовиться к финальным экзаменам за несколько месяцев невозможно, для этого нужно два года. Именно два года назад Фрэнсис и начал работать; последние десять недель были нужны ему для наложения завершающих штрихов, а не для приобретения базовых знаний. Тьютор был им доволен — точнее, настолько доволен, насколько тьюторы способны в этом признаться, — и помог довести его познания до идеального блеска. В результате, написав экзаменационные работы и выждав необходимый срок проверки и выставления оценок, Фрэнсис с удовлетворением увидел свое имя в списке студентов, получивших диплом первого класса. Он дал телеграмму в Канаду и

назавтра получил ответ: «Поздравляем. Привет Исмэй и Чарлотте». Значит, его родители видят их как счастливую троицу, святое семейство с невинным младенцем, пока неспособным оценить достижение папочки?

Исмэй с ребенком были в «Сент-Колумбе»: тетя Пруденс настояла на этом, утверждая, что лето в деревне, свежий воздух и свежие продукты — именно то, что нужно Исмэй и девочке. Поэтому вторую телеграмму с вестью о своем успехе Фрэнсис послал в «Сент-Колумб». Его очень удивило, когда на следующий день ему позвонили. Глассоны не слишком любили разговаривать по телефону, к тому же в Оксфорд, где очень много студентов и очень мало телефонов, было крайне трудно дозвониться. Но дядя Родерик позвонил, и привратник «Тела Христова» отыскал Фрэнсиса, и вот, стоя в привратницкой, где один студент покупал марку, а другой выяснял местонахождение своего велосипеда, Фрэнсис услышал дядю — голос далекий и тонкий, как мышиный писк, — который сообщил, что Исмэй нет в «Сент-Колумбе»: она сказала, что съездит в Оксфорд на пару дней навестить Фрэнсиса. Это было неделю назад. Разве она не с ним?

Только на следующий день пришло письмо из

Лозанны.

Дорогой Фрэнк!

Нет смысла делать вид, что наш брак жив, когда он совершенно явно мертв. Когда ты получишь это письмо, я уже буду в Испании. Я знаю, где Чарли, и еду к нему. Не пытайся меня искать, все равно не найдешь. Но не беспокойся. Со мной все будет в порядке — а если что и случится, то случится в борьбе за правое дело, которое я ставлю выше всяких личных интересов. Ты самый лучший на свете, и я знаю, что ты не оставишь малютку Чарли, и, конечно, когда (и если) я вернусь, я снова возьму ее на себя. Извини насчет денег. Но если честно, ты их слишком любишь — тебе самому это не полезно.

Целую,
Исмэй

Потом он обнаружил, что, говоря о деньгах, она имела в виду те, что он положил ей на счет на текущие расходы. Она сняла всю сумму. Смылась!

— Я хочу избить женщину. Кулаками. Интересует ли вас это, и если да, то сколько вы возьмете?

Этот вопрос он задал как минимум восьми проституткам на Пиккадилли и получил восемь отказов — одни женщины смеялись, другие сер-

дились. Видимо, он ищет не в том районе. Эти девушки, в основном хрупкие и хорошенькие, — дорогие ночные феи, недостаточно голодные, чтобы соблазниться его предложением. Он пошел в Сохо, и там на четвертый раз ему повезло.

Женщине было лет сорок; у нее были плохо прокрашенные волосы и платье, отделанное искусственным мехом. Полноватая; лицо под густым слоем косметики глуповатое, но доброе.

— Ну… я и не знаю, что сказать. У меня, конечно, бывают джентльмены с особыми вкусами. Но обычно это они хотят, чтоб их побили. Ну знаете, пару оплеух и разговаривать этак строго. А это я даже не знаю. Кулаками, говорите?

— Да. Кулаками.

— Мне надо подумать. То есть, по правде, поговорить с моим другом. Вы подождете минуточку?

Она порылась в глубинах своего бюста и вытащила распятие на цепочке, которое, когда она поднесла его к губам, оказалось свистком. Она дважды тихо свистнула. Почти мгновенно рядом возник небольшой смуглый мужчина, неприметно одетый, в черной хомбургской шляпе, словно государственный муж. Женщина зашептала ему на ухо.

— А вы сильно будете бить? — спросил он.

— Трудно сказать, пока не попробую.

— Ну… это может очень дорого обойтись. Например, если выбьете зубы. Синяки. Она не сможет работать недели две. Нет, боюсь, мы вынуждены отказаться, какую б вы цену ни давали.

— Может, если вы один раз хорошенько врежете, этого хватит? — спросила женщина, у которой, видимо, было доброе сердце. — Один раз, хорошенько, скажем — за десять фунтов?

— Двадцать, — торопливо поправил мужчина.

Они пошли на квартиру женщины, расположенную неподалеку.

— Я, конечно, побуду тут, — сказал мужчина. — Вы все-таки не обычный клиент. Вдруг увлечетесь, потеряете контроль. Мне придется тут побыть — ради вас обоих.

Женщина в это время раздевалась — с профессиональной быстротой.

— Не нужно, — сказал Фрэнсис.

— А я думаю, так лучше, — сказал мужчина. — По правде сказать, я думаю, что так надо, раз вы платите. Профессиональный подход. Костюм Евы — ее рабочая одежда.

— Ладно. Я готова, — сказала женщина, уже голая; она твердо стояла на толстых ногах и под-

биралась в ожидании удара.

Наметанным взглядом бальзамировщика Фрэнсис увидел шрам от аппендицита — старомодный, похожий на жука с растопыренными лапками. Фрэнсис поднял кулак и, чтобы набраться гнева, стал изо всех сил вспоминать самое отталкивающее в Исмэй — наглость, нечистоплотность, презрение к людям. Но гнев не шел. Мыслями Фрэнсиса завладел Лунатик — не внешний образ, но ощущение, и Фрэнсис не смог ударить. Он вдруг сел на кровать и, к своему глубочайшему стыду, разрыдался.

— Ох, бедненький, — сказала женщина, — не можешь, да?

Она пододвинула к нему коробку бумажных носовых платков.

— Не переживай так. Очень многие не могут — ну, в другом смысле. И у них тоже свои причины.

— Ему надо выпить, — сказал мужчина.

— Нет, я думаю, ему надо чаю. Джимсик, поставь чайник, а? Ну, ну, миленький. Ну расскажи мне. — Она села рядом и притянула голову Фрэнсиса к себе на большую надушенную грудь. — Что она тебе сделала, а? Уж наверняка чего-то да сделала. Что такое? Ну расскажи.

И вот, сидя на кровати с женщиной, которая

запахнулась в шелковый пеньюар с потрепанной отделкой из марабу, и ее альфонсом, или сутенером, или как там правильно назывался Джимсик, и отхлебывая горячий крепкий чай, Фрэнсис вкратце, изменив кое-какие детали, рассказал, что сделала Исмэй. Женщина издавала сочувственные возгласы, но, когда он закончил, высказался Джимсик:

— Поймите меня правильно. Она, конечно, поступила по-свински. Но почему? Так следует на это посмотреть. Всегда есть причина, и иногда эта причина вам и в голову не придет. Как вы скажете, почему она так поступила?

— Потому что она любит другого, — ответил Фрэнсис.

— О боже! В жопу любовь! — воскликнул Джимсик. — С ней никогда не знаешь, где стоишь. От нее одна беда.

Он продолжал излагать свою точку зрения на любовь — как мужчина и как работник сферы сексуального удовлетворения, и Фрэнсису казалось, что он слышит голос Танкреда Сарацини, объясняющего «Аллегорию» Бронзино. Сейчас при мысли об этой картине Фрэнсису яснее всего представилось лицо твари с женской головой, львиными когтями и драконовым хвостом,

преподносящей сладкое и горькое. Эта фигура звалась Обманом, или, как сказал Сарацини, *Fraude.* Видимо, Фрэнсис прошептал это вслух.

— Обман? Еще какой обман, да еще и бесстыдство — бросить тебя и ребеночка, — сказала женщина.

Когда Фрэнсис наконец успокоился и собрался уходить, он протянул женщине две бумажки по десять фунтов.

— Нет-нет, миленький, — сказала она. — Я даже и не подумаю. Ведь ты же не ударил. Правда, если б ты меня и треснул, я бы не стала тебя винить.

— Нет, мы так не договаривались, — сказал мужчина, ловко, но вежливо перехватывая деньги. — Мы ведь время потратили, и отказ от исполнения договора, все такое. Но вот что я вам скажу, сэр. Эта ночь делает вам честь. Вы вели себя как джентльмен.

— О, в жопу джентльменство, — сказал Фрэнсис, тут же пожалел об этом, пожал обоим руки и сбежал вниз по лестнице на улицы Сохо.

Интерьер конторы «Джеффри Дювин и компания» был элегантен до того, что внушал священный трепет; Фрэнсис никогда не осмелился бы войти сюда по собственной инициативе, но именно здесь ему назначил встречу полковник

Копплстоун, а в хитро сформулированном послании намекалось, но не говорилось прямо, что это очень важно. Фрэнсис сейчас как раз нуждался в чем-нибудь важном. Таким униженным, незначительным, использованным и выброшенным он не чувствовал себя со дней учебы в Карлайлской сельской школе. В великий лондонский центр торговли антиквариатом и экспорта предметов искусства Фрэнсис явился вовремя, элегантно одетый. Полковник ждал его в небольшой, обшитой деревянными панелями комнате, где висели три картины, при виде которых у Фрэнсиса глаза на лоб полезли. Такие картины могли позволить себе только очень богатые собиратели — и покупали они их у «Дювина».

— Но ты получил диплом. Первого класса, с отличием; я видел в «Таймс». Напомни-ка мне, что это означает.

От истории катастрофической женитьбы Фрэнсиса полковник, кажется, попросту отмахнулся. До чего бездушны эти старики!

— Ну, моя дисциплина называется «Великие современные мыслители», а официально — «Философия, политика и экономика». Я сосредоточился на философии, а так как у меня уже был диплом бакалавра по классической филологии,

я имел определенное преимущество перед теми, кому пришлось изучать литературу по переводам; курс начинается с Декарта, но очень полезно знать, что было раньше. И современные языки: я выбрал немецкий и французский. «Политика» — это в основном британская государственность. Экономики я брал ровно столько, сколько надо, и не больше. Это не моя область: я предпочитаю астрологию без воды.

— Ага. Ну что ж, в Оксфорде ты зря времени не терял, — сказал полковник. — И не слишком переживай из-за того, что случилось. Конечно, это неприятно. Но у меня есть для тебя предложение; поможет тебе забыть об этой истории, ну или почти забыть.

— По линии «ремесла»?

— Да. Конечно, на передний край я тебя не пошлю. Это для совсем других людей. Но есть одно дело, которое тебе очень хорошо подходит. Лучше, чем всем остальным, кто у меня сейчас под рукой, это уж точно. Ты должен поступить на работу к Танкреду Сарацини.

— А он тоже…

— Нет, совершенно точно нет. И он не должен догадаться, что ты — да. Иначе ты попадешь в хорошенький переплет. Нет, Сарацини ведет

свою собственную странную игру, которая нам в данный момент интересна и может быть важна. Кстати, многие, кто верит в такие вещи, говорят, что у него дурной глаз. Я не скажу, что это не так, поэтому будь осторожен. Ты говорил, он предлагал тебе с ним работать и обещал, что тебе понравится? Научиться его мастерству, или ремеслу, или как он это называет?

— Да, но я пока не уверен, что хочу именно этого. Я хочу быть художником, а не мастеровым на подмалевке истлевших картинок.

— Да, но для нашего дела сейчас нужен человек рядом с Сарацини — на той работе, которой он сейчас занимается. Ты что-нибудь знаешь про Дюстерштейнскую коллекцию?

— Никогда не слыхал.

— Она малоизвестна, хотя сотрудники «Дювина» о ней, конечно, знают. Это их работа — знать такие вещи. В этой коллекции — куча картин эпохи Ренессанса, Постренессанса и Контрреформации. Не лучших, но неплохих. Коллекция хранится в замке Дюстерштейн, в Нижней Баварии, милях в семидесяти от Мюнхена. Владелица, графиня фон Ингельхайм, хочет, чтобы картины привели в отличное состояние, поскольку собирается их продать. Как ты понимаешь, это будет

не вульгарная продажа с молотка; никаких там «Налетай, подешевело». Нет, графиня собирается продавать картины постепенно, очень аристократическим образом и в результате выручить кучу денег. Нам нужно узнать, куда попадут эти картины. Графиня уговорила Сарацини подготовить коллекцию к продаже — втихомолку, но не втайне. Ему нужен будет помощник, и мы хотим, чтобы это был наш человек. То есть ты, мой мальчик.

— И я должен буду слать вам отчеты? Но о чем писать? И как?

— Нет, мне ты писать не будешь — если только не случится что-нибудь из ряда вон выходящее. Но ты ведь будешь время от времени возвращаться в Англию? Разве ты не собираешься проведывать малютку Чарлотту? Конечно собираешься — ты же отец. Но ты будешь писать другие отчеты: сегодня после обеда пойдешь на Харли-стрит, на прием к сэру Оуэну Уильямсу-Оуэну, который тебя осмотрит, обследует твое сердце и объяснит тебе, какие отчеты о состоянии своего сердца ты должен будешь ему посылать.

Фрэнсису было ясно, что дядя Джек наслаждается этой загадочностью; лучше всего делать вид, что ничего не происходит, и ждать, а инструкции

наверняка последуют в свой срок.

— Уильямс-Оуэн знает о сердцах все, что только можно. Он пропишет тебе определенный режим, ты должен будешь ему следовать и отсылать доктору регулярные отчеты о состоянии своего сердца. Частота пульса после тяжелой физической нагрузки и все такое. Но на самом деле ты будешь посылать результаты своих наблюдений за поездами… Замок Дюстерштейн стоит на весьма обширных землях, с лесными угодьями и со множеством ферм. Менее чем в миле от дома, или замка, или что там у них, проходит железнодорожная ветка, идущая на большую охраняемую территорию — концентрационный лагерь, если пользоваться термином лорда Китченера. Туда время от времени идут товарные вагоны и теплушки — не следуя какому-либо регулярному расписанию, но всегда поздно ночью. Вагоны можно пересчитать: этот поезд — *Bummelzug*[67] как говорят немцы, — едет очень медленно, и когда колеса проезжают по стыку, они издают специфический звук. Если прислушаться как следует, посчитать, сколько раз ты услышал этот звук, а потом разделить на два, получишь число

---

[67] Примечания: 67
Пассажирский поезд малой скорости, «кукушка» *(нем.).*

вагонов, проехавших через эту точку, то есть направляющихся в лагерь. Именно эти данные ты будешь отсылать Уильямсу-Оуэну каждые две недели, по схеме, которую он тебе даст. В письме можешь ныть и прикидываться ипохондриком сколько душе угодно. Уильямс-Оуэн сделает так, чтобы информация попала куда надо.

— Ну что ж… Я думаю, это лучше, чем сидеть дома и жалеть себя.

— Намного лучше. Это твое первое профессиональное задание, и, на случай если ты до сих пор не догадался, тебе чертовски повезло, что ты его получил.

— Да, но как насчет… о, к черту джентльменство! Дядя Джек, извините за грубость, но… мне что-нибудь заплатят?

— Как я тебе уже сказал, это задание не первостепенной важности, и у нас нет на него фондов. Но я думаю, что в конце концов ты сможешь на что-нибудь рассчитывать. В любом случае передо мной можешь не притворяться, что тебе нужны деньги. Я знаю про завещание твоего деда. Твой отец мне писал.

— Понятно. Значит, я буду стажером?

— Нет, это настоящее задание. Но послушай моего совета: не суетись из-за денег. Бюджет

нашего «ремесла» — тришкин кафтан, и куча народу дерется за каждый клочок. Но когда для тебя что-нибудь найдется — положись на меня, я обязательно дам тебе знать. Пока вместо денег я могу предложить тебе информацию. Мы знаем, где Чарли Фримэнтл.

— А она с ним?

— Надо думать, что да. Он сейчас в самой горячей точке. Если эти двое собираются жить долго и счастливо, то они спятили. А кстати, твой приятель Бьюс-Боцарис отдал концы.

— Что? Как?

— Неосторожность. Надо сказать, агент из него был так себе, а его попытки вербовать людей — чистый анекдот. Ему удалось поймать в свои сети только Чарли Фримэнтла, и даже Чарли, уж на что полный идиот, умудрился надуть его с каким-то карточным долгом. Так что Бэзил оказался, если можно так выразиться, в несостоятельной позиции и, по-видимому, застрелился.

— Не верю. Думаю, он бы в себя не попал — во всяком случае, намеренно.

— Может быть, и нет. Может быть, ему умело помогли… Еще вопросы есть?

— Просто любопытно. Эти товарные вагоны — что в них?

— Люди.

— Ему повезло, что он отделался от Исмэй, — заметил Цадкиил Малый.

— Ему повезло, что он ее встретил, — сказал даймон Маймас. — Она в его истории выглядит не очень красиво: вероломная шлюшка, жуликоватая соблазнительница. Если бы они остались вместе, что за жизнь была бы у них? Они жили бы как кошка с собакой, терзая друг друга, и очень скоро она изменила бы ему с кем-нибудь. Но она считала себя вольной птицей, а это всегда ведет к беде.

— О да. На самом деле она была ученицей и послушницей Чарли Фримэнтла, аспектом его судьбы. Странно, правда, что безмозглые авантюристы вроде Чарли всегда находят женщину, готовую мириться с чем угодно, лишь бы служить им и их безумию? В моих записях такое всплывает снова и снова.

— Что ждет ее в Испании? Бегство из одной грязной и опасной лачуги в другую, всегда под угрозой, часто под огнем, в убеждении, что она служит народному делу — которому ни она, ни Чарли не могли бы дать точного определения, — но на самом деле лишь женщина Чарли, его рабыня. Если бы мне была свойственна жалость,

я бы ее пожалел, — сказал даймон.

— Но жалость несвойственна тебе, брат. Ты не жалеешь даже бедного Фрэнсиса, которому она разбила сердце.

— Конечно нет. Чтобы обрести нужную прочность, сердце должно разбиться и срастись — хотя бы однажды. А Фрэнсис пускай будет благодарен, что я выбрал такой интересный инструмент, чтобы разбить его сердце. У множества людей сердца разбиваются из-за женщин скучных, как капустные кочерыжки.

— Но он же знал, что от нее ничего хорошего ждать не приходится. Ему, во всяком случае. Что он в ней нашел?

— Ты, конечно, помнишь, как Фрэнсис позировал перед зеркалом у себя в спальне, в Блэрлогги, кое-как прикидываясь женщиной? Он, сам того не зная, искал мистический брак; искал в себе женщину, чтобы завершить и дополнить себя. Он думал, что нашел ее в Исмэй. И был отчасти прав, ибо Исмэй была тем, чем он никогда не был, обладала качествами, каких никогда не будет у него, — красотой и неотразимым развратным очарованием, и потому он любил ее, что бы она ни вытворяла и что бы он о ней ни знал. Думаю, я очень удачно обогатил его жизнь встречей с

Исмэй.

— А как же ее слова — что он из тех, с кем события просто случаются, а не из тех, кто движет ими?

— О брат, неужели ты клюнул на эту банальность? Ты не хуже меня знаешь, что под давлением обстоятельств люди иногда разительно меняют вроде бы основополагающие черты своего характера. Ты меня поражаешь! Я не хочу тебя обидеть, но вот мы сидим тут с тобой, двое Малых Бессмертных, и жизнь Фрэнсиса разворачивается перед нами, как она записана и хранится в твоем архиве, и все же иногда ты разговариваешь так, словно мы всего лишь двое смертных, смотрящих телевизор, в котором не может случиться ничего неожиданного, непредсказуемого. Брат, нас не связывают законы телевизионной мелодрамы. Ты разложил Фрэнсиса по полочкам, а об Исмэй говоришь так, словно она исчезла навсегда. А меня ты, кажется, свел до уровня ангела-хранителя, этой омерзительной теологической фальшивки! Ну же, опомнись!

— Не ругай меня, брат. Прости, если я недооценил твою даймоническую роль в этой истории. Но я так часто имею дело со смертными, что порой, как мне кажется, заражаюсь их сенти-

ментальностью.

— Не отвлекайся на мелочи, — сказал даймон Маймас. — Как там говорят богословы? Подлинное обрезание — то, которое в сердце.[68] *И никогда не пренебрегай тем, что заложено в костях. Неужели ты думаешь, что Фрэнсис рожден и воспитан, чтобы всю жизнь быть жертвой? Куда я годился бы, если бы допустил такое? Как сказал один весьма продвинутый смертный своему сентиментальному другу, очисти ум от красивостей!*[69] *Ну что, продолжим?*

---

[68] Примечания: 68

Подлинное обрезание — то, которое в сердце. — Рим. 2: 29.

[69] Примечания: 69

Как сказал один весьма продвинутый смертный своему сентиментальному другу, очисти ум от красивостей! — Босуэлл. Жизнь Сэмюэля Джонсона. (Также см. прим. № 136).

Часть пятая

«Тук-тук… Тук-тук…» Двадцать четыре перестука и меланхоличный гудок — вроде бы невинный поезд-«кукушка» проехал по стыку рельсов. Но с чего бы невинному поезду грохотать по сельской Баварии в полдвенадцатого ночи, когда все порядочные товарняки уже отдыхают на запасных путях? Двадцать четыре перестука — значит, двенадцать вагонов. Двенадцать вагонов — груженных, возможно, людьми — следуют в лагерь для интернированных лиц, спрятанный в соседней долине.

Фрэнсис пометил это в записной книжке, которую всегда носил в нагрудном кармане. Завтра он напишет сэру Оуэну Уильямсу-Оуэну на Харли-стрит и отчитается о состоянии своего пульса после определенной физической нагрузки. Это будет его первое наблюдение по приезде в замок Дюстерштейн.[70] Очень удачно, что его спальня расположена именно с той стороны огромного

---

[70] Примечания: 70

…замок Дюстерштейн… несмотря на имя, дом не очень-то располагал к меланхолии. — Название замка происходит от Düster Stein *(нем.)* — мрачный камень.

дома, которая ближе всего к железной дороге.

Дом удивил Фрэнсиса — и до сих пор не переставал удивлять, хотя Фрэнсис обследовал его уже неделю. Во-первых, несмотря на имя, дом не очень-то располагал к меланхолии. Безусловно, он был старинным и огромным даже для сельской усадьбы, но главным было то, что он служил центром большого сельскохозяйственного района и графиня фон Ингельхайм с образцовой эффективностью ворочала огромными производственными объемами — как на собственных землях, так и на прилегающих к ним фермах. Еженедельно грузовики увозили овощи, птицу, телятину или свинину на железную дорогу для доставки в Мюнхен оптовым скупщикам, которые распределяли их по отелям, ресторанам и мясным лавкам. В одном крыле замка располагалась контора, откуда управляли фермами и доставкой продукции, — возможно, ее доставляли в тех же товарных вагонах, которые время от времени наведывались в лагерь по соседству. Замок Дюстерштейн был значительным сельскохозяйственным предприятием.

Он назывался замком, но в нем не было ничего от средневековой крепости. Что-то осталось от семнадцатого века, донжон был заметно старше,

но внешний вид и планировка явно относились к концу восемнадцатого столетия. Мебель и интерьеры были местами, если приглядеться, потертые, но их потертость наводила скорее на мысль об аристократическом презрении к новомодным штучкам, чем о бедности. Жить в доме было удобно и настолько приятно, насколько приятной может быть жизнь в безусловно большом и аристократическом особняке. Он не страдал избытком домашнего уюта в английском понимании этого слова, но не был и холодной имитацией французского шато. Взять, например, спальню Фрэнсиса: это была комната, заставленная мебелью и такая огромная, что большая кровать казалась случайностью, а не основной деталью. Тут были и кресла, и письменный стол, и вдоволь места для всех художественных принадлежностей Фрэнсиса, а в одном углу стояла большая и красивая фаянсовая печь. Да, мыться приходилось в крохотном чуланчике, спрятанном в одной из стен, а горячую воду туда приносили по скрытому от глаз внутреннему проходу, так что Фрэнсис ни разу не видел слугу-водоноса. Но и кувшин для умывания, и таз, и два больших ночных горшка, и сливное ведро были из дорогого фарфора восемнадцатого века,

с гербом рода Ингельхаймов. Ведро ежедневно кто-то уносил по тому же самому потайному проходу. Ванны же принимали в большой палате с мебелью ампир — там стояла мраморная ванна почти древнеримского вида, которую наполняли ржавоватой водой через два огромных медных крана. Ванная комната была далеко от спальни Фрэнсиса, но он еще в Оксфорде привык к удаленности ванных.

Комната Фрэнсиса располагалась в задней части замка; семейство владельцев жило в другом крыле, куда Фрэнсис так и не проник, но он встречался с владельцами в общих покоях — анфиладе больших гостиных и столовой. Все это пряталось на задворках официальных залов, которыми уже никто не пользовался, — они служили только для выставки коллекции картин, благодаря которой Дюстерштейн и семья Ингельхайм были известны в среде знатоков искусства последние двести лет. Надо сказать, что и картины, висящие в приватной части замка, заслуживали внимания; это были фамильные портреты кисти разных художников, не всегда звезд первой величины, но непременно известных и ценимых.

Со дня прибытия Фрэнсис не уставал переводить изумленный взгляд с портретов на двух

представителей семейства, сидящих под ними, — графиню Оттилию и ее внучку Амалию: их черты повторялись на портретах, немного по-разному сочетаясь, но всегда узнаваемые. Вот это было действительно семейное лицо: у графини — квадратное и решительное, как подобает крупной землевладелице и устрашающе способному аграрию; у Амалии — овальное, пока не отмеченное печатью опыта, но исполненное прекрасного ожидания. Графине еще не исполнилось шестидесяти; Амалии было, видимо, лет четырнадцать. Фрэнсис разговаривал с ними по-английски: графиня желала, чтобы Амалия приобрела беглость в этом языке.

Вечера не были долгими. Ужин начинался в восемь и кончался не раньше девяти, так как еду подавали, на взгляд Фрэнсиса, невероятно медленно. Сарацини разговаривал с графиней. Обязанностью Фрэнсиса было беседовать с мисс Рут Нибсмит, гувернанткой. Амалии разрешалось подавать голос только тогда, когда с ней заговаривала бабушка. После ужина они сидели еще час; графиня растягивала на весь этот час одну чашку кофе и одну рюмку коньяка. Ровно в десять Амалия целовала бабушку, присаживалась в реверансе перед Сарацини и Фрэнсисом и

удалялась под присмотром мисс Нибсмит. Затем и графиня уходила к себе в покои, где, как сказал Сарацини, до одиннадцати часов вела счета ферм, а в одиннадцать ложилась спать с тем, чтобы встать в шесть и до завтрака, который подавали в восемь, провести два часа под открытым небом, отдавая указания работникам.

— Очень размеренное существование, — сказал Сарацини.

— И что, здесь больше ничего не происходит? — спросил Фрэнсис.

— Нет, никогда. Только по воскресеньям приезжает священник и служит мессу, она начинается в семь утра. Вы не обязаны на ней присутствовать, но если будете ходить, это произведет хорошее впечатление, и, кроме того, вы обязательно должны увидеть часовню: это чудо барочного искусства, а в другие часы туда не пускают. Но что значит «больше ничего не происходит»? А что, по-вашему, должно происходить? Начнем с того, что здесь делаются деньги. Семья почти полностью обнищала за время войны, но отец графини Оттилии, а потом и сама графиня восстановили семейное богатство почти до прежнего уровня, а все благодаря телятине, которая, как вы знаете, составляет основу питания людей в этой части

света. Амалию готовят к тому, чтобы сделать блестящую партию, — жениха еще не выбрали, но ему придется соответствовать чрезвычайно высоким требованиям. Большие состояния не достаются дуракам — во всяком случае, в Дюстерштейне. И коллекцию надо привести в первоклассный порядок, и мы с вами будем над этим работать, как рабы на галерах, ибо именно этого ждет от нас графиня. Надеюсь, этого хватит вашей трудолюбивой американской душе?

— Простите за нескромный вопрос… мне что-нибудь платят?

— Разумеется. Во-первых, вы получаете огромную привилегию — возможность работать со мной; сотни молодых художников отдали бы что угодно за такую высокую награду. Далее, вам предоставляется возможность ознакомиться с одной из богатейших коллекций, до сих пор находящихся в частном владении. Это значит, что вы сможете каждый день постигать смысл и настроение картин, к которым даже владельцев известнейших в мире галерей пускают только в порядке заранее тщательно обговоренной аудиенции. Самые лучшие работы сейчас одолжены Мюнхенской галерее, но здесь есть и другие великолепные вещи… любой музей был

бы счастлив заполучить такие. Вам выпадает честь жить рядом с подлинной аристократией — Ингельхаймами, аристократией крови, и мною, аристократом таланта, — в красивейшей сельской местности. Каждый день вас кормят настоящими сливками и отборной телятиной. Вы наслаждаетесь утонченной беседой с мадемуазель Нибсмит и завораживающим молчанием Амалии. Вы можете держать свой автомобильчик в замковой конюшне. Но что до денег — нет, денег вам не положено; это было бы все равно что посыпать мед сахаром. Графиня допустила вас сюда как моего ассистента; мне, конечно, платят, но вам — нет. И вообще, зачем вам деньги? Вы богаты.

— Я уже боюсь, что это богатство заграждает мне путь к карьере художника.

— Бывают преграды и посерьезней. Например, отсутствие таланта. У вас талант есть, и я научу вас им пользоваться.

Учеба началась с огромного объема грязной работы, и в оценке качества этой работы Сарацини проявил себя саркастичным тираном. Лощеный эксперт, с которым Фрэнсис познакомился в Оксфорде, патриций, ценитель искусств, принимавший его в Риме, в мастерской превращался в

неумолимого погонщика рабов. Первые несколько дней после приезда Фрэнсис не работал, а только бродил по замку, чтобы «прочувствовать атмосферу», как назвал это Сарацини.

Но в первое же воскресенье все разительно изменилось. Фрэнсис встал рано утром, чтобы поспеть к мессе. Как и сказал Сарацини, часовня оказалась чудом барочного искусства. С первого взгляда казалось, что над головой — великолепный купол, на котором вихрем разворачивается Страшный суд, но стоило приглядеться, и оказалось, что это тромплей,[71] чрезвычайно искусная обманка, нарисованная на плоском потолке; обман действовал только на зрителей, стоящих не слишком близко к алтарю. Если смотреть от алтаря, мнимый купол сильно искажался, а фигуры Святой Троицы, нарисованные *sotto in su*,[72] казались похожими на жаб.[73] Верный христианин,

---

[71] Примечания: 71

Тромплей (*фр.* trompe-l'il — обман зрения) — технический прием в искусстве, создающий иллюзию объемности объекта, в действительности нарисованного на плоскости.

[72] Примечания: 72

Снизу вверх *(ит.).*

[73] Примечания: 73

...фигуры Святой Троицы, нарисованные sotto in su, казались похожими на жаб. — Объекты изображены так, как будто зритель смотрит на них снизу. В этой технике тромплея часто используется изображение фигур в укороченном виде и подчеркнутая перспектива.

подошедший к алтарю для получения гостии,[74] сделал бы ошибку, поглядев вверх на обратном пути, ибо в этом случае он увидел бы чудовищно искаженных Бога Отца и Бога Сына, следящих за ним с обманного купола. Сама часовня была маленькой, но казалась большой; толстый патер едва втискивался на узенький высокий амвон, словно в тесные брюки. Вся она была чудом из позолоты и штукатурки, раскрашенной в голубые и розовые тона, которые критик, не склонный поддаваться их чарам, сравнил бы с цветом розочек на торте. Фрэнсис с удивлением обнаружил, что в часовне никого нет, кроме него и Сарацини: графиня с внучкой сидели в дальней от алтаря части храма, в ложе, приподнятой над полом, словно в опере, и не были видны снизу простым смертным. Из ложи волшебный потолок смотрелся лучше всего.

После часовни был завтрак, на котором Сарацини и Фрэнсис обслуживали себя сами.

— А теперь за работу, — сказал Сарацини. — Вы привезли какую-нибудь рабочую одежду?

---

[74] Примечания: 74

Гостия (хостия, от *лат.* hostia — жертва) — евхаристический хлеб в католицизме латинского обряда, а также в англиканстве и ряде других протестантских церквей. Используется во время литургии для таинства евхаристии.

Об этом Фрэнсис не позаботился, но Сарацини снабдил его одеждой, когда-то, возможно, бывшей белым лабораторным халатом. Халат был весь пропитан олифой и красками.

— Идем в мастерскую, — сказал Сарацини, — и все время, когда мы там находимся, смотрите называйте меня «Meister».[75] «Маэстро» не совсем подходит к здешней обстановке. А я во время работы буду звать вас Корнишем, не Фрэнсисом. Корн*и*шь. Да-да, отныне вы у меня будете Корнишь.

Что такое происходило с Сарацини? В мастерской он становился ниже ростом, начинал двигаться по-другому — нервно, порывисто — и нос как будто сильнее загибался крючком. Фрэнсис припомнил, что говорил дядя Джек о дурном глазе, хотя, конечно, сам ни во что такое не верил.

Мастерская была похожа на мастерскую только прекрасным северным освещением. Свет падал из занимавших всю стену окон с видом на парк. Пока Фрэнсис изумленно озирался, Сарацини объяснил, что это — обычная диковина в любимом духе аристократов восемнадцатого века.

---

[75] Примечания: 75
Мастер, художник, учитель *(нем.).*

Стены очень длинной комнаты были инкрустированы самыми разнообразными ракушками, вдавленными в штукатурку: одни — выпуклостями, другие — отверстиями наружу. Из раковин составлялись сложные орнаменты в виде колонн, панелей и барочных фестонов. Здесь были не только раковины, но и различные минералы, из которых были выложены пилястры: белый, розовый и золотой мрамор, а также — возможно ли? — ляпис-лазурь. Между колоннами протягивались пышные пучки шнуров из раковин; каждый пучок в самой широкой части был перехвачен огромным куском коралла-мозговика. Когда все это было новое, когда эту комнату любили и восхищались ее убранством, она, должно быть, была роскошной причудой, павильоном рококо, бодрящим сердце и обостряющим чувства. Но раковины выцвели и запылились, вделанная в стену чаша иссякшего фонтана исполнилась пыли и ржавчины, а зеркала уподобились глазам, заросшим бельмами. Скамейки, тоже из ракушек, были кое-как сдвинуты в кучу в одном конце комнаты, освобождая место нескольким мольбертам и лабораторному столу с некрасивым, ничем не прикрытым водопроводом: трубы проходили совсем низко у пола, и приходилось все

время быть начеку, чтобы о них не споткнуться. Картину довершал столь же унизительный для этой прекрасной комнаты огромный железный печеобразный объект, подключенный к слабенькой замковой динамо-машине.

— Сколько любви и мастерства вложили в эту комнату! — сказал Фрэнсис.

— Без сомнения. Но малое должно уступать великому, и теперь это моя мастерская, — отозвался Сарацини. — Это была дорогая, затейливая игрушка, и те, кто играл ею, ныне обратились в прах. Наша задача гораздо грандиозней.

Какая же это задача? Фрэнсису не объясняли прямо; ему приходилось самому делать выводы, и он все сильнее отказывался верить в то, о чем догадывался. Он начинал работать после завтрака и работал, с небольшим перерывом на сэндвич и кружку доброго мюнхенского пива, до четырех часов дня, когда свет слишком сильно менялся и переставал устраивать Сарацини. С начала сентября до середины декабря Фрэнсис трудился над самыми разными вещами. Он научился толочь минералы в ступке, превращая их в пыль, и смешивать с различными маслами; это была долгая и кропотливая работа. Научился использовать и приготовлять различные минеральные краски и

смолы — киноварь, двуокись марганца, жженую умбру и липкий, пачкающий гуммигут. Научился откалывать кусочки от роскошных колонн из ляпис-лазури — там, где было не так заметно, — и толочь в ступе, а затем связывать порошок сиреневым маслом,[76] и выходил отличный ультрамарин. Особенно приятна была встреча с вайдой, *isatis tinctoria,* из сока которой извлекают темно-синюю краску.[77] За лабораторным столом Фрэнсис учился смешивать карболовую кислоту с формальдегидом (запах которого живо напомнил ему ночи, проведенные с Зейдоком в бальзамировочной у Девинни) и плотно закрывать бутыли со смесью, чтобы она не испарялась.

— Наверняка вы даже не догадывались, что живопись требует такого количества химии и кулинарии, — вещал Сарацини. — Корнишь, вы изготавливаете истинные краски, которы-

---

[76] Примечания: 76

…связывать порошок сиреневым маслом… — Сиреневое масло получают из душистых белых и сиреневых цветов кустарникового растения сирени обыкновенной (Syringa vulgaris).

[77] Примечания: 77

…встреча с вайдой, isatis tinctoria, из сока которой извлекают темно-синюю краску. — Вайда красильная (*лат.* Hsatis tinctyria) — растение семейства капустных, вид рода вайда. Растение широко культивировалось в Европе ради получения синей краски (в нем содержится тот же краситель, который добывают из растения индиго). По преданию, вайда использовалась кельтскими племенами Британии для боевой раскраски лица (в том числе во времена короля Артура).

ми пользовались старые мастера. Эти богатые оттенки не поблекнут с годами. Сейчас можно купить в магазинах краски с виду похожие, но на деле — совсем не такие. Они позволяют сберечь усилия и время. Но у нас с вами времени ровно столько, сколько было его у старых мастеров, — по двадцать четыре часа на каждый день. Не больше, и никогда не меньше. Для истинной реставрации старинной панели или холста нужно использовать те же краски, какими пользовался живописец. Этого требует правда ремесла. Вдобавок в этом случае вашу работу нельзя будет распознать… Конечно, какой-нибудь особенно умный эксперт с лучами и химией сможет определить, какие части картины были отреставрированы, — я, надо сказать, предпочитаю термин «воскрешены»; но наша задача — воскресить картину так, чтобы у любопытных глупцов не потянулись руки к лучам и химии. Задача картины не в том, чтобы возбуждать недостойные подозрения, но в том, чтобы дарить наслаждение: восторг, благоговейный трепет, религиозные прозрения или просто чувство былого, чувство безграничной глубины и разнообразия жизни.

В этих красивых словах, несомненно, выражались похвальные эстетические и моральные

принципы. Сарацини, воскрешающий прошлое. Но кое-какие детали не давали Фрэнсису покоя.

Если уж воскрешать прошлое, то почему не лучшие творения прошлого? В замке Дюстерштейн были картины, которые явно нуждались в заботе реставратора, — картины выдающихся художников — Менгса,[78] ван Билерта,[79] даже одна работа Ван Дейка,[80] которую не мешало бы почистить, — но ни одна из этих картин не оказалась в ракушечном павильоне. Нет, туда попало несколько других картин, в основном на деревянных панелях, некоторые в плохом состоянии и все без исключения — грязные. В обязанности Фрэнсиса входило вытереть каждую картину, по возможности дочиста, мягкой влажной тряпочкой, а потом — но зачем? — выстирать тряпочку в как можно меньшем объеме воды и высушить воду в тазу, чтобы пыль с картины стала опять пылью; эту пыль следовало всосать резиновой

---

[78] Примечания: 78

Менгс, Антон Рафаэль (1728–1779) — самый крупный немецкий живописец эпохи классицизма.

[79] Примечания: 79

Ван Билерт, Ян (1597/1598–1671) — голландский портретист, работавший в стиле Караваджо.

[80] Примечания: 80

Ван Дейк, Антонис (1599–1641) — южнонидерландский (фламандский) живописец и график, мастер придворного портрета и религиозных сюжетов в стиле барокко.

грушей и поместить в пронумерованный стеклянный флакон.

Большинство непримечательных картин были портретами непримечательных личностей во всем их унылом разнообразии: мелкие дворяне и купцы, бургомистры и ученые люди, их жены с плоскими, как пироги, лицами. Но Сарацини ставил эту аккуратную, скучную мазню на мольберт и часами внимательно рассматривал, а потом снимал краску растворителем в некоторых местах, смазывая живопись или обнажая грунтовку панели. Затем он перерисовывал лицо, делая его таким же, как раньше, но придавая значительности — аристократическая властность, бюргерская сметка, более окладистая борода; женщинам он пририсовывал кольца, скромные, но дорогие, если на портрете были видны руки, и делал получше цвет лица. Иногда Сарацини добавлял в верхний левый угол панели небольшой герб, указывающий статус изображенного на портрете человека. На одну картину, которая была гораздо больше других, он добавил золотую цепь-украшение, воротник и эмблему ордена Святого Духа. «Он наводит марафет на этих четырехсотлетних провинциалов, — думал Фрэнсис, — но зачем и для кого?»

Метод работы с масляными красками, которым пользовался Сарацини, был совершенно незнаком Фрэнсису. Сарацини клал на палитру краски — те самые, которые Фрэнсис с такими трудами изготавливал, — крохотными, почти скупыми мазками; вся остальная поверхность палитры была заполнена смесью фенола и формальдегида с капелькой олифы, и, прежде чем набрать краску, Сарацини окунал кисть в эту тягучую массу, которая служила ему растворителем. Несомненно, странный способ писать красками. К концу ноября Фрэнсис решил, что пришла пора задать вопрос.

— Вы увидите, зачем я это делаю, — сказал *Meister*. — Я бы даже сказал, не сможете не увидеть. Более поздняя запись на реставрированной, или воскрешенной, картине всегда заметна невооруженным глазом. По мере того как картина стареет и краски высыхают — это занимает около пятидесяти лет, — красочный слой трескается определенным образом. Мы называем эти трещины кракелюрами. Это лишь волосные трещинки; только плохие картины трескаются так, что становятся похожи на шкуру крокодила. Но эти волосные трещинки проходят сквозь всю толщу краски, до самого фунта, который был использо-

ван для подготовки холста — или панели, такой, с какими я работаю. Что же делать, чтобы в моей новой работе появились кракелюры, чтобы она неотличимо слилась со старой картиной? Как видите, я использую быстросохнущую краску, точнее, эту фенольную смесь, которая служит мне растворителем. Завтра я покажу вам, как делаются кракелюры.

Так вот зачем электрическая печь! Фрэнсис предположил сначала, что она нужна для отопления холодной, сырой комнаты-грота, но все тепло, какое было в комнате, исходило от жаровни — по сути, плошки с горящими углями, установленной на треножнике. По мнению Фрэнсиса, эта конструкция давала тепла не больше, чем последний вздох умирающего младенца. На следующий день после их разговора Сарацини включил электрическую печь. По прошествии некоторого времени печь с великим стенанием и скрежетом принялась вырабатывать тепло — не бог весть сколько тепла, но все равно это была тяжкая нагрузка на примитивную систему электропитания замка, где электролампочки были редки и тусклы и встречались лишь на первом этаже.

Когда *Meister* решил, что нагрев достаточен,

они с Фрэнсисом осторожно загрузили в печь расписанные панели, и через пятьдесят минут запекания на медленном огне на них в самом деле появились волосные трещины, удовлетворившие Сарацини. Картины еще не успели остыть, как он опять удивил Фрэнсиса.

— Пока они не остыли, возьмите соболиную кисть и нанесите обратно на картины ту пыль, которая на них была. Особенно старайтесь, чтобы пыль попала в трещины. Не прилагайте слишком много усилий, но обязательно покройте пылью всю картину, а особенно — свежую запись. Конечно же, используйте для каждой картины пыль из флакона с соответствующим номером. Не следует обижать бургомистра А., нанося на него пыль, которой рука времени осыпала портрет жены бургомистра Б. И поспешите. Пыль должна пристать к картине. Ну-ка за работу, о подмастерье старика Время.

На следующий день Сарацини явился сильно взволнованный.

— Теперь вся работа прекращается до моего возвращения из Рима. Мне нужно до Рождества заехать домой: я не могу долго быть в разлуке со своими возлюбленными — своими картинами, мебелью, даже с балдахином над кроватью: он

когда-то принадлежал императрице Жозефине. Антею, чтобы вновь набраться сил, нужно было прикоснуться к земле, а мне нужно коснуться моих красоток, чтобы набраться решимости, какая нужна для нынешней работы. Корнишь, отчего вы смотрите на меня странно? Неужели моя страстная привязанность к собственной коллекции вас так сильно удивляет?

— Нет, *Meister,* не в том дело. Но… в чем же все-таки заключается ваша нынешняя работа?

— А вы сами как думаете?

— Я не хотел бы строить необоснованных предположений… но эта реставрация, или воскрешение, или назовите как хотите, по-видимому, заходит несколько дальше необходимых пределов.

— О Корнишь, выкладывайте наконец, что у вас на уме. Слово, которое вертится у вас на языке, — подделка, верно?

— О *Meister,* я бы никогда не стал произносить это слово в применении к вам.

— Конечно нет.

— Но все же это выглядит… странно.

— Странно — это очень точное слово! Вот что, Корнишь, вы узнаете все, что вам нужно знать, во благовремение. Поистине, вы узнаете очень мно-

гое, когда нас посетит князь Макс. Он приезжает на Рождество, и я, несомненно, успею вернуться вовремя, чтобы показать ему все эти капитально улучшенные панели. Князь Макс выражается гораздо откровенней, чем я. Разумеется, это его право… А на те две недели, когда меня не будет, я приготовил для вас маленькое удовольствие. Удовольствие и отдых. Вы посмотрели, как я работаю, и я обещал научить вас всему, что вы, по моему мнению, способны вместить. Пока я буду в отъезде, нарисуйте мне картину. Вот небольшая панель. От живописи почти ничего не осталось, но сама панель и кожа, которой она обтянута, вполне сохранны. Нарисуйте мне картину — полностью от себя, но такую, чтобы она не выделялась среди других панелей. Постарайтесь как следует.

— А что нарисовать? Обычную бюргерскую голову-репу?

— То, что считаете нужным. Проявите изобретательность, друг мой. Но картина не должна выбиваться из общего ряда. Я хочу посмотреть, на что вы способны. А когда я вернусь, мы весело справим Рождество. Покажем князю Максу хорошенькие пирожки, которые мы так старательно пекли.

Проявить изобретательность? Ну, раз Сарацини просит, Фрэнсис выполнит его просьбу и удивит Мастера, который, кажется, невысокого мнения о его изобретательности. На следующий день Сарацини уехал в Рим, а Фрэнсис уселся за стол в стылом ракушечном гроте и стал обдумывать сюрприз.

Уехал не только Сарацини. Графиня с Амалией покинули замок в тот же день и направились в Мюнхен, чтобы вкусить от тамошних предрождественских забав. В замке остались только Фрэнсис и мисс Нибсмит.

Общество Рут Нибсмит оказалось весьма приятным: в отсутствие графини она заметно приоткрыла створки своей раковины. Днем Фрэнсис никогда не видел мисс Нибсмит, но они встречались за ужином, сервируемым так же неторопливо, как всегда. Промежутки между переменами блюд они заполняли обильными возлияниями превосходного вина из графининых погребов, а часы после ужина проводили в обществе бутылки бренди.

— Никак не могу привыкнуть к этим немецким комнатам, — сказала мисс Нибсмит, сбрасывая немаленькие туфли и закидывая ноги на стенку роскошной фаянсовой печи, стоящей в семейной

гостиной. — У них нет фокуса. Вы понимаете, о чем я? *Focus,* в латинском значении этого слова. Нет очага. Я скучаю по открытому очагу. Он оживляет комнату не хуже, чем собака. Эти немецкие печи прекрасны и, несомненно, практичны. Они гораздо лучше согревают комнату, чем это делал бы камин. Но где искать центр комнаты? Где встать, если хочешь что-нибудь провозгласить? Где греть седалище?

— Я думаю, фокус там, где самая важная персона, — ответил Фрэнсис. — Когда графиня здесь, фокусом, несомненно, служит она. Кстати, вы, как доверенное лицо хозяев, наверное, знаете: насколько я понимаю, на Рождество тут будет гостить некий князь Макс — станет ли он фокусом? Или графиня в своем замке всегда «царица горы»?

— Князь Макс будет фокусом, — ответила мисс Нибсмит, — но не только потому, что он важная персона. Он самый живой человек из всех, кого я знаю; он так смеется и болтает, что становится центром внимания, где бы ни был. Графиня его обожает.

— Родственник? — спросил Фрэнсис.

— Кузен, из дальних. Он Гогенцоллерн, но бедный. То есть для князя бедный. Но Максик

не из тех, кто ноет и клянет судьбу. Нет-нет, он не сидит на попе ровно, а активно занимается вином; он сплавляет массу этого вина в Англию и особенно в Штаты. Максик из тех, кого наши викторианские предки называли обаятельными проходимцами. Струя горячего воздуха, которая от него исходит, нас всех согреет, а может быть, больно обожжет.

А чем же мисс Нибсмит занимает свои дни? Фрэнсис вежливо осведомился об этом.

— Пишу письма для графини — по-французски, по-английски и по-немецки. Сейчас я к тому же приглядываю за бизнесом. Я хорошо печатаю на машинке. Даю уроки Амалии, в основном по истории; она много читает, и мы с ней разговариваем. Я занимаюсь историей. Я и Кембридж оканчивала по этой специальности. Гертон.[81] А когда есть время, я работаю над своими заметками, — может, когда-нибудь из них получится книга.

— Книга? О чем же?

— Вы будете смеяться. Хотя нет, мне кажется, вы слишком умны, чтобы смеяться. Любой, кто работает с Танкредом Сарацини, наверняка привык

[81] Примечания: 81

Гертон — колледж в составе Кембриджского университета, первый женский колледж в Англии. Основан в 1873 г. в расположенной неподалеку от Кембриджа деревне Гертон.

ко всяким странным затеям. Я изучаю развитие астрологии в Баварии, особенно в шестнадцатом и семнадцатом веках. Что вы об этом думаете?

— Ничего не думаю. Расскажите.

— Астрология — часть науки прошлого; конечно, в сегодняшней науке для нее нет места, потому что ее корни уходят в развенчанные ныне представления о Вселенной и она использует кучу неоплатонических идей, которые кажутся лишенными смысла… пока не поживешь с ними какое-то время.

— Значит ли это, что вы сами верите в астрологию?

— Ну, не как в незыблемую науку, конечно. Но если ее воспринимать как психологию — это совсем другой коленкор. Астрология основана на идее, которую давно отвергло замечательно рациональное западное общество, а именно что положение звезд при рождении человека определяет его жизнь. В двух словах — «Что вверху, то и внизу».[82] Полная чушь, конечно. Куча людей родится под одним и тем же сочетанием звезд, и,

---

[82] Примечания: 82

«Что вверху, то и внизу» — основополагающий принцип герметизма, религиозно-философского течения эпохи эллинизма и поздней античности, носившего эзотерический характер и сочетавшего элементы популярной греческой философии, халдейской астрологии, персидской магии и египетской алхимии.

разумеется, у них всех разные судьбы. Но конечно, нужно обязательно учитывать точное место рождения, а оно очень сильно влияет на картину расположения звезд. Короче говоря, астролог может, зная дату, время и место вашего рождения, составить гороскоп, который порой оказывается удивительно полезным, а иногда абсолютно ни на что не годным.

— Рут, вы говорите так, как будто сами в это верите.

— Наполовину да, на другую половину — нет. Но это очень похоже на «И Цзин».[83] Кроме рассудка, должна работать интуиция. В астрологии вся фишка — в интуиции астролога.

— А у вас сильная интуиция?

— Ну, хоть я и гертонианка, но должна признаться, что да — вопреки советам рассудка. В общем, я изучаю, насколько распространенной и влиятельной была астрология в этих местах во времена Реформации и Контрреформации, когда большинство населения было ярыми католиками и все духовные вещи — а значит, и психология тоже — были отданы на откуп Церкви, которая,

[83] Примечания: 83

«И Цзин» («Книга перемен») — старейший из китайских классических философских текстов. Содержит систему гексаграмм, которая до сих пор широко используется для гадания.

конечно, знала, как надо, и наставляла своих чад на путь истинный, если они были истинно послушными чадами. Но многие люди не хотели быть послушными чадами. Их неодолимо тянуло что-то из глубин их собственного существа, и они не могли побороть эту тягу, не могли переплавить ее в бесстрастие… или что там требовала от них Церковь. Поэтому они шли к астрологам, но астрологи обычно попадали в немилость у Церкви. Совсем как в наше время, когда все отдается на откуп науке, даже если эта наука полна дыр, как психоанализ. Но люди не согласны отдать все на откуп науке. Например, в США, очень экстравертированной и обуреваемой наукой стране, астрология — большое дело. Янки вечно кричат про свободу воли, и про то, что судьба человека — дело его собственных рук, и все такое, но они не менее суеверны, чем древние римляне.

— М-да, странный вы историк.

— Еще бы!

— Но, как говорил один мудрый человек, которого я знаю… знал — бедняги уже нет в живых, — «Жизнь — странная история».

— Страннее не бывает. Взять, например, эту комнату. Вот мы тут сидим уютнейшим образом, несмотря на отсутствие фокуса. Почему нам так

уютно?

— Благодаря печке, конечно.

— Да, но вы не задумывались, почему она такая теплая?

— Задумывался. Как ее топят?

— Благодаря интересной особенности всех этих старых замков. Между основными помещениями проходят узенькие коридорчики — иные не более восемнадцати дюймов шириной, и в них темно, как ночью. И по этим коридорам бесшумно ходят слуги в мягких тапочках и подкладывают дрова в печи. Мы их не видим и обычно не слышим. Мы о них не думаем, но они есть, и только благодаря им здесь можно жить зимой. Подслушивают ли они нас? Я уверена, что да. Они делают нам тепло, мы без них не можем, и они наверняка знают о нас столько, что, знай мы об этом, нам было бы не по себе. Они — потайная жизнь дома.

— Жутковато.

— Жизнь вообще жутковата. А ведь в жизни каждого из нас есть такие невидимые люди… и не совсем люди… которые нас согревают. Скажи, тебе когда-нибудь составляли гороскоп?

— Ну… один раз, в детстве, я послал деньги за составление гороскопа какой-то компании в Штатах, они рекламировали свои услуги в журнале

для мальчиков. Это была жуткая чушь, напечатанная с ошибками на отвратительной бумаге. А в Оксфорде один тип, болгарин, очень хотел составить мой гороскоп, но мне было совершенно очевидно: воля звезд, которую он прочитал, совпадала с его собственным желанием, чтобы я вступил в какую-то ячейку недоделанных коммунистических шпионов, про которую он думал, что он ее возглавляет. Я уверен, ты скажешь, что мое знакомство с астрологией было несколько поверхностным.

— Да, хотя гороскоп болгарина — вполне обычное дело. Куча гороскопов составлялась и, конечно, до сих пор составляется с подобными целями. Но я составлю для тебя гороскоп, если хочешь. Настоящий, без всяких послаблений. Хочешь?

— Конечно. Разве можно отказаться от такого лестного предложения?

— Точно. Кстати, это еще один важный момент. Если для тебя составляют гороскоп, значит тобой по-настоящему интересуются, а это случается реже, чем обычно думают. Где и когда ты родился?

— Двенадцатого сентября тысяча девятьсот девятого года, насколько мне известно — в семь часов.

— А где?

— В городке под названием Блэрлогги, в Канаде.

— Какой-то дальний полустанок. Придется заглянуть в справочник, чтобы узнать точное положение. Ведь звезды в Блэрлогги не точно такие же, как в любом другом месте.

— Да, но, допустим, в Блэрлогги одновременно со мной родился бы еще кто-нибудь; разве его судьба не была бы идентична моей?

— Нет. А теперь я выпущу кота из мешка. Вот что отличает меня от мошенников из твоего детского журнала и от твоего коммуниста-аферист а. Это — мое историческое открытие, которое настоящие астрологи берегли ценой своей жизни, и, если ты хоть полсловом обмолвишься о нем кому-нибудь до выхода моей книги, я тебя найду и очень затейливо убью. Когда тебя зачали?

— Боже, откуда мне знать? Но это было в Блэрлогги, я уверен.

— Обычный ответ. Родители ужасно жеманятся, когда дело доходит до разговоров с детьми на эту тему. Ну что ж, мне придется отсчитать назад приблизительный срок. Дальше, когда тебя крестили?

— О, это я могу сказать: примерно тремя неде-

лями позже, точная дата — тридцатого сентября, около четырех часов пополудни. В англиканской церкви. И кстати, раз уж об этом зашла речь, много лет спустя меня крестили снова, на этот раз в католичество. Я наверняка вспомню дату, если постараюсь. Но какое это имеет значение?

— Дата зачатия важна, это совершенно очевидно. Ты вполне здоровый с виду, так что, я думаю, ты был доношенный. Значит, дату можно восстановить достаточно точно. День, когда человек входит на великую Сцену Жизни, конечно, важен, и только его принимают во внимание астрологи попроще. Но день, когда ты официально родился для жизни в Духе, как ее понимает твоя религиозная община, день, когда ты получил имя, — важен, потому что добавляет несколько штрихов к твоей карте. А двойное крещение! Это уже какое-то духовное щегольство. Принеси мне к завтраку все данные на бумажке, и я ими займусь. А теперь еще по рюмашечке коньячку, и разойдемся по своим непорочным постелькам.

Дни наедине с собой в ракушечном гроте и вечера в обществе Рут Нибсмит врачевали потрепанное самоуважение Фрэнсиса. Отъезд из Англии дался ему очень тяжело. Сперва пришлось объяснять родителям Исмэй, что случилось, а

потом терпеть их очевидную, хоть и невысказанную, уверенность, что это он во всем виноват. Потом пришлось договариваться о малютке Шарлотте — малютке Чарли, как ее называли все, кроме Фрэнсиса, немного шепелявя на первом звуке: выходило что-то вроде «Шарли». Глассоны явно хотели контролировать судьбу девочки, но столь же явно не хотели с ней возиться. Они вполне логично заявили, что уже навоспитывались детей на своем веку. С какой стати им теперь вешать на себя младенца, который ежеминутно требует внимания? Они, что вполне естественно, беспокоились за Исмэй, которая болталась бог знает где, бог знает с кем, в стране, стоящей на пороге гражданской войны. Они признавали, что девчонка — дура, но это, по-видимому, никак не отменяло их уверенности, что во всем виноват Фрэнсис. Когда наконец Фрэнсис, доведенный до крайности, был вынужден сказать, что ребенок не его, тетя Пруденс рыдала, дядя Родерик ругался, но сочувствия к зятю у них не прибавилось. Рогоносцы всегда играют неблаговидную — и обычно комическую — роль.

Наконец Фрэнсису удалось договориться с Глассонами, и никогда в жизни он не чувствовал себя так ужасно. Кроме денег, которые он уже

пообещал на поддержку имения, он согласился оплачивать все расходы на содержание малютки Чарли — существенные, потому что ребенку нужна была первоклассная няня и все остальное, а это должно было влететь в кругленькую сумму, так как Глассоны не собирались ни в чем урезать внучку. Сверх этого он должен был выплачивать четко определенную сумму с неопределенным назначением — на непредвиденные расходы. Вроде бы вполне разумно, но Фрэнсиса не покидало чувство, что им пользуются, а в минуту жизни, когда пошатнулись его честь и его любовь, атака на его банковский счет оказалась неожиданно сильным дополнительным потрясением. Конечно, в таком положении неблагородно так много думать о деньгах, но он о них думал. Что для него была малютка Чарли — то вопящий, то спящий слюнявый комок?

Неудивительно, что он ухватился за предложение дяди Джека — что-то сделать, куда-то поехать, выполнить важное задание. Но за согласие он расплатился тремя месяцами черной работы на Сарацини, который заставлял его орудовать пестом и ступкой, кипятить вонючую грязь — составную часть «черного масла», нужного Сарацини для работы, — и вообще играть

роль мальчика на побегушках и «ученика волшебника».

А чем же занимался этот волшебник? Подделывал картины — ну, во всяком случае, улучшал настоящие, ничего не стоящие картины. Неужели великий Сарацини действительно погряз в этом непростительном для художника грехе? Судя по всему, да.

Ну что ж, раз пошла такая игра и Фрэнсиса в нее втянули, он будет играть на полную катушку. Он покажет Сарацини, что не хуже кого другого может малевать под немецких художников шестнадцатого века. Ему нужно было написать картину, по стилю и качеству похожую на уже законченные панели, которые сейчас стояли вдоль всех стен ракушечного грота, глядя на Фрэнсиса задумчивыми глазами безымянных мертвецов. Садясь за стол, чтобы продумать свою картину, Фрэнсис рассмеялся — впервые за последние несколько месяцев.

Он сделал много набросков; чтобы показать основательный подход к делу, он рисовал на дорогой старинной бумаге, вырезанной из старых книг и остатков альбомов художников, — запас этой бумаги у него оставался еще с Оксфорда. На бумагу он наносил основание из умбры и

осторожно рисовал наброски (их нельзя было назвать эскизами в современном смысле слова) серебряным карандашом. Да, выходило неплохо. Именно то, что он хотел изобразить, то, что удивит Мастера. Он быстро и уверенно принялся рисовать на этой несчастной старой панели — в осторожной манере самого Мастера, непримечательными, аутентичными красками, на каждом мазке смешивая их с волшебным составом из фенола и формальдегида.

И тут он с удивлением понял, что счастлив. И от счастья запел.

Многие художники пели за работой — нечто вроде заклинания, вызывающего духов. Стороннему наблюдателю могло показаться, что песня художника не имеет ничего общего с картиной, над которой он работает. Фрэнсис пел оксфордскую студенческую песню на мотив австрийского национального гимна былых счастливых времен «Боже, кайзера храни нам»:[84]

Что-то жизнь у нас ни к черту,
Как могила дом родной —

---

[84] Примечания: 84

...на мотив австрийского национального гимна... «Боже, кайзера храни нам»... — Музыка гимна Австрийской империи была написана Йозефом Гайдном в 1797 г. для императора Франца I. В настоящее время эта мелодия служит гимном Германии.

У отца стеноз аорты,
У мамаши геморрой.
Из страны мой братец выслан:
Все за то, что содомит.
Экономка с мордой кислой
На аборт опять бежит.

Он мычал без остановки, в упоении погрузившись в работу. «Счастливый фальсификатор, — подумал он. — Пока я этим занимаюсь, я неуязвим».

— Ты счастлив? Я — да. — Рут Нибсмит глядела на него с соседней подушки.

Не красавица, даже не хорошенькая, но ладная женщина и, несомненно, веселая. Другого слова Фрэнсис подобрать не смог. Жизнерадостная, свежая и, как выяснилось, с хорошим любовным аппетитом — она никоим образом не тащила Фрэнсиса в постель, но весело согласилась, когда он предложил расширить их дружбу в этом направлении.

— Да, счастлив. И очень приятно слышать, что ты тоже. У меня как-то не очень получается делать других людей счастливыми — этим способом.

— Но ведь так здорово, правда? Как ты оценишь наши достижения?

— На четверку с плюсом.

— Крепкий второй эшелон. Ну не знаю, я бы поставила пятерку с минусом. Это скромненько, до Ромео и Джульетты мы явно недотягиваем. В общем, мне было очень приятно то, чем мы занимались последние несколько дней.

— Ты так говоришь, как будто все кончилось.

— А все и кончилось. Завтра графиня привезет Амалию из Мюнхена, и я снова заступлю на пост, буду служить образцом добродетели и скромности. И я это сделаю без сожалений — точнее, без особых сожалений. Понимаешь, я считаю, что с нанимателями нужно играть честно: графиня мне доверяет, а значит, я не должна устраивать интрижки с другими старшими слугами, пока воспитываю Амалию. О, если б Амалия нас сейчас видела, она бы умерла от зависти!

— Что? Девочка?

— Тоже мне девочка! Ей четырнадцать лет, и она горячая, как вот эта печка. Между прочим, она тебя обожает.

— Да я с ней и двух слов не сказал!

— Разумеется. Ты далек, недостижим, мрачен и меланхоличен. Знаешь, как она тебя прозвала?

Le Beau Ténébreux.[85] Она для тебя готова землю рыть. Она бы совершенно пала духом, если бы знала, что ты довольствуешься ее гувернанткой.

— Ой, ну хватит уже про гувернантку! И кстати, о старших слугах: я никакой не слуга.

— Да ладно! Если ты только слуга — считай, тебе повезло. Графиня вот не слуга: она рабыня — рабыня этого замка и своей решимости восстановить фамильное богатство. Мы с тобой наемники, можем в любой момент взять и уйти. Мне нравится быть одной из старших слуг. Люди много лучше меня были старшими слугами. Если Гайдну не зазорно было носить ливрею Эстергази,[86] мне-то на что жаловаться? Когда знаешь свое место — в этом есть куча плюсов.

— То же говорила и Виктория Камерон.

— Одна из женщин в твоем сомнительном прошлом?

— Нет. Наверно, ее можно считать кем-то вроде няньки. Мое прошлое ничем не сомнительно, как ты наверняка прочитала по звездам. Моя жена

---

[85] Примечания: 85

Мрачный красавец *(фр.)*.

[86] Примечания: 86

…Гайдну не зазорно было носить ливрею Эстергази… — В 1761–1790 гг. Йозеф Гайдн служил вторым капельмейстером при дворе князей Эстергази — одного из самых могущественных аристократических семейств Австрии.

вечно тыкала меня в нос этим фактом.

— Жена? Это та женщина в гороскопе?

— Значит, ты ее нашла?

— Женщина, которая оставила на тебе огромный рубец.

— Точно, это Исмэй. Она вечно говорила, что я невинен до глупости.

— Фрэнк, это неправда. В смысле — ты вовсе не глуп. По твоему гороскопу это совершенно ясно видно.

— Так когда ты наконец раскроешь мне этот великий гороскоп? Лучше поскорей, если завтра уже приезжает графиня.

— Сегодня вечером. А теперь давай уберемся из этого гнездышка преступной страсти, потому что мне надо одеться, и тебе тоже, и нам обоим нужно помыться.

— Я думаю, не принять ли нам ванну. От нас обоих разит — и это весьма достойный запах.

— Нет, никаких ванн. Слуги сразу нас засекут, если мы соберемся принимать ванну среди бела дня. На баварском языке ванн послеобеденная ванна означает «секс». Нет, тебе придется ограничиться влажным обтиранием и своей предужинной порцией горячей воды.

— Хорошо. «Поцелуй — и навсегда / Нас разъ-

единят года».[87]

— О Рут, не говори «навсегда».

— Конечно не навсегда. Но во всяком случае, до ужина. А теперь — подъем!

— Надеюсь, на ужин дадут что-нибудь хорошее.

— Как ты думаешь, что это будет?

— Что-нибудь неслыханное для Дюстерштейна. Может быть, телятина?

— В точку! Я утром видела меню. *Poitrine de veau farci.*[88]

— Увы. Ну что ж: ласковая телятя на всех тарелках лежит.

Я таю, таю, моя Джен,
Как тает снег весной,
Я отбываю, моя Джен,
К телячьей отбивной.[89]

— Нам повезло, что хоть это дают. Я так голодна,

---

[87] Примечания: 87

«Поцелуй — и навсегда / Нас разъединят года». — Из стихотворения Роберта Бёрнса «Расставание».

[88] Примечания: 88

Грудинка телячья фаршированная *(фр.).*

[89] Примечания: 89

Я таю, таю, моя Джен… — Переиначенная ирландская народная песня.

что съела бы и лошадь.

— Голод — лучшая приправа.

— Потрясающе! Какая глубочайшая мудрость! Неужели ты сам до этого дошел?

Фрэнсис шутливо ткнул ее кулаком под ребра и пошел к себе совершать влажное обтирание перед ужином.

После ужина пришло время гороскопа. Рут принесла внушительную пачку бумаг, в том числе зодиакальные карты, на которые она добавила множество пометок красивым наклонным почерком.

— Видишь ли, манера письма не должна контрастировать с материалом, вот я и выучилась так писать.

— Да. Очень мило. Беда лишь в том, что такой почерк очень легко подделать.

— Думаешь? Я уверена, что ты способен распознать подделку под свою собственную руку.

— Да, случалось.

— Вот видишь? Ты точно *Le Beau Ténébreux.* А кто это постарался? Неужели та самая девушка твоей мечты, которая так и торчит в твоем гороскопе?

— Она самая. Какая ты умная, что догадалась.

— Большая часть работы над гороскопом —

умные догадки. То, на что намекает гороскоп, должно быть согласовано с тем, на что намекает его главный герой. Эта девушка для тебя — очень важная фигура.

— Была. Ее больше нет, и слава богу.

— Не «была». Она еще вернется.

— И что тогда?

— Это будет зависеть от того, сохранит ли она к тому времени позицию «девушки твоей мечты». Фрэнсис, ты должен раскрыть глаза на самого себя. В том, что она с тобой так плохо обошлась, часть и твоей вины. Когда мужчина делает «девушку мечты» из обыкновенной живой девушки, ей это чаще всего ужасно вредно. Некоторые девушки ведутся на это и пытаются превратиться в воплощение мечты, получается ужасная липа, и это верный путь к катастрофе. А другие девушки превращаются в законченных стерв, потому что не могут этого перенести. Твоя жена — стерва?

— Стерва, чистейшая дистиллированная стерва тройной очистки!

— Скорее всего, она просто дура. От дур всегда больше бед, чем от всех стерв, которых когда-либо носила земля, вместе взятых. Но давай посмотрим на твою карту. Переберемся на пол, чтобы все разложить. Придави углы книгами. Вот. А

теперь…

Карта была красива, как только могут быть красивы зодиакальные карты, и надписана аккуратно, как может надписать только гувернантка.

— Не буду утомлять тебя астрологическим жаргоном, но давай взглянем на основные факты. Важно то, что Солнце у тебя — в середине неба, а это просто потрясающе. А твой восточный горизонт — точка восхода — находится в соединении с Сатурном; влияние Сатурна часто понимают совершенно неправильно, потому что люди слышат «Сатурн» и сразу думают: мрачный, угрюмый, свинцовый, замкнутый. Но на самом деле Сатурн значит совершенно не это. Твоя Луна — на севере, или в основании неба. А теперь — и это очень важно — твое Солнце находится в соединении с планетой Меркурий. В тебе очень много жизненной силы благодаря сильному Солнцу — и, поверь мне, она тебе понадобится, потому что жизнь уже оставила на тебе несколько рубцов и еще оставит. Но это сильное Солнце также означает, что ты находишься прямо в русле потока психической энергии. У тебя огромный запас духовной отваги и огромная интуиция. И этот Меркурий — дивный, быстрый, способный многое вынести. С психологической

точки зрения ты прекрасно укомплектован… А теперь давай посмотрим на этот очень влиятельный и мощный Сатурн. Это судьба. Ты помнишь историю Сатурна? Ему нелегко пришлось — его кастрировали, но он и сам кое-кого кастрировал.[90] Что в костях заложено… ну знаешь. Есть узоры, которые непременно повторяются. Самые разные барьеры, бремена, которые приходится нести, тревоги, депрессии, нервные истощения — вот тебе и характер «мрачного красавца». Но есть и свои плюсы — в тебе сильно чувство ответственности, которое порой помогает выжить, и наконец обретаемое после долгой борьбы чувство реальности — его неплохо иметь, хотя и не всегда удобно. Видишь, твой Марс поддерживает Солнце, и это дает тебе потрясающее терпение и выносливость. И еще — это важно, — твой Сатурн находится в таком же аспекте с Луной, как твой Марс — с Солнцем, но Сатурн — даритель духовной силы, он уводит тебя далеко в подземный мир — мир сновидений, то, что Гёте называл

---

[90] Примечания: 90

Ты помнишь историю Сатурна? Ему нелегко пришлось — его кастрировали, но он и сам кое-кого кастрировал. — Согласно мифам, Крон (он же Кронос, или Сатурн) отрезал детородный орган у своего отца Келуса (Урана), а сын Крона Зевс (Юпитер), в свою очередь, подверг той же операции самого Крона. Имя Крона происходит от греческого слова «хронос» — время.

царством Матерей. Сейчас их любят называть архетипами — это звучит очень по-научному. Но слово «Матери» ближе к истине, потому что они именно Матери. Они творят, они — матрицы всего опыта, проживаемого человеком.

— Так это, значит, мир искусства?

— Не только. Искусство может быть симптомом или видимой формой того, чем являются Матери. Имей в виду, что можно быть прекрасным художником и ничего не знать о Матерях… Сатурн в асценденте и Солнце в середине неба — это очень редкое сочетание, которое сулит совершенно необычную жизнь. Может быть, даже особое небесное покровительство. Ты когда-нибудь что-нибудь такое чувствовал?

— Нет.

— Фрэнсис, ты в самом деле очень необычный человек.

— Лестно слышать.

— Я тебе не льщу! С такими вещами не играют. Я не сшибаю медяки составлением гороскопов. Я пытаюсь проникнуть в суть вещей, и мне очень повезло, что я наткнулась на тот астрологический секрет, про который я тебе говорила. Фрэнсис, я не шучу.

— Надо сказать, что моя необычность не спе-

шит проявляться.

— Скоро начнет, а может, уже начала. Мировой славы я тебе не обещаю, но, может быть, посмертную?.. У тебя в карте есть несколько вещей, о которых я непременно тебе сказала бы, если бы занималась гаданием за деньги. Пребывание в Дюстерштейне для тебя очень важно, это видно по твоей карте. И работа с Сарацини тоже очень важна, хотя он виден только как воздействие Меркурия. И еще всякие фоновые вещи, которые сейчас не видны. Что у тебя с музыкой?

— С музыкой? Я никогда особо не занимался музыкой. У меня нет способностей.

— Нет, это чья-то чужая музыка. В твоем детстве.

— У меня была тетя, которая часто играла на пианино и пела. Надо полагать, ужасную ерунду.

— Это она — ложная мать? У тебя их тут две. Вторая — это та нянька?

— Кухарка моего деда, если точно.

— Очень сильное влияние. Твердое как гранит. А в другой есть капелька чего-то ведьминского. Она была с виду странная? Это она пела? Не важно, что ее песни вышли из моды. Ты знаешь, люди в этом смысле очень глупы: они думают, что только самая модная музыка действует на человека,

а если она недостойна Зальцбурга или Байрёйта,[91] то ее можно сбросить со счетов. На самом деле сентиментальная песенка иногда открывает двери, в которые тщетно стучится Гуго Вольф.[92] Наверно, с картинами то же самое. Хороший вкус и сильный эффект не всегда связаны. Если твоя поющая тетя вкладывала в пение всю душу, она могла оставить на тебе пожизненную печать.

— Может, и так. Я часто про нее вспоминаю. Мне пишут, что она сильно сдает.

— А это что вот тут? Какой-то жуткий узел. Вроде бы даже не совсем человек. У тебя не было очень любимой кошки или собаки?

— У меня был очень больной брат.

— Странно. Как-то не слишком похоже на брата… Но кто бы он ни был, он очень, очень сильно на тебя повлиял. Он дал тебе великое сострадание к несчастным и униженным, и это прекрасно —

---

[91] Примечания: 91

…недостойна Зальцбурга или Байрёйта… — Зальцбург (Австрия), Байрёйт (Германия) — центры оперного искусства, места проведения известных музыкальных фестивалей.

[92] Примечания: 92

Гуго Вольф (1860–1903) — австрийский композитор. В историю мировой музыки вошел как один из крупнейших мастеров камерно-вокального жанра XIX в., развивший и подытоживший традиции песенной классики от Бетховена до Шуберта и Шумана. Опираясь на традиции немецкой классической песни, Lied, он претворил ее на основе вагнеровской музыкальной драмы.

если не затуманивает здравый смысл. Впрочем, это вряд ли возможно с таким сильным Меркурием. Но неумеренное сострадание губит человека еще быстрей, чем бренди. А царство мертвых? Что ты там делал?

— Я считаю, что узнавал, до чего хрупка и до чего тяжела человеческая жизнь. У меня был замечательный учитель.

— Да, я его вижу, нечто вроде Харона, он перевозит мертвых к ним домой, на тот свет. Если бы я писала научную работу, от чего боже меня сохрани, я назвала бы его «психопомп».

— Красивое слово. Ему бы понравилось называться психопомпом.

— Это, случайно, не твой отец?

— Нет, слуга.

— Странно, а выглядит совсем как отец или, во всяком случае, какой-то родственник. А где отец? Я вижу какого-то Полифема, но не могу понять, отец он или нет.

Фрэнсис рассмеялся:

— О да, он точно Полифем. Носит монокль не снимая. Хороший человек.

— Вот видишь, как осторожно надо подходить к интерпретациям. Полифем вовсе не был хорошим человеком. Но определенно был одно-

глазым. Но действительно ли он твой отец? А что же старик?

— Какой старик? Мой дедушка?

— Да, наверно. Человек, который по-настоящему любил твою мать.

— Рут, что ты несешь?

— Только не лезь в бутылку. Я говорю про инцест. Не физическую гадость, а духовную, психологическую связь. В ней есть нечто благородное. Она бы облагородила и физическую связь, если бы та была. Но я вовсе не имею в виду, что ты — сын своего деда по плоти. Скорее, ты его духовное дитя, любимое за то, что оно — дитя его обожаемой дочери. А что твоя мать? Она как-то слабо проявляется. Ты ее очень любишь?

— Думаю, да. Я всегда так думал. Но она никогда не была реальной в той же мере, что тетя и кухарка. У меня никогда не было ощущения, что я ее знаю по-настоящему.

— Мудро дитя, знающее своего отца, но лишь один человек из миллиона знает свою мать. Матери — загадочные существа.

— Да. Мне говорили. Они спускаются вниз, вниз, вниз, к самым вратам преисподней, чтобы мы, мужчины, могли жить.

— Это очень сатурновское высказывание. И

похоже, что ты ее за это ненавидишь.

— А кто бы не стал ненавидеть? Кому нужен такой неподъемный, давящий долг благодарности по отношению к другому человеку? Я полагаю, что, зачиная меня, она не думала о вратах ада.

— Верно. Если твоя первая карта не врет, тебя зачинали с большим удовольствием. А ты ей уже сказал про свою жену? Что она сбежала с тем авантюристом?

— Нет. Еще не сказал.

— А про ребенка?

— О да, про ребенка она знает. «Милый, ну какой же ты гадкий мальчик, сделал меня бабушкой!» Это она мне написала.

— А ты уже утешил ее, что на самом деле она вовсе не бабушка?

— Черт возьми, Рут, это уже какая-то инквизиция! Ты что, правда это разглядела в своей несусветице?

— Я вижу рога рогоносца — ясно до боли. Ты не суетись. Это бывало и с лучшими людьми. Вспомни короля Артура.

— В жопу короля Артура! И Тристана с Изольдой, и гребаный Грааль, и всю эту кельтскую херню! Каким ослом я себя выставил из-за всего этого!

— Бывает, люди выставляют себя ослами из-за гораздо менее достойных вещей.

— Рут, я не то чтобы вредничаю, но все это как-то слишком неопределенно, мифология какая-то. Скажи честно, ты ведь на самом деле во все это не веришь?

— Я тебе уже сказала: это лишь способ перенаправить интуицию и достичь вещей, до которых невозможно добраться по широким, хорошо освещенным проспектам науки. Да, астрология не укладывается в четкие принципы, но это не повод от нее отмахиваться. Чтобы поговорить с Матерями, нельзя просто взять и позвонить им по телефону. Их номера нет в справочнике. Да, я верю во «все это».

— Но все, что ты мне до сих пор говорила, — приятные, лестные вещи. А если бы ты увидела по моей карте, что я умру сегодня ночью, ты бы мне сказала?

— Наверно, нет.

— Ну хорошо, в таком случае — когда я умру? Ну-ка давай что-нибудь определенное, что там тебе звезды нашептали.

— Ни один астролог, если он в своем уме, не назовет человеку время его смерти. Хотя жил однажды мудрый астролог, который сказал

вспыльчивому королю, что король умрет на следующий день после него. И потому прожил долгую и счастливую жизнь. Но вот что я тебе скажу: прогноз благоприятен. Войну ты переживешь.

— Войну?

— Да, ту, которая скоро начнется. Ну правда же, Фрэнсис, не нужно читать по звездам, чтобы видеть, что скоро начнется война и что нам с тобой лучше бы убраться из этого очаровательного, живописного замка до того. Чтобы не оказаться случайно в том самом поезде, что раз в несколько дней проходит под нашими окнами.

— Так ты об этом знаешь?

— Это не ахти какой секрет. Я бы многое отдала, чтоб хоть одним глазком взглянуть на тот лагерь, но первое правило для иностранцев — не совать нос куда попало. Надеюсь, ты не слишком далеко заезжаешь в ту сторону, когда ездишь проветриться на своей машинке. Фрэнсис, ты ведь не можешь не знать, что мы сейчас в логове тирании, которой не было равных как минимум за последнюю тысячу лет, и, несомненно, самой эффективной тирании за всю историю человечества. А где тирания, там и предательство — иногда утонченнейшее. Ты не знаешь, чем занимается

Сарацини?

— У меня в последнее время возникают разные вопросы по этому поводу.

— Выясни, да побыстрее. Честное слово, Фрэнсис, для человека с таким сильным Меркурием ты удивительно медленно соображаешь. Я сказала, что ты не глуп, но ты определенно туповат. Очень советую тебе выяснить, во что ты вляпался. Может, Макс тебе объяснит. Слушай, Меркурий ведь бог сообразительности, верно? А также хитрости, обмана, всяких трюков и прочего в том же духе. В твоей судьбе скоро наступит величайший момент. Судьбоносное решение. Фрэнсис, я тебя умоляю: будь жуликом, если нужно, только, ради всего святого, не будь тупым жуликом! Ведь у тебя в карте так сильны Сатурн и Меркурий! Ты хотел, чтобы я тебе рассказала о темной стороне твоего гороскопа, — так вот она! И еще одно. Деньги, ты слишком любишь деньги.

— Потому что каждый, кого ни возьми, пытается меня обобрать. Как будто я всеобщий банкир, бесплатный мойщик бутылок, шпик и лакей…

— Шпик? Так вот почему ты здесь! Ну что ж, мне будет чуточку спокойней, раз ты не просто заблудший американец, шарящий вслепую в тумане…

— Я не американец, черт возьми! Я канадец. Вы, англичане, могли бы, наконец, и запомнить разницу!

— Извини, извини! Конечно ты канадец. А знаешь, что это значит с точки зрения психологии? Ужасную кашу. По массе уважительных причин, в том числе из-за сильного планетного влияния, Канада — страна-интроверт, которая из кожи вон лезет, чтобы казаться экстравертом. Проснитесь! Будьте собой, а не дурной копией кого-то другого!

— Ты просто гениально несешь беспросветную чушь — лучше всех, кого я знаю.

— Ну ладно, о тупоголовый друг мой. Подожди, и все увидишь сам. Сеанс у астролога окончен! Уже полночь, а завтра мы должны, бодры и свежи, приветствовать своих хозяев, когда они приедут из Мюнхена, Рима и откуда там должен прибыть пресловутый князь Максимилиан. Так что налей мне еще рюмку коньяка, и — спокойной ночи!

— Хайль Гитлер! — Приветствие князя Макса прогремело как пистолетный выстрел.

Сарацини вздрогнул, и рука его дернулась, будто желая вскинуться в ответ. Но графиня, присевшая в реверансе, поднималась медленно, словно актер пантомимы из потайного люка на

сцене.

— Макс, это было обязательно?

— Дорогая кузина, не сердитесь, я просто пошутил. Можно? — И он нежно поцеловал ее в щеку. — Сарацини, дорогой друг! Милая кузиночка, вы еще красивей обычного. Мисс Нибсмит, как поживаете? А вы… мы не встречались, но вы, надо полагать, Корниш, правая рука Танкреда. Очень приятно.

Когда князь Макс говорил, нелегко было вставить слово. Фрэнсис пожал протянутую руку. Макс не умолкал:

— Спасибо вам, кузина, что пригласили меня на Рождество. Оно в Баварии уже не то, что раньше, хотя по дороге я видел кое-какие признаки увеселений. Я поехал через Обераммергау, надеясь, что уж там-то рождению Господа нашего радуются с должной благодарностью. Ведь тамошние жители продают, в том числе на экспорт, по нескольку сот тысяч погонных метров яслей, распятий и святых образов в год, и даже они вряд ли способны начисто забыть, что было этому причиной. А вот в Швейцарии Рождество в полном безудержном разгуле. В Париже празднуют почти с таким неистовством, как если бы Христос был французом. И в Лондоне люди, в остальном

вполне вменяемые, утопают в диккенсовских соплях, расхватывают в «Фортнуме» последние тарталетки, пудинги, хлопушки и прочую атрибутику местных сатурналий. А здесь… Вижу, вы развесили венки из хвои…

— Ну конечно. А завтра месса, как обычно.

— И я обязательно пойду! Не съев ни крошки, не выпив ни глотка после полуночи. Даже зубы чистить не буду — вдруг пресловутая лютеранская капля воды случайно попадет в горло. Как хорошо! А, Корниш? Или мне следует сказать «тото будиТ рас чуДесна?»[93]

— Простите, ваша светлость?

— Нет-нет, никаких светлостей! Зовите меня Максом. «Тото будиТ рас чуДесна» — это из Диккенса. Вы, должно быть, настоящий диккенсовский протестант, а?

— Меня вырастили католиком.

— А с виду совсем не похоже.

— А как, интересно, должны выглядеть католики? — недовольно спросила графиня.

— Они выглядят прекрасно, кузина, у них в глазах — свет Царства Небесного, который никогда не увидишь у лютеран. Разве не так, а, мисс

---

[93] Примечания: 93

«Тото будиТ рас чуДесна» — Ч. Диккенс. Большие надежды. Гл. 7. Перевод М. Ф. Лорие.

Нибсмит?

— О, зато в наших глазах сияет свет истины, ваша светлость.

— Очень хорошо! Гувернантку не подловишь, а? Амалия, надеюсь, и ты впитываешь хоть немножко этого света?

Амалия покраснела, как всегда, когда к ней обращались, а ей было нечего сказать. Но она могла не беспокоиться. Князь продолжал свою тираду:

— Ах, настоящее баварское Рождество, совсем как в детстве! Но надолго ли это? Надеюсь, среди нас нет евреев, так что нам позволено будет праздновать Рождество согласно традициям и нам хотя бы никто не помешает. Танкред, а вы, случайно, не еврей? Меня всегда волновал этот вопрос.

— Боже сохрани, — сказал Сарацини и перекрестился. — Мне и без этого забот хватает.

Тут Амалия обрела голос.

— А я и не знала, что евреи празднуют Рождество, — сказала она.

— Им, беднягам, сейчас вряд ли удается хоть что-то праздновать. За ужином выпьем за наступление лучших времен, хорошо?

Князь приехал в спортивном автомобильчике, который фыркал, кашлял, ревел, пердел и был

нагружен свертками и большими кожаными чемоданами. Когда обитатели замка собрались к ужину, оказалось, что в свертках и чемоданах — подарки для всех. Подарки словно бы громко вопили: «Бонд-стрит!» Графиня получила ящик кларета и ящик шампанского. Амалия — фотографию князя Макса в парадной военной форме, в дорогой рамке от «Эсприс». Мисс Нибсмит — красивейший, хоть и не очень практичный, дневник с переплетом из голубой кожи, с золотым замочком и ключом. Для астрологических записей, хитро сказал князь. Сарацини и Фрэнсис получили карманные дневники в кожаных переплетах на будущий год, явно от «Смитсона». Слугам же досталась корзина роскошных лакомств из «Фортнума».

Конечно, были и другие подарки. Графиня подарила Фрэнсису книгу про дюстерштейнские картины, написанную каким-то трудолюбивым ученым много лет назад. Амалия, сильно краснея, вручила Фрэнсису шесть носовых платков, на которых она вышила его инициалы. Сарацини подарил всем книги стихов, переплетенные во Флоренции. Фрэнсис отличился тем, что преподнес графине и Амалии их портреты — рисунки, сделанные им самим в стиле старых мастеров.

Он особенно старательно подчеркнул семейное сходство. Для мужчин и мисс Нибсмит он ничего не припас, но это, кажется, не имело значения. Когда все подарки были розданы, начался ужин, длиннее обычного, с олениной, жареным гусем и фаршированным карпом, который оказался приятнее на вид, чем на вкус. Когда доели сыр, графиня объявила, что в честь Фрэнсиса трапезу завершит традиционное английское блюдо, которое повар, италошвейцарец, определил как *Suppe Inglese*.[94] Блюдо оказалось смелой попыткой воспроизвести вишневый трайфл[95] — результат получился слишком мокрым, но Фрэнсис оценил добросердечный жест.

Ужин сопровождался не столько общей беседой, сколько сольным выступлением князя Макса, полным упоминаний — небрежных, но не слишком необходимых — про «моего кузена Кароля, румынского короля». Кроме этого, Макс рассказал пару исторических анекдотов

---

[94] Примечания: 94
Английский суп *(ит.).*

[95] Примечания: 95
Вишневый трайфл — традиционный английский десерт из бисквита, желе, молочного крема и взбитых сливок.

про «моего предка, *Friedrich der Grosse*,[96] хотя мы, конечно, принадлежим к швабской ветви семейства», и длинную историю о том, как он мальчиком изучал каноническое право, «чтобы священники не могли нас обмануть, — понимаете, во владениях нашей семьи было больше пятидесяти приходов». Когда наконец пришло время тостов, выпили за графиню, Амалию, мисс Нибсмит, за сокровища итальянского искусства, «о которых заботится наш дорогой маэстро Танкред Сарацини», и за английского короля, а затем князь, немало забавляясь, настоял, чтобы они подняли бокалы за «претендента на британский трон, моего кузена князя Рупрехта Баварского, который наследует через своих предков Стюартов, как вы, конечно, знаете». После этого Фрэнсис непременно должен был разбить свой бокал (предварительно убедившись, что это не слишком большая ценность), чтобы никто никогда не мог поднять его по менее важному случаю.

Фрэнсис вышел из своей обычной роли *Le Beau Ténébreux* — в нем бродило выпитое вино. Когда Амалия набралась храбрости и спросила, правда

---

[96] Примечания: 96

Friedrich der Grosse — Фридрих Великий, он же Фридрих II (1712–1786) — король Пруссии в 1740–1786 гг., один из основоположников прусско-германской государственности.

ли, что в Канаде множество медведей, он ответил, что в его детстве одного мальчика сожрал медведь всего в трех милях от Блэрлогги. Это была правда, но Фрэнсис, не удовлетворившись ею, добавил, что медведя позже видели: он шел на задних лапах, на голове у него была шапка съеденного мальчика, а под мышкой — его мешок с книгами. Двигался медведь по направлению к Карлайлской сельской школе. В это не поверила даже Амалия.

— Милая, английское остроумие склонно к некоторой доле *fantaisie,* — сказала графиня с серьезностью, положенной бабушке.

Затем князь Макс опять завладел нитью беседы и начал рассказывать про охоту на кабанов, в которой он участвовал вместе с разнообразными высокопоставленными родственниками.

— А чем князь занимается сейчас? — спросил Фрэнсис у Рут Нибсмит после ужина.

— Он коммивояжер в виноторговой компании с отделением в Лондоне, — шепнула она. — Живет на жалованье — ему прилично платят, но, конечно, это не богатство. Он настоящий аристократ — бесстыдно живучий и жизнерадостный. Гитлер его никогда не одолеет. Ты заметил маленькую виттельсбахскую штучку — герб на двери его

машины? Макс — подлинный аристократ, но язык у него подвешен как надо, не то что у наших английских важных шишек.

Наступило рождественское утро. Месса была прослушана, завтрак съеден, и Сарацини, не сказав ни слова — хотя князь не переставая говорил о других вещах, — направился в ракушечный грот-мастерскую, а графиня, князь и Фрэнсис последовали за ним. Панели, над которыми Сарацини работал всю осень, были расставлены на столах, прислонены к стенам и к колоннам из ляпис-лазури.

Князь неторопливо осмотрел их все.

— Восхитительно! — сказал он. — Поистине, Танкред, вы превзошли собственную репутацию. Как вы преобразили эту унылую мазню! Я бы никогда не поверил, если бы не видел собственными глазами. И вы говорите, что это нельзя распознать?

— Очень решительно настроенный критик, вооруженный различными кислотами для проб и особыми лучами, позволяющими выявить неизбежную разницу в наложении мазков, наверное, разглядит мою работу — и даже в этом случае у него не будет полной уверенности. Но, как я не устаю повторять нашему другу Корнишу, наша

задача — сделать работу так хорошо, чтобы подозрения даже не возникли и чтобы любопытные критики со своими лучами не явились и не начали сеять эти подозрения. Как видите, картины довольно грязные. И грязь — их собственная. Никакой аугсбургской грязи там, где должна быть нюрнбергская. Без сомнения, эти картины хорошенько почистят, прежде чем повесить в великой галерее.

— Может быть, вас даже пригласят руководить чисткой. Будет неплохо, а?

— Да, я получу большое удовольствие.

— Знаете, некоторые так хороши, что мне даже захотелось оставить их себе. Вы заставляете зрителя поверить, что какие-то чрезвычайно искусные, совершенно неизвестные и непризнанные портретисты подлинно немецкого стиля работали в этих местах среди богатых купцов в пятнадцатом и шестнадцатом веках. Единственное, что вам не удалось спрятать, *Meister,* — это ваш талант.

— Вы очень добры.

— Посмотрите-ка на эту. Шут Фуггеров. Несомненно, один из тех шутов, которых, как мы знаем, Фуггеры постоянно держали с тех пор, как стали князьями. Но который же? Как вы думаете

— может, это дурачок Гензель, любимец князя Ганса? Поглядите на него. Какое лицо!

— Бедняга, — сказала графиня. — Подумать только — родиться карликом и жить игрушкой на содержании! Впрочем, надо полагать, это лучше, чем родиться и жить карликом, которого никто не содержит.

— Наши друзья, несомненно, придут в восторг от этой картины, — сказал князь Макс.

— Прошу прощения, но она не идет с остальными, — вмешался Сарацини.

— Не идет с остальными?! Но она же лучшая во всей партии! Почему не идет?

— Потому что это не подрисованная настоящая картина. Это полная фабрикация, проще говоря — подделка, созданная нашим юным другом Корнишем. Я учил его технике рисования подобного рода картин и велел в качестве упражнения изобразить нечто подобное самостоятельно, чтобы показать, насколько он освоил технику.

— Но это же шедевр!

— Да. Шедевральная подделка.

— Но… а ее можно распознать?

— Без научного анализа — нет. Панель старая и вполне подлинная, обтянутая такой же старой кожей. Цвета правильные, краски сделаны по ста-

рой технологии. Техника безупречна, разве что слишком хороша для совершенно неизвестного художника. Этот хитроумный негодяй Корнишь даже позаботился, чтобы в кракелюрах оказалась подлинная старинная пыль. Я полагаю, что и у одного наблюдателя из тысячи не возникнет сомнений.

— Да, но, *Meister...* этот наблюдатель, конечно же, заметит в верхнем левом углу *Firmenzeichen,* вилы в круге, — старинный знак рода Фуггеров. И похвалит себя за наблюдательность и догадливость, тем более что знак едва виден.

— Да. Но все равно это подделка, дорогой Макс.

— Может быть, по сути. Но не по духу, безусловно. Подумайте, *Meister,* ведь это не имитация работы какого-либо известного художника. В таком случае это действительно была бы подделка. Нет, это всего лишь маленькая картинка в манере шестнадцатого века. Чем же она отличается от остальных?

— Только тем, что написана меньше месяца назад.

— О, это почти лютеранское моральное чистоплюйство! Вы — недостойный слуга Хроноса. Кузина, что вы скажете? Ведь это маленькая жемчужина, правда?

— Я скажу, что эта картина говорит нам об унылом, беспросветном существовании карлика, которому приходится делать из себя посмешище, чтобы его терпели. Который чувствует, что Господь с ним дурно обошелся. Если уж я при взгляде на картину чувствую нечто подобное, это должна быть поистине сильная вещь. Я бы хотела, чтобы она отправилась вместе с остальными.

— Конечно, кузина. Именно такого здравого взгляда я от вас и ожидал. Ну же, Танкред, смиритесь.

— Ну, если вы настаиваете… Вы рискуете сильнее всех нас.

— Это моя забота. Кузина, все ли готово к путешествию?

— Да, шесть бочек с вином стоят в старой житнице.

— Тогда немедленно за работу.

Следующие три часа графиня, Фрэнсис, Макс и Сарацини заворачивали панели — общим числом восемнадцать, включая портрет шута, — в промасленную бумагу. Затем картины зашили в водоотталкивающий шелк, а швы запечатали смолой, которую Сарацини разогрел на жаровне. К сверткам привязали свинцовые грузики. Затем картины отнесли в старую житницу, где по

случаю праздников не было никого из рабочих. С бочек сняли верхние днища и осторожно погрузили картины в белое вино, которое заполняло бочки — по пятьдесят два галлона в каждой. Когда князь Макс забил на место последнее днище, восемнадцать утопленных картин, надежно укутанных в водонепроницаемые упаковки, были готовы к отправке в Англию, на склады уважаемого лондонского виноторговца. Этим утром все славно поработали, и даже графиня чуточку расслабилась против обычного и пригласила всех на рюмочку мадеры в свои личные покои, где Фрэнсис раньше не бывал.

— Сознание наших свершений наполняет меня дивным теплом, — сказал князь Макс, нюхая содержимое стакана. — Я радуюсь широте и изобретательности нашего ума. Интересно, хватит ли у меня выдержки не оставить карлика Фуггеров себе. Нет, это было бы непрофессионально. Он должен отправиться вместе с прочими. Надо сказать, меня очень удивляет молчание нашего друга Фрэнсиса. Он не произнес ни слова о том, что мы сделали с картинами.

— У меня есть веские причины молчать, — ответил Фрэнсис. — Но я, конечно, хотел бы знать, что тут происходит, если это позволительно. *Meister*

так запугал меня в последние четыре месяца, что я не чувствую себя вправе задавать вопросы. Надо думать, это и значит быть подмастерьем. Держать глаза открытыми, а рот на замке. Но мне бы хотелось знать хоть что-нибудь, если можно.

— Танкред, похоже, вы ужасный старый тиран, — заметил князь Макс. — Кузина, как вы считаете — может быть, стоит объяснить хоть малую часть?

— Да. Хотя я сомневаюсь, что вы можете — в объяснениях или в чем угодно еще — ограничиться малой частью. Но мистер Корниш уже замешан в… вам придется объяснить в чем… сильней, чем он сам догадывается, и держать его в неведении было бы дурно.

— Значит, так, дорогой Корниш. Вы ведь знаете, что наш фюрер — великий знаток искусства? Это вполне объяснимо, так как в молодости, до призвания на поприще могучих свершений, он сам был художником. Он полон решимости открыть духовные богатства немецкого народа всему миру, а также самому немецкому народу. С этой целью он решил приобрести и вернуть в Германию все работы немецких художников, находящиеся за границей. Репатриация нашего наследия, как он это называет. Конечно, это не

быстрое дело. Во время Реформации произведения немецкого религиозного искусства сильно рассеялись. Это была никому не нужная труха. Во всяком случае, лютеранам ненужная. Многие вещи оказались в других странах, и даже в Америке, откуда они, по всей вероятности, не вернутся. Но то, что в Европе, можно как-то вернуть. Второй период великого рассеяния немецкого искусства имел место в восемнадцатом веке и в начале девятнадцатого, когда любой юный щеголь, совершая обязательное для тех времен большое путешествие по Европе, считал своим долгом прихватить несколько хорошеньких вещичек. И далеко не все они были созданы в Италии. Некоторые шедевры готического искусства происходят отсюда. Фюрер хочет собрать все это, и первоклассные, и второстепенные вещи — хотя он никакое подлинно немецкое произведение не считает второстепенным, — и построить в Линце великий Фюрер-музей, где они будут храниться.

— Но ведь Линц же в Австрии?

— Да, и совсем недалеко от места рождения фюрера. Ко времени, когда все картины будут собраны, Австрия уже созреет и сама упадет в руки… Вы начинаете понимать?

— Да, но неужели фюрера интересуют картины,

над которыми работали мы с Мастером? Они ведь совершенно заурядны? И зачем посылать их в Англию? Почему не предложить их прямо тут?

— Ну… это сложная история. Во-первых, фюрера интересует все немецкое; потом, когда он соберет все произведения искусства, их поделят на хорошие и посредственные. И я должен заметить, что вы с нашим милым Танкредом приподняли эти картины над серой заурядностью. Это весьма интересные портреты бюргеров. Как светится их ум, их немецкость! Во-вторых, фюрер готов… или, точнее сказать, его агенты готовы договариваться с зарубежными владельцами предметов искусства. Они желают меняться. За каждую немецкую картину можно получить картину примерно такой же ценности, которая не принадлежит кисти немецкого художника, но хранится сейчас в немецкой галерее. Музей кайзера Фридриха в Берлине и Мюнхенская пинакотека уже послушались деликатных увещеваний советников фюрера по искусству и обменяли одного Дуччо ди Буонинсенья, одного Рафаэля, несколько фра Липпо Липпи и бог знает что еще на предложенные им немецкие картины. В Англии их, знаете ли, немало.

— Надо полагать.

— И мы как раз собираемся отправить в Англию еще несколько вещей для последующего обмена. Такие картины вполне могли обнаружиться в английских сельских усадьбах. Незначительные вещи, но главный закупщик фюрера заботится и о количестве тоже, а не только о качестве.

— Он и о качестве не забывает, — вставила графиня, сдавленно фыркнув.

— О да, и на здешнюю коллекцию он тоже поглядывает. Главный агент фюрера по закупке предметов искусства, как вы, возможно, знаете, — очень занятой человек, рейхсмаршал Геринг, и он уже нанес визит моей кузине, чтобы узнать, не желает ли она преподнести свою коллекцию в дар Фюрер-музею в знак преданности немецким идеалам. Рейхсмаршал очень любит живопись и сам владеет неплохой коллекцией. Насколько мне известно, — князь посмотрел на графиню, — он попросил фюрера восстановить для него титул, дарованный ландграфом Вильгельмом Третьим Гессенским своему советнику по искусству: «генеральный управляющий отрадой для взора».

— Какая наглость! — воскликнула графиня. — У него чрезвычайно вульгарные вкусы. Впрочем, чего еще ожидать.

— Ну вот, дорогой Корниш, теперь вы все знаете, — сказал князь.

— Значит, это донкихотская антигитлеровская эскапада? — спросил Фрэнсис. — Просто чтобы ему насолить? Но ведь вы чудовищно рискуете?

— Мы, конечно, донкихотствуем, но не настолько, — ответил князь. — За эту работу мы получаем определенное вознаграждение — она, как вы совершенно правильно сказали, опасна. Дружественные нам английские фирмы весьма щедры. В нашей схеме участвуют различные торговцы предметами искусства. Они организуют обмен, и они же продают итальянские шедевры, отправляемые в Англию взамен картин, которыми мы занимались сегодня утром. Подобная небольшая партия незначительных картин может быть обменяна на один холст — Тьеполо или даже Рафаэля. Конечно, мы донкихотствуем, но не совсем бескорыстно. Некоторые суммы денег переходят из рук в руки в зависимости от наших успехов.

Фрэнсис поглядел на графиню. Он хорошо владел лицом, но, должно быть, все же выдал свое изумление. Графиня даже бровью не повела.

— Кто боится риска, тому не восстановить великое состояние, — заметила она.

— Эта девушка неплохо справилась с гороскопом Фрэнсиса, — сказал Цадкиил Малый. — Она даже намекнула на твое участие в его судьбе, брат. Ты, должно быть, удивился.

— Меня не так просто удивить, — ответил даймон Маймас. — Во дни, когда люди признавали существование и силу даймонов вроде меня, нас часто узнавали и призывали. Но безусловно, девушка весьма преуспела. Она предупредила Фрэнсиса о надвигающемся кризисе и предостерегла против растущей в нем привязанности к деньгам.

— У этой привязанности веские причины, — заметил ангел. — Он правильно говорит, что все норовят его использовать, а он беззащитен. Погляди на дюстерштейнскую банду! Князь Макс уверен, что Фрэнсис с радостью примет участие в этой, выражаясь очень мягко, мистификации с картинами. Князь видит в ней лишь аристократическую шалость и уверен, что стать одним из шалунов — большая честь для Фрэнсиса. По мнению графини, мещанин вроде Фрэнсиса должен радоваться, что его посвятили в тайну высокородных людей и позволили работать за стол и кров на благо этой тайны. А Сарацини питает искреннее презрение мастера к новичку. Но если дело вскроется, сильнее всех пострадает Фрэнсис,

ибо он единственный, кто действительно подделал картину.

— Нет, брат, он ничего не подделывал. Он нарисовал оригинальную картину в своем индивидуальном стиле, а если какой-нибудь ценитель искусства ошибется в датировке — это его проблемы. Не Фрэнсис, а князь и графиня выдают эту картину за то, чем она не является. Они аристократы, а как ты прекрасно знаешь, аристократы порой пробиваются наверх отнюдь не благодаря безупречной щепетильности. Что же до денег, эта история еще не рассказана.

— Я склоняюсь перед твоим доскональным знанием дела, дорогой Маймас. Меня радует, что Франсуа Ксавье Бушар, карлик-портной из Блэрлогги, готов наконец ворваться в мир под личиной шута Фуггеров, дурачка Гензеля, и получить свою порцию славы. И все потому, что Фрэнсис научился наблюдать и запоминать под руководством Гарри Фернисса.

— Таковы маленькие шутки, скрашивающие однообразный труд Малых Бессмертных, — заметил даймон Маймас.

— Как вы думаете, достопочтенная леди Нибсмит уловила прозрачный намек князя Макса? — спросил Сарацини. — Помните, когда он дарил

ей ту книгу, сказав, что это для астрологических записей? Ему очень хочется, чтобы она составила ему гороскоп.

— А она не хочет? — спросил Фрэнсис.

— Видимо, нет. Он умоляет об этом — насколько такой аристократ способен умолять — уже несколько месяцев. Она же прихотлива — но это ее право. Она непрофессиональный астролог, но очень хороший. Настоящий экстрасенс. Конечно, качество гороскопа сильно зависит от экстрасенсорных способностей астролога. Немцы любят это дело не меньше американцев. У фюрера есть свой собственный астролог.

— Как-то она не похожа на экстрасенса.

— Настоящие экстрасенсы, как правило, и не похожи. Они зачастую вполне обыденные люди. А вам она уже составила гороскоп?

— Ну… по правде сказать, да.

— И как, у вас хорошая судьба?

— Явно странная. Страннее, чем я предполагал.

— Но не страннее, чем предполагал я. Я выбрал вас в подмастерья за странность, и с тех пор мне раскрывались все новые и новые глубины вашей странности. Взять хоть вот эту картину, которую вы нарисовали, пока я был в Риме. Это ведь портрет, верно?

— Да.

— Не буду вас допрашивать. Это явно портрет, его ни с чем не спутаешь — особое чувство между художником и моделью, которое невозможно подделать. Во всяком случае, я такое распознаю. Где ваши наброски?

Фрэнсис достал наброски из папки.

— Вы очень обстоятельны. Даже наброски на правильной бумаге, в правильном стиле. Не в вашем обычном гарри-фернисовском. Но все же я готов биться об заклад, что в первый раз вы рисовали этого карлика в манере Гарри Фернисса.

— Да. Он был мертв, и я сделал несколько набросков, пока тело готовили к погребению.

— Вот видите? Чрезвычайно странно, как я и сказал. Какую пользу принесла вам книга Фернисса! Вы ничего не забываете; вы освоили трюк запоминания через руку. Интересно, что об этой картине скажут люди в Лондоне.

— *Meister,* а кто же эти люди? Я имею право знать, во что впутываюсь, работая с вами. Наверняка это небезопасно. Почему меня держат в неведении?

— Эти люди — авторитетные торговцы произведениями искусства, они заправляют деловой стороной нашей маленькой игры, которая, как

вы правильно сказали, небезопасна.

— Они меняют эти ничего не стоящие или, во всяком случае, заурядные картины на другие, намного более ценные?

— Они меняют некоторые картины на другие по ряду сложных причин.

— Ну хорошо. Но мы делаем то, о чем рассказал князь, и не более? Утонченная мистификация германского рейха?

— Чтобы мистифицировать германский рейх, надо быть очень смелым человеком.

— Но кто-то явно этим занимается. Правительство? Может, это контрразведка развлекается таким способом?

— Британское правительство знает о нашей афере, и американское, скорее всего, тоже, но и там и там в курсе лишь горстка людей, и, если дело вскроется и выйдет скандал, они заявят, что ничего не знали.

— Так, значит, все это ради чьей-то личной выгоды?

— Деньги, конечно, участвуют в схеме. Работа, которую мы выполняем, не остается безответной.

— «Безответной»! Ну и словечко! Вы хотите сказать, что вам, графине и князю Максу чертовски

хорошо платят!

— Нам платят за дело. Графиня поставляет картины — материал для дальнейшей работы. В этом замке на каждую картину, висящую на стенах, приходятся две, сложенные в бесчисленных служебных коридорах, — где же, как не тут, найдутся вещи нужной эпохи, нужного характера и, не побоюсь этого слова, подлинные? Мой вклад — мастерство, преображающее картины; они становятся гораздо привлекательней для агентов великого рейхсмаршала, чем были в первозданном, запущенном виде. Князь Макс заботится о том, чтобы картины добрались до Англии, до торговцев предметами искусства, — а это рискованное занятие. Подобные услуги недешевы, но то, что платят нам, нельзя даже сравнить с выигрышем лондонских торговцев, ибо они за посредственные немецкие картины получают шедевры итальянского искусства и продают их по ошеломительным ценам.

— В общем, международное мошенничество с размахом.

— Если тут и есть мошенничество, то не такое, какое вы имеете в виду. Допустим, немцы считают наши картины привлекательными и готовы их выменивать на итальянские шедевры.

Кто мы такие, чтобы обвинять немецких искусствоведов в некомпетентности? На этой стадии о деньгах речь не идет. Рейх вовсе не желает, чтобы большие суммы немецких денег покидали страну — даже в обмен на произведения немецкого искусства. Поэтому происходит обмен. Перед немецкими экспертами стоит задача собрать самую лучшую и самую полную в мире коллекцию произведений немецкого искусства. Им нужно и количество, и качество. Мы в своей работе не стремимся достичь высочайшего качества — у нас нет ни Дюреров, ни Грюневальдов, ни Кранахов. Чтобы поставлять такие картины, нам пришлось бы заняться подделкой — а это, конечно, невообразимо, и я в священном ужасе бегу самой возможности подобного. Мы просто превращаем непримечательные старые картины в примечательные.

— Только не «Дурачок Гензель». Это подделка, и мы отправили ее в Англию!

— Не горячитесь, дорогой мой, иначе вы можете наговорить вещей, о которых потом пожалеете. «Дурачок Гензель» — ученический этюд, написанный в стиле ушедшей эпохи, испытание художественного мастерства. Вы с честью выдержали испытание. Судья здесь я, и я знаю, о чем

говорю. Если специалист, увидев эту картину в ряду других, не может сказать, что она современная, — какое вам еще доказательство моих достижений? Но вы ни в чем не виноваты. Вы рисовали не с целью обмануть кого-либо, вы не подписывали картину чужим именем, и не вы отправили ее в Англию.

— Это казуистика.

— Очень многое, что говорится в мире искусства, — казуистика.

Казуистика — изучение этики в приложении к морально-религиозным вопросам. Так это слово употребляла Церковь. Но для Фрэнсиса от этого слова разило протестантизмом. Оно означало самооправдание — словно балансируешь на канате над ужасной бездной. Совесть Фрэнсиса болезненно ныла, потому что графиня получила письмо от князя Макса: новооткрытая картина вызвала небольшой фурор среди двух десятков лондонских искусствоведов.

Портреты карликов — не редкость, и кое-кого из них мы знаем по именам. Ван Дейк изобразил королеву Генриетту Марию с ее карликом, сэром

Джеффри Хадсоном;[97] Бронзино нарисовал карлика Морганте в обнаженном виде, спереди и сзади, чтобы ни одна деталь не пропала. В музее Прадо хранятся изображения карлицы Эухении Мартинес Вальехо, как одетой, так и раздетой.[98] Карлики Риси[99] и Веласкеса наблюдают за королевской роскошью словно издали, из своего собственного мира, с каким-то полупониманием. Их мы знаем не по именам, но по боли, которая читается в пристальных взглядах. В менее деликатные эпохи карлики были любимой забавой, и с ними порой обращались примерно так же, как жители Блэрлогги обошлись с Франсуа Бушаром, доведя его до петли.

Графиня зачитала Сарацини и Фрэнсису письмо своего кузена с жаром, какого Фрэнсису доселе

---

[97] Примечания: 97

Ван Дейк изобразил королеву Генриетту Марию с ее карликом, сэром Джеффри Хадсоном... — Джеффри Хадсон (1619 — ок. 1682) — придворный карлик королевы Генриетты Марии (жена Карла I Стюарта, короля Англии, Шотландии и Ирландии).

[98] Примечания: 98

В музее Прадо хранятся изображения карлицы Эухении Мартинес Вальехо, как одетой, так и раздетой. — Картины написаны в 1680 г. учеником Веласкеса Хуаном Карреньо де Мирандой (1614–1685); «La Monstrua desnuda» считается первым в истории зафиксированным случаем синдрома Прадера-Уилли — редкого генетического нарушения, приводящего к детскому ожирению.

[99] Примечания: 99

Риси, Франсиско (1614–1685) — испанский живописец. Принадлежал к

новому поколению мастеров поздней мадридской школы живописи, в которой господствовали придворные вкусы и влияние итальянского барокко.

не доводилось наблюдать у этой весьма сдержанной дамы. Эксперты немного почистили картину, и что же они нашли? Знак, напоминающий *Firmenzeichen,* семейное клеймо Фуггеров, но, возможно, это нечто гораздо более интересное: действительно, он похож на вилы или трехсвечник с нарисованной рядом буквой «О», но это может быть и виселица с болтающейся на ней петлей! Находка и связанная с ней загадка привели искусствоведов в восторг. Может быть, карлика повесили? В том, что это и впрямь дурачок Гензель, у экспертов не было и тени сомнения. Упоминания о нем сохранились в истории, но его изображений никто раньше не видел. Вот это подлинно находка для Фюрер-музея, словно дуновение ветра из давнишней, бесстрашной духом Германии, которая не пряталась от реальности, даже самой гротескной.

Князь очень тщательно формулировал фразы. Любая тайная полиция, перлюстрируя письмо немецкого аристократа к его высокородной кузине, не узрела бы в написанном ничего, кроме явно перечисленных фактов. Но в Дюстерштейне воцарилась великая радость.

Фрэнсис не радовался. Он совершенно не ожидал, что его намерение оставить некое сви-

детельство, комментарий к судьбе знакомого ему карлика, выйдет на свет. Эта картина была для него очень личным делом — можно сказать, приношением по обету в память человека, с которым он никогда и словом не перемолвился и которого узнал только после его смерти. Фрэнсис очень страдал и наконец, не выдержав мучений, пожаловался Сарацини.

— Дорогой мой, неужто вы удивлены? Мало что из тайного не становится в конце концов явным, и в вашем возрасте пора бы уже это знать. А искусство — способ поведать правду.

— Так говорил Браунинг. Моя тетя, бывало, вечно его цитировала.

— Ну и?.. Ваша тетя наверняка мудрая женщина. А Браунинг — тонкий психолог. Но как же вы не видите? Именно чистота правды, глубина чувства, воплощенная в вашей картине, привлекли к ней внимание всех этих ученых мужей.

— Но это же обман!

— Я вам подробнейше объяснил, что это никакой не обман. Это откровение ряда вещей о человеке, изображенном на картине, и о вас, а не обман.

Фрэнсис не очень радовался тому, что его личное мнение о непредсказуемости и частой

несправедливости судьбы прославили как портрет давно умершего карлика. Но его не могла не радовать похвала искусству художника, пускай этот художник и оставался безымянным. Он незаметно (как ему казалось) подводил разговор к тому, чтобы Сарацини похвалил «Дурачка Гензеля», тонкую работу художника, подлинный дух прошлого, цветовую гамму и ощущение большой картины, хотя на самом деле она была маленькой. Ему не удалось обмануть итальянца, и тот посмеялся над его манерой выпрашивать похвалу.

— Но я с удовольствием буду хвалить вас, — продолжил Сарацини. — Почему бы вам не попросить комплиментов прямо, как подобает настоящему художнику? Что вы мнетесь и жеманничаете, как старая дева, которая рисует цветочки акварелью?

— Я не хотел придавать чрезмерное значение такой мелочи.

— О, я понял: вы не хотите впадать в грех гордыни. Ну так не шарахайтесь от гордыни лишь затем, чтобы впасть в лицемерие. Вы вели собачью жизнь, Корнишь, вас воспитывали полукатоликом-полупротестантом в какой-то ужасной дыре, и вам достались худшие половины

от обеих этих систем двуличия.

— Но-но, *Meister!* Я же вижу, что вы добрый католик.

— Может быть. Но когда я художник, я изгоняю всякую религию. Католическая вера породила множество великих произведений искусства; протестантизм — ни одного. Ни единой картины. Но католическая вера взрастила искусство в самой пасти христианства. Если Царство Божие когда и наступит, в нем не будет никаких картин; Христос никогда ни в малейшей степени не интересовался искусством. Его Церковь вдохновила множество картин и скульптур, но вовсе не потому, что Он так учил. Кто же тогда вдохновитель? Очевидно, всеми ненавидимый Сатана. Именно он понимает плотскую и интеллектуальную сторону человеческого существа, он питает их. А искусство — плотско и интеллектуально.

— Значит, вы работаете под крылом Сатаны?

— Приходится, иначе я вовсе не смогу работать. Христу ни к чему люди вроде меня. Вы никогда не замечали, читая Евангелие, как решительно Он держится в стороне от любого человека, в котором можно заподозрить хоть каплю ума? Добросердечные простачки и женщины ничем не лучше рабынь — вот кто за Ним следовал. Не-

удивительно, что католичеству пришлось занять такую решительную позицию, чтобы привлечь к себе умных людей и художников. А протестантизм пытался сделать противоположное. Знаете, чего мне хотелось бы, Корнишь?

— Нового Откровения?

— Да, может и этим кончиться. Мне хочется, чтобы устроили слет, на который Христос привел бы всех Своих святых, а Сатана — всех своих ученых и художников, и пускай дискутируют до победного конца.

— А кто будет судьей?

— Вот в чем вопрос! Не Бог Отец, конечно, — Он ведь приходится отцом обоим спорщикам.

Сарацини действительно хвалил «Дурачка Гензеля», как они с Фрэнсисом теперь называли эту картину. Но на этом не остановился. Он безмолвно принял Фрэнсиса в круг людей, удостоенных близкого общения с Мастером, и теперь за работой без устали говорил о том, что считал философией искусства. Его философия была изуродована столь роковой для философов болезнью — личным опытом.

И графиня стала теплее относиться к Фрэнсису. Она, впрочем, и раньше была с ним безупречно вежлива, но теперь она свободнее говорила о том,

чем занимаются они с Сарацини, и чаще приглашала Фрэнсиса на совещания в свои покои, после того как Амалия с мисс Нибсмит уходили почивать. Графине хотелось улучшить экспортируемый продукт. Если такая оригинальная картина, как «Дурачок Гензель», встретила столь горячий прием, не может ли Сарацини чуть сильнее изменять кое-какие старые картины, проходящие через его руки?

— Графиня, неужели вы толкаете меня на подделку?

— Конечно нет, *Meister!* Я лишь прошу вас быть чуточку посмелее.

Беседуя, они неизбежно проговаривались, и Фрэнсис стал намного лучше представлять себе схему того, что нельзя было назвать иначе как изощренным мошенничеством. Графине и Танкреду платили за отправленные картины ровно четверть того, что удавалось выручить за итальянские шедевры, полученные в обмен от немецких музеев. Когда Фрэнсису назвали цены, у него глаза на лоб полезли. А куда шли эти деньги? Конечно, не в Дюстерштейн — это было бы слишком откровенно и опасно. В швейцарские банки, причем в несколько разных.

— Четверть — это не так много, — заметила гра-

финя. — Бернард Беренсон получает столько же всего лишь за то, что выписывает удостоверение подлинности для Дювина. Мы поставляем сами произведения искусства, и все удостоверение подлинности, какое им нужно, — это одобрение великих немецких искусствоведов, которые их покупают. Надо полагать, они знают, что делают.

— Иногда мне кажется, они знают больше, чем говорят, — заметил Сарацини.

— Они работают под неусыпным взглядом рейхсмаршала, — сказала графиня, — а он привык получать то, чего ждет. Говорят, что часть товара — лучшие вещи — оседает в его личной коллекции, а она у него обширна и весьма богата.

— Вся эта затея, похоже, кривей собачьей ноги, — сказал Фрэнсис, вспомнив поговорку из Блэрлогги.

— Если и так — а я с этим не согласна, — мы тут не главные обманщики, — заявила графиня.

— Вы не считаете эту схему обманом?

— Если бы речь шла о простой сделке, считала бы, — объяснила графиня. — Но дело обстоит гораздо сложнее. Я считаю, что мы восстанавливаем справедливость. Мой род потерял на войне все состояние — ну, не все, но очень большую

часть — и принес эту жертву добровольно ради Германии. Но начиная с тридцать второго года мою Германию кто-то обкусывает, так что я ее уже не узнаю. Мою работу по восстановлению семейного состояния невыносимо затрудняют. А почему? Потому что я неправильная аристократка, то есть настолько близка к демократам, что это нестерпимо для национал-социалистов. Господин Корниш, вы знаете, что такое аристократ?

— Конечно, я знаком с этим понятием.

— А я знаю, что это значит на практике. В эпоху, когда мой род достиг знатности и богатства, аристократом назывался тот, кто приобрел власть и состояние своими талантами, а это значило смелость, готовность рисковать и ничего общего не имело с умением пробираться через лабиринты правил, составленных бездарными трусами ради своего собственного блага. Вы знаете девиз моего рода? В замке его можно увидеть повсюду.

— *Du sollst sterben ehe ich sterbe,* — сказал Фрэнсис.

— Да, а что это значит? Это не какой-нибудь девиз буржуа девятнадцатого века, не сладкоречивое выражение мещанских идей о величии. Эти слова значат: «Ты погибнешь прежде, чем я погибну». А я не собираюсь погибать. Поэтому я

делаю то, что делаю.

— Графиня, кажется, твердо намерена маршировать под знаменем Сатаны, — сказал Фрэнсис Мастеру.

— Каждому из нас Сатана является в ином обличье. Графиня уверена, что встретила его в фюрере.

— Опасный вывод для немецкого гражданина.

— Графиня удивилась бы, назови ее кто гражданкой. Она же сказала вам, кто она: аристократка, отважная мастерица выживания. А не какая-нибудь, как выразился бы Вудхауз, чудаковатая балаболка.

— А если Гитлер прав? Что, если рейх и вправду простоит тысячу лет?

— Я как итальянец скептически отношусь к заявкам на тысячелетнее существование, которое должно стать результатом какого-либо плана. Италия продержалась намного дольше, но в основном благодаря отсутствию всякого целенаправленного руководства, и как блистательно ей это удалось! Конечно, сейчас там свой клоун у власти, но Италия перевидала уже столько клоунов! Они приходят и уходят.

— Я так понял, что меня зовут маршировать под графинины знамена? Под знамя дьявола.

— Да, и вы можете последовать этому приглашению — или вернуться в свою замороженную страну с ее замороженной живописью, рисовать озера подо льдом и раздуваемые ветром кроны сосен. К ним-то Сатана равнодушен, и по вполне понятной причине.

— Вы хотите сказать, что в этом случае я упущу свой шанс?

— Вы, безусловно, упустите шанс научиться тому, чему я мог бы вас научить.

— Да неужели? Вы забыли, что я уже умею смешивать краски, готовить грунтовку в соответствии с лучшими принципами и уже написал одну картину, которая, судя по всему, имела значительный успех.

Сарацини положил кисть и аккуратно похлопал в ладоши:

— Вот давно бы так. Я все ждал, когда вы наконец проявите характер. Самоуважение, достойное художника. Вы прочитали «Жизнеописания художников» Вазари, несколько раз, как я велел?

— Вы же знаете, что да.

— Да, но внимательно ли? Если внимательно, то вас должна была поразить сила духа этих людей. Все лучшие из них — истинные львы, даже кроткий Рафаэль. В минуты слабости они

могли сомневаться в своей работе, но никому другому этого не позволяли. Если в них сомневался их покровитель, они меняли покровителя, ибо знали: в них есть нечто, над чем никто не властен, — сильный самостоятельный дар. Вы всяческими ухищрениями и намеками пытались вынудить у меня похвалы «Дурачку Гензелю». И я его похвалил. В конце концов, вы рисуете уже… сколько, девятнадцать лет? У вас были хорошие учителя. «Дурачок Гензель» сойдет пока что, за неимением лучшего. Да, это неплохая картина. По ней видно, что автор, прихваченный морозом родных просторов и придушенный хитроумной логической гимнастикой Оксфорда, начал наконец познавать себя и уважать свое знание. Ну что ж, и раньше бывало, что художественный талант расцветал не сразу. Но если вы думаете, что научились от меня всему, то ошибаетесь. Технике — да, ее вы частично переняли. Внутренней уверенности — ничуть. Но сейчас вы приобрели нужный настрой, и мы можем начать эту необходимейшую стадию обучения.

Это звучало многообещающе, но Фрэнсис уже научился не доверять обещаниям Сарацини. Итальянец в точности воспроизводил не только приемы живописцев прошлого, но и дух сурово-

сти, свойственный мастерам эпохи Возрождения, вечное недовольство подмастерьем. Какое испытание он выдумает на сей раз?

— Что вы видите?

Мастер стоял в десяти футах от Фрэнсиса и разворачивал свиток, явно старинный.

— По-видимому, это аккуратный рисунок пером, изображающий голову распятого Христа.

— Да. А теперь подойдите поближе. Видите, как это сделано? Каллиграфия. Из крохотных, тончайших готических букв складывается лицо Христа, искаженное страданием, и одновременно — полное описание страстей Христовых по Иоанну, из соответствующего Евангелия, главы с семнадцатой по девятнадцатую — ни словом больше, ни словом меньше. Что вы скажете?

— Забавная диковина.

— Это плод искусства, мастерства, искренней веры. Семнадцатый век. Автор, я полагаю, какой-нибудь священник или, может быть, домашний учитель, живший в семье Ингельхайм. Возьмите и изучите хорошенько. Потом сделайте нечто похожее, но в качестве текста возьмите описание Рождества Христова из Евангелия от Луки, глава первая и глава вторая до тридцать второго стиха. Мне нужно каллиграфическое изображение Рож-

дества, и я сделаю лишь одну уступку: вы можете писать курсивом, а не готическим шрифтом. Так что наточите перьев, сварите чернил из сажи и дубовых орешков — и за работу.

Задание потребовало стольких замеров, прикидок и точнейших расчетов, что и сэр Исаак Ньютон отчаялся бы. Наконец Фрэнсис составил план и уселся за кропотливую работу. Но каким образом она должна укрепить его уверенность в себе? Педантичная нудятина, а результат — дешевый фокус. Вдобавок Фрэнсису мешал сосредоточиться бесконечный поток комментариев и мыслей вслух, исходящий от Сарацини, который работал над серией заурядных натюрмортов семнадцатого века — невозможно пышные цветы, рыба и овощи на кухонных столах, бутыли вина, мертвые зайцы с сизоватым налетом смерти на широко раскрытых остекленелых глазах.

— Я чувствую, Корнишь, что вы меня ненавидите. Ненавидьте на здоровье. Всеми фибрами души. Это поможет вашей работе. Даст хороший заряд адреналина. Но подумайте вот о чем: все до единого задания, которые я вам даю, я сам выполнял в свое время. Так я достиг мастерства, которому нет равных в мире. Какого мастерства? В овладении техникой великих художников,

творивших в семнадцатом веке или ранее. Я не желаю сам быть художником. Никто сегодня не захочет, чтобы ему написали картину в манере, скажем, Говерта Флинка, лучшего ученика Рембрандта. Однако я воспринимаю мир именно так. Это моя единственная подлинная манера. Я не хочу рисовать, как современные художники.

— Значит, вы приберегаете свою ненависть для современных художников, как я — для вас?

— Вовсе нет. За что мне их ненавидеть? Лучшие из них делают то, что всегда делали честные художники, — рисуют свое внутреннее в*и*дение или применяют его к какому-нибудь внешнему предмету. Но в прошлом внутреннее видение выражалось связным языком мифологических или религиозных образов, а ныне и мифология, и религия бессильны расшевелить современный ум. Значит, внутреннее видение приходится искать непосредственно. Художник копается в области, которую психоаналитики — великие волшебники наших дней — называют Бессознательным, хотя это, скорее, Средоточие Сознания. Он что-то оттуда вытаскивает — нечто, нацепляемое Бессознательным на крючок, закинутый в великий колодец, где живет Искусство. И то, что вытаскивает художник, может быть очень хорошо, но

выражается оно на языке, который более или менее индивидуален. Это не язык мифологии или религии. А великая опасность заключается в том, что этот личный язык опасно легко подделать. Гораздо легче старого, универсального языка. Надеюсь, что не вскружу вам голову лестью, но ваш «Гензель» нашептывает что-то из того самого, глубокого темного колодца.

— Господи Исусе!

— Вот Он-то как раз ни при чем. Я же вам объяснял. Господь наш желал извлечь из этого мрачного колодца нечто совершенно иное — и извлек, как подобает истинному Мастеру.

— Но современные художники… ведь человек обязан писать в современной ему манере?

— Я не признаю такой необходимости. Если жизнь — сон, как утверждают иные философы, то, конечно, великая картина — та, что богаче всего символизирует неуловимую реальность, лежащую за этим сном. И если мне или вам удобнее всего выражать эту реальность в терминах мифологии или религии, кто нам запретит?

— Но это же подделка, намеренное отступление — на манер тех самых прерафаэлитов. Даже если вы верующий человек, вы не можете верить так, как это делали великие люди прошлого.

— Прекрасно. Живите духом своего времени — и только им, если уж так необходимо. Но некоторых художников подобная полная капитуляция перед современностью ввергает в отчаяние. Нынешний человек, лишенный мифологии и религии, пытается черпать вдохновение в Бессознательном, и, как правило, тщетно. Тогда он что-нибудь выдумывает — а разница между выдумкой и вдохновением вам понятна и без меня. Кормите своих почитателей выдумками — и вы, быть может, начнете презирать их, водить за нос. Разве в этом духе творили Джотто, Тициан, Рембрандт? Разумеется, вы можете стать подобием фотографа. Но вспомните слова Матисса: *«L'exactitude ce n'est pas la vérité».*[100]

— Но разве не точность вы так жестоко вбиваете в меня этой проклятой каллиграфией?

— Да, но лишь для того, чтобы вы научились запечатлевать — насколько позволит талант — то, что Бессознательное нацепило вам на крючок, и представлять это взорам других людей, тех, у кого есть глаза, чтобы видеть.

— Вы учите меня изображать реальность настолько точно, чтобы обмануть глаз, — как тот

---

[100] Примечания: 100
«Точность — не истинность» *(фр.).*

римский художник, который рисовал цветы, или мед, или что там, и пчелы слетались на его картины. Как вы это увязываете с той реальностью, о которой говорили только что, — которая поднимается из темного колодца?

— Вещи презирать не следует. У каждой вещи есть душа, которая говорит с нашей душой и может подвигнуть ее к любви. Понимать это — и значит быть истинным материалистом. Наш век называют веком материализма, но это неправильно. Нынешний человек верит в материю не больше, чем в Бога; ученые научили современных людей не верить ни во что. Средневековые люди и большинство людей эпохи Возрождения верили в Бога и в созданные Им вещи. И эти люди были счастливей и завершенней нас. Слушайте, Корнишь: современный человек отчаянно жаждет верить во что-нибудь, иметь какую-нибудь незыблемую ценность. Страна, в которой мы сейчас живем, — чудовищный пример того, на что способно человечество в поисках объекта, который утолил бы его жажду веры, уверенности, реальности… Мне это не нравится, и вам тоже. И графине… Но мы не можем ни отрицать этого, ни изменить. Фанатики-нацисты по крайней мере живописны — хоть какое-то утешение.

Фрэнсис подумал о поездах с заключенными, которые должен был пересчитывать, и не нашел в них ничего живописного. Но промолчал.

Сарацини безмятежно продолжал:

— Страсть современного человека к искусству прошлого — одно из проявлений этой неодолимой жажды уверенности. Прошлое хотя бы закончилось, и все, что можно из него извлечь, не подлежит сомнению. Зачем богатые американцы платят чудовищные деньги за картины старых мастеров, возможно даже не понимая и не любя их? Конечно же, затем, чтобы импортировать хоть немного той самой уверенности. Американская общественная жизнь — балаган, но в вашингтонской Национальной галерее покоится нечто от Бога, частица Его утешительного величия. Эта галерея, по сути, огромный собор. А нацисты готовы менять шедевры итальянских мастеров на акры немецких картин, потому что хотят явить на стенах этого своего Фюрер-музея прошлое своей расы и таким образом материализовать ее настоящее, а также сообщить некую уверенность в ее будущем. Конечно, безумие, но чего можно ожидать в нашем безумном мире?

— По-видимому, можно ожидать, что я в один прекрасный день закончу эту идиотскую работу

или же сойду с ума и убью вас.

— Нет-нет, Корнишь. Можно ожидать, что, закончив эту идиотскую работу, вы научитесь писать прекрасным почерком, подобным руке великого кардинала Бембо. И таким образом ваш взгляд на мир приобретет нечто общее со взглядом этого великого знатока искусств, ибо рука говорит с мозгом, и это так же верно, как то, что мозг говорит с рукой. Вы меня не убьете. Вы меня любите. Я ваш *Meister*. Вы во мне души не чаете.

Фрэнсис швырнул в него чернильницей. Она была пустая, и он нарочно целил мимо. Учитель и ученик расхохотались.

Время шло. Фрэнсис жил в Дюстерштейне уже почти три года, трудясь на Сарацини без выходных и праздников — сперва как раб, потом как коллега, потом как доверенное лицо и друг. Точнее, он дважды ездил в Англию, оба раза на неделю, там встречался с полковником и — для прикрытия — с Уильямсом-Оуэном. Но эти поездки нельзя было назвать каникулами. Отношения с графиней стали чуть более дружескими, хотя запросто она не держалась ни с кем. Влюбленность Амалии во Фрэнсиса прошла, и она перестала его дичиться, а он обучал ее тригонометрии (которой не знала Рут Нибсмит) и азам рисования, а

также многим премудростям джин-рамми и бриджа. Амалия росла красавицей. Было ясно, что правлению мисс Нибсмит приходит конец, хотя вслух об этом не говорилось, — Амалии нужно продолжать образование, скорее всего где-нибудь во Франции.

— Ты, наверно, этим не очень расстроена, — сказал как-то Фрэнсис на вечерней прогулке. — Ты не настоящая гувернантка — не как у Бронте в девятнадцатом веке — и, конечно, хотела бы заниматься чем-нибудь другим.

— И буду, — ответила Рут, — но пока для меня есть работа тут, я останусь тут. Как и ты.

— О да. Ты же видишь, я учусь своему ремеслу.

— И в то же время занимаешься другим ремеслом. Как и я.

— Не понял?

— Да ладно, Фрэнк. Ты ведь профессионал, верно?

— Я профессиональный художник, если ты об этом.

— Да ладно тебе! Ты шпик, и я тоже. Мы с тобой занимаемся одним и тем же *ремеслом.*

— Ничего не понимаю.

— Фрэнк, в Дюстерштейне дураков нет. Графиня тебя срисовала, и Сарацини тоже, а уж я тебя

срисовала в первую же ночь, когда ты стоял у раскрытого окна и считал вагоны «кукушки». Я в это время занималась тем же, стоя под окном, просто ради забавы. Тоже мне шпик! Это же надо — стоять у раскрытого окна в освещенной комнате!

— Ваша взяла, офицер. Не стреляйте, я сдаюсь. Так, значит, ты тоже в «ремесле»?

— Да — с рождения. Мой отец был в «ремесле», пока не погиб при исполнении. Скорее всего, его убили, но точно никто не знает.

— А здесь ты что делаешь?

— Профессионалы друг другу таких вопросов не задают. Просто осматриваюсь. Приглядываю одним глазком за тобой и Сарацини и за тем, что делают графиня и князь Макс с вашей продукцией.

— Но ты же никогда не заходишь в ракушечный грот.

— А мне и не надо. Я печатаю графинины письма и потому в курсе ее дел, как бы она ни притворялась, что это что-то совсем другое.

— А тебя графиня не срисовала?

— Надеюсь, что нет. Было бы ужасно, если бы у нее в доме оказалось сразу два шпика, верно? Кроме того, я птица невысокого полета. Всего лишь пишу письма домой, маме, а она, как вдова

профессионала, умеет их читать и передает все, что надо, наверх.

— Я знаю, это неприлично спрашивать, но тебе что-нибудь платят?

— Ха-ха-ха. Наше «ремесло» в большой, я бы сказала — опасно большой степени полагается на неоплачиваемую помощь. Это такая английская традиция: всякий, кто хоть что-то собой представляет, работает не за деньги. Вот и я работаю за спасибо, но мне намекнули, что если я хорошо себя проявлю, то когда-нибудь попаду в очередь кандидатов на оплачиваемую должность. Женщины в «ремесле» продвигаются, как правило, не быстро. За исключением элегантных богинь любви, а они быстро выгорают. Но я не ропщу. Я осваиваю баварский сельский диалект, что очень полезно, и приобретаю непревзойденные знания о границе между рейхом и Австрией.

— А гороскопы не составляешь?

— Составляю, и много, но в основном — на давно умерших людей. А что?

— Мне намекнули, что князя Макса интересует твое мнение о его гороскопе.

— О, это я знаю. Но не клюну. И вообще, ему это было бы вредно. Он станет своего рода знаменитостью.

— Какого рода?

— Даже если бы я точно знала, все равно не сказала бы.

— Ага! Вижу, ты — иконологическая фигура Благоразумия.

— Это еще что?

— Мастер заставляет меня зубрить всякое такое. Чтобы я мог читать значения старинных картин. Все эти символические женщины — Истина с зеркалом, Жертвенная любовь, кормящая ребенка грудью, Справедливость с мечом и весами, Умеренность с чашкой и кувшином. Их десятки. Это язык знаков, которым пользовались художники определенного жанра.

— А почему бы и нет? У тебя есть занятие поинтересней?

— Меня что-то смущает во всем этом. Эта ренессансная и проторенессансная манера, фигуры Времени, его дочери Истины, и Роскоши, и Обмана, и разные другие создания… Мне кажется, они опускают прекрасную картину до уровня проповеди или даже нравоучительной басни. Неужели великий художник вроде Бронзино мог быть до такой степени моралистом?

— А почему бы и нет? То, что все художники якобы пили, гуляли и развратничали, — романти-

ческая чушь. В большинстве своем они работали как проклятые, чтобы обеспечить себе достойный, зажиточный, мещанский уровень дохода.

— Ну ладно… В общем, иконология — это очень скучно и я мечтаю, чтобы случилось что-нибудь интересное.

— Случится, и очень скоро. Продержись еще немного. В один прекрасный день ты достигнешь подлинной славы.

— Ты экстрасенс?

— Я? С чего ты взял?

— Сарацини сказал. Он говорит, у тебя очень сильные экстрасенсорные способности.

— Сарацини — старый интриган.

— Это еще слабо сказано. Когда он распространяется об импорте-экспорте картин, которым занимаются они с графиней, я иногда чувствую себя Фаустом при Мефистофеле.

— Повезло тебе. О Фаусте никто никогда не услышал бы, если бы не Мефистофель.

— Ну да. Но у Сарацини талант — представлять жульничество в благородном виде. Он говорит, это потому, что обывательская мораль чужда искусству.

— Я думала, он говорит, что искусство — высшая мораль.

— Теперь и ты заговорила, как он. Слушай, Рут, у нас хоть когда-нибудь получится еще раз переспать друг с другом?

— Ни малейшей надежды. Разве что графиня уедет на какую-нибудь вылазку и заберет Амалию с собой. Но в доме графини, у нее на глазах я играю по ее правилам. Поэтому я не могу развлекаться с тобой и в то же время зорко охранять драгоценную невинность ее внучки.

— Ну что ж… я только спросил. «Увидев вас не в этом — в лучшем мире…»

— «…я буду рад узнать и полюбить вас».[101] Ловлю тебя на слове.

— А я — тебя.

— Корнишь! Съездите в Голландию и убейте там человека.

— Слушаюсь, *Meister.* Мне взять свой верный кинжал или положиться на отравленный кубок?

— Положитесь на отравленное слово. Больше ничего не подействует.

---

[101] Примечания: 101

«Увидев вас не в этом — в лучшем мире…» / «…я буду рад узнать и полюбить вас». — У. Шекспир. Как вам это понравится. Акт 1, сц. 2. В классических переводах пьесы «потусторонность» выражения «hereafter, in a better world than this» теряется: у Т. Щепкиной-Куперник: «Надеюсь встретить вас в условьях лучших / И дружбы и любви у вас просить»; у В. Левика: «Узнай я вас не в этот час недобрый, / Я вашей дружбы и любви просил бы».

— Наверно, мне следует знать, как зовут жертву.

— Его зовут Жан-Пауль Летцтпфенниг — к несчастью для него. Я незыблемо верю, что имена влияют на судьбу, а имя Летцтпфенниг[102] сулит неудачу. Ему и вправду не везет. Он хотел стать художником, но его картины были неинтересны, подражательны. Да, его можно назвать неудачником, но сейчас на него устремлено внимание множества людей.

— Только не мое. Я про него сроду не слыхал.

— Про него не пишут в немецких газетах, но Германию он очень интересует. На него обращен рыбий глаз рейхсмаршала Геринга. Летцтпфенниг хотел продать Герингу неуклюже подделанную картину.

— Если она подделана неуклюже, то почему привлекла рыбий глаз?

— Потому что Летцтпфенниг — самый неуклюжий шлемиль среди ныне живущих художников и искусствоведов — таскается со своей мазней, предлагая ее направо и налево. Будь она подлинной, это была бы находка века. Крупная работа Губерта Ван Эйка — ни больше ни меньше.

---

[102] Примечания: 102
Letztpfennig, то есть от Letzte pfennig *(нем.)* — последний грош.

— Не Яна?

— Нет. Губерт, брат Яна, умер молодым — в тысяча четыреста двадцать шестом году. Но он был великим художником. Это он разметил и написал значительную часть «Поклонения агнцу», великолепной картины, хранящейся в Генте. Ян ее закончил. Картин Губерта сохранилось мало, и если бы нашлась еще одна, это была бы сенсация. Но картина Летцтпфеннига — подделка.

— Откуда вы знаете?

— Нутром чую. Именно чувствительность нутра поднимает меня над заурядными искусствоведами. Конечно, у нас у всех нутро чувствительное. Но я сам художник и знаю больше о том, как работали великие мастера прошлого, чем даже Беренсон. Потому что Беренсон не художник и его нутро переменчиво: на протяжении двадцати лет он приписывал кое-какие значительные картины то одному, то другому, то третьему автору, к огорчению владельцев. А если я что-нибудь знаю, это знание остается со мной навсегда. И я знаю, что Летцтпфеннигов Ван Эйк — фальшивка.

— Вы его видели?

— Мне не нужно его видеть. Если Летцтпфенниг ручается за картину, это фальшивка. Он составил себе крохотную репутацию среди доверчивых

простаков, но я-то про него все знаю. Он проходимец наихудшего вида — из разряда неудачников, портящих все, к чему они прикасаются. И его следует уничтожить.

— *Meister*...

— Что?

— Я об этом никогда не упоминал... мне казалось, что это нетактично... но мне говорили, что у вас дурной глаз. Почему бы вам самому не уничтожить Летцтпфеннига?

— О, как несправедлив этот мир! Как злы люди! Дурной глаз! Конечно, я знаю, что обо мне говорят, — всего лишь потому, что с одним-двумя людьми, которых я невзлюбил, произошли несчастные случаи. Кто-то сломал ногу, кто-то ослеп или что-то в этом роде. Ничего смертельного. Я ведь католик, знаете ли; мне претит мысль об убийстве соперника.

— Но вы же хотите, чтобы я убил Летцтпфеннига.

— Я мелодраматически утрировал, чтобы завладеть вашим вниманием. Я лишь хочу, чтобы вы убили его профессиональную репутацию.

— О, я понимаю. Ничего серьезного.

— А если он и умрет от огорчения, то лишь по причине излишней чувствительности. Виноват

будет только он сам. Психологически обусловленное самоубийство. Вполне обычное дело.

— Значит, дело в профессиональном соперничестве?

— Много чести для такого идиота, как Летцтпфенниг, чтобы я возвел его в ранг соперника. Он — мой соперник! Вы, должно быть, думаете, что я невысокого мнения о своей квалификации. Нет! От него надо избавиться, потому что он опасен.

— Опасен для тех, кто продает рейху сомнительные картинки?

— Как вы вульгарно судите! Это в вас говорит лютеранин — извращенное, самоубийственное лютеранское понятие о морали. Вы отказываетесь видеть вещи в истинном свете. Мы — я и еще несколько человек, из которых вы кое-кого знаете, — потихоньку приобретаем работы итальянских мастеров у немецкого рейха в обмен на картины, которые рейху нравятся больше. И ни одна из этих картин не фальшивка — я лишь помогаю им выглядеть наилучшим образом. Цепочка действий тщательно просчитана. Все проходит через вполне заурядных искусствоведов и торговцев. Мы не берем слишком высоких нот — ни тебе Дюреров, ни Кранахов. И вдруг

объявляется этот фламандский шут с фальшивым Губертом Ван Эйком и требует гигантские суммы в деньгах или в картинах, с которыми немцы готовы расстаться. У него даже хватило наглости торговаться, он привел американского покупателя, желающего участвовать в торгах, и теперь в дело вмешивается голландское правительство, и одному Богу известно, что может выплыть на свет.

— А можно узнать какие-нибудь факты? Я уже понял, что эта история вызывает у вас сильные чувства. Теперь мне хотелось бы знать, что именно сделал Летцтпфенниг и чего вы хотите от меня.

— Корнишь, вы обладаете очень приятной здравомыслящей жилкой. Вы ведь из семьи банкиров, верно? Правда, по моему опыту, банкиры нисколько не честней торговцев картинами. Но их вид и речи внушают такое доверие! Ну хорошо. Эта история началась года два назад, когда Жан-Пауль Летцтпфенниг объявил о своей находке. Якобы он во время поездки в Бельгию побывал в старом сельском доме и наткнулся на картину, которую купил ради старого холста. Идиот! Если человеку нужен старый холст, это может значить только одно: он собирается подделать старинную

картину. Короче говоря, он утверждает, что расчистил картину и она оказалась «Сошествием во ад». Вы знакомы с этим сюжетом?

— Я знаю о нем. Но никогда не видел таких картин.

— Они крайне редки. Эту тему любят иллюстраторы рукописей, иногда она встречается на витражах, но художников почему-то не привлекает. Христос искупил души добродетельных язычников, которые предположительно томились в аду до Его крестной смерти. Ну вот… если бы картина была настоящая, а не Летцтпфеннигова мазня, она представляла бы интерес. И будь она в готическом стиле, она вполне могла бы попасть в Фюрер-музей, если бы ее одобрили немецкие искусствоведы. Надо сказать, что эти весьма разумные люди до сих пор имели дело только с людьми незапятнанной репутации — вроде той группы, с которыми связан я. И вы тоже — с тех пор, как «Дурачок Гензель» получил такую высокую оценку. Но Летцтпфенниг, поскольку он идиот, утверждает, что на картине есть подпись — он имеет в виду монограмму, — подтверждающая, что это работа Губерта Ван Эйка.

Новость произвела сенсацию. С Летцтпфеннигом немедленно связался американский

коллекционер, запросил информацию и выразил желание участвовать в торгах. Один из крупнейших американских коллекционеров: я скажу вам, что его агент и эксперт — Аддисон Трешер, и вы поймете, о ком идет речь. Тут начались осложнения, поскольку, как вы знаете, рейхсмаршал сам страстный коллекционер, и раз уж поблизости оказался Губерт Ван Эйк, то рейхсмаршал непременно должен был его заполучить. Излишне добавлять, что рейхсмаршал предлагал обмен на картины из немецких музеев. Великие люди в подобных делах стоят превыше мелочных соображений. Рейхсмаршал предложил, точнее, его агенты предложили несколько итальянских шедевров, и Летцтпфенниг чуть не тронулся скудным умишком, пытаясь решить, то ли ему сразу хватать американские доллары, то ли взять итальянские шедевры и потом продать в Штатах.

Тут-то и вмешалось голландское правительство. Вы знаете, как горячо они любят рейх. Голландское министерство изящных искусств заявило, что великий шедевр Губерта Ван Эйка — национальное достояние, которое не должно покидать страну. По логике вещей тут должны были вмешаться бельгийцы и заявить, что картину, вообще-то, нашли в Бельгии, но они

промолчали, и Аддисон Трешер начал подозревать, что картина не бывала в Бельгии и вообще поддельная.

Не буду вдаваться в утомительные детали. Сейчас картину держит у себя голландское министерство изящных искусств, и самые разные люди приходят на нее посмотреть, пытаясь решить, настоящая она или нет. Медланд и Хорсбург из лабораторий Британского музея и лондонской Национальной галереи видели ее и заявили, что не могут составить мнение без рентгена и химической экспертизы, а на это голландцы пока не соглашаются. Лемэр, Бастонь и Бодуэн из Парижа и Брюсселя бекают и мекают. Двое голландских искусствоведов, доктор Схлихте-Мартин и доктор Хаусхе-Кейнерс, чуть не перегрызли друг другу глотки. Аддисон Трешер вот-вот прервет переговоры на том основании, что картина поддельная. К тому же он разозлил немцев, Фриша и Бельмана, заявив, что они молчат из боязни — как бы их не уличили в ошибке.

А новых искусствоведов набрать не получается. Конечно, Беренсон не годится — официально потому, что он специалист только по итальянскому искусству, но на самом деле потому, что он еврей и рейхсмаршал такого не потерпит. Ровно по той

же причине и Дювин не может ни сам близко подойти к картине, ни кого-либо пригласить. Это старый спор между эстетическим чутьем и научным анализом. Хейгенс, судья, который занимается этим делом, уже устал и хочет только, чтобы кто-нибудь подтвердил, что картина подлинная — или что она внушает сомнения и следует приступить к научному анализу. И вот он послал за мной. Но я не поеду.

— Почему?

— Потому что наша группа в очень щекотливом положении. Никто не должен ни на миг заподозрить, что мы хотим уничтожить Летцтпфеннига, но Летцтпфенниг должен быть уничтожен, иначе немцы начнут питать подозрения сверх того, что им положено по природе как искусствоведам. Мы не можем допустить, чтобы первые попавшиеся идиоты со старыми картинами влезали в нашу область. Поэтому я написал судье Хейгенсу следующее: я сейчас не могу путешествовать по слабости здоровья, но посылаю своего доверенного ассистента и в случае крайней необходимости приеду в Гаагу сам. Так что едете вы.

— Зачем?

— Чтобы решить, принадлежит ли «Сошествие во ад» кисти Губерта Ван Эйка. Чтобы доказать,

если получится, что Летцтпфенниг нарисовал картину сам или, по крайней мере, подмалевал ее и добавил монограмму Ван Эйка. Вам предоставляется случай создать себе репутацию искусствоведа. Как вы до сих пор не поняли, Корнишь? Это одно из великих испытаний, через которые я вас пропускаю.

— Но что именно вы испытываете? Вы посылаете меня с приказом объявить картину фальшивкой и дискредитировать конкурента. Как-то не очень похоже на искусствоведение.

— Это часть искусствоведения, Корнишь. Ваша североамериканская невинность — заметьте, я выразился до идиотизма мягко — должна освоиться в мире, с которым вы решили связать свою жизнь. Этот мир жесток, и его мораль непроста. Если бы я допускал хоть малую вероятность того, что эта штука — подлинный Губерт Ван Эйк, я бы уже стоял перед ней на коленях. Но с вероятностью десять тысяч против одного это подделка, а подделку следует разоблачить. Искусство в наши дни означает очень большие деньги благодаря титаническим усилиям определенных гениев, из которых величайший, несомненно, Дювин. Подделки не следует терпеть. Хорошее искусство должно изгнать плохое.

— Но эта мораль… так, как я ее понимаю… не вяжется с тем, чем мы тут занимаемся.

— Мораль мира искусства — весьма запутанное вязанье, дорогой мой ученик и коллега. Но все же это мораль. Так что ступайте заслуживать свои шпоры!

— А если у меня ничего не выйдет?

— Тогда поеду я и сделаю то, что не удалось вам, — тем или иным способом, вплоть до дурного глаза, если уж на свете есть дураки, которые в него верят. Я не верю, как я уже объяснил. И тогда, если у нас с вами и сохранятся хоть какие-то отношения, это будут отношения учителя и вечного ученика. Это будет означать, что вы провалились, и мне придется искать себе другого преемника. Испытание ждет не только Летцтпфеннига, но и вас.

Голландское министерство изящных искусств принимало гостей хорошо — можно сказать, по-княжески. По прибытии в Гаагу Фрэнсиса поселили в отель «Дез Инд». Он роскошно отужинал, причем телятиной на его ужине и не пахло. На следующее утро Фрэнсис явился к судье Хейгенсу, который выглядел в точности как положено судье и после обмена любезностями отвел его в красивую комнату, где на мольберте

стояла пресловутая картина. Фрэнсис принялся за работу, и скоро стало ясно, что судья не намерен оставлять Фрэнсиса наедине с картиной. Кроме того, у двери нес вахту смотритель — крупный мужчина в униформе.

«Сошествие во ад» выглядело весьма эффектно. Картина была больше, чем ожидал Фрэнсис, и явно предназначалась для церкви. Краски светились невероятным светом и казались прозрачными — именно братья Ван Эйк принесли эту прозрачность в мир масляной живописи и отработали до совершенства. Оказалось, что цвет лучше всего использовать на светлой грунтовке: в этом случае даже темная краска начинает волшебно светиться. В центре картины располагалась фигура Христа: в левой руке Он победно нес знамя-крест воскресения, а жестом правой приглашал Адама и Еву, пророков Илию и Еноха, Исаию, Симеона и благоразумного разбойника Дисмаса выйти вслед за Ним из ада через врата, которые стояли раскрытыми у Него за спиной. Слева от Него, отвращая лица от Его славы, кривясь, скрежеща зубами, ища случая обратиться в бегство, стояли Сатана и аггелы его. Фоном служило настоящее голландское небо с тонкими облачками, через которые местами просвечи-

вал настоящий голландский пейзаж, очевидно лежащий за вратами ада. Судя по вратам, в аду трудился гениальный кузнец с живым воображением.

Фрэнсис разглядывал картину с полчаса. Если это и подделка, то великолепная, несомненно принадлежащая кисти талантливого художника. Но в истории искусства были и талантливые подделки. Ну что ж, подумал Фрэнсис, довольно эстетического чутья, теперь займемся инквизиторским допросом. У него с собой в чемоданчике было то, что он мысленно называл «набором юного искусствоведа-беренсоновца», — бинокль, большое увеличительное стекло и средних размеров кисть. Фрэнсис поглядел на картину в бинокль с максимального расстояния, какое позволяла комната, потом развернул бинокль и поглядел через другой конец. Ни при увеличении, ни при уменьшении в композиции картины не обнаружилось ничего странного. Фрэнсис разглядел картину в увеличительное стекло, дюйм за дюймом. Затем попросил дюжего смотрителя поставить картину вверх ногами и рассмотрел ее в этом положении. Успокаивающе кивнув судье, он в нескольких местах коснулся картины мягкой кистью. Рассмотрел оборотную сторону, постучал

по холсту, обследовал подрамник. К изумлению Хейгенса и охранника, вдруг скомкал носовой платок, нагрел его над пламенем зажигалки и прижал к холсту минуты на полторы. Потом, громко сопя, обнюхал нагретый участок. Нет, формальдегидом совсем не пахнет. Вслед за этим Фрэнсис снова сел и еще час разглядывал картину, время от времени отворачиваясь и вдруг снова поворачиваясь к ней, — он будто ожидал, что у него за спиной картина частично потеряет свою «ванэйкость». Он долго рассматривал монограмму, маленькую, но хорошо различимую, если знать, куда смотреть, — она пряталась в складках одежд Исаии. Монограмма могла означать много разных вещей — может быть, «Губерт из Гента»? В любом случае подпись не главное: настоящая подпись — качество работы художника, а в нем Фрэнсис не мог найти ни единого изъяна, как ни бился.

Он знал, что подделки часто разоблачаются через поколение-два после того, как они появились и были приняты за подлинные работы. Истина, дочь Времени, открывает приметы иного века, иного характера и вкуса картины, написанной через много лет после периода, к которому ее отнесли. Краска старится по-другому. Меняется

мода на лица, и эта перемена становится явной, когда проходит увлечение определенными чертами. Но Фрэнсис не мог ждать пятьдесят лет. Ему нужно было объявить картину подделкой, и как можно скорее.

Наконец он сказал судье, что видел уже довольно, и тут его ошарашили.

— Несколько ваших коллег сейчас в Гааге, — сказал Хейгенс. — Им, да и мне самому, не терпится узнать ваше мнение. Мы знаем, что вашими устами глаголют авторитет и опыт Танкреда Сарацини. Мы все согласились, что ваше мнение будет чрезвычайно важным и, без сомнения, решающим. Пожалуйста, придите сюда завтра в одиннадцать часов. Художник также будет здесь. Конечно, он ждет победоносного оправдания.

— А вы, *Edelachtbare Herr?*[103]

— Я? О, мое мнение ничего не значит. Я лишь руковожу расследованием. Воистину, было бы неуместно, если бы это поручили человеку, имеющему свое мнение о картине. Я, конечно, представляю голландское правительство.

За обедом Фрэнсис снова баловал себя роскошной трапезой без телятины, за счет принимаю-

---

[103] Примечания: 103
Достопочтенный господин *(голл.).*

щей стороны. Тут к нему подошел улыбающийся американец:

— Вы позволите? Меня зовут Аддисон Трешер, я представляю нью-йоркский Метрополитен-музей и еще кое-какие заинтересованные стороны. Мы можем говорить: Хейгенс сказал, что не возражает. Так что вы думаете?

Аддисон Трешер был одет очень дорого, очень консервативно, с бросающимся в глаза вкусом. У Аддисона Трешера были очки в серебряной оправе и типично американские зубы, столь неприятные на европейский взгляд, — они выглядели так, словно их чистили не больше часа назад. Его манеры были безупречны. Его окружал запах дорогой туалетной воды. Но глаза светились стальным блеском.

Фрэнсис осторожно поделился своими соображениями, которые сводились к тому, что почти никаких соображений у него нет.

— Я знаю, — сказал Трешер. — В том и беда, верно? Ничего такого определенного. Подпись, конечно, фальшивая, но это не важно. Что-то во всем этом деле меня смущает. Вы, конечно, уже видели такую композицию?

Фрэнсис с полным ртом помотал головой.

— Вы никогда не видели рукопись мистерии

поваров и трактирщиков? Позднесредневековая, хранится в Честере.[104] Там есть миниатюра, изображающая Сошествие во ад. Очень впечатляет. Мог ли Ван Эйк ее видеть? Маловероятно. Но тот, кто подделал картину, мог. В ней нет ничего от Фра Анджелико[105] или Бронзино — конечно, и не могло быть, иначе автор выдал бы себя с головой. Но еще она очень напоминает одну большую фреску на Афоне, а вот это было бы действительно странно — случайное совпадение замыслов двух художников, которых разделяет бог знает сколько веков? Все эти так называемые влияния — очень научное понятие. В работах обоих Ван Эйков ничто не наводит на мысль, что они учились таким образом. Тогда художников просто-напросто учили по-другому.

— Да, я понимаю, о чем вы, — сказал Фрэнсис, пытаясь не выдать, что очень быстро усваивает

---

[104] Примечания: 104

Вы никогда не видели рукопись мистерии поваров и трактирщиков? Позднесредневековая, хранится в Честере. — Честер и Ковентри были традиционными центрами религиозной драмы. Подвижную сцену на колесах катили по улицам. Часто представление устраивали гильдии: цирюльники, дубильщики, штукатуры, мясники, торговцы специями и свечами. Специальностью гильдии поваров и трактирщиков была пьеса о Сошествии во ад.

[105] Примечания: 105

Фра Анджелико — Фра Беато Анджелико (Гвидо ди Пьетро, 1400–1455) — итальянский художник Раннего Возрождения, монах-доминиканец, принявший в постриге имя Джованни да Фьезоле.

новую информацию. — Но все же… нет доказательств, что это подделка.

— То же самое говорят немцы. И голландцы. Они, конечно, хотят, чтобы она оказалась подлинной, — это будет замечательное приобретение для голландской галереи. Особенно усердствует человек из Маурицхёйса.[106] Если это окажется национальное сокровище, они не выпустят его из страны. Для них это прекрасная возможность натянуть нос Герингу. Они ссорятся по мелочам, но в главном единодушны. Они заплатят Летцтпфеннигу неплохие деньги, но гораздо меньше того, что он получил бы от американцев, и меньше стоимости картин, которые предлагают на обмен немцы.

— Что вы знаете о Летцтпфенниге?

— Ничего особенно порочащего. Его даже можно назвать значительной фигурой. Он весьма хорошо разбирается в голландском искусстве, читает лекции. Он, возможно, лучший реставратор в Европе — конечно, если не считать Сарацини. Пожалуй, многовато знает о технике старых мастеров, и это, конечно, подозрительно в такой ситуации. Но я не могу ударяться в пустые по-

[106] Примечания: 106

Маурицхёйс — Королевская художественная галерея в Гааге, Нидерланды.

дозрения. Просто я нутром чую — что-то не так, а пока к «Сошествию» не подпускают научных светил из Лондона, вынужден полагаться на свое нутро. Официально это называется «эстетическим чутьем», но по сути сводится к старому доброму нутру.

— Как у Беренсона.

— Да, у Беренсона очень чувствительное нутро. Но Джо Дювин платит ему полных двадцать пять процентов от продажной цены за удостоверение подлинности картины — и я боюсь, что сладкий звон кассового аппарата заглушает соображения нутра. Чтобы жить так, как живет Беренсон, нужна куча бабок. Конечно, для меня все это представляет чисто гипотетический интерес. Я-то картину не получу в любом случае. Но я ненавижу тех, кто подделывает картины. Это вредит нашему бизнесу.

Аддисон Трешер был безупречно воспитан. Он не стал стоять над душой у Фрэнсиса, а упорхнул, сказав, что они увидятся утром. Что же было делать Фрэнсису? Пойти в Маурицхёйс и поглядеть на картины? Он там и раньше бывал, а от разглядывания живописи его уже тошнило. Он отправился в Вассенар и провел остаток дня в зоопарке.

Жан-Пауль Летцтпфенниг пожал Фрэнсису руку. Его ладонь оказалась неприятно влажной; Фрэнсис немедленно вытащил из кармана платок и вытер собственную руку — возможно, чуточку слишком очевидно. Кое-кто из присутствующих не преминул обратить на это внимание. Профессор Бодуэн — Фрэнсис уже мысленно отнес его к злодеям — отчетливо втянул воздух. Пусть уж лучше так — при разговоре профессор обильно выдыхал, а его дыхание наводило на мысль, что он гниет изнутри и сгнил уже как минимум на две трети. Он разительно контрастировал с Аддисоном Трешером, у которого изо рта пахло лучшей зубной пастой, эффективной в борьбе с кариесом. Аддисон Трешер сегодня был одет совершенно иначе — костюм его выглядел официально и намекал на то, что им предстоят великие дела.

И действительно, великие дела вот-вот должны были свершиться. В воздухе висело ожидание, — несомненно, все присутствующие улавливали это чувствительным нутром искусствоведов. Доктор Схлихте-Мартин, дородный и краснолицый, и доктор Хаусхе-Кейперс, молодой и веселый, напоминали игроков в змейки-лесенки: если Ван Эйк окажется настоящим, старый толстяк продвинется на одну клетку, а молодого отбросит назад.

А если наоборот, то старость будет посрамлена, а молодость восторжествует. Фриш и Бельман, немцы, были одеты в серо-стального цвета костюмы и носили на лицах стальные выражения, ибо в любом случае проигрывали. Они очень надеялись, что Летцтпфеннига с треском разоблачат, и жалели, что когда-то встретили его находку с таким энтузиазмом. Лемэр, Бастонь и Бодуэн относились к делу философски: двое французов хотели бы, чтобы картина оказалась подлинной, но сомневались в таком исходе; бельгиец хотел, чтобы она оказалась фальшивкой, ибо был другом всего негативного. Все они делали ставки в сдержанной манере, свойственной критикам по всему миру.

— Все со всеми знакомы, я полагаю? Ну что, перейдем к делу, не будем задерживаться? Мистер Корниш, ознакомьте нас, пожалуйста, со своими выводами.

Судья был спокойнее всех собравшихся. Он и дюжий смотритель у двери.

Фрэнсис вышел вперед. Внутри у него все сжималось, но внешне он был невозмутим. Летцтпфенниг Фрэнсису скорее понравился, хоть ему и хотелось поскорее смыть с правой руки трупный пот. Летцтпфенниг вовсе не был жалкой

фигурой, какой его представил Сарацини. Немолодой мужчина с печатью интеллекта на челе, в очках с толстыми стеклами, с копной седых волос — он напоминал бы художника, если бы не был таким явным ученым. Он был хорошо одет, и белый носовой платок выглядывал из нагрудного кармана ровно настолько, насколько нужно. Ботинки блестели — за ними, несомненно, ухаживали как следует. Но его внешнее спокойствие никого не впечатлило.

«Ну, поехали, — подумал Фрэнсис. — Слава богу, что я могу говорить и авторитетно, и с уверенностью».

— К сожалению, эту картину нельзя считать подлинной, — сказал он.

— Это и есть ваше мнение? — спросил Хейгенс.

— Не просто мнение, *Edelachtbare*, — объяснил Фрэнсис. Он решил, что ситуация требует формального обращения. — Это прекрасная работа, ее стиль очень похож на стиль Ван Эйка. Любой художник любого века мог бы гордиться ею. Но ее нельзя приписать даже *alunno di van Eyck* или *amico di van Eyck*:[107] она написана как минимум на сто лет позже.

---

[107] Примечания: 107
Ученику Ван Эйка… другу Ван Эйка *(ит.).*

— Вы говорите с большой уверенностью! — воскликнул профессор Бодуэн, не скрывая торжествующей ухмылки. — Но вы, если мне позволено будет так выразиться, очень молоды, а уверенность, свойственная юности, не всегда уместна в таких делах. Конечно, вы можете обосновать свое мнение?

«Еще как могу, — подумал Фрэнсис. — Ты думаешь, что Летцтпфенниг уже фактически уничтожен, а теперь хочешь уничтожить и меня, поскольку я молод. Ну так получай, вонючка старая».

— Я уверен, что ваш коллега может привести обоснования, — вмешался миротворец Хейгенс. — Если они достаточно вески, мы снова позовем британских ученых, чтобы они провели научный анализ.

— Думаю, это окажется излишним, — ответил Фрэнсис. — Нам заявили, что это работа Ван Эйка, но она совершенно точно не принадлежит кисти Ван Эйка — ни Губерта, ни Яна. Как давно вы, джентльмены, были в зоопарке?

При чем тут зоопарк? Уж не смеется ли над ними этот юнец?

— Единственная деталь картины дает нам все нужные сведения, — продолжал Фрэнсис. —

Посмотрите на обезьяну, которая висит, зацепившись хвостом за врата ада, в верхнем левом углу. Что она тут делает?

— Это иконографическая деталь, вполне ожидаемая на такого рода картине, — произнес Летцтпфеннинг чуть снисходительно по отношению к юному искусствоведу, довольный, что ему выпала возможность заступиться за обезьяну. — Обезьяна, скованная цепями, — старинный символ павшего человечества до пришествия Христа. Символ душ, томящихся в аду, по сути. Так что обезьяна по праву находится рядом с побежденными демонами.

— Но она висит на собственном хвосте.

— А почему бы ей и не висеть на собственном хвосте?

— Потому что обезьяны в Генте во времена Ван Эйков так не поступали. Эта обезьяна — *Cebus capucinus,* она водится в Новом Свете. А скованная обезьяна традиционной иконографии — уроженка Старого Света, *Macacus rhesus.* Обезьяна, изображенная на картине, — обезьяна с цепким хвостом — была неизвестна в Европе до шестнадцатого века, а Губерт Ван Эйк, излишне напоминать, умер в тысяча четыреста двадцать шестом году. Автор картины, кто бы он ни был,

хотел завершить композицию второстепенной фигурой в этом углу, поэтому скованная обезьяна должна была висеть на хвосте, зацепившись за врата ада. У вас в городе есть прекрасный зоопарк, в котором можно увидеть как *Cebus capucinus,* так и *Macacus rhesus,* с весьма информативными табличками на клетках. Потому я и спросил, как давно вы были в зоопарке.

В мелодрамах девятнадцатого века часто встречались авторские ремарки типа: «Немая сцена! Все поражены! Сенсация!» Именно такой эффект возымел приговор, вынесенный Фрэнсисом. Искусствоведы не пытались сделать вид, что хорошо разбираются в обезьянах, но теперь, когда им указали на очевидное, они поспешно согласились, что оно очевидно. Именно в этом часто состоит задача экспертов.

Пока они обменивались высокоучеными замечаниями, уверяя друг друга, что обезьяна им сразу показалась подозрительной, Летцтпфенниг, разумеется, сильно страдал. Дюжий смотритель принес ему стул. Летцтпфенниг сел, трудно дыша. Но скоро вновь обрел самообладание, поднялся на ноги и звучно похлопал в ладоши, как профессор, призывающий студентов к порядку.

— Джентльмены! — сказал он. — Знайте, что

эту картину написал я. Зачем? В том числе — как протест против фанатичного поклонения, которое ныне воздается ранним голландским мастерам и часто сопряжено с умалением достоинств современных художников. То, что для похвалы чего-то одного нужно унизить что-то другое, — весьма порочный принцип. В наши дни уже не умеют писать так, как писали старые мастера! Это неправда. Я именно этого умения и достиг и знаю, что многие другие люди умеют это не хуже меня. Конечно, это не принято, поскольку считается своего рода маскарадом, неискренностью, подражанием чужому стилю. Я полностью согласен, что художник должен работать, говоря очень общо, в стиле своего времени. Но вовсе не потому, что этот стиль упадочнический, взятый на вооружение по неспособности писать так, как писали великие предшественники… А теперь, пожалуйста, слушайте меня внимательно. Вы все хвалили эту картину за колорит, за композицию, за то, что, глядя на нее, воспаряешь духом, а это свойственно лишь великим шедеврам. Все вы хвалебно отзывались об этой картине, кое-кто — даже с восторгом. Что именно привело вас в восторг? Магия великого имени? Магия прошлого? Или картина, которая была у вас перед

глазами? Даже вы, мистер Трешер, узнав, что ваш великий клиент не получит эту картину ни при каких обстоятельствах, говорили о ней так, что у меня сердце пело в груди. «Работа подлинно великого мастера, хотя, может быть, и не Ван Эйка», — сказали вы. Ну и?.. Я — тот самый подлинно великий мастер. Или вы хотите взять назад все свои слова?

Трешер молчал, да и остальным искусствоведам тоже не хотелось ничего говорить — кроме Бодуэна, который шипел на ухо Бельману, что ему сразу не понравились эти кракелюры.

Заговорил судья, и заговорил он как судья:

— Следует помнить, *Mynheer*[108] Летцтпфенниг, что вы предложили картину на продажу как подлинник Ван Эйка, а с ней — сказку о ее происхождении, которая, как мы теперь знаем, была лживой. Это нельзя объяснить протестом против умаления современных художников.

— А как еще я мог привлечь внимание к картине? Как еще донести то, что я хотел сказать? Если бы я объявил, что нарисовал великую картину в старинном стиле, — я, Жан-Пауль Летцтпфенниг, профессор искусствоведения,

---

[108] Примечания: 108
Господин *(голл.).*

реставратор старых мастеров, зачисленный в посредственности теми, кто ранжирует художников, как школьников, по их успехам, — сколько из вас потрудилось бы переступить порог, чтобы увидеть мой труд? Ни один! Ни один человек! А теперь вы говорили «шедевр», вы говорили «духоподъемная красота». К чему относились эти слова? К тому, что вы видели? Или к тому, что вы думали, что видите?

— Судья прав, — сказал Аддисон Трешер. — Вы хотели получить за картину кругленькую сумму, и не только за ее красоту, которой я не отрицаю, но и за блеск славного имени и славной эпохи. И мы попались! Картина прекрасна, но кто ее купит? Думаю, это ничья. Во всяком случае, я бы сказал, что ситуация тупиковая.

Конечно, это не была ничья. Газеты раздули случившееся в международную сенсацию. Как они узнали? Если в комнате собрались одиннадцать человек и происходит что-то интересное, по крайней мере один из них наверняка проболтается, пресса возьмет след, и понеслось. Предположительно это был Слейтерс, охранник. Его равнодушие оказалось напускным, и он с радостью выложил все, что знал, — конечно, небезвозмездно. Но точно ли никто другой не

обмолвился ни словечком? Фрэнсис, конечно, молчал, пока не вернулся в Дюстерштейн, но кто поручится за Аддисона Трешера? А может, и судья проболтался жене, а она рассказала лучшей подруге, взяв обещание хранить тайну. Немцы, конечно, отрапортовали своим начальникам, а те — рейхсмаршалу, не склонному к излишней молчаливости. Двое французов и бельгиец вряд ли стали бы молчать — они мало чем рисковали и многое приобретали, ибо приняли участие в великом разоблачении, которое еще долго служило пищей для пересудов людям искусства по всему миру.

«Обезьяна разоблачает мошенника» — этот заголовок в той или иной форме повторили все газеты. В одной газете напечатали карикатурное изображение Фрэнсиса, поучающего искусствоведов, — пародию на известный в живописи библейский сюжет: юного Христа, учащего во Храме.

— Вижу, дело Летцтпфеннига закрыли, — сказал Сарацини однажды в ракушечном гроте, поднимая глаза от газеты «Фёлькишер беобахтер».

— Обвинения сняли? — спросил Фрэнсис.

— Теперь без толку его обвинять. Он покончил

с собой.

— О боже! Бедняга!

— Не упрекайте себя, Корнишь. Я вам велел его убить, и вы его убили. Вы уничтожили его профессиональную репутацию по моему приказу, а теперь он свел счеты с жизнью уже по собственному желанию. И очень интересным способом. Он жил в Амстердаме, в одном из этих очаровательных старых домов, выходящих на канал. Вы ведь знаете, там под самой крышей на фасаде приделаны такие блоки: в стародавние времена купцы с их помощью поднимали грузы на чердак. Живописная старинная деталь. Тут написано, что Летцтпфенниг повесился на блоке своего дома, прямо над водой. Когда полицейские его сняли, то нашли записку, пришпиленную к плащу. Как ни странно, он умер, облаченный в плащ и шляпу. Записка гласила: «Пускай теперь говорят что хотят; сначала они говорили, что это шедевр». Что такое? Вам нехорошо? Может, вам лучше взять выходной? Пока что вы вполне достаточно совершили для искусства.

— Так сложилась репутация Фрэнсиса, — сказал даймон Маймас.

— Твои методы, однако, не назовешь нежными, — заметил Цадкиил Малый.

— Нет, но они всегда тонки. Это, конечно, я подтолкнул Фрэнсиса в сторону зоопарка, и я же позаботился, чтобы он хорошенько разглядел обезьян.

— К несчастью для Летцтпфеннига.

— За Летцтпфеннига я не отвечал. Кроме того, ему не на что жаловаться. Он хотел славы и еще — признания своего художественного таланта. И то и другое он получил — посмертно. Его смерть придала трагическую нотку тому, что, принимая во внимание все обстоятельства, можно считать замечательным жизненным путем. А трагедию ощутило оставшееся человечество — как обычно и бывает с трагическими судьбами. В общем, если учесть все, Летцтпфенниг жил не зря. Он останется сноской в истории искусства. А Фрэнсис единым махом завоевал себе неплохую репутацию.

— Это и есть та слава, которую предсказывала Рут? — спросил Цадкиил Малый.

— О нет, ни в коем случае. Я способен на гораздо большее.

Гибель Летцтпфеннига заинтересовала мир, так как всякая гибель кому-нибудь да интересна. Но к осени 1938 года, вскоре после того, как Фрэнсису исполнилось двадцать девять лет,

все новости затмил мюнхенский кризис. Явная победа Невилла Чемберлена, которому удалось договориться с немецким фюрером, обрадовала миллионы невинных сердец, которые желали мира и были готовы поверить чему угодно, если оно сулило мир. Но на Мюнхенское соглашение полагались не все. В число недоверчивых входили Сарацини и графиня. В Дюстерштейне было неспокойно. В замке многое изменилось: Амалию отправили учиться в весьма достойный швейцарский пансион. Рут Нибсмит осталась в замке, на посту секретаря графини, но знала, что это ненадолго. Перед Рождеством она сердечно распрощалась со всеми и вернулась в Англию. У Сарацини оказалось очень срочное дело в Риме, но он не мог сказать, сколько времени оно займет, хоть и уверил графиню, что непременно вернется. А графиня объявила, что неотложные дела в Мюнхене, связанные со сбытом продуктов сельского хозяйства, теперь будут держать ее в этом городе по нескольку недель и даже месяцев.

За прошедший год Сарацини и Фрэнсис проделали огромную работу, порой дерзая на многое. Картины все большего и большего размера отправлялись в погреба виноторговой фирмы. Самые большие холсты приходилось снимать с

подрамников и осторожно укладывать свернутыми внутри бочек — тщательно упаковав, чтобы вино не повредило живопись. Подрамники и старинные гвозди от этих картин помещались в две большие сумки с клюшками для гольфа, которые князь Макс прибавил к своему багажу. Среди больших картин были масштабные батальные полотна и несколько портретов мелких исторических деятелей. Вся эта живопись была кардинально улучшена трудами Сарацини, а также и Фрэнсиса, которому доверяли все более важную работу. А что же делать Фрэнсису, когда Сарацини уедет? Накануне отъезда Сарацини просветил его:

— Вы преуспели, Корнишь, и гораздо быстрее, чем я рассчитывал. Разоблачением Летцтпфеннига вы создали себе имя — скромное, но все же имя. И все-таки, прежде чем явиться миру под именем *amico di Sarseni* вместо более скромного *alunno di Saraceni,*[109] вы должны пройти важное испытание. Попросту говоря, можете ли вы рисовать не хуже Летцтпфеннига? Он ведь был мастером, знаете ли, в одном небольшом уголке мира искусства. Теперь, когда вы его убрали, я могу это

---

[109] Примечания: 109
Друга Сарацини… ученика Сарацини *(ит.).*

сказать. Я, конечно, не говорю о подделке, ибо это презренное занятие. Я говорю об умении работать подлинно в технике прошлого и вместе с тем — в духе прошлого. Пока вы не докажете этого, я не буду до конца в вас уверен. «Дурачок Гензель» был хорош. То, что вы сделали за прошедший год, было хорошо. Но без моего неусыпного надзора, без моих советов и моей безжалостной критики — да, я знаю, что я бессердечный негодяй, но таковы должны быть все великие учителя — потянете ли вы? Так что вот: пока меня не будет, напишите оригинальную картину большого масштаба — не только по размерам, но и по замыслу. И это не должно быть подражанием кому-либо. Нет, напишите ее так, как если бы вы сами жили в пятнадцатом или шестнадцатом веке. Найдите свой предмет. Разотрите краски. Основу я вам даю… Вот, смотрите: это, как видите, триптих, алтарная картина солидных размеров. Она состоит из трех панелей и висела раньше в здешней часовне, пока ту не отделали заново в стиле барокко. Живопись, конечно, загублена. Она не меньше двухсот лет простояла в одном из служебных коридоров замка, откуда мы уже извлекли столько забытых картин. Но эта никогда не была хороша, а теперь и вовсе превратилась в

мусор. Очистите ее — до самого дерева — и принимайтесь за работу. Я хочу увидеть, насколько хорошо вы работаете самостоятельно. У вас будет много времени. Я вернусь весной, а может, и чуть позже. Но обязательно вернусь.

Так, незадолго до Рождества 1938 года, Фрэнсис оказался практически единовластным хозяином Дюстерштейна. И семейные комнаты, и официальные покои преобразились: мебель была завернута от пыли в чехлы, люстры — в муслин, и все вместе напоминало обиталище привидений. Фрэнсису оставили одну маленькую комнату — там он спал, там же и ел, когда не трудился в ракушечном гроте. Он ходил гулять по скользким замшелым тропинкам под плакучими ивами. Другой впал бы в меланхолию, но Фрэнсиса радовали сумрак и одиночество, ибо он был обращен в себя и не хотел, чтобы его отвлекали, манили в игру. Он искал свою картину.

Фрэнсис не проходил философию Сарацини (отделяя ее от жадности и оборотистости Сарацини), как Амалия — учебные предметы. Нет, он впитал эту философию, переварил ее и сделал частью своей цельности. Все, что было в Мастере явно недостойного, Фрэнсиса забавляло. Ему хватало ума, чтобы понимать: и у великих

людей есть свои слабости и их грехи тоже могут быть великими. Фрэнсис переварил пшеницу и отрыгнул мякину, и эта пшеница стала плотью от его плоти, костью от кости. Убеждением, а не усвоенным уроком.

Во что же он верил теперь, пройдя утомительный, а порой и унизительный путь подмастерья? Он верил, что в основании великой картины должен лежать великий миф. И этот миф может быть выражен в живописи только художником, которого неотрывно влечет призвание. Фрэнсис научился принимать и ценить свое призвание, которое не стало менее настоящим оттого, что он шел к нему таким кривым путем. Он трудился в ракушечном гроте как подневольный работник, но теперь он был волен приказывать самому себе. Хоть ему и придется выражать себя в манере былых времен. Но что это будет за картина, что за шедевр завершит его ученичество?

Картина должна корениться в мифе. В каком? В запутанной мифологии, космическом фарсе похоти и вульгарных семейных склок богов Олимпа? Или их уменьшенных чучел, измысленных римлянами? Ни за что! В более утонченных христианских мифах, принявших тысячу форм в Средние века — эпоху веры? Католичество

Фрэнсиса, конечно, никуда не делось, но это была сладкая вера Мэри-Бен, а не суровое учение Отцов Церкви. В мифе о величии Человека, провозглашенном эпохой Возрождения, или в мифе о человеке умаленном, скованном, каким он казался Веку Разума? А может, выбрать эпоху романтизма — миф о внутреннем человеке, стремительно пришедший в упадок и ставший мифом об эгоизме? В распоряжении Фрэнсиса был даже миф девятнадцатого столетия — материализм, преклонение перед миром вещей, вдохновившее импрессионистов на создание столь многих шедевров. Но эти следовало немедленно отвергнуть, даже если бы они влекли к себе Фрэнсиса (на самом деле — нисколько). У него был приказ написать картину в манере старых мастеров — картину, которая с точки зрения техники могла бы чему-нибудь научить даже хитроумного Летцтпфеннига.

Сидя в одиночестве, почти не сознавая, что вокруг кипит Европа, готовая взорваться войной и ее невиданными доселе ужасами, Фрэнсис наконец нашел ответ. Единственно возможный, неизбежный ответ. Он изобразит миф Фрэнсиса Корниша.

Но как? Он не мог работать, как работает худож-

ник, не ищущий продвижения из *alunno* в *amico* в суровой школе Сарацини. Он не мог спуститься, насколько позволяет талант, в царство Матерей и вернуться оттуда с картиной, непроницаемой для понимания даже самых чувствительных и сочувственных наблюдателей, — картиной, которая, может быть, лет через двадцать объяснится сама, окажется пророчеством или воплем отчаяния. Ему нужен сюжет узнаваемый, как узнаваемы сюжеты картин старых мастеров, даже если подлинный смысл картины имеет мало отношения к лежащему на поверхности сюжету.

Он рисовал и уничтожал бесчисленные наброски, но, даже отвергая их, чувствовал, что близится к цели. Наконец сюжет начал проявляться, потом стал неизбежным — сюжет, нужный для воплощения мифа о Фрэнсисе Корнише. Фрэнсис начал делать этюды и предварительные наброски в старинном стиле, на специально подготовленной бумаге, серебряным карандашом. Этюды, которые, может быть, когда-нибудь заведут искусствоведов в тупик. Тема, сюжет, миф должны воплотиться в триптихе «Брак в Кане Галилейской».

Этот сюжет был не слишком популярен у мастеров, работавших до эпохи Высокого Воз-

рождения.[110] Их стиль предшествовал пышным изображениям этого роскошного пира, столь маловероятным на фоне библейской истории. Картины пира были, по сути, гимнами роскоши мира сего. Фрэнсису же предстояло работать в сдержанной, но не скудной манере, свойственной закату готической эпохи. Делая наброски, он понял, что этот стиль подходит ему как нельзя лучше: миф Фрэнсиса Корниша не был мифом Ренессанса, мифом Разума, мифом самоупоенного эгоизма или мифом о вещности мира. Раз уж Фрэнсису нельзя говорить голосом своего века, он будет говорить последними раскатами голоса готики. Так он и работал, не яростно, а сосредоточенно и с упоением. Когда наконец предварительные наброски были готовы, руины живописи соскоблены со старой доски, краски выбраны и подготовлены и даже ляпис-лазурь, за которой не надо было далеко ходить, перемолота, он начал писать.

Сарацини вернулся только в середине лета 1939

---

[110] Примечания: 110

Высокое Возрождение — так в искусствоведении обозначается период расцвета изобразительного искусства в эпоху Возрождения в Италии. Считается, что этот период начался в 1490-е гг. фреской Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» в Милане и смертью Лоренцо Медичи во Флоренции, а закончился в 1527 г. разграблением Рима войсками Карла V.

года. Фрэнсис уже начал беспокоиться. В конце июня он получил письмо от сэра Оуэна Уильямса-Оуэна, в котором говорилось:

Отчеты о работе Вашего сердца за последние несколько месяцев внушают некоторую тревогу. Я считаю необходимым обследовать Вас еще раз. Советую Вам вернуться в Англию при первой возможности, чтобы я мог Вас осмотреть. Ваш крестный отец, которого я видел на днях, шлет свой привет.

Смысл письма был совершенно прозрачен даже для рассеянного художника, не следящего за политикой. Но до отъезда из Дюстерштейна Фрэнсис должен был повидаться с Мастером. В конце июня Сарацини с Фрэнсисом пришли в ракушечный фот, и Фрэнсис жестом, не лишенным драматической пышности, сдернул покрывало с «Брака в Кане», запеченного надлежащим образом, с аугсбургской пылью в кракелюрах.

Мастер последовал обычной процедуре. В течение четверти часа он молча созерцал картину. Потом обследовал ее в бинокль, через большое увеличительное стекло, потыкал оборотную сторону, понюхал, потер угол мокрым пальцем — все обычные этапы осмотра. Но вслед за этим

он сделал нечто необычное: сел и очень долго просто смотрел на картину, время от времени сопя, — Фрэнсису хотелось верить, что удовлетворенно.

— Ну что ж, Корнишь, — сказал наконец Сарацини. — Я ожидал от вас хорошей работы, но, признаться, вы меня поразили. Вы, конечно, знаете, что сделали?

— Думаю, да, но хотел бы услышать от вас подтверждение.

— Я понимаю вашу растерянность. Ваша картина — ни в коем случае не упражнение в манере прошлого: такие вещи всегда выдает определенный недостаток живой энергии, а ваша картина полна энергии, безошибочно узнаваемого отпечатка «здесь и сейчас». Чего-то несомненно идущего от Матерей. Говоря начистоту — реальности, созданной художником. Вы нашли реальность, которая не является частью хронологического настоящего. Ваше «здесь и сейчас» лежит не в нашем времени. Вы, судя по всему, не закованы, в отличие от большинства, в психологический мир сегодняшнего дня. Терпеть не могу громкие философские сентенции, но ваша имманентность не заражена календарем. Заранее трудно сказать, но я думаю, что вашей картине

суждена долгая жизнь — в отличие от живописи Летцтпфеннига, чьи подделки и маскарады недолговечны.

— Значит, мое ученичество закончено?

— В том, что касается этой картины, — воистину так. Я не знаю, сможете ли вы и захотите ли продолжать в том же духе. Поживем — увидим. Но я должен заметить, что если вы будете и дальше писать в такой манере и об этом станет известно, то ваша песенка спета. Критики всего мира обрушатся на вас, как ястребы, атакующие… феникса? Во всяком случае, какую-то редкую птицу.

— Так что же мне делать?

— О, на это я могу ответить совершенно точно. Возвращайтесь в Англию, причем как можно скорее. А я завтра утром уеду в Италию. Может, вы не заметили, но обстановка накаляется.

— А что же картина?

— Если получится, я сделаю так, чтобы ее доставили вам. Но она большая и не гнется, а потому не влезет в бочку. Так что дело непростое. Пусть пока постоит тут, в замке, в каком-нибудь темном коридоре.

— Я не это имел в виду. *Meister,* вы мной довольны? Этот вопрос меня все время глодал и до сих пор гложет.

— Доволен ли я вами? Мне очень трудно произнести это вслух. Довольство несвойственно моему ремеслу, а я редко выхожу за его рамки. Но сейчас у меня нет выбора и нет возможности тянуть время. Так что пока *a rivederci…*[111] *Meister.*

[111] Примечания: 111
До свидания *(ит.).*

Часть шестая

Война — это бедствие национального и международного масштаба. Но каждый житель воюющей страны сражается на своей личной войне, и порой трудно сказать, победил он или проиграл. Война Фрэнсиса Корниша была долгой и тяжелой, хоть он и не попал на фронт.

По правде сказать, то, что он не на фронте, было не самой большой его проблемой, зато самой очевидной. Мужчина лет тридцати, здоровый с виду и явно не занятый никакой важной работой, вызывал неприязнь и подозрение. Фрэнсису часто приходилось оправдываться. Конечно, у него было свидетельство от сэра Оуэна Уильямса-Оуэна о сердечной болезни и негодности к службе, но не мог же Фрэнсис ходить со свидетельством, пришпиленным к одежде. А дядя Джек, на которого он работал ежедневно и сверхурочно, вообще не дал ему никакого документа: если его ранят или нападут на него — не дай бог, в нем опознают представителя… не «ремесла», Фрэнсис уже перестал пользоваться словом «ремесло» и называл своего работодателя попросту МИ-5.

Вернувшись в Англию в конце июля 1939 года, он стал официальным — в том смысле, что ему платили крохотное жалованье, — сотрудником контрразведки. В его обязанности входило выяснение всего, что можно, о людях, которые выдавали себя за беженцев из Европы, а на самом деле были немецкими агентами. Никакой романтики плаща и кинжала: днем Фрэнсис работал с агентством, которое опрашивало беженцев и помогало им, а ночью прятался в подворотнях, следя за определенными домами — кто туда входит и кто выходит. Собранные сведения (в основном время прихода и ухода) он тщательно записывал и как можно незаметнее доставлял дяде Джеку, у которого был кабинетик на задворках Куин-Эннс-Гейт.

Работа была нудная, но Фрэнсис умудрился внести в нее кое-что от себя — за это он был всем сердцем благодарен Гарри Фернисcу и долгим часам в Блэрлогги, когда рисовал всех и вся, живых и мертвых. Раз увидев человека, Фрэнсис мог нарисовать его похожий портрет. Фрэнсиса нельзя было обмануть переодеваниями. Мало кто умеет маскироваться по-настоящему: люди слишком полагаются на крашеные волосы, другую одежду, измененную походку. Люди маскируются спе-

реди, но не сзади, а Фрэнсис, ученик Сарацини, мог опознать человека со спины, даже если не узнал в лицо. Так что Фрэнсис развлекался, украшая отчеты набросками. Они были невероятно полезны, но он об этом не знал, поскольку дядя Джек был неразговорчив и никогда не хвалил его. Пользоваться пишущей машинкой Фрэнсису не разрешали, потому что стук машинки среди ночи мог возбудить подозрения квартирной хозяйки. Отчеты Фрэнсиса, написанные мелким изящным курсивом, украшенные рисунками, были маленькими шедеврами. Но дядю Джека их красота, кажется, не впечатляла — он подшивал отчеты в папки, не комментируя их внешнего вида.

То, что было нудной работой в первые месяцы войны, стало опасной и трудной службой, когда начались бомбежки. Осенью 1940 года Лондон бомбили днем и ночью. К маю 1941 года остались только ночные бомбежки. И в воздушном налете 29 декабря[112] Фрэнсис потерял главное сокрови-

[112] Примечания: 112

...воздушном налете 29 декабря... — Речь идет о Втором Большом Лондонском пожаре — одном из самых разрушительных воздушных налетов на Лондон, совершенном в ночь с 29 на 30 декабря 1940 г. в ходе так называемого Лондонского блица, бомбардировок Великобритании нацистской Германией (1940–1941). С 6 вечера до 6 утра следующего дня на Лондон было сброшено 24 тыс. фугасных и 100 тыс. зажигательных бомб. Воздушный налет и последующий пожар уничтожили множество зданий.

ще своей жизни.

Он снова встретил Рут Нибсмит. Случайно, октябрьским вечером, в ресторане «Лайонс», куда забежал пообедать, прежде чем заступить на долгую вахту в дверном проеме напротив подозрительного дома.

— *Le Beau Ténébreux!* Какая радость! Чем занимаешься? Хотя можно не спрашивать — топтуна сразу видно. За кем следишь?

— Что значит «топтуна сразу видно»?

— Да ладно тебе! Засаленная фетровая шляпа, потертый плащик, в кармане топырится блокнот. Конечно, топтун.

— Ты это говоришь только потому, что ты экстрасенс. Моя маскировка непроницаема. Я — тот самый неизвестный герой в тылу, которому сейчас так тяжело приходится.

— Скажу тебе как экстрасенс — до конца года ему придется еще тяжелее.

— Конечно, ты права. Я делаю секретную работу. А ты чем занимаешься?

— Это тоже секрет.

Но в разговоре выплыло наружу, что Рут рабо-

тает в Школе кодов и шифров.[113]

— Конечно, у меня такой склад ума, я люблю головоломки. Думаю, меня взяли на эту работу, потому что я могу разгадать кроссворд из «Таймс» за полчаса. Ну и экстрасенсорные способности тоже не вредят.

Она взглянула на стену — там висел плакат Фугаса,[114] Гитлер с огромным подслушивающим ухом и подписью: «Кто болтает, тот своих убивает».

Их дружба возобновилась, насколько позволяли необычная работа Фрэнсиса и периодические ночные смены Рут. А значит, возобновились и счастливые часы в постели. Рут жила в крохотной квартирке на Мекленбург-стрит. Квартирная хозяйка была не то покладиста, не то равнодушна, и раз в неделю Фрэнсис и Рут урывали часок. В военном Лондоне, душном и сером, стирка была непростым делом, да и мытье не всегда доступно,

---

[113] Примечания: 113

…работает в Школе кодов и шифров. — Правительственная школа кодов и шифров — главное шифровальное подразделение Великобритании во время Второй мировой войны, со штаб-квартирой в имении «Блетчли-парк» (Блетчли, графство Букингемшир).

[114] Примечания: 114

…висел плакат Фугаса… — Сирил Кеннет Берд (1887–1965), работавший под псевдонимом Фугас, — британский карикатурист. Больше всего известен как редактор журнала «Панч» и автор пропагандистских плакатов времен Второй мировой войны.

если водопровод разрушен очередной бомбой. Но каким блаженством было сорвать одежду, упасть на грязноватые простыни и утратить себя в единении, где можно забыть о служебных инструкциях, где важны только нежность и доброта! Как ни странно, они не говорили о любви, ни разу не обменялись клятвами верности: чувствовали, что это не нужно. Они и без слов знали, что времени мало, что жить нужно настоящим и что на миг слиться в объятиях — значит урвать этот миг у гибели и разрушения.

— Если на нас сейчас упадет бомба, я скажу, что умираю в самый счастливый миг своей жизни, — сказал Фрэнсис однажды ночью, когда они презрели сирены и остались в теплой постели, вместо того чтобы укрыться в ближайшем холодном бомбоубежище.

— Не бойся. Никакая бомба тебя не достанет. Разве ты не помнишь свой гороскоп, что я составила в Дюстерштейне? Нет, милый, тебя ждет старость и слава.

— А тебя?

Она поцеловала его:

— Это засекречено. И дешифровщик здесь я, а не ты.

29 декабря, в ночь великого воздушного налета,

Фрэнсис был на работе. Он следил за дверью, через которую никто не вошел и не вышел. Когда оставаться на посту было уже невозможно, он пошел в метро и улегся на каменный пол вместе с сотнями других людей. Они лежали без сна, в ужасе. Наконец прозвучал отбой тревоги, и Фрэнсис пошел к дому, где жила Рут, — насколько мог подойти, потому что город горел. Целые улицы были стерты с лица земли.

Ее вытащили из-под развалин, и Фрэнсис нашел ее в больнице — даже быстрее, чем надеялся. Точнее, нашел тело, накачанное обезболивающими, замотанное бинтами, подключенное к капельницам с физиологическим раствором. Наружу виднелась только одна рука. Фрэнсис просидел несколько часов, держа эту руку и молясь, чтобы от его пожатия Рут было хоть чуточку легче. Потом пришла медсестра и жестом показала на выход:

— Уже не нужно. Ее больше нет. Это ваша жена? Подруга?

— Подруга.

— Хотите чашечку чая?

Это никак не помогало, но больше ничего в больнице предложить не могли. От чая Фрэнсис отказался.

Так закончился период величайшего утешения его жизни. По расчетам Фрэнсиса, он продолжался чуть меньше десяти недель. Все, что случилось с Фрэнсисом за оставшийся сорок один год, в том числе своеобразная слава, не шло с этим ни в какое сравнение.

Герой дамского романа пережил бы то, что не слишком точно называют нервным срывом, или выбросил бы белый билет и отправился на фронт, чтобы отомстить или умереть. Но героизм Фрэнсиса был иного рода. Фрэнсис запахнулся в жесткий плащ стоицизма, захлопнул дверь, чтобы туда не пролезла любовь, и трудился как раб, пока дядя Джек — то ли почуяв в нем великую перемену, то ли узрев новые достоинства — не дал ему работу чуточку поинтереснее. Следующие несколько месяцев он сидел в комнатушке в здании, которое с виду совершенно не напоминало о МИ-5, и координировал отчеты наблюдателей вроде него самого, пытаясь извлечь какой-то смысл из информации, которая вовсе не была информативной. Только один раз за все это время он точно мог бы сказать, что участвовал в разоблачении агента.

Но среди одиночества и нудной работы бывали и просветы. В начале 1943 года в Лондоне

объявился отец. Он оказался офицером связи канадской Службы безопасности при МИ-5, причем был большой шишкой: жил в «Клариджe» и мог бы потребовать машину в свое распоряжение, если бы не предпочитал ходить пешком. Деревянный Солдатик за это время стал еще деревяннее, и монокль, если это вообще возможно, еще сильнее сросся с его лицом. Отец привез новости из дому:

— Бабушке и тете Мэри-Бен уже недолго осталось. Они, конечно, старые: бабушке за восемьдесят, а тете все восемьдесят пять. Но их сводит в могилу не старость, а скупость и дурное питание. Этот несчастный доктор еще старше, но он сущий живчик и старушек поддерживает на плаву. Мне он никогда не нравился. Худшая разновидность ирландца. Твоя мать здорова и все так же красива, как в день нашей первой встречи. Но она сдает: провалы в памяти и все такое. Самый большой сюрприз нам преподнес твой младший братец. Отказался идти в университет: видите ли, ты учился в двух, и на семью этого вполне достаточно. Он уже полностью вошел в бизнес, и у него большие способности к этому делу. Но сейчас он в авиации; думаю, он хорошо себя проявит. Джек Коппстоун говорит, что и ты весьма отличился.

— Жаль, что он мне этого не говорит. Иногда

мне кажется, что он про меня забыл.

— Только не Джек. Но надо сказать, что тебя не так легко приткнуть. Слава богу, ты не из породы рубак. Джек тебя использует, когда подвернется подходящая работа. Но я скажу ему пару слов. Конечно, ты мне ничего не говорил. Но все равно я подтолкну машину, чтобы колесики завертелись… Ты ведь знаешь, что оба о'гормановских мальчика в армии? Да, они очень молодые, но им не терпелось. К несчастью, умом их Бог обделил — для нашей службы они точно не годятся, но храбрости им не занимать. Конечно, и сам О'Горман с головой ушел, как он говорит, в военную работу — продает облигации займа победы и все такое. Ну, наверно, кто-то должен это делать. Думаю, что жирный осел целится на какую-нибудь официальную награду. Он так и не оправился после той истории с рыцарством святого Сильвестра. Хочет получить что-нибудь такое, что у него точно не отберут.

Фрэнсису пришло в голову, что отец ведь немолод. Он как минимум на десять лет старше матери. Но сэр Фрэнсис Корниш никогда с виду не был молодым, а теперь не выглядел старым. Раз он до сих пор в «ремесле», значит он хорош в своем деле. Конечно, выглядит как привидение

из Эдвардианской эпохи, но ступает легко. Подтянутый, но не иссохший.

— Знаешь, Фрэнк, я смотрю в прошлое, на канадскую часть семьи, и теперь мне кажется, что больше всех мне нравился старый сенатор. Будь у него такая возможность, он стал бы великим человеком.

— Я всегда считал его великим человеком. Во всяком случае, он заработал кучу денег.

— И основал трест. Ты прав, конечно. Просто я думал о… как бы это сказать… о социальных привилегиях. Корниш-трест… меня это всегда удивляло. Старик считал меня зицпредседателем. Надо полагать, что так оно и было. Мы с ним жили в разных мирах — странно, что они вообще хоть как-то соприкоснулись. Но все же соприкоснулись, и от этого все выиграли.

— Дедушка был глубоко чувствующим человеком.

— А? Да, наверно. Я в этом не очень разбираюсь. Слушай, Фрэнк, тебе надо приодеться. Ты выглядишь ужасно. Даже сейчас при желании можно достать приличную одежду. У тебя ведь куча денег, верно?

— Наверно, да. Я как-то не думаю о своем гардеробе. Мне кажется, сейчас это не имеет

значения.

— Поверь мне, мальчик, это всегда имеет значение. Даже в «ремесле», знаешь ли, защитная окраска может быть разных видов. Если ты выглядишь как мелкая сошка, тебя всегда будут воспринимать как мелкую сошку, потому что у людей не всегда есть время выяснять, что ты такое на самом деле. Так что займись своим гардеробом. Пойди к моему портному, и пусть он тебе построит костюм — самый лучший, какой можно сшить на твои талоны. Носи галстук своей школы или университета. Вдруг тебя убьют во время налета? И когда тебя найдут, то как узнают, кто ты такой?

— Разве это важно?

— Конечно важно. Одеваться как человек из низов, если ты не из низов, так же ненатурально, как чрезмерное щегольство. А неестественность в смерти так же смешна, как и неестественность при жизни.

На следующий день Фрэнсиса отконвоировали на Сэвил-роу. Там его обмерили и обещали ему темно-серый костюм, за которым должен был последовать синий, когда это будет угодно Богу и системе распределения по талонам. Сэр Фрэнсис, сломив сопротивление сына, пошел в атаку и

вручил ему приличные носки и рубашки из собственного гардероба. Они оказались почти впору. Если отец одевает тридцатитрехлетнего сына, это свидетельствует о необычно покладистом характере последнего, но Фрэнсис все воспринимал с юмором: он понимал, что, поработав топтуном, стал выглядеть как топтун и с этим надо что-то делать. Майор только обеспечил необходимый первоначальный толчок.

Уже хорошо одетым — за исключением разве что обуви — Фрэнсис нанес визит синьоре Сарацини, проживающей в южной части Лондона. Об этом попросил Мастер в письме, провезенном контрабандой из Парижа.

Синьора была англичанкой до мозга костей, но отличалась сочной, пышной манерой выражаться, возможно приобретенной в Италии. Синьора, видимо, считала, что это подобает жене художника. Она сразу принялась изливать душу:

— Иногда я думаю: может быть, когда эта ужасная война закончится, мы с Танкредом воссоединимся. Но обязательно здесь. Я ведь сохранила свой английский паспорт. Мне никогда по-настоящему не нравился Рим. А тамошняя квартира… немножко слишком, правда? Ну посудите сами, какая может быть семейная жизнь

посреди исторических ценностей? Ни одного стула без родословной, а отдыхать, сидя на родословной, как-то не получается. Но вы должны понять, мы с Танкредом всегда жили душа в душу. Война разлучила нас, но до того он приезжал ко мне каждый год, и мы любили друг друга. Ах как любили! Но я понимаю, что Танкред вряд ли может быть счастлив в моем доме, а я свой дом обожаю. Эти чинцы и мебель мореного дерева! Божественно, правда? Все до единой табуреточки — от Хила, и все изготовлено самое большее несколько лет назад. Человек должен жить в своей эпохе, верно ведь? Но я так надеюсь, что мы с Танкредом снова будем вместе.

Однако ее мечта не сбылась. Через несколько недель случайная бомба — видимо, предназначенная для Сити — стерла в пыль всю улицу, где жила синьора, и саму синьору тоже. Фрэнсису выпала тяжелая обязанность — написать об этом Мастеру и сделать так, чтобы письмо нашло адресата.

«Она была кровью моего сердца, — написал Мастер в ответном письме, полученном таким же кружным путем, — и я всем сердцем верю, что она сказала бы то же самое обо мне. Но, дорогой мой Корниш, одержимость искусством не знает

жалости, и, может быть, вы это еще испытаете на собственной судьбе».

Вскоре после этого письма дядя Джек вызвал Фрэнсиса к себе и наконец дал понять, что никогда о нем не забывал. Полковник Коппластоун вообще никогда ничего не забывал.

— Ты ведь знаешь, что мы выиграем эту войну? Да-да, хотя сейчас и не похоже. Это будет не скоро, но совершенно ясно, что мы выиграем, если в этой войне хоть кто-то выиграет. Главными победителями будут американцы и русские. Но победа принесет с собой еще более сложные проблемы, и нам нужно начинать работать над ними уже сегодня, иначе они застигнут нас врасплох. И одна из этих проблем — искусство… Оно важно, знаешь ли. Психологически. Нечто вроде барометра психологической и духовной силы. Разбитый враг не должен унести слишком много духовной добычи, а то он будет опасно похож на победителя. Поэтому нам придется разыскивать и возвращать на место всякое бесхозное — проще говоря, награбленное во время войны — барахло. Так что я посылаю тебя в Южный Уэльс работать с людьми, которые следили за происходящим. Видишь ли, у тебя есть определенный авторитет. История с Летцтпфеннигом создала тебе имя,

хоть и не слишком громкое, так что не упускай случая, когда он представится. Рад видеть, что ты занялся своим гардеробом. Это было необходимо, знаешь ли. Нельзя заседать на конференциях и в комитетах оборванцем, верно ведь?

Через две недели Фрэнсис оказался в тихой деревеньке под Кардиффом, в усадебном доме, который втихомолку, не привлекая излишнего интереса, заняла МИ-5. Здесь Фрэнсис провел самые тяжелые дни войны, готовясь к работе, которая начнется после победы.

Именно здесь, так далеко от Лондона, он наконец стал лучше понимать, ради чего и с кем работает. В Лондоне он был рядовым агентом, топтуном, который шныряет по темным закоулкам, записывая в блокнот приходы, уходы и встречи подозреваемых. Он учился быть незаметным. Он узнал о психологической ловушке, грозящей тем, кто ведет наружное наблюдение: любой человек, за которым следишь несколько дней подряд, начинает казаться подозрительным. Фрэнсис чувствовал себя идиотом, но не имел права задавать вопросы: его делом было прятаться в подворотнях и за углом, ловить отражение объекта в витринах и по возможности не выглядеть подозрительно — несколько агентов дяди Джека

попали в идиотское положение, донеся на незнакомых коллег. За долгие часы ожидания на посту Фрэнсис возненавидел свою работу, все на свете политические системы и любой национализм. Он начал впадать в то самое состояние духа, которое делает агента легкой добычей для перевербовки: его начинает привлекать роль двойного агента. Ибо за какие высокие принципы может цепляться человек, унизившийся до ремесла филера? Это предел человеческого падения.

В Кардиффе Фрэнсису поручили интервьюировать рядовых агентов, одного за другим, и оценивать принесенные ими данные в свете своей информации и своей интуиции. Кое-кто из агентов работал в МИ-6, внешней разведке. Фрэнсис снова и снова слышал слова Рут — мудрые советы, отложившиеся в голове по крупицам во время их долгих разговоров.

— Некоторые наши лучшие агенты не образец высокой морали. А хуже всех — члены Гоминтерна. Ну знаешь, великое международное братство гомосексуалистов. Только представь себе: переспать с кем-нибудь, а потом заложить его! Но так делают часто — и мужчины чаще, чем женщины, насколько мне известно. Честное слово, нужно набирать в разведку больше женщин. Мужчины

такие тупицы. Женщине можно доверять, кроме разве что в любви: женщины гордятся тем, что знают, а мужчины — тем, что могут разболтать. Это очень мерзкий мир, и мы с тобой слишком невинны, чтобы добраться до высоких постов в нашем деле.

Но вот же он, Фрэнсис, в Кардиффе, на должности, может, и не очень высокой, но все же, судя по всему, немаловажной. Может, он низко пал, сам того не зная? Или Рут говорила от чистого сердца, наивно, как добрый и порядочный человек, не очень представляя себе, о чем говорит?

Помимо работы, Фрэнсису приходилось урывать время для других, часто неприятных обязанностей повседневной жизни. Родерик Глассон ежемесячно писал ему, жалуясь на участь агрария во время войны. Он прозрачно намекал, что, если не получит денег сверх обычного, на большие реформы в поместье, все рухнет и скупердяйство Фрэнсиса доведет семью до разорения. Тетя Пруденс писала реже, но, пожалуй, настойчивее — об успехах и развитии малютки Чарли. Если Фрэнсис хочет, чтобы девочка получила подобающее воспитание, он должен посылать больше денег. В одном письме тетя заявила начистоту, что пора уже малютке Чарли жить в нормальном

доме с родителями, так что, может быть, Исмэй и Фрэнсис пересмотрят свои отношения?

За этим письмом последовало другое, от самой Исмэй, откуда-то из Манчестера. Та ничего не писала ни про малютку Чарли, ни про нормальный дом, ни про то, что адрес Фрэнсиса получила от матери. Исмэй откровенно заявляла, что она на мели и не хочет ли Фрэнсис что-нибудь сделать по этому поводу?

Фрэнсис взял на работе отпуск на несколько дней и проехал очень кружным путем от Кардиффа до Манчестера. Из-за войны поездка оказалась еще труднее обычного. И вот он снова встретился с Исмэй — почти через десять лет — за плохим обедом в дорогом отеле.

— Надо полагать, это когда-то было китятиной, — сказал он, тыча вилкой в содержимое своей тарелки.

Но Исмэй не была переборчива: она жадно ела. Она была очень худа. Она не утратила своеобразной красоты, но стала костлявой, почти изможденной, а волосы выглядели так, словно она стригла их сама. Грубая одежда темных тонов и все прочие приметы ее облика говорили о преданности великому делу.

Так и было: Исмэй ныне отдавала все свое вре-

мя и силы, но чему именно — было не вполне ясно. Она роняла намеки, из которых следовало, что она делает все возможное, приближая великое восстание рабочих. Такое восстание, организованное во всех воюющих странах, должно в считаные недели привести к прекращению военных действий и передать власть Рабочему интернационалу, который установит закон и порядок в мире, страдающем под гнетом несправедливости.

— Можешь не вдаваться в детали, — заметил Фрэнсис. — Я проезжал через Лондон, и мне в качестве большой любезности разрешили заглянуть в твое досье. Я не очень понимаю, почему ты до сих пор на свободе. Возможно, ты просто слишком мелкая сошка.

— Херня! — сказала Исмэй, чей словарь не очень изменился со студенческих лет. — Вы просто надеетесь, что я выведу вас на важных людей. Руки коротки! — злобно добавила она, жуя китятину.

— Но я не об этом собирался с тобой поговорить. Насколько я понимаю, ты переписываешься с матерью, которая, конечно, понятия не имеет, чем ты занимаешься. Она думает, что нам следует воссоединиться.

— Разбежалась!

— Полностью согласен. Так о чем мы собирались говорить?

— О деньгах. Ты дашь мне денег?

— С какой стати?

— С такой, что у тебя их много.

— У Чарли были деньги. Что с ним случилось?

— Погиб. В Испании. Он был дурак.

— Он умер за лоялистов?

— Нет, он умер, потому что не платил карточные долги.

— Меня это почему-то не удивляет. Он так и не научился грамматике денег.

— Чему?

— Я хорошо знаю грамматику денег. Деньги — одна из двух-трех вещей, которые требуют верности. Неразборчивость в политике простительна, а неразборчивость в отношении к чужим деньгам, особенно если они принесены случаем, — нет. Именно поэтому я не тороплюсь давать тебе деньги. Их послал мне случай, и я дорожу ими больше, чем если бы заработал их тяжелым трудом.

— Ну, Фрэнк, твоя семья ведь богата.

— Моя семья — банкиры. Они постигли высокую риторику денег. Я же лишь скромный

грамматик, как я уже сказал.

— Ты хочешь, чтобы я умоляла.

— Слушай, Исмэй! Если ты хочешь, чтобы я тебе помог, ответь мне честно на несколько вопросов и перестань болтать про борьбу за рабочее дело. Что тебя гложет? Что ты все время строишь из себя жертву? Может, просто мстишь родителям? За что ты ненавидишь меня? Я так же против тирании, как и ты, но я вижу, что и твоей стороне не чуждо тиранство. Почему тирания рабочих лучше тирании плутократов?

— Это такая глупость, что я даже обсуждать ее не буду. Я тебя не ненавижу, а всего лишь презираю. Ты мыслишь штампами. Ты не можешь себе представить великого дела, которое не сводилось бы к личной мести. Ты не умеешь думать, тебе чужда объективность. Дело в том, Фрэнк, что ты попросту художник: тебе глубоко плевать, кто у власти, лишь бы тебе разрешали возиться с красками и клеить блестящие звездочки на несправедливость общества. Господи, да неужели ты даже не знаешь, что говорил Платон о художнике и обществе?

— Самое лучшее в Платоне — это его хороший стиль. Он любил изобретать системы правления, но чутье художника ему подсказывало, что

полностью доверять им не стоит. А я вот возненавидел всяческие системы. Мне равно ненавистны и твоя любимая диктатура пролетариата, и фашизм, и существующий строй. Но я понимаю, что какая-то система должна быть, и я согласен на любую, лишь бы она не мешала мне работать. А это, скорее всего, окажется самая неэффективная, хаотическая, противоречивая система.

— Ну ладно. Разговоры не помогут. Но что же с деньгами? Я ведь по-прежнему твоя жена, и полиция это знает. Неужели ты хочешь, чтобы я пошла на панель?

— Исмэй, ты меня удивляешь. Не пытайся давить на мою сентиментальность. Почему меня должно волновать, пойдешь ты на панель или нет?

— Когда-то ты говорил, что любишь меня.

— Но ведь любовь — буржуазное заблуждение, разве нет?

— А если и да, то что с того? Для тебя она была реальна. Ты наверняка помнишь, как под разными надуманными художественными предлогами уговаривал меня раздеться и пожирал глазами по многу часов подряд, даже не пытаясь заняться чем-нибудь более осязаемым?

— Конечно помню. Я был возвышенно мысля-

щим ослом, а ты — ловкой маленькой динамщицей. Надо думать, боги со смеху лопались, глядя на нас сверху. Но это было давно.

— Надо думать, это значит, что ты нашел себе другую женщину.

— Да, на время. Неизмеримо лучшую. Незабываемую.

— Я не собираюсь тебя умолять, даже не думай.

— Тогда что мы тут сидим?

— Ты хочешь, чтобы я умоляла, да? Ах ты говнюк! Как все художники, все идеалисты — в сердце у тебя говно! Не буду умолять.

— А даже если бы и стала, это ничего бы не дало. От меня ты не получишь ни гроша. И нечего поминать полицию. Это ты меня бросила. Сбежала. Я буду по-прежнему давать деньги на малютку Чарли — она, бедняжка, ни в чем не виновата. Но я не буду содержать ее как принцессу, чего, по-видимому, хочет твоя мать. Я даже готов еще несколько лет выкидывать деньги на содержание бардака, что твой отец называет имением. Но тебе я не дам ничего.

— Просто интересно — а если бы я пресмыкалась, ты бы дал денег?

— Нет. Ты пробовала давить на сентименталь-

ность, и у тебя ничего не вышло. Пресмыкание тоже ничего не дало бы.

— Может, закажешь еще еды? И питья? Я не пресмыкаюсь, имей в виду. Я твоя гостья.

— А в той системе понятий, в которой мы оба выросли, гости священны. В данный момент я признаю эту систему.

— *Noblesse oblige.*[115] Девиз, дорогой сердцу буржуев, претендующих на аристократизм.

— Со времени нашей последней встречи я чуть больше узнал об аристократизме. «Ты погибнешь прежде, чем я погибну». Слыхала такой девиз? Если я снова поймаюсь на удочку твоей красоты — а ты все еще красива, дорогая моя жена, — я, несомненно, погибну, причем заслуженно, от собственной глупости. А я дал себе обет: я не умру дураком.

В свой час война кончилась. Точнее сказать, кончились сражения, на которых звучали выстрелы и взрывы. В бой пошли дипломаты. Начала обретать черты особая операция под названием «победа», в которой должен был участвовать Фрэнсис. Ему и другим людям нужно было восстановить подобие мира в мире искусства.

---

[115] Примечания: 115
Положение обязывает *(фр.).*

Искусство — барометр, сообщающий о состоянии национального духа, неопределимая боговдохновенность, которой должна обладать современная страна, чтобы ее душа была здорова. Но операция задерживалась, так как сначала необходимо было уладить многие другие дела. Фрэнсис подал заявление на отпуск по семейным обстоятельствам: ему нужно было съездить домой, в Канаду. Бабушка действительно умерла — в самом начале 1945 года, и тетя Мэри-Бен, перестав быть чьим-либо козырным валетом, вскоре последовала за ней. Мэри-Тесс даже сказала — весьма неделикатно, — что бабушке по прибытии в Царство Небесное понадобился человек, который распоряжался бы для нее вечностью, вот бабушка и позвонила в колокольчик, призывая Мэри-Бен.

Фрэнсис не удивился и не стал отказываться, когда семья возложила на него задачу отправиться в Блэрлогги, уладить там все дела и, по сути, разорвать давнюю связь семьи Макрори с этим городом. Брат Артур с кузенами Ларри и Миком еще не вернулись из действующей армии; Дж. В. О'Горман (ныне — большой человек в мире финансов) был слишком занят, а сэр Фрэнсис — слишком высокопоставленная особа, чтобы привлекать его к подобным длительным делам.

Кроме того, с сэром Фрэнсисом незадолго до того случился удар; к счастью, обошлось без последствий, но к концу дня он «становился хлипковат», как выражалась его супруга. И то сказать, сэру Фрэнсису было уже семьдесят с хвостиком, хотя никто не говорил, как велик этот хвостик.

Что же до Мэри-Джим, или Джекко, как уже давно называла ее вся семья, ей исполнился шестьдесят один год. Выглядела она для своих лет потрясающе, но ее речь и поведение беспокоили Фрэнсиса. Он ощущал нежность и любовь к матери, далекие от навязанного, вымученного обожания, которое он питал к ней с детства. Если он вообще собирается говорить с ней о Лунатике, это надо сделать сейчас.

— Мама, я всегда хотел узнать про моего старшего брата, Фрэнсиса-первого. Ну, ты знаешь. Мне никто никогда про него не рассказывал. Может быть, ты что-нибудь расскажешь?

— Нечего рассказывать, милый. Он был не очень здоровенький и умер совсем малышом. Очень жалко.

— А отчего он умер?

— Ну… отчего умирают такие маленькие детки? Перестал жить, вот и все.

— С ним было что-то не так?

— А? Нет, он просто взял и умер. Это было очень давно.

— Но он ведь прожил как минимум год. Какой он был?

— Милый малыш. А почему ты спрашиваешь?

— Просто так. Странно, когда у тебя был брат, а ты ничего о нем не знаешь.

— Он был милый малыш. Я уверена, если бы он остался в живых, ты бы его очень любил. Но он умер маленьким, вот как.

От отца Фрэнсис тоже ничего не добился.

— Фрэнк, я, честно тебе сказать, его почти не помню. Он умер совсем маленьким. Ты же видел его надгробный камень на кладбище.

— Да, но это значит, что он умер католиком. А ты всегда настаивал, что я протестант.

— Конечно. Все Корниши были протестантами, с самой Реформации. Я забыл, почему его там похоронили. Какая разница? Он умер так рано, что у него и религии-то еще никакой не было.

«Да неужели? — подумал Фрэнсис. — Ты ничего об этом не знаешь. Ты даже не знаешь, что я по большому теологическому счету католик. Ни ты, ни мать — вы не знаете обо мне вообще ни шиша, и все ваши разговоры о любви — обман. Вам всем было глубоко плевать на спасение моей души.

Кроме тети Мэри-Бен, а она, несмотря на всю свою кротость, была неукротимой старой ханжой. Все до единой мысли, когда-либо мелькавшие у вас в голове, — позор для любой религии, заслуживающей этого имени. Но все же я непостижимым образом приплыл в мир, где религия, хотя и не в ортодоксальном изводе, — источник любой осмысленности».

Фрэнсис поехал в Блэрлогги, прихватив сэндвичи, чтобы не травиться по дороге ужасной едой «у старухи». Он сразу отправился к доктору Джозефу-Амброзиусу Джерому. Доктору стукнуло девяносто лет — усохший старичок, но в глазах по-прежнему горит острый ум.

— Ну что ж, Фрэнсис, если ты так уж непременно хочешь знать… Ты как-то говорил, что знаешь про этого, который жил на чердаке. Он был адиёт. Это я его туда пристроил. Если бы я его убил, твой дед сказал бы спасибо — но я такими делами не занимаюсь. Я врач, а не убийца.

— Но его жизнь была совершенно ужасна. Неужели его нельзя было поместить куда-нибудь еще и там заботиться о нем, но чтобы это не было так похоже на тюрьму?

— Тебя что, в Оксфорде совсем ничему не учили? Забыл, что сказано у Платона? «Сумасшедшие

не должны показываться в городе. Их близкие пусть охраняют их в своем доме как умеют. В противном случае они должны будут уплатить пеню».[116] Ну что ж, они охраняли его как умели, но все же уплатили суровую пеню. От твари, живущей на чердаке, пошла гниль, которая погубила «Сент-Килду». И ваша семья расплатилась монетой духа, как бы твоя бабушка ни глушила совесть картами, а дедушка — важной работой в Оттаве.

— А они не боялись, что его болезнь, чем он там был болен, проявится и у меня?

— Мне они, во всяком случае, ничего не говорили.

— Но почему? У меня ведь те же самые родители.

— В самом деле?

Доктор Дж.-А. расхохотался. Не трескучим смешком дряхлого старца, а полнокровным, хоть и невеселым, смехом.

— А разве нет?

— Я ничего не скажу. Спроси у матери.

— Вы намекаете…

— Я ни на что не намекаю и больше не собира-

---

[116] Примечания: 116

Забыл, что сказано у Платона? «Сумасшедшие не должны показываться в городе…» — Платон. Законы. Книга 11. Перевод А. Н. Егунова.

юсь отвечать ни на какие вопросы. Но я скажу тебе кое-что такое, о чем мало кто знает. Говорят, что мудро дитя, знающее своего отца. Но чертовски мудро то, которое знает собственную мать. В материнской душе есть закоулки, куда нет хода сыновьям и куда проникает чертовски мало дочерей. В твоей матери таилась порча. Пока что она не проявилась ни у тебя, ни у Артура — хотя он такой болван, что у него никакая порча не будет заметна. Но у вас впереди еще многие годы. Может быть, ты проживешь с мое, и надеюсь, что Господь сохранит тебя невредимым. Что в костях заложено, то из плоти не выбьешь — это чистейшая правда. Выпей рюмочку, Фрэнк, и не вешай нос. А что стало с хорошим виски, который лежал у твоего деда в погребе?

— Там еще осталось несколько бутылок, и с ними надо что-то делать. Я прикажу отослать их вам, идет?

— Благослови тебя Господь, мальчик! Он уже, должно быть, вылежался и стал мягким — чистое молочко для стариков. Человеку в моем возрасте нужны регулярные порции этого молока.

Расчистка «Сент-Килды» оказалась утомительным делом. Фрэнку и двум его помощникам, которые таскали утварь туда-сюда, аукционеру и

на помойку, понадобилось три недели. Фрэнк не мог жить в доме, хотя там все еще дежурила Анна Леменчик: он боялся ее чудовищной стряпни. Он поселился в отеле «Блэрлогги»: это была ужасная дыра, зато она не навевала никаких воспоминаний. Фрэнсис настоял на том, чтобы лично разбирать содержимое каждой комнаты: мебель в стиле разных Людовиков — на аукцион; тетины религиозные картинки и мебель, которая может пригодиться священникам, — в церковный дом. Картины с обнаженной натурой Фрэнсис оставил в папке, предположив, что святые отцы оценят их по достоинству. В библиотеку он отправил книги и еще одну пачку эстампов, а также менее значительные картины (уже от безысходности и против воли библиотекаря). Картины с кардиналами уехали в Монреаль к торговцу предметами искусства и принесли солидную сумму. Фрэнсис предложил Виктории Камерон, ныне — состоятельной женщине, взять из дома все, что она хочет, но она, типично для нее, не пожелала ничего, кроме рисунка, сделанного самим Фрэнсисом много лет назад, — Зейдок в цилиндре и высоком белом воротничке правит катафалком Девинни. И в старой комнате Фрэнсиса тоже оставались вещи, которые требовали внимания. Другому

человеку они показались бы ничего не значащим мусором, но для Фрэнсиса были полны смысла.

Вот небольшая коллекция журналов о кино. Бумага пожелтела и крошится. Когда-то Фрэнсис вглядывался в эти страницы горящими глазами — несведущий подросток, обуреваемый похотью. Былые королевы красоты смело обнажали колени, игриво выглядывая из-под ненатурально волнистых волос. Здесь были и картинки, вырезанные из рождественских выпусков «Татлера», «Зеваки» и «Омелы», которые всегда приносил дедушка на Рождество. На картинках красовались стыдливые девушки двадцатых годов в нижнем бельишке или в прозрачных ночных рубашечках или (очень смело) играющие с миленьким песиком, почти (но не совсем) прикрывая его телом свои груди и Особенности. Фрэнсис понимал теперь, что эти картинки — патология Искусства, последние вздохи умирающей школы эротической живописи, расцветавшей во времена Буше и Фрагонара.[117] Китч, как говорил Сарацини.

Но главное, что Фрэнсис хотел найти и уничтожить, — узелок тряпья, обрезки шелка и шифона,

[117] Примечания: 117

…времена Буше и Фрагонара. — Франсуа Буше (1703–1770) и его ученик Жан-Оноре Фрагонар (1732–1806) — французские живописцы эпохи рококо.

давнишний нелепый наряд, который он надевал, пытаясь принять девичий образ в подражание (как он тогда думал) Джулиану Элтингу. Теперь он знал (или думал, что знает), что это значило: тоску по девушке-подруге, по загадке и нежности, которые он ожидал в ней найти. Он даже догадывался, что искал эту спутницу в себе самом. На ум пришли строки Браунинга, написанные поэтом в ранней молодости:

Тогда я ведьмой был, прекрасной, юной,
Голубоглазой, словно воды речки.
В ней отразясь, нагая красота
Пленила бога.[118]

Но этой юной ведьмой не стала даже Рут, а Исмэй, по виду — идеальная кандидатура, по духу оказалась язвительной пародией. Где же юная ведьма? Придет ли она когда-нибудь? Он желал ее не как возлюбленную, но как нечто еще более близкое: завершение себя, желанное, неуловимое измерение собственного духа.

Так Фрэнсис примирился (во всяком случае, он так думал) со своим странным детством, в

[118] Примечания: 118

…строки Браунинга, написанные поэтом в ранней молодости: Тогда я ведьмой был… — Цитируется стихотворение Роберта Браунинга «Полина» (1833).

котором было так много разговоров о любви и так мало сердечного тепла. В Блэрлогги ему не было одиноко, даже долгими вечерами в отеле, когда он сидел и перечитывал — в который уже раз — любимые страницы «Жизнеописаний наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» Вазари. Ему не было одиноко и на католическом кладбище — он пошел туда навестить надгробный камень Фрэнсиса-первого, Лунатика, тени, которая осеняла его детство, и неразорвавшейся бомбы, которая, если верить доктору, может еще омрачить его зрелость. Тайны, непризнанного элемента, который, как понимал теперь Фрэнсис, сыграл огромную роль в становлении его как художника. Если он вправе называть себя художником.

Но разве Сарацини, суровый судья, не назвал его «Meister» совершенно серьезно и без всяких объяснений?

Могилу Зейдока Фрэнсис навестить не смог. Даже Виктория не знала, где лежит кучер, — сказала только, что его похоронили в той части протестантского кладбища, которая с типичной для Блэрлогги резкостью называлась «землей

горшечника».[119] Но Фрэнсис не увлекался прогулками по кладбищам, так что ему было все равно. Он вспоминал Зейдока с нежностью, а все остальное не имело значения.

Наконец «Сент-Килду» продали с молотка, и «Чигуидден-лодж», который до этого несколько лет сдавали в аренду, тоже. Оба имения купил задешево местный земельный спекулянт. Вот и конец старой песни, сказал Фрэнсис родным в Торонто, не зная, уловит ли кто из них аллюзию.[120] Сам он не взял из дома своего детства ничего, кроме одной картины из спальни. Нет, не замечательный портрет Христа, открывающий глаза, когда на него смотришь. А «Изгнанную любовь».

Людей, собравшихся в 1946 году в усадебном доме близ Кардиффа, ждала огромная работа.

---

[119] Примечания: 119

…в той части… кладбища, которая… называлась «землей горшечника». — То есть кладбище для бедняков и бродяг. Выражение происходит из Нового Завета: «Первосвященники, взяв сребреники, сказали: непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови. Сделав же совещание, купили на них землю горшечника, для погребения странников; посему и называется земля та „землею крови“ до сего дня» (Мф. 27: 6–8).

[120] Примечания: 120

Вот и конец старой песни, сказал Фрэнсис родным в Торонто, не зная, уловит ли кто из них аллюзию. — «Now there is an end of an old song» — презрительная фраза, символизирующая конец независимости Шотландии; произнесена 1 мая 1707 г. шотландским лорд-канцлером Джеймсом Огилви, графом Сифилдом, при подписании им принятого

парламентами Англии и Шотландии Акта об унии, то есть об образовании единого государства — Великобритании.

Предстояло переработать и сложить в нужном порядке содержимое множества папок, внести в каталоги сотни фотографий. Фрэнсису нужен был ассистент, умеющий держать нос по ветру, и ему послали Эйлвина Росса, только что демобилизованного с канадского флота.

Эйлвин Росс был совсем не похож на тех молодых людей, которых Фрэнсис привык ассоциировать с работой МИ-5 и МИ-6. В нем не было ничего от топтуна, и он не смог удержаться от смеха, когда Фрэнсис обиняками, официальными формулировками объяснял ему задачу.

— Вас понял, шеф, — сказал Росс. — Нам нужно получше запомнить эти картинки, чтобы узнать их даже в подмалеванном, переделанном виде. И по возможности вернуть их людям, у которых на них больше всего прав. Я хорошо распознаю картинки, даже по таким паршивым черно-белым снимкам. А если непонятно, кому принадлежит картина, а такие обязательно будут, мы должны захапать их как можно больше для своего начальства.

Фрэнсис был в шоке. Конечно, Росс все правильно понял, но разве можно говорить такие вещи вслух? Он запротестовал.

— Ой, Фрэнк, да ладно тебе, — сказал Росс. — Мы

же оба канадцы. Нам незачем пудрить друг другу мозги. К чему лишние сложности.

Этому принципу они и последовали, когда Объединенная комиссия по искусству наконец приступила к работе и та часть ее, в которой были Фрэнсис и Росс, собралась в Мюнхене. Россу удалось до такой степени растормошить Фрэнсиса и вытащить его из официальной скорлупы, что Фрэнсис начал получать колоссальное удовольствие от жизни.

Они были далеко не последними людьми в комиссии. В роскошном зале дворца, где выставлялись отобранные у врага картины для ознакомления и возвращения законным владельцам, Фрэнсис видел знакомые лица. Фрэнсис и Росс были не единственными представителями Британии. Здесь присутствовал грозный Альфред Найтингейл из Музея Фицуильяма в Кембридже. Оксфорд представлял не менее знающий специалист Джон Фрюэн. От Национальной галереи и Тейт были, естественно, Кэтчпул и Седдон. Но Фрэнсис и Росс лучше всех знали, какие картины пропали за годы войны и какие из них могли очутиться в Новом Свете, откуда нет возврата.

Был тут и Сарацини, с заметной черной повязкой на левом рукаве. Фрэнсис истолковал ее как

знак скорби по синьоре, хотя прошло уже целых три года с тех пор, как та отошла в лучший мир вместе с южнолондонской квартирой, полной чинца и мореного дуба.

— Я ее никогда не забуду, — сказал Мастер. — Женщина величайшей, нежнейшей души. Пусть наши вкусы и не совпадали. Пока я жив, я не перестану ее оплакивать.

Но скорбь никоим образом не затуманила его грозного взгляда (может, это был тот самый дурной глаз?) и не смягчила ядовитой радости, которой он встречал суждения коллег, отличные от его собственных. Главным среди этих несогласных был профессор Бодуэн из Брюсселя, еще более зловонный, чем всегда. Тяготы войны не прибавили ему кротости. Голландию представляли доктор Схлихте-Мартин с доктором Хаусхе-Кейперсом, который участвовал в Сопротивлении и потерял руку, но был весел, как всегда, и приветствовал Фрэнсиса воплем:

— А, победитель великанов! Бедняга Летцтпфенниг, как ловко вы его тогда отправили на тот свет!

— О, да это же наш юный друг, специалист по — пфф! — обезьянам! — воскликнул профессор Бодуэн. — Что ж, мы будем иметь вас в виду —

вдруг наткнемся на какие-нибудь зоологические проблемы, непосильные для нас, скромных искусствоведов.

— Что это за старый козел, у которого смердит изо рта? — шепнул Росс. — У него на тебя зуб, шеф, я по глазам вижу.

От Германии присутствовали не Фриш и Бельман — те запятнали себя излишне усердной работой над коллекцией Фюрер-музея. Вместо них приехали профессора Кнюпфер и Бродерсен. Францию представляли господа Дюпанлу и Рюдель. Были и люди из Норвегии, Люксембурга и других заинтересованных стран. Фрэнсис рад был увидеть Аддисона Трешера, который приехал как представитель США. Он, конечно, будет обеспечивать голос разума, так как его страна не потеряла произведений искусства в ходе минувшей войны. Правда, было бы нетактично спрашивать, не приобрела ли она чего-нибудь.

— В частности, мне пришлось придумывать, как помешать высокопоставленным офицерам военно-воздушных сил отправлять домой картины целыми самолетами. Офицеры не очень разбираются в искусстве, но точно знают, что им нравится, и слыхали, что за картинки, нарисованные вручную маслом, дают кучу денег.

Излишне говорить, что я не нашел решения. Что поделаешь. Любой солдат по натуре мародер.

Трешер был жизнерадостный циник.

В общей сложности в комиссии были представлены четырнадцать стран. От каждой, как правило, присутствовали два искусствоведа и секретарь, желающий стать искусствоведом. Председателем комиссии был подполковник Осмазерли, англичанин, не искусствовед, но грозный администратор.

— Вот это компашка корифеев! — заметил Росс. — Я им в подметки не гожусь.

— Да, не годишься, — ответил Фрэнсис. — Поэтому захлопни пасть и держи ее захлопнутой — и на заседаниях, и вообще всюду. Говорить буду я.

— Мне что, и своего мнения нельзя иметь?

— Иметь — можно, озвучивать — нет. Молчи, слушай и держи глаза открытыми.

Росс предположил, что комиссия быстро разберется с делами, но это лишь показывало его неосведомленность. Во время войны искусство отошло на второй план, и теперь искусствоведы были твердо намерены вернуть ему подобающее место. Долгие годы войны эти люди провели в дружинах ПВО, в очередях за суррогатным кофе из луковиц тюльпанов. Они беспомощно

наблюдали, как дорогие их сердцу сокровища достаются оккупантам, сносили издевательства и насмешки вражеских солдат, ежеминутно ощущая груз прожитых лет. И вот они вновь стали важными персонами, к которым правительства разных стран обращаются за советом. После отвратительной еды, нехватки табака и алкоголя, стылого жилья без горячей воды их расквартировали в отеле — пусть не довоенного уровня, но роскошнее всего виденного ими за многие годы. И что лучше всего, они вернулись в мир научной работы, тонкостей познания, где можно было дотошно цепляться за мелочи, спорить, торговаться и ссориться. Это был их собственный мир, и они шествовали по нему, как короли-маги. С какой стати им торопиться, срезать углы, идти на компромисс, приближая тот черный день, когда работа будет окончена и им придется вернуться домой? Как Фрэнсис объяснил Россу, только тупой канадец, вчерашний матрос, мог выдумать этакую глупость.

Конечно, Фрэнсис уже задолго до поездки в Мюнхен знал, что Росс отнюдь не туп. Он был блестяще умен; для своего возраста и опыта он прекрасно разбирался в искусстве. И что еще лучше, у него было чутье. Он судил быстро и

уверенно. Но больше всего Фрэнсиса привлекали в нем беспечность и убеждение, что искусство предназначено радовать человека и возвышать его дух. Россу было чуждо в***и***дение искусства как тщательно охраняемой тайны, как поля битвы искусствоведов, как сокровищницы, отданной на разграбление манипуляторам людскими вкусами, торговцам модой, делягам от искусства.

В искусствоведении Росс был самоучкой. Он окончил канадский университет Уэстерн, а затем Оксфорд (на стипендию Британского Содружества) по специальности «современные языки». Росса, как и многих других уроженцев прерий, потянуло в военный флот. Там Росс был полезен, а главное — приятен для глаз. Он был из породы необычных существ, мужчин-красавцев. Блондин, но не скандинавского типа, с тонкой кожей и тонкими чертами лица, с хорошей, хотя и не подчеркнуто спортивной фигурой. В нем не было женоподобия: просто он был красив и сам это знал. Среди членов комиссии и их серьезных секретарей (в основном — состарившихся прежде времени, как это часто бывает с людьми умственного труда) он сиял как розовый куст среди вечнозеленых насаждений — розовый куст, еще не погибший от излишней кислотности почвы,

нужной вечнозеленым растениям.

— Эйлвин, ты не даешь мне сойти с ума, — сказал Фрэнсис, слегка перебрав как-то вечером в мюнхенском отеле. — Если Схлихте-Мартин и Дюпанлу снова начнут цапаться, выясняя, Рембрандт это или просто Говерт Флинк,[121] Доу[122] или всего лишь Доомер,[123] я завою. У меня изо рта пойдет пена, и вам придется выволакивать меня из комнаты и совать под холодный душ. Ну какое это имеет значение? Верните картины владельцам, и дело с концом.

— Ты слишком серьезно ко всему этому относишься, — сказал Росс. — Держись и не бери в голову. Ты ведь должен понимать, что в той соляной шахте в Альтаусзее, где нашли основную часть музея фюрера, было больше пяти тысяч

---

[121] Примечания: 121

...Рембрандт это или просто Говерт Флинк... — Говерт Флинк (1615–1660) — голландский живописец, ученик Рембрандта; его ранние работы часто приписывались учителю.

[122] Примечания: 122

Доу, Герард (1613–1675) — нидерландский художник круга «малых голландцев», ученик Рембрандта.

[123] Примечания: 123

Доомер, Ламберт (1624–1700) — нидерландский художник, считается учеником Рембрандта; его отец, Херман Доомер, поставлял Рембрандту рамы для картин, и в 1638 г. Рембрандт написал портреты четы Доомер к 25-летию их свадьбы, один из которых находится в петербургском Эрмитаже («Портрет Бартье Мартенс Доомер»).

картин, в основном — дорогой мусор. Прибавь к этому то, что нашли недалеко от Марбурга. Да еще необъятную личную коллекцию Геринга. Нам придется перебрать их все, и если мы будем обрабатывать по пятьдесят картин в день, сколько это выходит дней? Расслабься и не слушай, вот и все. Только смотри на картины — те самые, о которых идет речь. Они прекрасны! Сколько мы уже видели «Искушений святого Антония»? И на каждой иссохшего старого пердуна пытаются соблазнить гадкие черти, но чаще — мясистые девицы, на которых у него все равно не поднимется… нога. Будь я художником, я бы нарисовал святого Антония, соблазняемого омаром по-ньюбургски. Вот это я понимаю, искушение! Искушение действует там, где у человека самая большая слабость.

— Ты говоришь банальности, но мудрые не по твоим годам.

— Я всегда был мудр. От рождения. Вот ты, Фрэнсис, от рождения не мудр. Не мудр и не банален: ты родился со слишком тонкой кожей.

На Сарацини очарование Росса действовало значительно меньше, чем на Фрэнсиса.

— Он не лишен способностей, — сказал Сарацини как-то за обедом, — но в душе он карьерист. Впрочем, почему бы и нет? Он не художник. Он

ничего не создает, ничего не сохраняет. Что у него есть?

— Проницательность. — Фрэнсис пересказал слова Росса о святом Антонии.

— Умно. И банально, но лишь проницательный человек видит мудрость в банальном. Искушение достает нас там, где мы слабее всего. В чем ваша слабость, Корнишь? Смотрите, чтобы это не оказался Эйлвин Росс.

Фрэнсис оскорбился. Конечно, его часто видели в обществе первого красавца комиссии по искусству, но он не догадывался, как это интерпретируют некоторые другие члены комиссии. В 1947 году гомосексуализм был чем-то неприемлемым, и именно потому о нем много думали.

Поскольку Сарацини для Фрэнсиса был по-прежнему Мастером, Фрэнсис не отмахнулся от его слов. Фрэнсис признался сам себе, что, конечно, Росс ему нравится. Ведь Росс — земляк, канадец, перед ним не приходится оправдываться, как перед остальными, которые считают Канаду недостраной, обиталищем охотников на бобров. Ведь Росс остроумен и весел, а их окружают люди, для которых остроумие лишь кинжал, каким удобнее поразить соперника. Ведь Росс приятен с виду, а вокруг него — пузатые, морщи-

нистые старики. И — но здесь Фрэнсис не был до конца честен сам с собой — ведь среди всех, кого он когда-либо встречал, Росс ближе всех к неуловимой фигуре, вроде бы девушке, которая нужна Фрэнсису для обретения завершенности. Совершенно естественно, что Росс стал его другом, близким и дорогим другом. В отношениях с Россом Фрэнсис не чувствовал себя ни учеником, как неизменно бывало с ним в обществе Рут, ни богатым лохом, как с желанной, коварной Исмэй. Он говорил себе, что в отношениях с Россом чувства играют минимальную роль, что главная составляющая этих отношений — родство духа и дружба.

Тем не менее он счел необходимым передать Россу, что о них говорят. Тот рассмеялся:

— Тудыть-растудыть, тоску-печаль отбрось, забота кошку сгубила, за хвост да об стенку, в общем — вошь, палача заешь![124]

— Что это?

— Бен Джонсон. Я в свое время над ним серьезно работал. Неисчерпаемый глубокий ум, выраженный с победительной мужественностью. А

---

[124] Примечания: 124

Тудыть-растудыть... вошь, палача заешь! — Бен Джонсон, из пьесы «Всяк в своем нраве» (1598), акт 1, сц. IV. Цитата приведена в переводе Р. Шустеровича.

означает все это попросту: «Да пошли они!» Ну какое нам дело, что они думают? Мыто с тобой знаем, что это не так.

Да? Знаем? Фрэнсис думал, что знает, но он представлял то, на что намекали сплетники, по зазывным взглядам накрашенных юнцов, слоняющихся во тьме мюнхенских ночей. О более тонком грехе, содомии души, он ничего не знал. А Росс знал одно: очаровывая тех, чья жизнь бедна очарованием, можно добиться своего. И ничего плохого в этом не видел. И правда, что в этом плохого?

Разумеется, комиссия не могла рассматривать отдельно каждую картину, перемещенную во время войны. Приходилось сосредоточиваться на шедеврах. В списках, розданных членам комиссии, Фрэнсис узнавал портреты Невесть-Кого кисти Так-Себе-Художников, прошедшие через мастерскую в Дюстерштейне. Эти картины были в группе, принадлежавшей Фюрер-музею, и оказались никому не нужны, так что их оставили на месте. «Дурачок Гензель» заслужил индивидуального рассмотрения, поскольку был известен кое-кому из искусствоведов и вызвал небольшую сенсацию в Лондоне перед самой войной. «Дурачок» явился перед членами комиссии соб-

ственной персоной — то есть был выставлен перед ними на пюпитре — и получил одобрение как неплохая второстепенная работа, но из-за неизвестного происхождения и заметного знака, напоминающего *Firmenzeichen* семьи Фуггер, отправился в Аугсбург. Комиссия не упустила случая умаслить Кнюпфера и Бродерсена и в то же время показать свою беспристрастность.

Фрэнсис легко скрыл чувства, которые охватили его при появлении «Дурачка Гензеля». Приятно было, что Россу картина понравилась.

— В нем есть своеобразный, как бы это сказать, гротеск, какого я раньше не видал, — сказал Росс. — Не бойкие ужасы, как во всех этих искушениях святых Антониев, а что-то более глубокое, холодное. Художник, наверно, был странный человек.

— Очень возможно, — сказал Фрэнсис.

Однако дело обернулось совсем по-другому, когда однажды, в ноябрьский послеполуденный час, грузчики внесли и поставили на пюпитр «Брак в Кане».

— Эта несколько выбивается из общего ряда, — заметил подполковник Осмазерли. — Сведений о происхождении — никаких, за исключением того, что она была в личной коллекции Герин-

га… если эту кучу награбленного можно назвать коллекцией. Но эта картина считается важной, и нам нужно решить ее судьбу.

— Рейхсмаршал явно умел отличить хорошую вещь, — сказал Бродерсен.

Он знал, о чем говорит, поскольку из его собственной галереи рейхсмаршал конфисковал все лучшие картины. А взамен выдал циничные расписки, в которых говорилось, что картины перемещены в целях обеспечения их безопасности. Поскольку Бродерсен не вступил в свое время в партию национал-социалистов, он не лишился работы лишь благодаря незыблемой репутации и чистейшему арийскому происхождению.

Картина в самом деле была хороша. Увидев ее по прошествии почти десяти лет, Фрэнсис понял, что она подлинно хороша. Он ничего не сказал, только слушал искусствоведов — а они говорили так долго, что свет за окнами угас и председатель распустил собрание до утра.

То, что говорили искусствоведы, одновременно льстило кальвинистской совести Фрэнсиса и тревожило ее. Может быть, это доселе неизвестная

работа Матиаса Нейтхарта?[125] Живость и яркость цвета, каллиграфическая точность линий, искаженные пропорции некоторых фигур, ощущение гротеска (опять это слово!) поддерживали эту гипотезу. Однако ее опровергало присутствие в картине чего-то итальянского, определенного маньеризма. Искусствоведы радостно препирались, с упоением ставили друг друга на место, и эта оргия продолжалась целый день.

Росс не умел держать рот на замке.

— Я знаю, что не имею права голоса в этом собрании, — сказал он, улыбаясь окружающим его великим людям. — Но прошу вас снизойти до моих любительских догадок. Не замечает ли кто сходства между стилем этой картины и стилем «Дурачка Гензеля», виденного нами несколько недель назад? Может быть, мне показалось.

Он сел с очаровательной мальчишеской улыбкой, возможно несколько переигрывая.

Споры двинулись в новом направлении. Одни искусствоведы заявили, что тоже что-то такое заметили и хотели об этом сказать, но секретарь

---

[125] Примечания: 125

Матиас Нейтхарт (Матиас Готхарт, Матиас Грюневальд, 1470/1475–1528) — немецкий живописец, крупнейший мастер эпохи Возрождения. Работал при дворе майнцских архиепископов и курфюрстов (1508–1525). В своем творчестве с эмоциональной силой выразил трагический накал и возвышенный мистический спиритуализм эпохи.

мистера Корниша их опередил. Другие отмахнулись от явно абсурдного предположения. Но в обеих картинах есть что-то аугсбургское, сказали третьи, которые считали необходимым прислушиваться к интуиции. Кнюпфер и Бродерсен не желали слышать про «художника Матиса»: в Германии он одно время был персоной нон грата из-за оперы Хиндемита.[126] Как бы то ни было, определенные черты картины исключали подобное предположение. Подполковник Осмазерли бился изо всех сил, но не мог подтолкнуть искусствоведов к решению.

На что же они смотрели?

Картина представляла собой триптих с центральной панелью размером пять на пять футов и двумя боковыми панелями той же высоты, но шириной лишь три фута. С первого взгляда поражали сложность композиции и богатство цвета, подобное россыпи драгоценных камней. Композиция была задумана так, чтобы привлечь

---

[126] Примечания: 126

…не желали слышать про «художника Матиса»: в Германии он одно время был персоной нон грата из-за оперы Хиндемита. — Пауль Хиндемит (1895–1963) — немецкий композитор. Опера «Художник Матис» (1938), либретто которой написано самим Хиндемитом, повествует о судьбе художника во время Крестьянской войны в Германии (1524–1526), восстания крестьян против гнета Католической церкви. Из-за явных параллелей с ситуацией в нацистской Германии нацисты запретили оперу.

внимание к трем фигурам, доминирующим на центральной панели, да, пожалуй, и во всей картине. Двое — явно жених и невеста. Богатая одежда в стиле начала шестнадцатого века, лица серьезные, даже возвышенные; жених надевает кольцо на безымянный палец левой руки невесты. Их лица кажутся мужской и женской версиями одного и того же лица: длинная голова, крупный нос, светлые глаза, которые как будто не вяжутся с черными волосами. Третья главная фигура — улыбающаяся женщина, очевидно Богоматерь, так как из всех персонажей картины только у Нее одной вокруг головы нимб. Она подносит новобрачным роскошный кубок, из которого исходит сияние.

Справа от этой группы никого нет, но слева стоит старик плотного сложения, с веселым лицом, судя по одежде — горожанин. Он, по-видимому, рисует всю сценку на табличке из слоновой кости. Позади него, но ясно различимая, стоит женщина; она улыбается, как и Богоматерь, а в руках у нее астрономическая или, быть может, астрологическая карта. Довершает эту группу мужчина — возможно, конюший или привратник, с круглым улыбающимся лицом, одетый в богатую ливрею; в одной руке у него кнут кучера,

но в другой — нечто вроде скальпеля или ножичка. За спиной, почти не видная, висит кожаная фляга; этот гость явно не испытывает жажды. Эту второстепенную группу — гостей на свадьбе? особо близких друзей? — завершает фигура карлика в полных церемониальных доспехах, но без оружия, если не считать оружием веревку, смотанную в кольцо и висящую у него на левой руке. Правой он протягивает дородному художнику пучок каких-то длинных и тонких предметов — возможно, остро заточенных карандашей или серебряных стержней.

Однако потрясает зрителя в этой вдохновенной, но в целом ничем не примечательной композиции фигура с левой стороны, парящая в вышине над новобрачными. Может быть, это ангел? Но у него нет крыльев. Да, лицо одновременно овеянное святостью и нечеловеческое, но оно кажется лицом идиота; маленькая головка сходит почти на нет. Из уст этого существа, ангела или кто он там, вьется лента с надписью старогерманским шрифтом: «Tu autem servasti bonum vinum usque adhuc».[127] Левой рукой существо держит над головой новобрачных золотой венец, а правой

---

[127] Примечания: 127

«А ты хорошее вино сберег доселе» *(лат.)*. — Ин. 2: 10.

вроде бы указывает на пару, которая занимает главное положение на правой створке триптиха.

Фоном центральной панели и, с небольшими вариациями, боковых панелей служит пейзаж, переходящий на горизонте в горную цепь с подсвеченными солнцем вершинами.

По сравнению с блистательной центральной панелью боковые кажутся приглушенными. Кое-где они блекнут почти до гризайля, но местами оживлены цветом. Левую створку, кажется, легче всего истолковать: на ней Христос склонился над шестью каменными сосудами для воды, простирая руки в благословении. На заднем плане, в тени, стоят три фигуры, явно апостолы: Симон Зилот, бодрый мужчина средних лет, с широким топором лесоруба на поясе; святой Иоанн — его легко узнать по перу и чернильнице, подвешенным к поясу, и по прекрасным чертам юного лица; и… не может быть! да, это, несомненно, Иуда: рыжеволосый, с кошельком общинных денег, который он прикрывает левой рукой, правой указывая своим собратьям на фигуры центральной панели.

Но прежде чем проследить взглядом направление жеста Иуды, нужно понять, что это за две женщины с Христом. Первая стоит над ко-

ленопреклоненной фигурой в позе, которую можно даже назвать гневной: одна рука воздета в красноречивом обвинении, а другая, голая, выпростанная из балахона служанки, указывает вниз, на каменные водоносы. Вторая женщина, стоящая на коленях, словно силится защитить Господа: маленькая, в странной, очень закрытой шапочке, на лице — нежность и обожание. Голова Христа окутана слабым сиянием, но в остальном Его фигура ничем не выделяется, ее можно даже назвать смиренной.

Засим взгляд зрителя, повинуясь жесту Иуды, переходит на правую створку. На ней, по-видимому, изображены свадебные гости: рыцарь, у которого один глаз закрыт повязкой; он вооружен мечом, но прижимает палец к губам, словно призывая к молчанию; с ним дама великой, но холодной красоты. Особенно дотошный любитель искусства может провести линию от указующего перста Иуды до этой створки триптиха: она упрется в богатого купца и его жену, явно занятых только собою; у купца на поясе висит тяжелый кошель. Чуть в стороне стоит врач с ланцетом в руке, готовый пустить кровь любому присутствующему на свадьбе, — он пронизывает их всех острым взглядом крысиных глазок. Но если это

гости, то остальные фигуры, составляющие фон, видимо, нищие, пришедшие на свадьбу: кучка детей с искаженными, безобразными, голодными лицами. Они смотрят не на жениха и невесту, а на такого же оборванного мальчишку, который выковыривает кошке глаз острым камнем. Фон этой створки подчеркнуто уныл и однообразен в сравнении с пейзажем, украшающим две другие панели.

Странная картина. Искусствоведы радостно вонзили в нее зубы своей учености и принялись трепать, чтобы подогнать под какую-нибудь удовлетворительную интерпретацию и приписать кому-нибудь.

Напрасно подполковник Осмазерли призывал их к порядку, напоминая, что их задача — распорядиться судьбой картины, а не решить окончательно вопрос ее авторства или интерпретировать ее загадочные составляющие. Схлихте-Мартин заявил, что картина ни в коем случае не могла предназначаться для христианской церкви: на иконе Христос не может быть где-то сбоку. Кнюпфер возжелал узнать, почему карлик облачен в парадные доспехи; конечно, всем известно, что для карликов делали парадные доспехи, но почему этот карлик надел

доспехи, чтобы подносить карандаши, и заметил ли кто-нибудь, до чего он похож на Дурачка Гензеля? (Росс энергично закивал.) Всех привело в недоумение то, что у Богородицы есть нимб, а у Ее Сына — нет. А фигура, плывущая по воздуху? Она-то что должна означать?

Разумеется, гадость должен был сказать профессор Бодуэн. Пока другие спорили, он разглядывал картину в упор, светил на нее фонариком, смотрел через увеличительное стекло, тер маленький участок обслюнявленным пальцем и наконец объявил во всеуслышание:

— Мне не нравятся эти кракелюры! Совсем не нравятся. Они слишком ровные — как будто появились все одновременно. Я предлагаю отдать картину на анализ. Готов спорить на любую сумму, что она окажется фальшивкой.

Тут все искусствоведы сочли нужным высказаться — кто соглашался, кто протестовал, кто колебался. Но Фрэнсис, при всей неловкости своего положения, не мог не заметить взгляд, которым Сарацини выстрелил в Бодуэна. Взгляд расфокусированных горящих глаз будто ударил француза; тот поспешно вернулся на место, словно его обожгло порывом невыносимо горячего воздуха.

Подполковник Осмазерли привел собравшихся в чувство и объяснил, что у комиссии нет полномочий поступать так, как предложил Бодуэн; если такие полномочия и можно получить, это займет очень много времени. Неужели они не могут прийти хоть к какому-нибудь согласию на основании уже увиденного? Ведь они славятся умением проникать взглядом за пределы видимости, которой ограничены заурядные люди, добавил дипломатичный подполковник.

Фрэнсиса уже два с половиной дня терзали муки воспаленной совести. Он боролся с проказливым желанием — предоставить искусствоведов самим себе, пускай авторитетно заявят что-нибудь и сами загонят себя в угол. Но в этот момент он почувствовал, что обязан встать и произнести речь на манер покойного Летцтпфеннига: «Господа, я не могу лгать. Я сотворил это своей скромной кистью». А потом что? Конечно, не вешаться шутовски, в плаще и калошах, как бедняга Летцтпфенниг. Но какую бурю объяснений, оправданий, отрицаний вызовет его речь! Единственный, кто может подтвердить любые слова Фрэнсиса, — это Сарацини, но он, как ни тверд в определенных вопросах, в этом может оказаться чересчур гибким.

Однако Фрэнсис недооценил своего учителя. Сарацини поднялся на ноги. Это само по себе было важно, так как обычно эксперты выступали сидя.

— Господин председатель! Уважаемые коллеги! — начал он с тяжеловесной официальностью. — Позвольте мне указать, что наши попытки истолковать эту любопытную картину в терминах христианской иконографии неизбежно обречены на провал. Ибо эта картина не полностью — а может быть, даже и не в первую очередь — христианская. Разумеется, ее следует называть «Брак в Кане» из-за слов, исходящих из уст этой любопытной летящей фигуры: «А ты хорошее вино сберег доселе». В Писании эти слова произносит так называемый распорядитель пира, а здесь — таинственная фигура, и обращены они, кажется, к родителям — Рыцарю и Даме, которых мы видим на правой створке. Эта странная фигура держит соединяющий венец над головами Жениха и Невесты. Кто они? От вас, конечно, не ускользнуло, что они больше похожи на брата и сестру, нежели на супругов. Это внешнее сходство, несомненно, крайне важно для интерпретации картины. Взгляните на Христа. Разве Он не родственник Жениха и Невесты? Взг-

ляните на Рыцаря и его Даму на правой створке: разве неясно, что они приходятся родителями обоим брачащимся? Взгляните на старого художника: у него то же самое лицо, но постаревшее, расплывшееся. И это нельзя объяснить умением художника рисовать одно-единственное лицо: человека с кнутом, астролога, карлика, старуху в необычном чепце, Иуду изобразил чрезвычайно умелый портретист, искусно передав характер. Нет-нет, господа, у этой картины возможно только одно объяснение, и я скромно предлагаю его вашему вниманию.

Давайте вспомним, откуда взялась эта картина. Вы не знаете? Конечно нет, ибо она была скрыта. Но я знаю. Она происходит из замка Дюстерштейн, где, как вы знаете, находится богатейшая коллекция шедевров (точнее, находилась, пока генерал Геринг не принял под охрану лучшие из тамошних картин). До войны я несколько лет занимался расчисткой и реставрацией Дюстерштейнской коллекции. Но эта картина не была в числе тех, которые украшали стены замка. Эти панели, завернутые, лежали в чулане при замковой часовне. Этот триптих когда-то служил алтарем в часовне, пока она не была полностью редекорирована Иоганном Лиссом где-то в пер-

вой четверти семнадцатого столетия. Старую алтарную картину заменили новой, кисти Лиса или кого-то из его учеников — заурядной, не оскорбляющей ничьих вкусов Мадонной с Младенцем и святыми. Новую картину и сейчас можно увидеть в часовне. Старый триптих к тому времени разонравился Ингельхаймам.

Почему? Картина, которую мы видим перед собой, вышла из моды, и, кроме того, для строго христианского вкуса она была еретической. Посмотрите: в ней сильны алхимические мотивы. Разумеется, алхимия и христианство не обязательно враждебны друг другу, но ортодоксальному богословию семнадцатого века, иными словами — духу Контрреформации, алхимия казалась слишком опасной соперницей Истинной Веры.

Я не знаю, что вам известно об алхимии, поэтому прошу извинить меня, если я расскажу что-то такое, что вы и без того ясно представляете. Но эта картина — явно изображение того, что называлось Химическим браком, слегка причесанное в христианском духе. Иными словами, она изображает алхимический союз элементов души. Взгляните: Жених и Невеста выглядят братом и сестрой, потому что они — мужской и женский

элементы одной и той же души; объединение этой души считалось одной из высших целей алхимии. Не буду обременять вас алхимическими теориями, но это единение — этот союз — не могло быть достигнуто в юности. Его вообще было нелегко достигнуть. Поэтому Жених — мужчина, во всяком случае, не первой молодости. Ясно, что подобное единение достигается только вмешательством чистейшего, высшего элемента души — а это издревле Христос, — таким элементом Он был для людей Средневековья, и им же Он является до сих пор, не в первозданном, но в неизменном, по существу, виде. Здесь мы видим Христа как благотворную силу, участвующую в Браке. Но благословляет Брак Души, духовный союз на этой картине Богоматерь, которую неортодоксальные, но и далекие от ереси мыслители часто называют Матерью-Природой. Я понятно выражаюсь?

— Пока все понятно, маэстро, — сказал профессор Найтингейл. — Но что означают другие фигуры? Например, вот этот, который летит: жуткое страшилище, как цирковой урод. Кто это может быть?

— Не могу сказать, хотя все мы, конечно, знаем, что в искусстве готики и поздней готики — а в

этой картине элементы готики очень сильны — такая ангелическая фигура часто представляла родственника, например старшего брата, который умер до заключения Химического Брака, но память о нем, его духовное влияние могли этому браку способствовать.

— Все это прекрасно, но кракелюры мне не нравятся, — сказал профессор Бодуэн.

— О, бога ради, забудьте вы про эти кракелюры, — ответил Джон Фрюэн.

— С вашего позволения, я не забуду про кракелюры и буду весьма признателен вам, сэр, если вы не станете на меня огрызаться.

— Буду огрызаться, если надо, — сказал Фрюэн, вспыльчивый, как все йоркширцы. — Неужели, по-вашему, кто-нибудь стал бы подделывать такую лабуду, кучу позабытого мусора? Алхимия! Да что такое алхимия?

— Алхимия — забава вроде карт,
Где можно, человека распалив,
Его обжулить… — [128]

это снова заговорил Эйлвин Росс, которого

---

[128] Примечания: 128

Алхимия — забава вроде карт… — Бен Джонсон. Алхимик. Акт II, сц. 1. Перевод П. В. Мелковой.

невозможно было заткнуть.

— Нет, мистер Росс, ничего подобного! — возразил Сарацини. — Конечно, среди алхимиков были и жулики, как бывают они среди жрецов любой веры. Но были и другие алхимики, искренне ищущие просветления. И разве мы, пережив за последние пять лет такие страдания под гнетом злобной лженауки, вправе насмехаться над искренними верованиями прошлого, даже если его стиль мышления и лексикон несколько заржавели?

— Мистер Росс, я хотел бы напомнить, что выражение мнения не входит в ваши должностные обязанности, — сказал подполковник Осмазерли.

— Прошу прощения, — ответил Росс. — Всего лишь несколько слов из Бена Джонсона. Сами выскользнули.

— Бен Джонсон был великим циником, а великий циник — это великий глупец, — сказал Сарацини с необычной для него суровостью. — Но, господа, я не утверждаю, что могу истолковать все элементы картины. Это будет долгая работа для иконографа. Я лишь осмелюсь предположить, что эта картина могла быть написана для графа Майнхарда, жившего четыре с половиной столетия назад, — он сам пользовался репута-

цией алхимика, был покровителем и другом Парацельса, и говорили, что он в Дюстерштейне занимался опытами, которые по тому времени стояли на передовом крае науки. В конце концов, его часовня не была общедоступным местом. Кто помешал бы ему украсить ее так, как он хотел?

Искусствоведы — возможно, проявляя излишнюю доверчивость в вопросах, лежащих вне их компетенции, — были склонны согласиться. Последовало долгое, туманное обсуждение. Когда Сарацини решил, что они уже достаточно поговорили, он подытожил сказанное:

— Могу ли я предложить, господин председатель и уважаемые коллеги, чтобы все мы сошлись на следующем: эти панели, несомненно происходящие из Дюстерштейна, следует вернуть в хранящуюся там замечательную коллекцию, а саму картину — которая, как мы все согласны, является неизвестным ранее шедевром и чрезвычайно интересна — приписать Алхимическому Мастеру, чье имя, увы, мы не можем установить точнее?

Все были за, только профессор Бодуэн воздержался.

— Вы спасли мою шкуру, — сказал Фрэнсис, поймав Сарацини на большой лестнице после

выхода с заседания.

— Сознаюсь, я и сам чуточку доволен собой, — сказал *Meister.* — Я надеюсь, что вы, Корнишь, слушали внимательно: я не сказал ни единого слова лжи, хотя, конечно, не стремился непременно раздеть Истину донага, в отличие от многих художников. Вы ведь не знали, что в юности я несколько лет изучал богословие? Я считаю, это необходимо любому, кто желает сделать карьеру.

— Я вам буду вечно благодарен. Мне не хотелось признаваться. Не потому, что я боялся. Из-за чего-то другого, что я даже затрудняюсь определить.

— Из-за обоснованной гордости, я бы сказал. Это прекрасная картина, совершенно оригинально трактующая библейский сюжет. И притом — шедевр религиозного искусства, если брать слово «религия» в его подлинном значении. Кстати, я вас прощаю за то, что вы придали Иуде мое лицо, хоть и обрамили его чужими волосами. Мастера должны где-то брать модели. Я ведь назвал вас Мастером не просто так и не в насмешку. Этой картиной вы создали себе душу, Фрэнсис, и я не шутил, именуя вас Алхимическим Мастером.

— Я ничего не знаю об алхимии. В этой картине есть вещи, которые мне самому непонятны. Я

просто нарисовал то, что просилось на холст.

— Возможно, вы не понимаете алхимии, как понимает ее ученый, но вы явно жили алхимией; в вашей жизни алхимически свершились превращение низких элементов и союз благородных элементов. Но вы же знаете, что живопись требует от своих адептов мастерского владения техникой, а это мастерство проявляет у мастера великие черты. То, чего вы не понимаете в картине, рано или поздно объяснится само — теперь, когда вы выудили его из глубин своей души. Вы ведь все еще верите в душу?

— Я пытался не верить, но, кажется, мне нет спасения. Католическая душа в цепях протестантизма. Но наверно, это лучше пустоты.

— Лучше, уверяю вас.

— *Meister* — я всегда буду звать вас *Meister,* хоть вы и произвели меня из *alunno* в *amico di Saraceni,* — вы были очень добры ко мне и не жалели розги.

— Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына.[129] Я горжусь, что стал вашим отцом в искусстве. Поэтому я попрошу вас кое о чем как отец. Сделайте это для меня. Следите за Россом.

---

[129] Примечания: 129

Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына. — Прит. 13: 25.

Тут разговор прервался — в самом низу грандиозной лестницы поднялись шум и суматоха. Профессор Бодуэн оступился, ударился о мраморный угол и сломал бедро.

— Надо полагать, это и был дурной глаз Сарацини, — сказал Цадкиил Малый.

— Нельзя стать таким великим человеком, как Сарацини, не овладев огромной духовной энергией, и далеко не вся она благонамеренна, — ответил даймон Маймас. — В жизни удачливых людей попадаются Мастера и Сивиллы, и я рад, что смог поставить таких хороших Мастеров и Сивилл на жизненном пути Фрэнсиса.

— Удачливых людей? Да, наверное. Не всякому встречаются Мастера и Сивиллы.

— Воистину. Но в нынешние времена — я имею в виду время Фрэнсиса, конечно, ибо мы с тобой стоим вне Времени, брат, — многие, кому посчастливилось встретить Мастера или Сивиллу, норовят поспорить, непременно желая вставить банальное словцо, и препираются, словно всякое знание относительно и подлежит обсуждению. Нашедший Мастера должен подчиняться Мастеру, пока не перерастет его.

— Но если Фрэнсис действительно сотворил свою душу, как сказал Сарацини, что ждет его

впереди? Быть может, он достиг величия и его жизнь подошла к концу?

— Ты испытываешь меня, брат, но меня не так легко поймать. Теперь, когда душа Фрэнсиса, если можно так выразиться, у него перед глазами, он должен понять ее и стать ее достойным; это не простое и не быстрое дело. Создание души — не конец пути, а новое начало в середине жизни.

— Да, это займет немало времени.

— Как ты любишь это глупое слово — «время». Теперь внешнее время Фрэнсисовой жизни потечет для него намного быстрее, а вот время его внутренней жизни поползет медленнее. Так что мы можем быстрее прокрутить остаток пленки, или видеозаписи, или каким там новомодным словечком назвали бы это современники Фрэнсиса, потому что внешняя жизнь теперь занимает его лишь частично. Вперед, брат!

Чем теперь был Фрэнсис в мире МИ-5? Конечно, не одним из великих разведчиков, которые вдохновляют романистов на воспевание опасности, насилия и загадочных смертей. Он продолжал работать в Объединенной комиссии по искусству даже после того, как конференции в Европе закончились: резолюции конференций породили всевозможные проблемы, которые приходилось

решать дипломатическим путем, торговлей, успокоением задетой национальной гордости, а порой — произвольными решениями, в принятии которых Фрэнсис играл пусть и не главную, но важную роль. Он сотрудничал с Британским советом. Но только дядя Джек знал, что Фрэнсис должен следить за некоторыми важными персонами из мира искусства, чья лояльность, однако, не согласовалась с интересами стран антигитлеровской коалиции.

Именно поэтому Фрэнсис выглядел как чиновник, обыватель, завсегдатай клубов, который мог внезапно появиться где угодно — в мире искусства, в загородных имениях, в модном свете, а иногда и среди людей, приближенных ко двору. Практически в любом месте, где были умные люди, которые не считали его умным, не считали своим — он ведь не учился в Кембридже, — а потому говорили при нем чуть беспечнее, чем могли бы. Его считали заурядным типом, который как-то умудрился пролезть в мир искусства. Но еще он был полезным человеком, который может многое устроить.

Например, он устроил Эйлвину Россу разные блага, которых тот, возможно, не получил бы иным путем. Росс выразил свою благодарность,

но хватило ее ненадолго, так как Росс, типично для него, считал, что эти блага положены ему за блестящие способности. Именно благодаря Фрэнсису Росс устроился на хорошую должность в Институте Курто[130] и начал стремительное восхождение к позиции влиятельного критика и властителя вкусов.

Сарацини предупреждал Фрэнсиса, что за Россом нужно следить. И Фрэнсис следил, но видел лишь красивого молодого человека с блестящими способностями, чью карьеру двигать — чистое удовольствие. Фрэнсис наблюдал бы за Россом пристальнее, если бы Росс не был так занят собственными делами и не держался чуть снисходительно по отношению к самому Фрэнсису.

— Мне кажется, вы ошибочно судите о Россе, — сказал Фрэнсис Мастеру, приехав с очередным ежегодным визитом в тесную римскую квартиру. — Он поднимается вверх, как воздушный шар; скоро станет очень большой фигурой среди критиков искусства. А по вашим намекам можно подумать даже, что он нечестный человек.

— Нет-нет, он вполне честен, — возразил Сара-

---

[130] Примечания: 130

Институт Курто (Courtauld Institute of Art) — Институт истории искусства в составе Лондонского университета, располагающий собственным художественным собранием.

цини. — Скорее всего, вы все правильно говорите. Но, дорогой мой Корнишь, я имел в виду, что он не художник, не творец — он политик от искусства. Он вертится по ветру как флюгер, а вы стоите как скала — кроме случаев, когда в роли ветра выступает сам Росс. Вы к нему слишком привязаны и даже сами не осознаете насколько.

— Если вы намекаете, что я в него влюблен, то глубоко ошибаетесь.

— Я не имею в виду, что вам хочется лежать с ним в постели, уютно обнявшись, и шептать ему на ухо секреты, — во всяком случае, мне так не кажется. Это как раз было бы менее опасно, поскольку любовники эгоистичны и могут поссориться. Нет, я думаю, вы видите в Россе золотого юношу, каким никогда не были сами, счастливчика, которым, как вам кажется, вы никогда не были. У вас на голове проседь. Ваша юность упорхнула. Не пытайтесь вернуть ее через Росса. Не поддавайтесь на шарм подобных юнцов. Люди, молодые так, как молод Росс, никогда не старятся, а вечная молодость — чрезвычайно жестокая судьба, сколько бы пустословы нашего времени ни твердили обратное. Помните, что говорит ангел, или кто он там, на вашей великой картине? «А ты хорошее вино сберег доселе». Не выливайте

свое хорошее вино на алтарь Эйлвина Росса.

Как-то Фрэнсис столкнулся с Россом на Пэлл-Мэлл.

— «По шляпе непотребной ты — антихрист!»[131] — сказал тот вместо приветствия.

— Джонсон, надо думать. Чем тебе не угодила моя шляпа?

— Она — символ всего, чем ты стал, дорогой мой. Это шляпа а-ля Энтони Иден.[132] Вялая, мрачная и немодная. Давай пойдем к Локку и купим тебе нормальную шляпу. Такую, чтобы она повествовала миру о Внутреннем Корнише, искуснейшем реставраторе картин.

— Я уже многие годы не восстанавливаю картин.

— Зато я восстанавливаю! Я собираюсь восстановить законное место одной картины в мире высокого искусства! И ты знаешь эту картину, так что давай ты меня сводишь пообедать в «Скотт» — и я тебе все расскажу.

---

[131] Примечания: 131

«По шляпе непотребной ты — антихрист!» — Бен Джонсон. Алхимик. Акт IV, сц. 7. Перевод П. В. Мелковой.

[132] Примечания: 132

Энтони Иден (1897–1977) — британский государственный деятель, консерватор; в 1940–1945 гг. министр иностранных дел, в 1955–1957 гг. премьер-министр.

В «Скотте» над камбалой под соусом морнэ Росс выложил свои новости, бурля радостным энтузиазмом, необычным даже для него:

— Помнишь картину, которую мы видели в Мюнхене? «Брак в Кане». Помнишь, что с ней случилось?

— Ее, кажется, отправили обратно в Дюстерштейн?

— Да, но я о ней не забыл. Отнюдь. Эта картина, точнее, триптих меня почему-то захватил. И ты должен помнить, что я говорил о связи между ней и «Дурачком Гензелем», которого мы видели чуть раньше. Картина, явно помеченная клеймом Фуггеров из Аугсбурга? Я доказал, что они связаны между собой.

— Доказал?

— Да, Фрэнк, — как мы доказываем такие вещи в нашем деле. Тщательным исследованием мазков кисти, качества красок, цвета. Ну и конечно, старое доброе чутье, подкрепленное опытом. Полный беренсоновский набор. Если не брать результатов научного анализа — они на самом деле туманны, — я все доказал.

— Ага. Это заслуживает сноски.

— Если бы ты не платил за мой обед, я бы тебя убил. Сноски! Это проясняет всю историю

неизвестного художника, которого Сарацини назвал Алхимическим Мастером. Вот погляди: он явно любил загадки и постоянно подкладывал намеки для наблюдательных людей. Тот знак в углу «Дурачка Гензеля» может быть семейным клеймом Фуггеров, а может — и гильотиной. Висельник, понимаешь? Карлик-висельник. И кого же мы видим на триптихе? Того же самого карлика-висельника, но на сей раз он держит свою веревку! И выступает во всем великолепии, в парадных доспехах!.. Это мучило меня долгие годы, и наконец я получил грант — ничего не делай без гранта, Фрэнк, — поехал в Дюстерштейн и уговорил старую графиню пустить меня посмотреть на «Брак в Кане». Она теперь страшно гордится этой картиной. Повесила ее в лучший зал. Я оставался в замке три дня — графиня была очень гостеприимна. Ей, видно, одиноко, бедной старушке. И я разгадал шифр!

— Какой еще шифр?

— То, что зашифровано в «Браке», конечно. Алхимический Мастер окутал свое творение алхимической тайной, и по очень веской причине. Но на самом деле эта картина не про алхимию. Она — про политику!

— Ты меня изумляешь. Продолжай.

— Что ты знаешь про Аугсбургское временное постановление?

— Ничего.

— О нем мало кто знает, но оно было важно, когда рисовали эту картину. Его приняли в тысяча пятьсот сорок восьмом году, и это была попытка примирить католиков и протестантов. Компромисс, который в итоге привел к Тридентскому собору. Католики пошли на определенные уступки протестантам, и самой большой из них было причастие под двумя видами — если тебе это что-нибудь говорит.

— Не оскорбляй меня, ты, протестант из прерии. Это значит, что миряне за литургией причащаются и хлебом, и вином.

— Умничка. Итак, брак в Кане, где Христос, разумеется, оделил всех вином — лучшим, какое они пробовали доселе. Но посмотри, кто главная фигура на этой картине: Мать-Церковь, которую олицетворяет Дева Мария, подносящая кубок. Значит, один — ноль в пользу католиков, которые самоотверженно уступили в вопросе, очень важном для протестантов. Новобрачные — это католическая и протестантская фракции, объединенные в дружественный союз.

— У тебя в объяснениях брешь. Мария, может

быть, дает кубок протестантам, но точно не дает его католикам, и они его еще не получили.

— Я об этом думал, но мне кажется, это не важно. Назначение картины было явно не в том, чтобы кричать свое послание каждому случайному посетителю замковой часовни, а в том, чтобы служить алтарной картиной, представляющей брак в Кане.

— А что другие фигуры?

— Кое-кого можно опознать. Старик с табличкой для письма — несомненно, Иоганн Агрикола, один из авторов проекта Аугсбургского постановления. А кто держит его письменные принадлежности? Кто же, как не Дурачок Гензель, висельник с веревкой, но здесь он в парадных доспехах, а значит, одет для торжества, которому способствует, подавая карандаши. Это символ прекращения преследований, понимаешь? Рыцарь и дама на правой створке, несомненно, граф Майнхард и его жена, доноры этой картины. Они находятся именно там, где и ожидаешь их найти. Даже Парацельс на месте — вот он, востроглазый человечек со скальпелем.

— А все остальные?

— Это уже не важно. Важно то, что триптих написан в честь Аугсбургского постановления и

уподобляет его браку в Кане. Послание ангела про хорошее вино, конечно, относится к примирению протестантов и католиков. Эти женщины, ссорящиеся из-за Христа, несомненно, символизируют протестантскую проповедь и противопоставленную ей католическую веру. Алхимический Мастер изложил все так, что картину при необходимости можно истолковать самыми разными способами.

— И что же на все это сказала графиня?

— Она только улыбнулась и сказала, что я ее поразил.

— Понятно. Слушай, Эйлвин, я тебе серьезно говорю — будь осторожен. Твое толкование очень остроумно, но историк наверняка не оставит от него камня на камне. Например, зачем Ингельхаймам могла понадобиться такая картина? Они ведь никогда не были протестантами?

— Может быть, явными не были. Но они были алхимиками — во всяком случае, граф Майнхард был — и потому выбрали художника с явным алхимическим уклоном. Граф Майнхард наверняка что-то скрывал, но это уже не мое дело. Я буду писать только о картине.

— Писать?

— Да, я работаю над большой статьей для «Апол-

ло». Не пропусти ее.

Фрэнсис, конечно, не пропустил статью. Все время, пока она не вышла, он разрывался на части. Очевидно, он должен открыть Россу историю «Брака в Кане». Но почему «очевидно»? Потому что этого требует его совесть? Да, но если все решает голос совести, то Росс будет по совести обязан обличить Фрэнсиса как подделывателя картин, который сидел и молчал, пока «Брак» хвалили эксперты в Мюнхене. Суд совести затронет и графиню — она, может быть, действительно ничего не знает о «Браке в Кане», но в ее невинность в деле с «Дурачком Гензелем» верить не приходится. А если будет втянута графиня, то как же все остальные картины, которые тайно проходили через Сарацини, а потом их сплавляли закупщикам для Фюрер-музея? Сейчас не время обличать англо-франко-американских предпринимателей, которые водили за нос Третий рейх и лишили Германию многих подлинных шедевров. Германия проиграла войну, а потому она не права и должна остаться неправой во что бы то ни стало для утешения негодующей общественности. Дилемма Фрэнсиса щетинилась во все стороны острыми шипами.

А еще и проблема самого Росса. Он рассчиты-

вает, что статья о «Браке» станет очередным значительным шагом в его карьере. И вдруг Фрэнсис остановит его неожиданным признанием? Если он вообще собирается признаваться, это надо было делать много лет назад.

И наконец — Фрэнсис не мог лгать самому себе, — его удерживала гордость за удавшуюся великолепную мистификацию. Разве Рут не предупреждала, что в нем силен элемент Меркурия? Меркурия, который творит все, что есть в мире духоподъемного и восхитительного, но вдобавок покровительствует ворам, жуликам и мистификаторам. Границы между искусством, искусностью и — говоря начистоту — преступлением порой тоньше папиросной бумаги. С одной стороны, Фрэнсиса мучила совесть, но с другой — он едва удерживался от довольного хихиканья. Он не Летцтпфенниг, обезьяна его не погубит; его картина, хоть и анонимная, приобретет широкую известность и интересную историю благодаря подающему надежды молодому критику, обитателю мира Меркурия, мира искусствоведения. Фрэнсис решил молчать.

Статья вышла, и в ней было все, о чем Фрэнсис мог мечтать. Она была написана строгим, элегантным стилем, без мальчишеского энтузиазма,

с которым Росс тогда делился своими планами. Тон был скромный: эта прекрасная картина, до сих пор пребывавшая в неизвестности, наконец увидела свет, и она — единственный, за исключением «Дурачка Гензеля», образец работы Алхимического Мастера, кто бы он ни был. Возможно, он был известен Фуггерам и графу Майнхарду, и это вкупе с тонкостью работы позволяет причислить картину к шедеврам аугсбургской группы художников, лучшим из которых был Гольбейн. Может быть, Алхимический Мастер был учеником или помощником Гольбейна? Вполне возможно, так как Гольбейн обожал картины с завуалированными намеками, понятными тем, кто обладает чутьем и достаточными познаниями в истории. Дальнейшие объяснения иконографических тонкостей картины Росс был счастлив предоставить ученым более проницательным, чем он сам.

Статья была хорошая и вызвала фурор среди тех, кого интересуют такие вещи, то есть нескольких сот тысяч искусствоведов-профессионалов, знатоков и людей, которые очень любят шедевры живописи, но никогда не будут владеть ни одним таким шедевром. Возможно, лучше всего было то, что к статье прилагалась прекрасная цветная репродукция всего триптиха и увеличенный

снимок каждой из панелей. «Брак в Кане», отныне датированный и истолкованный, вошел в историю искусства, и Фрэнсис (меркуриальный Фрэнсис, а не измученный носитель католико-протестантской совести) был вне себя от счастья.

Графиня отвергала все последующие просьбы об осмотре картины. Она отвечала, что слишком стара и слишком занята сельскохозяйственными делами, чтобы удовлетворять чужое любопытство. Может, заподозрила неладное? Этого никто никогда не узнал. «Ты погибнешь прежде, чем я погибну».

Статья уничтожила Фрэнсиса как художника. Разумеется, он не мог больше творить в стиле, усвоенном с таким трудом под ударами бича Сарацини. Это было слишком опасно. Но детям Меркурия свойствен дух противоречия, и Фрэнсис понял, что его опять тянет к мольберту. Он не писал с самого конца войны — только побаловал себя несколькими рисунками в стиле и технике старых мастеров. После выхода статьи Росса Фрэнсис увеличил коллекцию набросков в этом стиле. К ней добавились несколько этюдов к «Браку в Кане», созданных, так сказать, постфактум. Их приходилось держать под замком. Теперь Фрэнсису хотелось писать маслом. Очевидным

выходом (к Фрэнсису прицепилось Россово словечко «очевидно») было бы освоить современный стиль. Фрэнсис купил в магазине готовые краски и холсты на подрамниках фабричной работы. Вспомнив, как в юности ему нравились работы Пикассо, он принялся за работу, желая найти свой стиль, близкий к стилю великого художника, но в то же время выражающий истинное «я» Фрэнсиса Корниша.

Это в любом случае было бы нелегко, но стало и вовсе невозможно после беседы Пикассо с Джованни Папини, напечатанной в 1952 году в книге Папини «Il Libro Nero».[133] Вот что сказал Мастер:

Основная масса людей больше не ищет

---

[133] Примечания: 133

…беседы Пикассо с Джованни Папини, напечатанной в 1952 году в книге Папини «Il Libro Nero». — Джованни Папини (1881–1956) — итальянский писатель, журналист, полемический критик и поэт, одна из самых противоречивых фигур в итальянской литературной жизни начала и середины XX века. Его книга «Il Libro Nero» (1952), написанная в форме дневника лирического героя, содержит вымышленные беседы с такими деятелями, как Гитлер, Дали и Пикассо. Интервью с Пикассо выходило также в других публикациях как подлинное. По некоторым источникам, Папини опубликовал фальшивое интервью по наущению НАТО, чтобы скомпрометировать Пикассо и его прокоммунистические симпатии. Впоследствии Папини попросил своего биографа Пьера Дэ разоблачить фальшивку.

«Il Libro Nero» — «Черная книга» *(ит.).*

в искусстве утешения и возвышения. Но утонченные богатые бездельники, дистилляторы квинтэссенций, ищут в нем нового, странного, оригинального, экстравагантного, скандального. Сам я с периода кубизма, да и раньше, преподносил этим повелителям и критикам переменчивые странности, которые проносились у меня в голове, и чем меньше меня понимали, тем больше мной восхищались. Забавляясь этими играми, этими нелепицами, загадками, ребусами, арабесками, я прославился, и притом очень быстро. А слава для художника означает продажу полотен, выручку, удачу, богатство. Сегодня, как известно, я знаменит, я богат. Но наедине с собой я не могу назвать себя художником в великом, старинном смысле этого слова. Джотто, Тициан, Рембрандт — великие художники. Я же просто развлекаю публику. Я человек, который понял свою эпоху и сумел в полной мере воспользоваться глупостью, тщеславием и алчностью современников. Это горькое признание — мне больнее произносить эти слова,

чем может показаться со стороны, — но зато оно искренне.

Фрэнсис немедленно довел эти слова до сведения Росса. Ему пришлось перевести их, так как Росс по-итальянски мог разве что на пальцах объясниться; он все время собирался выучить этот язык как следует, чтобы читать вещи вроде «Il Libro Nero», но так и не собрался.

— Ну и что скажешь? — спросил Фрэнсис.

— Ничего не скажу. Ты же знаешь художников: у них бывают плохие дни, приступы сомнений в себе, приступы самоуничижения, когда они думают, что их работа — мусор, и унижают себя, сравнивая с художниками прошлого. Иногда они это делают, чтобы заставить собеседника возражать, и таким образом обретают новую уверенность. Наверняка этот Папини — уж не знаю, кто он, — застал Пабло врасплох, вытащил из него весь этот мусор и выдал за подлинное мнение.

— Папини — авторитетный философ и критик. Он пишет не ради сенсаций, и я уверен, что он попросил Пикассо перечитать и обдумать подобное заявление, прежде чем его публиковать. Ты не можешь отмахнуться от него как от мимолетного

замечания, сделанного в минуту упадка духа.

— Могу. И отмахнусь. Слушай, Фрэнк, если тебе нужно мнение о работе художника, не проси его у самого художника. Проси его у людей, которые разбираются в искусстве. То есть у критиков.

— Ну вот! Ты правда думаешь, что художники — вдохновенные простачки, которые сами не знают, что делают?

— У художников сужено поле зрения. Они видят, что делают, и их мучат всякие сомнения в себе и своей работе. А критик стоит в стороне и видит, что происходит на самом деле. Только критик может родить взвешенное и порой окончательное суждение.

— Значит, когда Пикассо говорит о Пикассо, он несет чепуху?

— В точку. Он говорит о Пикассо-человеке, измученном житейскими неурядицами, превратностями здоровья, любовной жизни, остатка на счете в банке, ситуации в Испании — словом, всем, что составляет человека. А когда я говорю о Пикассо, я говорю о гении, написавшем «Авиньонских девиц», о мастере всех жанров, о сюрреалисте, о визионере, создавшем гениальную «Гернику» — одну из жемчужин той мерзкой эпохи, «Склеп» и все прочие шедевры. А Пикассо-

человек ни шиша не знает о Пикассо-гении, потому что сидит внутри себя и видит себя лицом к лицу. О художнике Пикассо я знаю больше, чем сам Пабло Пикассо.

— Завидная уверенность.

— Ты не критик. Ты даже не художник. Ты ремесленник, креатура жулика Сарацини. И ты должен наконец это понять, потому что это часть правды. Очень большая часть. От репутации Пикассо зависит слишком многое, чтобы он позволил разной чепухе вроде этого интервью раскачивать лодку.

— Что зависит? Деньги? Мода во вкусах?

— Не надо цинично относиться к моде во вкусах. Искусство — это, помимо прочего, очень большой бизнес.

— А что ты думаешь о его словах про поиски утешения и возвышения в искусстве?

— Это мода прошлого. Это справедливо по отношению к «веку веры», которому пустили кровь в эпоху Возрождения и окончательно прикончили французской и американской революциями. Ты можешь назвать хоть одну великую картину, вдохновленную протестантизмом? Но конец «века веры» не означает смерти искусства. Оно — единственное, что бессмертно и вечно.

— Но он открыто говорит, что служил моде, угождал толпе, изобретая нелепости и головоломки.

— Ты что, не слышал, что я сказал? То, что он говорит, — ерунда. Важно то, что он делает.

Фрэнсис не выиграл спор, но Росс его все равно не убедил. Фрэнсис был уверен: где-нибудь на свете есть художники, для которых утешение и возвышение — главные задачи искусства. Поэтому он решил вернуться в Канаду. Тамошнее искусство не то чтобы процветало, и даже, можно сказать, прозябало, а следовательно, Фрэнсис мог попытаться подтолкнуть его в сторону, которую считал правильной.

Отправиться в этот великий миссионерский поход, вернуться к корням оказалось непросто. Первым делом надо было вырваться из МИ-5. К удивлению Фрэнсиса, дядя Джек не захотел его отпускать и начал возражать:

— Мальчик мой, может быть, тебе кажется, что тобой пренебрегли — не продвигали так быстро, как ты того заслуживаешь. Но ты не понимаешь, как мы работаем — как мы вынуждены работать. Если мы нашли отличного, верного человека на важный пост, мы оставляем его на этом посту. Ты — именно то, что нам нужно для работы с искусствоведами. Знающий человек с хорошей

репутацией, но не очень заметный; можешь пройти куда угодно, не привлекая особого внимания; кроме того, ты канадец, а значит, люди, больше всего ценящие искрометный ум, считают тебя туповатым. У тебя достаточно денег, чтобы ты не приставал ко мне поминутно, требуя надбавок. Я бы сказал, что ты идеально подходишь к своему месту. Ты принес мне столько полезных сведений об опасных людях, что заслужил свое место в нашем деле. А теперь ты хочешь разом все это отбросить.

— Очень мило с вашей стороны. Но куда ведет моя работа?

— Я не могу обещать, что она приведет к чему бы то ни было, кроме твоей теперешней позиции. Но разве ты недоволен? Твоего отца никогда не волновало, к чему приведет его работа.

— Его она привела к рыцарскому званию.

— Ты хочешь рыцарское звание? За что тебе должны его дать? Куча народу из тех, за кем ты следишь, пытаются вымучить рыцарское звание для себя. Если тебе его дадут, любой умный жулик заподозрит, что в тебе кроется больше, чем на первый взгляд.

— Я вам за все очень благодарен, но, по правде сказать, я и сам уверен, что во мне кроется боль-

ше, чем на первый взгляд. Поэтому я хочу уехать домой и быть подлинно собой у себя на родине.

На этом разговор закончился бы, если бы Фрэнсиса не потрясло до глубины души другое происшествие — не удар и не катастрофа, но выбивающая из колеи жизненная перемена.

Скончался Сарацини. Поскольку его жена погибла во время войны, а дочь умерла при менее драматических обстоятельствах, Фрэнсис оказался единственным наследником Мастера.

Ему пришлось отправиться в Рим и провести долгие часы в обществе итальянских поверенных и чиновников, объясняющих все тонкости, связанные с получением в наследство большой частной коллекции предметов искусства — не сплошных шедевров, но, несомненно, музейного качества — в стране, раздетой догола войной, к которой она никогда не стремилась.

Итальянские юристы чрезвычайно вежливо выражали свои соболезнования, но были непреклонны в стремлении соблюсти закон. Соблюдение закона в Италии, как и в любой цивилизованной стране, оказалось крайне дорогостоящим делом, но Сарацини оставил на это столько денег, что их хватило и еще осталось. Чего итальянские юристы не могли контролиро-

вать, как ни пытались, — это анонимных счетов Сарацини в швейцарских банках.

Тут Фрэнсиса и настигло потрясение. Он не догадывался, что *Meister* — очень богатый человек. Но, видно, Сарацини заключал на редкость удачные сделки с людьми, которые платили ему, князю Максу и графине за дюстерштейнские картины, отправленные в Англию. Фрэнсис явился пред очи невозмутимых банковских работников, удостоверил свою личность и свое бесспорное право на богатства Сарацини и не поверил своим глазам, увидев, сколько миллионов в твердой валюте отныне принадлежит ему. Уроженцу семьи банкиров не были в новинку большие суммы денег. Но до сих пор деньги приходили из Канады, и Фрэнсису не нужно было думать о капитале, доход с которого он получал. Для него деньги означали сумму, которая ежеквартально появлялась у него на счете. Из нее он выделял деньги на несчастное корнуолльское имение, которое никогда не оправдывало обещаний дяди Родерика, и все возрастающие суммы на содержание малютки Чарли, которая была уже почти взрослой и, кажется, питалась деньгами — так велики были требования, предъявляемые от ее имени тетей Пруденс. Фрэнсис, считающий

себя рачительным хозяином, вздыхал и порой ругался, подписывая эти чеки. Остальные его расходы были мизерны по сравнению с остатком на счетах, но, несмотря на это, Фрэнсис был уверен, что находится в стесненном финансовом положении.

На то, чтобы отделаться от МИ-5 и наилучшим образом распорядиться наследством Сарацини, ушло два года. Наконец-то Фрэнсис мог вернуться на родину.

Родина за годы его отсутствия — со времени отъезда на учебу в Оксфорд — не стояла на месте. Война заставила Канаду задуматься о ее месте в мире и о том, что большие страны так и норовят попользоваться странами поменьше — поменьше в смысле населения и влияния, а не в смысле физических размеров. Из деревенского мальчишки с круглыми от удивления глазами Канада превратилась в смышленого уличного мальчишку, но не приобрела истинной мудрости. Множество иммигрантов из всех уголков Европы увидели в Канаде свое будущее. Разумеется, они относились к ней потребительски и чуть свысока. Но все же не могли полностью опроститься, потерять врожденную утонченность европейцев, и благодаря им поверхность канадского обще-

ства приобрела некоторый лоск. Может быть, самой значительной переменой по большому счету стала та, о которой когда-то говорила проницательная Рут Нибсмит: маленькая страна с большим телом всегда была интровертом, — это проявилось и в лоялистском уклоне, в нежелании быть освобожденной могучим соседом от того, что этот могучий сосед считал невыносимым колониальным игом; но теперь эта страна изо всех сил пыталась стать экстравертом, подражая тому самому соседу. Но Канада не могла по-настоящему понять соседей-экстравертов, а потому лишь имитировала их внешние повадки, и это часто походило на кривляние. Канада сбилась с пути — пережила то, что антропологи называют потерей души. Но если эта душа такая робкая, неуверенная, едва теплится — кто станет жалеть о ней, особенно если ее потеря означает большую, очевидную и немедленную выгоду?

Итак, Фрэнсис вернулся на родину, которой не знал. Его настоящей родиной были лучшие черты Виктории Камерон и Зейдока Хойла, рисковый характер и благородство *Grand-père,* сентиментальная доброта тети Мэри-Бен. Но ничего этого нельзя было найти в городе Торонто. Фрэнсис, как и многие другие люди, считал своей родиной мир

детства, которого уже давно не было на свете.

Что он нашел в Торонто, так это семью Корниш-Макрори в новом составе. Джеральд Винсент О'Горман стал большим человеком среди финансистов и приобрел неопределенное, но огромное влияние в Консервативной партии. Если тори когда-нибудь придут к власти, Джерри непременно будет сенатором — это гораздо вернее и выгоднее, чем звание рыцаря Святого Сильвестра, и, кроме того, делает его подлинным наследником *Grand-père* (так думали сам Джерри и его жена). Джерри был председателем совета директоров Корниш-треста, который к этому времени стал крупнейшим финансовым предприятием; президентом треста, преемником сэра Фрэнсиса, стал сенатор из Консервативной партии. (Сэр Фрэнсис умер, когда Фрэнсис в Риме разбирался с наследственными делами и потому не смог прибыть на похороны.) Сенатор был безупречно респектабелен и скучен и не доставлял Джерри никаких хлопот. Ларри и Майкл, сыновья Джерри, занимали высокие должности в тресте и были чрезвычайно дружелюбны к Фрэнсису — насколько он это позволял. Фрэнсису не хватало младшего брата, Артура, — тот вместе с женой погиб в автокатастрофе. Их сын Артур

остался на попечении О'Горманов, которые старались как могли, но в основном вверяли Артура заботам служащих треста — как мужчин, так и женщин. Фрэнсису не нужна была помощь в распоряжении финансами: наследство Сарацини было первыми в его жизни деньгами (если не считать жалких грошей от МИ-5), которые не контролировались и не управлялись семьей, и он не собирался никому открывать, как велико это наследство, или допустить, чтобы им стал распоряжаться кто-нибудь другой.

— Фрэнк, ты, конечно, делай, как считаешь нужным, но, ради бога, смотри, чтобы тебя не обобрали, — сказал Ларри.

— Не беспокойся, — ответил Фрэнсис. — Я научен горьким опытом и теперь знаю, что к чему.

Как только смог, Фрэнсис выделил скромную — по масштабам его богатства даже жалкую — сумму малютке Чарли и уведомил дядю Родерика и тетю Пруденс, что девушка будет получать проценты с этих денег, а когда ей исполнится двадцать пять лет, сможет распоряжаться капиталом. Он также сообщил дяде и тете, что его обстоятельства изменились (каким образом — он не объяснил) и теперь он может ежегодно выделять на содержание поместья лишь совсем

небольшую сумму. На умоляющие письма Глассонов он отвечать не стал. Он считал, что и так сделал для них гораздо больше, чем следовало бы.

Засим он взялся за работу, желая обратить свой немалый доход (капитал, соответственно еще больший, он трогать не собирался) на пользу канадского искусства. То, что произошло дальше, можно сравнить с ощущениями человека, который откусывает персик и ломает зуб о косточку.

Канадских художников Фрэнсис нашел очень быстро; они не то чтобы обошлись с ним грубо — просто они отличались независимым характером. Точнее говоря, хорошие художники были независимы, а те, кто радостно бросался на нового мецената, не были хороши. Фрэнсису никак не удавалось расстаться с деньгами, потому что он хотел выдавать их в комплекте с советами, а художники не желали никаких советов. Он попытался собрать несколько художников вместе для создания работ, которые возвышают и утешают. Художники были вежливы с ним, но совершенно глухи к его словам.

— Вы, кажется, хотите создать новое прерафаэлитское братство, — сказал Фрэнсису один из лучших художников, крупный мужчина

украинского происхождения по имени Джордж Богданович. — Ничего не выйдет. Можете покупать картины. Мы просто счастливы, когда у нас покупают картины. Но не пытайтесь нами управлять. Оставьте нас в покое. Мы знаем, что делаем.

То, что они делали, имело право на существование, но не нравилось Фрэнсису. Они были по уши влюблены в канадский пейзаж и пытались обжиться в нем самыми разными путями. Фрэнсис признавал, что у некоторых художников получалось неплохо, а кое у кого — просто великолепно.

— Но у вас на картинах совсем нет людей, — повторял он снова и снова.

— Это и хорошо, — ответил за всех Богданович. — От них воняет. От большинства, во всяком случае. Мы рисуем канадскую землю, и, может, когда-нибудь люди узнают ее по нашим картинам и начнут вонять чуть меньше. Но начинать надо с земли. Вот вам и утешение, и возвышение. Мы должны идти своим путем.

Возразить было нечего. Конечно, встречались и другие художники — последователи новейших течений. Они без приглашения начинали объяснять, что ныряют глубоко в собственное

Бессознательное — Фрэнсису было в новинку слышать это слово в таком контексте — и вытаскивают замыслы, которые затем воплощают в живописи. Картины обычно оказывались беспорядочной мешаниной крикливых красок, некоторые — тщательно продуманным узором красочных пятен, обычно грязноватых. Эти послания от Бессознательного считались бесконечно драгоценными и якобы навевали восприимчивым зрителям отзвуки из таких глубин Бессознательного, куда не проникнуть без посторонней помощи. Но Фрэнсиса это не впечатляло. Он помнил слова Рут: «Чтобы поговорить с Матерями, нельзя просто взять и позвонить им по телефону. Их номера нет в справочнике». «Ныряльщики» явно не знали этого номера. Именно таких жуликов, имитирующих внутреннее хтоническое в*и*дение, Фрэнсис научился презирать превыше всех остальных.

Итак, Фрэнсису пришлось удовлетвориться покупкой картин, которые были вполне хороши, но не радовали его душу. Как-то само собой получилось, что он начал брать картины у художников, живущих в разных недосягаемых уголках. Он держал эти работы в своей торонтовской квартире, время от времени продавал их, а деньги отдавал

авторам. Он не брал за это комиссионных, но в каком-то смысле был торговцем картинами. Канадские собиратели живописи — довольно узкий круг — поняли, что он умеет отличить хорошую картину и его рекомендация гарантирует качество. Это не приносило Фрэнсису утешения, но хоть как-то занимало его время.

Утешение дарили ему картины из коллекции Сарацини — он умудрился протащить их в Канаду не совсем законным путем и хранил в своем торонтовском жилище.

Жилище располагалось на последнем этаже принадлежащего Фрэнсису многоквартирного дома в хорошем, хотя и не фешенебельном, районе Торонто. Этот дом Фрэнсис купил много лет назад, послушавшись кузена Ларри, который советовал ему разнообразить вложение денег и приобрести какую-нибудь приличную недвижимость. Унылое здание было построено в период, когда архитекторы не отличались излишней живостью воображения. На последнем этаже располагались три квартиры, и Фрэнсис разместил свою коллекцию во всех трех. Поначалу этаж выглядел как одна богато, хоть и необычно, обставленная квартира, но со временем в комнатах становилось все теснее, а жизненное простран-

ство Фрэнсиса сжималось.

— Боже мой! Чисто сорочье гнездо! — воскликнул Эйлвин Росс, когда первый раз приехал в гости. — «…Фортуна слепо сыплет / Дары на тех, кому они не к месту».[134] Это Джонсон, не я, но очень подходит, согласись. Ради всего святого, скажи мне, откуда у тебя все это?

— Унаследовал.

— От Сарацини, конечно. Можешь даже не говорить.

— Частично. Большую часть я купил.

— И при покупке дух Сарацини стоял у тебя за плечом. Фрэнк, как ты вообще это выносишь?

Фрэнк это выносил, потому что считал такую жизнь временной. Он постоянно собирался тщательно пересмотреть всю коллекцию, что-то отправить в хранилище, что-то, может быть, продать и наконец остаться в квартире, возможно тесноватой и чересчур пышно украшенной, но все-таки похожей на человеческое жилье. А пока он жил в чем-то похожем на склад при антикварной лавке, куда постоянно добавлялось содержимое все новых ящиков, коробок

[134] Примечания: 134

«…Фортуна слепо сыплет / Дары на тех, кому они не к месту». — Бен Джонсон, из пьесы «Всяк не в своем духе», или «Всяк не в своем нраве» («Every man out of his humour»), акт II, сц. 4.

и свертков. Хорошо, что в его доме был еще и грузовой лифт, помимо дрожащей, скрипучей бронзовой клети, в которой гости поднимались в обиталище, прозванное с подачи Росса «лавкой древностей».

Росс был частым гостем в «лавке древностей», так как завел обыкновение приезжать в Канаду по нескольку раз в год — то прочитать лекцию, то поделиться ценными советами с какой-нибудь муниципальной или провинциальной галереей. Еще он печатал в канадских газетах и журналах свои рассуждения о судьбах искусства и головокружительных скачках цен на живопись на международных аукционах. Он привозил Фрэнсису сплетни из мира искусства — те, что не могли проникнуть в печать, — и анекдоты о его деятелях (кое за кем из них Фрэнсис когда-то следил по приказу дяди Джека). Надо сказать, что Фрэнсис никогда не рассказывал Россу, чем на самом деле занимался в Лондоне; он хранил полное молчание об этом, а также научился ловко уворачиваться от деликатных попыток выведать истинные размеры его состояния. Но он не мог скрыть, что богат, очень богат, ибо такой эксцентричный образ жизни мог вести только очень богатый человек. Он покупал дорогие картины на

аукционах «Кристи» и «Сотби» — конечно, через агента, но с Росса вполне сталось бы выведать, кто настоящий покупатель.

Чего Росс не знал, так это того, что массовой закупкой дорогих картин Фрэнсис хотел утолить невыносимую жажду творчества. Он много раз пытался обрести новый стиль, но каждый раз проникался отвращением и бросал эти попытки. Матери не желали говорить с ним современным голосом.

Внезапное увлечение Росса канадским искусством поставило бы в тупик менее проницательного человека, но Фрэнсис видел его насквозь. Росс хотел стать директором Национальной галереи в Оттаве. Чтобы добиться такого назначения, нужно начинать действовать заблаговременно — с прицелом на несколько лет вперед.

— Я ведь канадец, ты же знаешь, — говорил Росс. — Плоть от плоти этой страны, и мне хочется сделать для нее что-нибудь важное. Я хочу поднять Оттавскую галерею на мировой уровень, до которого ей сейчас далеко. Да, конечно, в ней есть неплохие вещи. Завидное собрание картин восемнадцатого века, и другие приличные экспонаты попадаются. Но этого мало. Очень мало. Покупать приличные вещи галерея не может, потому что

бюджет у нее мизерный. С другой стороны, в ней слишком много дареных вещей, а мы знаем, что это значит в стране, где мало кто разбирается в искусстве. Галерея не может ни отвергнуть подарки, ни засунуть дареное куда-нибудь в запасник. Слишком много народу обидится. Но это время придет! Нужно будет безжалостно выкинуть плохое и решительно закупить хорошее… Слушай, Фрэнк, а что ты намерен делать с лучшей частью своей коллекции?

— Я об этом как-то не задумывался, — соврал Фрэнсис.

— Ну так пора задуматься, друг мой.

И вот, после долгой торговли и колебаний, Фрэнсис подарил галерее шесть своих лучших канадских картин. Росс проболтался где надо, что это он устроил дарение. Имя дарителя он тоже назвал, как Фрэнсис ни пытался остаться неизвестным.

— Если это просочится наружу, все галереи страны устроят на меня облаву, — сказал он.

— Неужели их нельзя понять? Ну подумай же, Фрэнк. Если ты не благотворитель, то что ты вообще такое? Когда ты наконец подаришь Национальной галерее что-нибудь из своих хороших итальянских вещей?

— Подарить? С какой стати? Кто сказал, что, если у человека есть хорошие вещи, он обязан их раздавать?

Через некоторое время — довольно скоро, по меркам мира искусства, — Национальной галерее понадобился новый директор, а кто же лучше Росса подходил на эту должность?

В истинно канадском духе комиссия, призванная выбрать преемника и рекомендовать его соответствующему министру, долго сомневалась и мучилась. Захочет ли Росс, блестящий искусствовед с мировой репутацией, принять эту должность? Может, вместо него лучше назначить какого-нибудь достойного, но относительно неизвестного канадского ученого, имеющего какие-нибудь смутные заслуги перед страной? Что это за слухи ходят о личной жизни Росса? Не потребует ли он денег больше, чем галерея может платить? У Фрэнсиса было кое-какое влияние на некоторых членов комиссии, и он им воспользовался, но очень осторожно, втайне от других членов комиссии, которые ненавидели его за глубину познаний и за богатство. Наконец комиссия, в полной мере насладившись обязательной программой гефсиманских терзаний, направила рекомендацию министру, министр написал

Россу, а Росс попросил месяц на размышления — в случае согласия ему придется пожертвовать карьерой всемирно известного искусствоведа. В конце концов он решился на эту жертву — за значительно увеличенное жалованье.

Министр объявил о назначении. По случайности это было последнее назначение, о котором он объявил, так как правительство, членом которого он был, пало. После всех ритуальных плясок, необходимых для проведения всеобщих выборов, было сформировано новое министерство, и новый министр, которому теперь подчинялся Росс, оказался женщиной. Казалось бы, чего лучше? Среди канадцев распространено мнение о природной склонности женщин к искусствам и культуре. Ведь во дни первопоселенцев подобные вещи — которые тогда сводились в основном к лоскутным одеялам и вязаным коврикам — были исключительной прерогативой женщин. Идейные окаменелости эпохи первопоселенцев были весьма распространены среди канадских политиков.

Росс не уделял особого внимания выборам. Он сказал себе, что он ни с какого боку не политик. Он, может быть, и слышал пламенные обещания партии, пришедшей к власти в результате

выборов, сократить расходы, вскрыть нарыв разбухшего чиновничьего аппарата, а главное, избавиться от того, что политики в речах, обращенных к избирателям, называли излишествами. Слышал, но не обратил внимания. Однако расходы не так легко урезать, особенно если большую часть их составляют пособия на детей, выплаты матерям, оплата лечения, пенсии стариков и инвалидов; и действительно, крики достойных бедняков не умолкают, а становятся все громче. Да и поголовье чиновников не так легко сократить, не обидев миллионы избирателей. Ведь все государственные служащие, особенно те, что поскромнее чином, принадлежат даже не к семьям, но к племенам, которые отстаивают своих с истинно племенной яростью. Значит, сэкономить можно только на излишествах. Если у страны уже есть Национальная галерея, причем полная картин (в чем может убедиться любой дурак, зайдя туда в дождливый день), закупка новых картин — это, несомненно, излишество, апофеоз легкомыслия, снобизма, витания в облаках.

Но ничто из этого не доходило до сознания Эйлвина Росса. Он порхал по Канаде, пересекая ее вдоль и поперек, и объяснял различным заинтересованным группам, что Канаде пора об-

завестись достойной ее Национальной галереей, что нынешняя галерея даже не второсортная и что необходимы немедленные решительные действия. Его красноречием восхищались. «Мы не можем занять свое место в мире как нация миллионов хоккейных болельщиков и нескольких десятков хоккеистов», — сказал он. Он цитировал Бена Джонсона: «Кто не любит картин, тот ненавистник правды и всей мудрости поэзии. Картина — изобретение Неба, самое древнее и самое близкое к Природе».[135] (Он не продолжил цитату — дальше Джонсон прямо утверждает, что живопись стоит ниже поэзии. Подлинное искусство цитировать состоит в умении вовремя остановиться.) Прекрасный голос, в котором канадский акцент был слегка смягчен, но не исчез совсем, сам по себе гарантировал искренность оратора. А его красота пленяла женщин и многих мужчин. К таким канадцам они не привыкли. А как он шутил, и пил, и рассказывал отличные истории из жизни искусствоведов и художников на приемах, которые устраивались после его выступлений! Популярность Росса росла, как тыква,

[135] Примечания: 135

Он цитировал Бена Джонсона: «Кто не любит картин, тот ненавистник правды и всей мудрости поэзии. Картина — изобретение Неба, самое древнее и самое близкое к Природе». См. прим. № 1.

и была такая же яркая и блестящая. Завершив великое турне по Канаде (к этому времени новое министерство уже плотно уселось на место), он поджег свою петарду.

Не вовремя взорванная петарда хуже разорвавшейся бомбы. Росс не придумал ничего лучшего, как устроить пресс-конференцию, на которой объявил, что может единым махом поднять Национальную галерею на новый уровень, поставив ее в один ряд со всемирно известными коллекциями. В результате долгих переговоров и стремительного набега на Европу он потратил всю сумму, выделенную галерее на закупки на будущий год и вдобавок на шесть лет вперед. Он договорился о покупке шести картин — шести картин мирового класса — из великого частного собрания. Он торговался по дешевке благодаря умению вести переговоры и, как он очень мягко намекнул, личному обаянию.

Кто же владелец? Росс позволил себя долго расспрашивать и наконец проговорился, что картины принадлежат Амалии фон Ингельхайм, которая недавно унаследовала коллекцию от бабушки. Графине (как неправильно, но эффектно титуловал ее Росс) нужны деньги, так как ее муж, князь Макс, приобрел большую корпорацию по

производству косметики со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Поэтому графиня решила расстаться с частью своих сокровищ, и они впервые увидят свет. За жалкую сумму в несколько миллионов долларов Канада может приобрести репутацию страны, владеющей значительной коллекцией живописи.

Относительно немногие люди понимают, что такое миллион долларов. Для большинства это туманная цифра, которая разбухает или съеживается, по ситуации. Возможно, политикам это свойственно в большей мере, чем обычным людям: для них миллион подобен гармошке, которая растягивается или сокращается. Если они собираются потратить миллион на себя, то это небольшая сумма, мысль о которой приятно согревает; если же этот миллион кто-то требует у них, он превращается в огромное число, невместимое обычным разумом. Когда политики узнали, что кто-то из должностных лиц, мелкая сошка на небольшой должности, тупиковой в смысле карьеры, обещал выплатить несколько миллионов за рубеж на приобретение картин — картин, подумать только! — они страшно возмутились. И больше всех негодовали представители той партии, ныне — лояльной оппозиции

ее величества, которая назначила Росса перед самым своим падением.

Министр оказалась под прицелом. Она видела Росса раза два, и он ей не понравился. Помощником замминистра, работающим непосредственно с Россом, тоже оказалась женщина, и этой женщине он не нравился еще больше. Он процитировал ей Джонсона, а она решила, что он говорит о Сэмюеле Джонсоне,[136] и выставила себя дурой. (Во всяком случае, так показалось ей — Росс привык к этой путанице и не обратил внимания.) Помощник замминистра была феминисткой и не сомневалась, что галантное обращение Росса с женщинами — издевательство с его стороны. Она подозревала, что он гомосексуалист — так хорош собой и не женат, — и приказала доверенному человеку (одному из «дворцовых евнухов» своего департамента) вывести Росса на чистую воду, если получится, — любыми методами, кроме разве что откровенного предложения в мужском туалете парламента. Надо признать, что Росс вел себя с этой дамой нетактично: выражаясь словами его любимого автора, он был поражен

[136] Примечания: 136

Сэмюэль Джонсон (1709–1784) — английский критик, лексикограф и поэт эпохи Просвещения. Составитель первого толкового словаря английского языка.

«зудящей язвой остроумья»[137] и никак не мог избавиться от этой болезни в общении с политиками и государственными служащими.

Госпожа министр положилась на рекомендацию замминистра, которая положилась на рекомендацию своей помощницы (которая не то чтобы была ее любовницей, но непременно стала бы ею, если бы обе не были такие занятые и усталые). У министра не осталось сомнений. Государственный служащий, подведомственный ее министерству, позволил себе непростительную вольность и заключил договор, касающийся еще не выделенных средств, притом не поставив ее в известность. Она выступила с заявлением в палате общин, опровергла сообщение о покупке картин и уверила собравшихся, что она, как никто, понимает необходимость сокращения расходов. Она благоговейным голосом сказала, что обожает искусство во всех его проявлениях, но бывают времена, когда даже ей приходится считать его излишеством. Она знает, в чем состоят приоритеты, когда экономика страны находится в тяжелом положении. Министр не стала распространяться об этих приоритетах, но можно было

[137] Примечания: 137

…«зудящей язвой остроумья»… — Бен Джонсон, из пьесы «Всяк не в своем духе» («Всяк не в своем нраве»), пролог.

предположить, что они лежат где-то в прериях или, наоборот, в приморских провинциях, где, по-видимому, находятся месторождения денежных проблем.

Поскольку выборы не планировались, газетам нужен был мальчик для битья, и Росс выступал в этой роли недели две. Самые консервативные газеты настаивали, что его следует смирить, разъяснить ему факты канадской жизни, преподать урок; самые радикальные газеты требовали снять его с должности и отправить в Европу, где ему, кажется, самое место. Впредь будет знать, что порядочные люди говорят о хоккее исключительно с благоговением.

Праведный гнев публики почти утих, когда Росс как-то вечером зашел в «лавку древностей». Глядя на его измученное, осунувшееся лицо, Фрэнсис понял, что любит его.

Но что он мог сказать?

— Ковчег Господень, по-видимому, впал в руки филистимлян?

— Со мной никогда в жизни такого не было. Они меня ненавидят. По-моему, они хотят моей смерти.

— О, вовсе нет. На политиков постоянно выливают еще худшую грязь. Все пройдет.

— Да, и я останусь навеки опозорен перед подчиненными. Госпожа министр вечно будет меня шпынять, как учительница — нерадивого ученика, и оспаривать каждый грош, идущий на галерею. Я буду сидеть, как вахтер, при коллекции картинок с собачками и кошечками, без малейшей надежды когда-нибудь ее улучшить.

— Знаешь, Эйлвин, не сочти меня занудой, но тебе правда не стоило тратить деньги, которых у тебя еще не было. А министр… ну ты же знаешь: она как женщина обязана доказать, что она жестче любого мужика. Она не может позволить себе ни единой женской слабости, это прерогатива премьер-министра.

— Знаешь, она хочет меня выжить. Решила доказать, что я гомик.

— А ты гомик? Я не знал.

— Думаю, не в большей степени, чем большинство мужчин. У меня бывали связи с женщинами.

— А может, тебе поухаживать за госпожой министром? Это сразу решит вопрос.

— Вот странная идея! От нее пахнет дешевыми духами и леденцами от кашля. Нет, меня спасет только одно.

— А именно?

— Если мне удастся раздобыть для галереи одну из этих картин. Только одну! Это привлечет к нам внимание мира искусства и покажет госпоже министру, что я не полный идиот.

— Да, но как ты это сделаешь?

Не успев выговорить эти слова, Фрэнсис понял.

— Если я найду частного жертвователя, который подарит картину галерее, это мне очень поможет, а в конечном счете и вовсе реабилитирует. То есть если это будет именно та картина, о которой я думаю.

— Жертвователи — редкие птицы.

— Да, но не вымершие. Фрэнк, ну что?

— Что «что»?

— Ты прекрасно знаешь что. Ты раскошелишься на одну из этих картин?

— При нынешних ценах на живопись? Ты мне льстишь.

— Нет, не льщу. Я знаю, за сколько ты покупал картины в Лондоне в последние два-три года. Тебе это по карману.

— Даже если по карману — а я пока не подтвердил, что это так, — с какой стати мне это делать?

— Неужели ты не любишь свою родину?

— Когда как. Я снимаю шляпу, если мимо проносят канадский флаг. Хотя с точки зрения

геральдики это чистый ужас.

— Тогда ради дружбы?

— Знаешь, я многое повидал в жизни. Самое отвратительное, что можно сделать с дружбой, — это назначить ей цену.

— Фрэнк, ты хочешь, чтобы я умолял? Ну хорошо, черт бы тебя побрал, я готов умолять. Ну пожалуйста!

Жизнь не баловала Фрэнсиса, но таким беспомощным он чувствовал себя впервые. Росс — несчастный, убитый и такой прекрасный в своем несчастье. Выражаясь библейским языком, в нем воскипела любовь к Россу. Но чувства Фрэнсиса не ограничивались состраданием. Чем больше денег у него было, тем больше он их любил. И еще, он не мог бы этого объяснить, но чувствовал: после того как он отказался от своего художественного дара, глубочайшие основы его души переключились на обладание имуществом, а следовательно, на деньги. Подарить народу картину — звучит красиво, но на деле опасно. Стоит прослыть благотворителем, и все от тебя чего-нибудь захотят. И чаще всего будут просить на поддержание посредственности. Но Росс, его последняя любовь, так несчастен! Фрэнсис любил Исмэй всем сердцем — как дурак. Рут он любил

как мужчина, и она умерла вместе с сотнями и тысячами других людей, жертва преступной глупости мира. Он любил и Росса — не потому, что желал его плотски, но за его дерзкую юность, нетронутую годами, за его презрение к условностям, которые сковывали самого Фрэнсиса, вынудили его содержать разоренное имение и чужого ребенка, не дали признать великую картину своей. Да, он должен уступить. Пусть это больно ударит его по кошельку, который уже почти заменил ему душу. Почти, но не совсем.

Фрэнсис был готов сказать «да» — и сказал бы, если бы Росс удержал язык за зубами. Но роковое неумение Росса молчать все испортило.

— Ты же знаешь, даритель может остаться неизвестным.

— Конечно. Я бы в любом случае на этом настаивал.

— Значит, ты согласен! О Фрэнк, я тебя люблю!

Эти слова поразили Фрэнсиса сильнее любого удара. Боже, он действительно вешает на их дружбу табличку с ценой. Никаких сомнений быть не может.

— Я еще не сказал «да».

— Сказал-сказал! Фрэнк, теперь все будет хорошо! А насчет цены… я завтра же поговорю с

князем Максом!

— С князем Максом?

— Да. Я знаю, что ты пьешь дешевую бормотуху, но даже ты должен был слыхать про князя Макса. Он — глава «Максимилиана», крупнейшей нью-йоркской фирмы по импорту вина. Он действует от имени жены. Она до брака была Амалией фон Ингельхайм и унаследовала всю коллекцию от старой графини.

— Амалия фон Ингельхайм. Я не знал, что она вышла замуж за Макса! Я с ней знаком… был знаком.

— Да, она тебя помнит. Назвала тебя *Le Beau Ténébreux.* Сказала, что ты учил ее играть в скат, когда она была девчонкой.

— Почему она продает?

— Потому что у нее есть голова на плечах. Они с Максом — процветающая парочка аристократов, мастеров выживания. Они даже похожи между собой, хотя он должен быть намного старше. Она сделала хорошую карьеру как фотомодель, но ты же знаешь, это года на полтора, не больше. Она уже появилась на обложках двух крупнейших модных журналов, и дальше расти ей некуда. Они с князем Максом покупают косметическую фирму — очень хорошую, — и Амалия станет

богатой, всемирно знаменитой красавицей.

— А картины?

— Она говорит, что ей всю жизнь было глубоко плевать на картины.

— Даже так? Да, малютка Амалия сильно выросла… в каком-то смысле.

— Да, но у нее есть и сердце. Она прислушается к доводам разума. И если я скажу ей, что покупатель — ты, все будет хорошо. Иными словами, она продаст настолько дешево, насколько вообще можно ожидать… от аристократов, мастеров выживания. Может быть, картину удастся привезти и выставить в галерее еще до Рождества. Какой подарок народу!

— Там было шесть картин, насколько я помню. Но кажется, нигде не сообщалось какие. Я догадываюсь, за какие из них сейчас хорошо заплатят. Это маленький Рафаэль?

— Нет, не он.

— Портрет работы Бронзино?

— Нет. И не Грюневальд. После здешнего скандала нашлись другие покупатели, и пяти картин уже нет. Но ту, что мне нужна, Амалия придержала.

Рут когда-то говорила Фрэнсису, что у него прекрасная интуиция. Она проявилась не сразу, но

сейчас заработала с полной силой.

— Какая это картина?

— Не какого-нибудь известного художника, но именно то, что нам сейчас надо, потому что в ней есть загадка, понимаешь, и историческое значение, и она практически уникальна, потому что, кроме нее, известна только одна картина работы того же художника. Это моя любимая картина, потому что она, как ничто другое, помогла мне заработать репутацию искусствоведа. Ты ее видел! Приз — в студию! Это «Брак в Кане» кисти так называемого Алхимического Мастера!

Интуиция работала вовсю.

— Почему Амалия ее сохранила? Эйлвин, ты что, сказал, что, может быть, все-таки ее купишь?

— Ну… может, я и намекнул Максу. Ты же знаешь, какие ведутся разговоры при подобных сделках.

— Ты намекнул, что я, может быть, заплачу за картину?

— Разумеется, твое имя упоминалось. И они согласились придержать картину на месяцок ради старого друга.

— Иными словами, ты снова потратил деньги, которых тебе еще не дали. Мои деньги.

— Ну, Фрэнк, ты же знаешь, как это бывает. Не изображай из себя банкира.

— Я ее не куплю.

— Фрэнк, послушай! Я не мог поступить по-другому. Ты же знаешь, покупка произведений искусства на таком уровне — чрезвычайно щекотливое дело. Когда Макс и Амалия размякли, я должен был действовать быстро. Завтра ты увидишь все в другом свете.

— Нет, не увижу. Я не собираюсь покупать эту картину.

— Но почему? Из-за денег? О Фрэнк, не говори, что это из-за денег!

— Нет, я даю тебе честное слово — деньги ни при чем.

— Тогда почему?

— По личным причинам, которых я не могу объяснить. Рафаэль, Бронзино, две или три других — да, это я для тебя сделал бы. Но не «Брак в Кане».

— Но почему, почему, почему? Скажи мне. Ты должен мне сказать!

— За все, что я был тебе должен, я расплатился сполна шестью прекрасными современными картинами. Но эту картину я не куплю — таково мое последнее слово.

— Какая ты сволочь!

— Ради такого случая мог бы и цитату из Джонсона подыскать.

— Да! «Говна те в зубы».[138]

— Очень хорошо. Это все?

> *— «Пусть собаки*
> *На стены гадят! Пусть жуки и осы*
> *Плодятся под твоею кровлей, этим*
> *Вертепом лжи и логовом греха!»*[139]

И Росс выбежал вон — смеясь над собственной цитатой, как показалось Фрэнсису. На самом деле Росс плакал. Эти гримасы отчасти похожи. Фрэнсис вымыл руки и удалился в узкий проход, где стояла его кровать. Прежде чем уснуть, он долго смотрел на картину, висящую в изголовье. Увидев ее, друзья Фрэнсиса приходили в недоумение. Картина была так себе. Дешевая репродукция «Изгнанной любви». Но сейчас она говорила Фрэнсису больше, чем любой из шедевров, сваленных кучами у него в квартире.

---

[138] Примечания: 138

…цитату из Джонсона подыскать. <…> «Говна те в зубы». — Бен Джонсон. Варфоломеевская ярмарка. Акт I, сц. 3.

[139] Примечания: 139

«Пусть собаки / На стены гадят!..» — Бен Джонсон. Алхимик. Акт V, сц. 3. Перевод П. В. Мелковой.

— Конечно, Фрэнсис поступил единственно возможным образом. Не мог же он допустить, чтобы его любимый друг обманулся заведомой фальшивкой, да еще работы самого Фрэнсиса, и повесил ее в главной галерее страны, которой они превыше всего обязаны служить и хранить верность, — сказал Цадкиил Малый.

— Ничего подобного, — возразил даймон Маймас. — Разумеется, мог, и то, что он называет влиянием Меркурия — то есть я, — всячески подталкивало его к этому. Я напоминал ему слова Летцтпфеннига: «Что здесь продается — великая картина или магия прошлого? Что покупается — прекрасная живопись или работа, подлинную ценность которой придает отпечаток четырех веков?» Поведение Фрэнсиса в этой истории было мне отвратительно. По правде сказать, я чуть его не бросил.

— А разве ты можешь?

— Ты же знаешь, что да. А стоит даймону уйти, и с человеком все кончено. Помнишь, когда Марк Антоний свалял дурака из-за той египтянки? Его даймон проникся отвращением и покинул его. Там тоже все вышло из-за глупой любви.

— Любовь Фрэнсиса к Россу не была глупой, брат. По мне, так в ней был привкус благородства, ибо

она ничего не просила для себя.

— Но заставила Фрэнсиса предать лучшее, что в нем было.

— Это большой вопрос, брат. Любовь или стремление к мирским благам? Любовь или тщеславие? Любовь или желание сыграть шутку над миром искусства, где не нашлось места самому Фрэнсису? Бедняга Даркур так хочет выведать правду о Фрэнсисе! Знай он то, что знаем мы, он по достоинству восхищался бы им.

— Но все же ты не бросил Фрэнсиса.

— Он был мне отвратителен. Я терпеть не могу оставлять недоделанную работу. Мне приказали сделать Фрэнсиса великим человеком, а он поступил прямо противоположно моим наставлениям.

— Быть может, он и впрямь был великим человеком.

— Не таким великим, каким сделал бы его я.

— Но окончательное суждение не за тобой, брат.

— Но я и не был окончательно разбит, брат. К величию можно идти разными путями. Смотри, что будет дальше.

Самоубийство Эйлвина Росса вызвало обычную в таких случаях реакцию публики: любопытство,

ничего не стоящую жалость, радость зевак, оказавшихся свидетелями чего-то такого, что газеты назвали «трагедией». Искусствоведы всего мира оплакивали безвременно ушедшего талантливого коллегу. Канадцы же предполагали, что он не вынес публичного позора. Кое-кто из канадцев сожалел о нем — в их речах чувство вины мешалось с тайным презрением к человеку, который не смог перенести заслуженное наказание терпеливо, как храбрый маленький солдат. Доморощенные психологи рассуждали о том, что Росс хотел наказать своих гонителей и хулителей. Кое-кому из гонителей действительно стало не по себе, но они злились на себя за то, что позволили собой манипулировать. Госпожа министр произнесла речь в парламенте; она вкратце упомянула Росса, сказав, что он действовал из благих намерений, но не обладал реалистическим взглядом на механизмы общества. Несмотря на это, она призвала достопочтенных членов собрания думать о нем как о великом канадце. Достопочтенным членам такое занятие было не в новинку, и они послушно думали указанным образом в течение одной минуты. В Национальной галерее устроили мемориальную службу, и покойному искусствоведу воздали все обычные

гражданские почести: читали стихи, играли Баха, а замминистра произнесла очень тщательно сформулированную речь, написанную мелким поэтом из числа правительственных спичрайтеров. В речи прозвучало много красивых слов, но не нашлось места ни единому признанию. В конце госпожа министр призвала коллектив Национальной галереи и весь канадский народ на пути к торжеству экономичной экономики хранить в сердцах память о Россе.

У Фрэнсиса не было нервного срыва, когда погибла Рут, но теперь он позволил себе именно это. Он выжил без посторонней помощи — заперся у себя в вертепе *лжи*, ел только холодную фасоль в томате прямо из банки и запивал пивом. Он снова стал собой — или таким, каким после этого был до конца жизни, — всего через несколько недель. Возможно, именно благодаря отсутствию профессиональной помощи.

Последние годы жизни Фрэнсиса были в своем роде плодотворны и не лишены своих утешений. Как раз тогда стало модно говорить об «эпохе простого человека», но Фрэнсис видел мало доказательств того, что эта эпоха действительно принадлежит простым людям. Надо сказать, что он нисколько не удивлялся этому и не жалел

об этом, вспоминая годы Карлайлской средней школы, проведенные в обществе «детей простого человека». Случайные знакомые считали его мизантропом, но были у него и близкие друзья — в основном из университетской среды. На почве обширных и необычных познаний о жизни в Европе на протяжении нескольких веков — его любимого периода — он сошелся с профессором Клементом Холлиером. Холлиер искал историческую истину в вещах, презираемых большинством историков. Еще одним другом Фрэнсиса стал профессор-преподобный (Фрэнсиса немало забавляла пышность этого титула) Симон Даркур: с Фрэнсисом его роднила страсть к редким книгам, рукописям, старинной каллиграфии, карикатурам и другим вещам, в которых Фрэнсис не обязательно разбирался, но которые попадались в сеть его огромной, разбухающей коллекции. Именно Даркур пробудил дремлющую любовь Фрэнсиса к музыке — лучшей, чем все, что знала Мэри-Бен. Даркура и Фрэнсиса часто видели вместе на концертах.

Иногда приятели сходились по вечерам в «лавке древностей». Холлиер мог почти весь вечер просидеть молча. Фрэнсис слушал речи Даркура — живые, забавные, располагающие к себе. Они

лились, как игристое вино из бутылок, которые Даркур неизменно приносил с собой, ибо Фрэнсис не желал тратиться на прием гостей. Фрэнсиса забавляло, что Даркур, знаток вин, жаловал продукцию князя Макса. На этикетках красовался герб и девиз «Ты погибнешь прежде, чем я погибну», — конечно, все думали, что он относится к вину.

Еще одним другом Фрэнсиса — не очень близким, но ценимым — стал профессор Эркхарт Маквариш. Сам профессор не догадывался, что Фрэнсис ценит его как родственную душу, порождение Меркурия. Но Фрэнсис держал свой меркуриальный дух под спудом, а Маквариш с дивной непосредственностью выпускал его наружу, хвалился, лгал и плутовал. Фрэнсис находил эту непосредственность забавной и освежающей. Даркур уговорил Фрэнсиса прочитать труды Бена Джонсона — в прекрасном томе, первоиздании, — и с тех пор Фрэнсис часто именовал Маквариша «сэр Эпикур Маммона». Маквариш не потрудился заглянуть в текст и считал этот титул

лестным.[140] По правде сказать, Фрэнсис нашел в Бене Джонсоне душу, о которой никак нельзя было догадаться по тщательно выбранным цитатам Росса, — душу внешне суровую, но таящую в себе нежность, в точности как у самого Фрэнсиса.

Макварish как истый сын Меркурия не чурался и воровства. Он пользовался старым добрым методом: брал что-нибудь взаймы, а потом не возвращал. После пропажи ценной старой граммофонной пластинки, на которой сэр Гарри Лодер пел «Перестаньте, щекотушки»,[141] Фрэнсис начал следить за тем, чтобы одалживать веселому аморальному шотландцу только не очень ценные вещи. Но Макварish никогда не считал нужным делать для Фрэнсиса что-либо взамен тех благ, которые сам получал от этой дружбы. Это Холлиер и Даркур добились назначения Фрэнсиса почетным членом клуба профессоров колледжа Святого Иоанна и Святого Духа в университете Торонто — колледжа, в котором Фрэнсис когда-

[140] Примечания: 140

…часто именовал Макварish «сэр Эпикур Маммона». Макварish не потрудился заглянуть в текст и считал этот титул лестным. — Сэр Эпикур Маммона — отрицательный персонаж пьесы Бена Джонсона «Алхимик», недалекий и жадный любитель удовольствий.

[141] Примечания: 141

…Гарри Лодер пел «Перестаньте, щекотушки»… — Гарри Лодер, сэр Генри Лодер (1870–1950) — шотландец, автор и исполнитель комических песен. Песню «Stop Your Tickling Jock» написал ок. 1904 г.

то учился и который ласкательно именовали «Душком». Поэтому Фрэнсис оставил «Душку» неплохое наследство по завещанию; с которым теперь упоенно возился, пересматривая отдельные пункты, всячески дополняя и изменяя.

Он тщательно обдумывал свою последнюю волю и даже тревожился из-за нее. У него был документ, подтверждающий, что малютка Чарли не может ожидать от него ничего сверх уже полученной суммы; но вдобавок к этому Фрэнсис благоразумно (хоть и не очень великодушно) заставил своих лондонских поверенных взять у Исмэй (которая все еще боролась за рабочее дело где-то в срединных графствах Англии) расписку в том, что малютка Чарли не дочь Фрэнсиса и что ни она, ни Исмэй не имеют никаких прав на его наследство. Это оказалось непросто, так как по закону Исмэй все еще была женой Фрэнсиса. Но Фрэнсис сообщил своим поверенным имена одного-двух юристов, которые много знали об Исмэй и могли сильно осложнить ей жизнь, если она не будет ходить по струнке.

Во Фрэнсисе было еще много от Макрори, и поэтому он считал, что обязан в завещании позаботиться о родственниках. Поэтому он завещал кое-что — мелочь по сравнению с его огромным

богатством — Ларри и Майклу. Чуть большую, но тоже не поражающую воображение сумму он оставил племяннику Артуру, сыну брата. Время от времени Фрэнсиса навещало смутное чувство вины по отношению к юному Артуру — шевеления родительского инстинкта, который у Фрэнсиса никогда не был особенно силен. Но о чем мужчине на седьмом десятке лет говорить с мальчиком? У Фрэнсиса в голове сидело зачаточное канадское убеждение, что дядя обязан учить племянника стрелять, рыбачить, строить вигвамы из березовой коры и все такое. Эта мысль его полностью расхолаживала. Фрэнсису и в голову не приходило, что мальчик может интересоваться искусством. Так что для Артура он по-прежнему был молчаливым, плохо пахнущим стариком, не очень похожим на остальных Корнишей. Артур время от времени видел дядю на разных семейных сборищах и привык получать от него солидные суммы денег в подарок на Рождество и день рождения. Но, несмотря на уверенность, что у мальчиков могут быть только «мальчиковые» интересы, Фрэнсис замечал в глазах у Артура особый блеск. Годы шли, мальчик стал мужчиной, изобретательно, с выдумкой работал в Корниш-тресте — и Фрэнсис назначил

его своим исполнителем по завещанию. Конечно, трое друзей Фрэнсиса должны были руководить юношей, предположительно невежественным в вопросах искусства, при разборке неподъемной кучи — ибо название коллекции собранию Фрэнсиса уже не подходило.

Раз в неделю Фрэнсис, если не забывал, навещал мать. Ей уже давно минуло восемьдесят — прекрасная, хрупкая женщина, она сохранила ясность мышления, но проявляла ее сугубо выборочно. На склоне лет Фрэнсис мог признать, что никогда не был близок с матерью, но теперь, когда безусловная любовь к ней перестала быть обязанностью, Фрэнсис понял, что мать ему вполне симпатична. Когда-то он пытался расспросить ее о Фрэнсисе-первом, и мать прикинулась выжившей из ума старушкой. Но теперь он решил разузнать о ее романах, которые так смущали его в юности и на которые отец смотрел сквозь пальцы.

— Мама, ты мне никогда не рассказывала о своей молодости. Вы с отцом друг друга очень любили?

— Фрэнко, что за странный вопрос! Нет, я не могу сказать, что мы друг друга очень любили, но он замечательно понимал меня, и мы были

самыми близкими друзьями.

— Но разве ты никогда не была влюблена?

— О, десятки раз! Но понимаешь, я никогда не относилась к этому всерьез. Разве можно? От любви, если ее запустить, одни неприятности. Я знала множество мужчин, но никогда не давала твоему отцу повода для беспокойства. Он всегда был главным мужчиной в моей жизни, и знал это. Вообще, он был довольно странный человек. Очень спокойно относился к жизни.

— Я ужасно рад это слышать.

— Я была отчаянно влюблена один раз в жизни — еще до твоего отца. Знаешь, как влюбляются девушки. Такой красавец, я никогда не встречала ничего подобного. Красота — очень опасная вещь, правда ведь? Я была совсем молодая, а он был актером, и я с ним никогда не была знакома — только видела его на сцене, но ужасно страдала.

— Тогда было много красивых актеров. Такая мода. А ты помнишь, как его звали?

— О, конечно помню. Кажется, у меня до сих пор где-то лежит открытка с ним — он играл в пьесе под названием «Мсье Бокэр». Его звали Льюис Уоллер. Такой красавец!

Так вот какова цена умствованиям доктора Дж.-А. и его злобно-научным утверждениям про

неизвестную порчу! Эта холодная, прекрасная кокетка любила единожды в жизни, причем самозабвенно, и плодом ее страсти оказался Лунатик!

Какое наказание! Какая пощечина девушке-католичке от Бога, которому ее учили поклоняться! Неудивительно, что она отогнала от себя все страсти и уподобилась Венере на картине Бронзино, — любовь стала для нее игрушкой. Фрэнсис много думал об этом и пришел к нескольким чрезвычайно философским выводам. Разумеется, совершенно неверным, так как он ничего не знал о благонамеренном материнском вмешательстве Марии-Луизы. Никто никогда не знает всего до конца. Но если бы Фрэнсис знал, его сострадание, несомненно, распространилось бы и на бабушку; теперь он всем сердцем еще сильнее обычного жалел Зейдока Хойла, мать и беднягу Лунатика.

Так что к смертному часу Фрэнсис подошел, вполне примирившись с главными в его жизни людьми. Внешнему миру и даже горстке близких друзей он казался чудаком и букой, но в нем была особая цельность, которая привлекала к нему этих друзей, как никогда бы не привлекли поверхностная любезность и легкомысленный шарм.

Его жизнь — но не слава — кончилась сентябрь-

ской ночью с воскресенья на понедельник. Было душно и влажно, как часто бывает в Торонто в сентябре. По случаю своего дня рождения Фрэнсис вышел поужинать в ресторане, хоть и не был голоден, а по возвращении в «лавку древностей» прилег на кушетку, надеясь, что под ветерком из окна будет легче дышать. Кушетка некогда принадлежала Сарацини; она была прекрасна, но не слишком приспособлена для лежания. Ее изготовили в самом начале девятнадцатого века для какой-нибудь тогдашней красавицы, воображавшей себя мадам Рекамье. Но Фрэнсис не мог заставить себя встать и пойти в постель. Поэтому, когда смерть нанесла ему первый удар, он был полностью одет и полусидел-полулежал. После этого удара Фрэнсис понял, что не в силах двинуться.

Более того, он понял, что ему больше не суждено двигаться.

Значит, это оно и есть? Смерть, которую он так часто видел на картинах — обычно в виде жестокой, грозной фигуры, — пришла к нему в «лавку древностей». Фрэнсис удивился, поняв, что не боится. Хотя дышал он теперь с трудом и каждый следующий вдох давался все труднее. Ну что ж, он всегда знал, что умирать — непросто.

У него туманилось в глазах, но мысли были ясны, яснее обычного. Он подумал, что находится в полном сознании и что это разительно отличается от того, что чувствовал Росс, — тот, чтобы уйти, наелся снотворного и запил джином. А насколько другими были последние часы Рут? Кто скажет, что осталось от ее живого, храброго и мудрого ума в этом обожженном теле? Сколько бы люди ни называли смерть великим уравнителем, она, несомненно, к каждому приходит в ином обличье.

Фрэнсис уже мало что чувствовал, но вместо этого на него нахлынули другие чувства. Может, это и имеют в виду, когда говорят, что у умирающего перед глазами проходит вся жизнь? Фрэнсис не то чтобы увидел всю свою жизнь. Точнее сказать, его охватило ощущение завершенности жизни, понимание, что его жизнь — о, какое счастье, какое милосердие! — не была бесформенной кашей, бессмысленной неразберихой, какой он ее считал. Он скромно радовался тому, что справился не так уж плохо и что даже поступки, о которых он впоследствии жалел — например, ниспровержение несчастного Летцтпфеннига, — были частью узора, рисуемого не им, исполнением предначертаний, в той же мере относящихся

к судьбе Летцтпфеннига, как и к судьбе самого Фрэнсиса. Даже отречение от Росса, которое Фрэнсис так часто вспоминал и считал отречением от самой любви, было не только следствием его слабости, но и — в неменьшей степени — результатом поступков самого Росса. Фрэнсис любил Росса не меньше, чем когда-то любил Рут, хоть и по-иному, но еще сильнее он любил и должен был защищать нечто другое. Это — его единственный шедевр, картина «Брак в Кане», ныне висящая на почетном месте в выдающейся картинной галерее в Штатах, где на нее пялятся любители искусства и бесчисленные искусствоведы с университетскими дипломами, гарантирующими непогрешимость познаний и вкусов их владельцев. Если эта бомба когда-нибудь и взорвется, то не в Канаде и не погубит друга.

Нет! Это лицемерие, а у Фрэнсиса уже не было времени лицемерить. Конечно, Смерть намекнула ему на свой скорый приход неделю назад, когда он аккуратно сложил в конверт все этюды к «Браку в Кане», и предварительные, и сделанные постфактум, и надписал аккуратным курсивом: «Мои рисунки в стиле старых мастеров, для Национальной галереи». Рано или поздно кто-нибудь на них наткнется.

И неминуемо установит, кто на самом деле был Алхимическим Мастером. Это открытие даст разным умникам пищу для разговоров, материал, который можно препарировать, обсуждать в статьях и даже в книгах. Будут написаны биографии Алхимического Мастера. Но подойдут ли они близко к истине? Откроют ли вообще нужные факты? На картине, в которой, по словам Сарацини, Фрэнсис воплотил свою душу — и такой, какова она была, и такой, какой ей суждено было стать, — Любовь действительно представляли две фигуры в центре; но это была скорее любовь к идеальной цельности, чем реальные любови Фрэнсиса. Прочтут ли люди его аллегорию, как он когда-то прочел великую аллегорию Бронзино? На этой столь дорогой ему картине Время и его дочь Истина сдергивали покрывало с истинного лика любви. Точно так же когда-нибудь Время и Истина сдернут покрывало с «Брака в Кане». И когда это случится, сперва люди начнут судить Фрэнсиса, обвиняя его в подделке и обмане. Но ведь Бронзино сказал нечто очень важное о подделке и обмане, изобразив Обман, *Fraude* — девушку с очаровательным лицом, предлагающую мед, и скорпиона с когтями хтонического дракона и кольчатым хвостом змеи. Этот Обман

не заурядное жульничество, но порождение глубинного мира Матерей, где родится не только всяческая красота, но и все жупелы для робких душ, ищущих только света и уверенных, что Любовь — сплошной свет. Как повезло Фрэнсису, что он встретил *Fraude* и отведал ее преображающий отравленный поцелуй! Неужели Фрэнсис в последние минуты жизни отыскал аллегорию самого себя? О, благословен ангел «Брака в Кане», столь загадочно возглашающий: «А ты хорошее вино сберег доселе»!

Он засмеялся, но смех стоил таких усилий, что смерть нанесла еще один удар. Фрэнсис глубже погрузился в темное течение, которое его куда-то несло.

Где это он? Место никогда невиданное, но знакомое: подлинное, глубинное обиталище его духа — в большей степени, чем все, что он когда-либо знал; он раньше не бывал тут, но именно отсюда исходили видения, что были самыми драгоценными дарами его жизни.

Да, сомнений больше нет. Это — царство Матерей. Какое счастье, что в последние минуты Фрэнсису было суждено причаститься преображающего вина!

Дальше не было ничего. Стороннему наблюда-

телю показалось бы, что Фрэнсис какое-то время стоял на пороге смерти, а теперь сделал последний шаг.

— Значит, ты бился за него до конца, брат, — сказал Цадкиил Малый.

— Это еще не конец. Фрэнсис порой не слушался меня, но я по-прежнему повинуюсь приказу, — ответил даймон Маймас.

— А тебе приказали сделать его великим или хотя бы интересным человеком?

— Да, и посмертно он станет и великим, и интересным. Не сомневайся, мой Фрэнсис был великим человеком. Он не умер дураком.

— Однако и тебе пришлось потрудиться.

— Как всегда. Люди всюду лезут и все путают. Отец Девлин и Мэри-Бен со своей святой водой и одноствольным состраданием. Виктория Камерон с этим ужасным стоицизмом, замаскированным под религию. Доктор с его невежественной наукой. Вообще все невежды, убежденные, что их представления о мире — вершина человеческого познания.

— Но я полагаю, про них всех можно сказать, что они заложены у Фрэнсиса в костях.

— Они! Как ты мог сказать такое, брат? Конечно, мы с тобой знаем, что это всё метафоры. Да

мы с тобой и сами метафоры. Но метафоры, что изваяли жизнь Фрэнсиса, — это Сатурн, решимость, и Меркурий, творец, шутник, трикстер. Мне приказали проследить за тем, чтобы они, Великие, были заложены в костях у Фрэнсиса и чтобы их никак нельзя было выбить из его плоти. И моя задача еще не завершена.

— Я тут подумал…

Артур, вернувшийся из двухдневной поездки, завтракал. Он уже съел грейпфрут, овсянку со сливками, яичницу с беконом и перешел к обычной коде завтрака — тосту с вареньем.

— Я совершенно не удивлена. С тобой это часто случается. И что? — откликнулась Мария.

— Та книга про дядю Фрэнка… Я был не прав. Надо сказать Симону, чтобы он продолжал работу.

— Ты больше не боишься скандала?

— Нет. Допустим, в Национальной галерее обнаружатся рисунки, которые выглядят как работы старых мастеров, но на самом деле их нарисовал дядя Фрэнк. Ну и что? Это не значит, что он что-то там подделывал. Он когда-то учился на художника, а в те времена студенты постоянно копировали работы старых мастеров и даже сами рисовали в этой манере — чтобы понять, как это делалось. Это никакая не подделка. Сотрудники

галереи сразу распознают его работу, даже если Даркур не распознал. Ничего страшного не случится, помяни мои слова. Симон — специалист по словам, а не по картинам. Так что дадим ему добро и займемся настоящей работой фонда. Нам надо как-нибудь поскорей насобирать писем от безденежных гениев.

— У меня на столе уже лежит несколько штук.

— Позвони Симону, любовь моя, и скажи, что я прошу прощения за свое самодурство. Спроси, может ли он прийти сегодня вечером. Мы посмотрим на письма, которые у тебя есть, и займемся настоящей работой. Будем покровительствовать искусствам.

— Медичи наших дней?

— Но-но, нескромность не украшает человека. Но мы, конечно, получим удовольствие от игры.

— Так свисти в свисток, и пусть игра начнется!